

НОВАЯ
МИРА

НОВАЯ МИРА

1970

10



1970

ИЗВЕСТИЯ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLVI

№ 10

Октябрь, 1970 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ГЕННАДИЙ КОМРАКОВ — До осени полгода, повесть	3
НАЗЫМ ХИКМЕТ — Из неопубликованного, стихи. Перевела с турецкого Муза Павлова	89
ЭРНСТ КРЕНКЕЛЬ — Мои позывные — РАЕМ. Продолжение	96
АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ — Новые стихи	135

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

И. И. МИНЦ — Беседы с А. М. Горьким	140
-------------------------------------	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

Н. ФЕДОРЕНКО — Научно-техническая революция и управление	153
--	-----

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

Е. ГНЕДИН — Утраченные иллюзии и обретенные надежды (Проблемы молодежного движения на Западе)	173
--	-----

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

К 100-летию со дня рождения И. А. Бунина

В. Н. МУРОМЦЕВА-БУНИНА — Бунин и Чехов. Публикация, предисло- вие и примечания Н. П. Смирнова	195
--	-----

В МИРЕ НАУКИ

А. АЛЕКСАНДРОВ — Раз уж заговорили о науке...	204
---	-----

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
<i>Наука о литературе сегодня</i>	
Б СУЧКОВ — Некоторые актуальные проблемы	221
—————	
Ю. КУЗЬМЕНКО — Человек творящий. Статья вторая	226
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
М. Рошин. Служит живому.— Сергей Герасимов. Образы современной Италии.— Л. Черная. Клаус Манн и его роман «Мефистофель».	253
<i>Политика и наука</i>	
В. Шубкин. Школа Франции: традиции и современность.— В. Корецкий. Новое исследование о «Хованщине».— Л. Корнеев. Сухожилия на пятках.	268
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ	281
КОРОТКО О КНИГАХ—С. Григорьева.—Лидия Медведникова. Шуга. ♦ О. Воробьева.—П. Виноградская. Женни Маркс. ♦ Ю. Манн.—И. С. Тургенев в воспоминаниях современников. ♦ В. Френкель.—Альфред Реньи. Диалоги о математике	283
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

ГЕННАДИЙ КОМРАКОВ

★

ДО ОСЕНИ ПОЛГОДА

Повесть

1

В город Прокоп Мананков приехал из таежного края, из деревни Гонохово. Прибыл почти без документов. Пытались родители достать ему справку, да кто ее даст. Сколько Мананков помытарился по городским конторам — за ночь не рассказать. Благо знакомый был Илья Дерягин — гоноховский мужик, уехавший из родных мест сразу после войны. Он и приютил Прокопа. У него в сарае, бросив на дрова шубейку, Прокоп ночевал. А потом Дерягин помог зацепиться в городе, вытребовал документы и устроил прописку.

Прописали Прокопа в старую водонапорную башню. Еще в то время, когда башня была самым высоким сооружением в городе, в нижнем ее этаже в тесной каморке поселился смотритель Кузьма Звягин. Башня стояла на отшибе, посередине пустыря, поросшего лопухами, полынью и еще какой-то пыльной травой неизвестного назначения. С войны Кузьма Звягин писал жене, указывая адрес приблизительно: левый берег, водонапорная башня. И ничего — доходило.

Потом вокруг понастроили больших домов, где-то поставили новую башню, а старую снесли. Но снесли не окончательно: в нижнем этаже так и жил бывший смотритель Звягин. А вместе с этажом в домовый книге осталась очень удобная для Кузьмы цифра. В официальной бумаге, откуда эту цифру переписывали в книгу, она обозначала объем водонапорной башни. Но за давностью лет об этом позабыли, и таким образом Звягин оказался владельцем трехсот кубометров жилого пространства.

При великой нужде в квартирах Кузьма прописывал у себя приезжих. Где приезжие жили — не важно, главное — прописаны. Вот так и Прокопа прописали в башню. А жил он до самых холодов у знакомого в сараюшке.

Бывшему гоноховскому мужику Илье Дерягину Прокоп привез поклон от папаши и просьбу устроить его понадежнее. А больше ничего не привез, если не считать мелочишки: связки копченых язей и двух туесков с брусникой.

Илья Дерягин трудился в снабжении пароходства, видать, с прибытком. На просьбу устроить Прокопа куда-нибудь к легким харчам Дерягин хмыкнул:

— Пообтрись чуток. Таких, как ты, — много. Не все сразу. Шуруй пока на стройку жилого дома, быстрее общагу дадут. Повкальвай, потом поглядим.

Целый день Прокопом Мананковым затыкали мелкие прорехи.

Продолбить в стене дырку, нарубить дровишек для тепляка, очистить мусор, оставшийся после штукатуров,— работа его квалификаций. Никто и никогда не спрашивал Мананкова, нравится ли ему делать то, что он постоянно делал, и сам Прокоп об этом ничего не говорил. Работал молча.

Попервости Прокоп вкалывал на совесть: к празднику получил койку в бараке для вербованных. Но планов, составленных вместе с папашей, не забывал. После праздников зачастил к Дерягину, жаловался, что надоела ему стройка. Намекал, что пора бы земляку выполнить папашину просьбу.

Пароходский снабженец, как на беду, намеков не понимал. А вернее, догадался Прокоп, не хотел больше хлопотать бесплатно. И тогда Мананков разругался с бывшим односельчанином, обозвал его жуликом, а Дерягин как обозвал Прокопа, он не расслышал, потому что выбежал из дому, оставив дверь открытой: пускай выстудит.

С тех пор еще полгода прошло, а Прокоп все так и жил от получки до аванса; нет-нет и перебьется.

У Прокопа свои планы: в этом городе закрепиться, найдя харчи поспособнее. И обдумывая свои планы, Мананков продолжал убирать строительный мусор и выполнять другие распоряжения прораба Патрикеева. Но однажды перед получкой, рассердившись на прораба, ушел Прокоп со стройки, чтобы выпить.

— Не надо, Прокоп, не ходи,— говорила Зинка, случайная его подружка.— Лучше домой...

Но Прокоп не слушал, а когда она хватала его за рукав, вырывался и шагал дальше, под горку, где вдоль дороги выстроились забегаловки.

Совсем недавно вышло решение водкой на розлив не торговать, но продавцы, надеясь на послабление, торговлю не прекратили, пока лишь замаскировали товар. И Прокоп, зная торговые хитрости, войдя в первый попавшийся гадючник, потребовал:

— Сто пятьдесят... с сиропом.

Дородная хозяйка нацедила под прилавком в мутноватый зеленый стакан водку, а потом на глазах у народа добавила туда сиропчику. В другой стакан глухо кашляющий сатуратор выплеснул чистую газировку: все честно, кому желательно — может запить. На закуску у Прокопа не хватило, обшарил карманы, удрученно попросил Зинку:

— Добавь.

Зинка знала, что без закуски Прокопу никак нельзя — развезет,— молча достала из-за лифчика рубль: мятый, но вполне доброкачественный. За рубль Прокоп купил пирожок с ливером, ливером не пахнущий, но начиненный чем-то съедобным.

Сироп в стакане слоился, не желая смешиваться с сивухой. Прокоп выпил. Зинка стояла рядом, грустно смотрела на него.

— Почто шары накатила? — буркнул Прокоп, закусывая.— И без тебя тошно...

Зинка вздохнула, быстрым движением заправила под платок выбившуюся прядь, спросила:

— В кино пойдем? «Тарзан находит сына» в клубе показывают.

— Дура,— отмахнулся Прокоп.— В том клубу, а кроме мордобоя, ничего не найдешь. Чего пристала? Иди... к Тарзану.

— Не надо,— Зинка вздохнула опять,— знаешь же, никуда не денусь.

— Ну и опять же дура. Чего тебе — парней мало?

— Ничего не мало, просто другие без надобности...

Завербованная из степной глуши, Зинка Щипачева долгое время маялась одиночеством среди непривычного многолюдья. Общежитие

пугало ее постоянным гомоном, присутствием чужих глаз, от которых ни уйти, ни спрятаться. При первой же возможности Зинка сняла комнатушку в Закаменке. А когда на стройке появился Прокоп и Щипачеву приставили к нему напарницей, Зинка сразу угадала своего, деревенского, в этом большом, совсем чужом городе. Какая печаль, что Прокоп и сам к городской жизни неприспособленный? Все-таки есть к кому прислониться, есть кому слово сказать.

Однажды они грузили плахи, распочав штабель на дальнем лесоскладе. Старенький «ЗИС», ворча, скрылся за нагромождением досок часа на два — шофер на окладе, не торопился.

Была оттепель, от безделья приморило солнцем. Зинка лежала на золотистых плахах, расстегнув телогрейку, развязав платок. Прокоп придвинулся ближе, взял в горсть рыжую прядь волос, сказал тихо:

— Теплые.

Зинка лежала, зажмурившись от яркого света, а когда открыла глаза — прямо перед собою увидела лицо Прокопа. И маленький шрам над правой бровью, побелевший от давности. И Зинка прикоснулась к шраму губами, едва-едва прикоснулась, а все-таки прикоснулась, потому что даже шрам над бровью Прокопа ей нравился. Прокоп слегка отпрянул:

— Ты чего?

— Ничего,— сказала Зинка.

Вот с тех пор Зинка от Прокопа — ни шагу. Свечой обтаяла. При каждом удобном случае норовит в гости пригласить, обхаживает. Но Прокопу все это как бы в тягость. Мананков имел большие планы жизненного устройства, о чем Щипачевой, по его разумению, пока что знать не полагалось. Зинка, конечно, девушка хорошая, только она все по-серьезному хочет, а Прокопу серьезность в таком положении — как налим сапоги. Он уже и в гости-то к ней ходить не хотел. Надоело украдкой пробираться по дворику хозяина, у которого Зинка сняла комнатушку.

На глазах Прокопа со стройки многие дали тягу. Даже вербованные бежали, оставляя паспорта, несмотря на строгости. Отчаянный народ.

Наступил 1953 год. У Зинки срок вербовки кончился, тоже могла бы уехать. Но не хотела ехать одна.

Получив в первый раз городскую получку, Прокоп едва не ошалел от радости, твердо решил: деньги — копить. На обед тратил крохи — горсть конфет-подушечек и полбуханки хлеба. Водой припьет — и хорошо.

Но уже вскоре Мананков догадался, что заработанного кайлом на прожить едва хватит — не то чтобы копить. И Прокоп потерял интерес к копейке. Убедил себя, что копить начнет, когда подыщет настоящее занятие — непыльное и денежное.

А тут еще в бараке что ни вечер — дым коромыслом, гуляет вербованная вольница. Глядишь, Прокопу преподнесут.

— Я сегодня не хочу,— скажет Прокоп на всякий случай.

— А завтра и не будет! — гоготнет кто-нибудь из верховодов.

Зинка Щипачева Прокопу многое прощала, даже пропитые деньги. Не терпела одного — когда Прокоп ругался. Зинка от Прокопа ждала ласкового слова, Мананков же костерил ее на чем свет стоит. Не со зла, просто по гоноховской привычке. А Зинка все равно страдала, хоть и не со зла ругался Прокоп.

Зинка сразу знала, что все-таки даст денег Прокопу, иначе он будет браниться еще пуше. Но каждый раз она оттягивала это как могла и даже на людях не стыдилась брани, потому что случалось — Прокоп

уступал. Но очень редко. Чаще всего, как и сегодня, отступала Зинка. И уходила одна, всхлипывая, догадываясь, что теперь Прокоп истратит все до копейки, а потом будет у нее же занимать на обед.

Зинка ушла. Прокоп сгрел деньги с прилавка. Натужливо преодолевая земное притяжение, с бочки поднялся мастеровой:

— Выпьем?

— Выпьем,— подтвердил Прокоп.

2

Поздно ночью, когда Прокоп добрался до своего барака, Сеня Чуев заканчивал вторую смену. На верстаке поодаль от станка, отсвечивая матовым блеском, лежали еще теплые втулки. До конца смены пустяк, а втулок мало. И вчера Чуев не выдал норму, и позавчера... Но вчера и позавчера это угнетало Чуева, а сегодня — наплевать. Сегодня Чуев обрабатывает последнюю смену, завтра берет расчет: заявление подписано.

Чуеву хочется спать. Веки слипаются — хоть спичками подпирай. Потрепанный «ДИП» гремит шестернями, притупившийся резец с писком вгрызается в металл, снимая длинную вороненую стружку. Едва-едва поднимая отяжелевшие веки, Сеня смотрит и смотрит в одну точку, на кончик резца. Заточить бы надо, но не хочется: авось выдюжит... Нет, не выдержал. От сильного трения кончик резца накалился, стал малиновым: латунь, которой припаяна победитовая пластинка, расплавилась, победит отскочил...

В цех Сеня Чуев пришел минувшей осенью. Ботинки у него были новые, фуражка с молоточками лихо заломлена, как у кронштадтских моряков из старого фильма, в левом кармане форменной гимнастерки — пачка папирос «прибой».

Мастер Гуркин долго разглядывал направление, не поднимая глаз на Сеню, стал сворачивать сигарку. Чуев тут как тут со своими папиросами:

— Между прочим, московские.

— Отец есть? — спросил Гуркин.

— Детдомовский.

— То-то и оно, драть некому,— сказал Гуркин, окутываясь едким облачком дыма.— Я на фронте курить начал...

Сеня пожал плечами.

Мастер Гуркин не задавал сложных вопросов. Он протянул Чуеву чертеж, ткнул пальцем:

— Сколько тебе нужно на эту деталь?

Сеня всмотрелся. Небольшая втулка с закругленными краями, ничего особенного, работа простая. И Сеня небрежно произнес:

— Двадцать минут.

— Ах, герой! — восхитился Гуркин.— Победитель пространства! А ежели материал дам неподходящий? Миллиметров пятьдесят на обдирку?

— Я думал, как положено: припуск до пяти миллиметров...

— Ах, герой! — повторил Гуркин.— Ты должен спросить: каков материал, какое сверло дадут? Двадцать минут... Думаешь, тебя работать научили? Курить научили — это точно, а сумеешь работать или нет — еще поглядим. Прыткий какой, двадцать минут... Я в учениках два года станок убирал, потом уж вышел на самостоятельную. А вас пекут, как блины на холодной сковородке: снаружи вроде бы румяный, а нутро сырое...

Сеня Чуев иронически усмехнулся: про таких мастеров, неулыбчи-

вых с виду, вечных ворчунов, но заботливых наставников, он уже слышан. Теперь Гуркин начнет разыгрывать отца родного, воспитывать начнет. И опять Сеня ошибся, потому что Гуркин приказал:

— Ты, парень, про хитрости, которыми тебе голову забивали, не вспоминай. И про разряд свой забудь. Начинай сызнова: поблажки не жди. Здесь производство, возиться с тобой некому. Пока что будешь эти втулки точить, поглядим, как справишься за двадцать минут.

Прав оказался Гуркин — двадцать минут не время. Пока резцы заточишь, станок наладишь, эмульсии дольешь, масла в коробку добавишь — час прошел. А там, глядишь, приводной ремень порвался; пока цеховой шорник подспеет — еще полчаса промелькнуло. И станок старенький — плохо тянет на больших оборотах.

Но главная в том беда — токарем он оказался слабым, вот что было самым неприятным. Досадно: сменщик у Сени, демобилизованный солдат Иван Уткин, ремесленного училища не кончал, кинетических схем не изучал, а работает на зависть. Постоял в учениках у Мамонова месяца два, и сейчас у него все — и заработок и уважение.

Мамонов кого попало в ученики не берет. Приведут ему сразу двух или трех, денька четыре приглядывается, потом одного оставит. Значит, талант. Вот и Уткин — талант. А Сеня Чуев в токарном деле, стало быть, без таланта. А откуда взяться таланту, если Чуев на токаря определился случайно: детдом определил. Сеня о токаре никогда и не мечтал, он мечтал о капитане. Как читать начал, так и читал про моря и капитанов. Воспитателька, бывало, спросит:

— Ну, а кем у нас будет Чуев?

— Капитаном.

А жизнь повернула иначе: приставила Сеню к станку, к втулкам с закругленными краями. С виду просто, но выполнить норму по своему разряду Сеня никак не может. Вот и сегодня хотел напоследок удивить Гуркина, выточить сколько надо, но не получилось.

...Из цеха Сеня Чуев вышел не торопясь. Что уж теперь? Все равно. А на душе все-таки муторно... Вспомнил, как хотел уволиться Мамонов по случаю переезда на Украину, как забегало начальство, уговаривая Мамонова остаться, обещая квартиру и путевку в дом отдыха. Еще бы, на Мамонове, можно сказать, план держится. Зато Чуеву заявление подписали спокойно. Гуркин только крикнул, расписываясь на уголке:

— Нароботал? Победитель пространства... И Уткину скажи спасибо — выручил тебя. А то пришлось бы за ремонт платить.

Сеня Чуев почему и решил заявление подать — авария у него получилась. И все опять из-за капитанов. Чуев приспособился: пока самостружку снимает, он дверцу в инструментальный шкаф приоткрывает, а на полке книжка лежит. До поры сходило с рук, а потом — авария.

Книжка была про Амундсена, занятая. На самом интересном месте Чуева отвлек от книжки треск и грохот: резец дошел до зажимного патрона, стал высекать искры из каленой стали. Сеня, конечно, станок выключил, но патрон был уже изрядно подпорчен. Шуму было много.

Спасибо Ивану Уткину: сам проточил, исправил патрон без ремонтников. Тут Сеня и написал заявление, а Гуркин визу наложил. Все. Прощай цех...

Сеня весь день проспал в общежитии, поднялся к вечеру. Вскипятил чай, похрустел пересошим печеньем, посидел в одиночестве: ребята уже разбрелись. Умывшись в коридоре, Сеня собрался на улицу.

Около кинотеатра «Металлург» — странного нагромождения бетонных кубов, стеклянных плоскостей, непонятных выступов — всегда многолюдно. Но собирались сюда не ради кино — один и тот же фильм показывают недели три, — а просто здесь, на бульваре, на небольшой площади перед кинотеатром, чуточку светлее, чем на прилегающих улицах. До глубокой ночи можно ходить по бульвару, сидеть на скамейках, целоваться. В полночь по кустам шнырял патруль, раздавались переливчатые трели свистков: берегли нравственность рабочей окраины.

Сеня Чуев едва подошел к «Металлургу», сразу же увидел своих — Женьку Бабанова, Юрку Мошкина. Юрка уже с гитарой, собрал девчат — развлекает. Юрка парень жилистый, курносый, отчаянный до крайности.

Потоптавшись, Сеня Чуев двинулся в нижний конец бульвара. Большинство скамеек простаивало пустыми — холодно еще. Вот появится зелень, тогда пушкой не прошибешь.

— Семен, подожди!

Чуев обернулся на зов, выплюнул окурочек.

— Вика, я уезжаю, — сказал Сеня многозначительно.

— Ты-ы? Куда? Почему вдруг?

— Это не вдруг. Обстоятельства.

— Ясно, у Чуева всегда тайны. Может, сядем перед дорогой?

— Смеешься? — Сеня скривил губы. — Смейся...

Вику Ступину Чуев знал давно, еще по детдому. Тогда ее звали, как мальчишку, Витькой. Вику можно было дернуть за косу, придавить к стенке, чтобы визжала, а можно было вообще не замечать. Но уже в ремесленном училище не замечать Вику стало невозможно. А она как бы мстила за детский дом, теперь уже она не обращала на Чуева никакого внимания, разве вот как сегодня — остановила поболтать.

Вика поджала ноги, обутые в блестящие резиновые ботики, голову втянула в плечи.

— Я уже не работаю. Расчет взял, — сказал Сеня.

— Значит, в самом деле уезжаешь? — удивилась Вика. — А я думала, как всегда — фантазируешь.

— Ошиблась, — сухо сказал Сеня.

— И куда же?

— На Курильские острова. Там, знаешь, бамбук растет... А кругом — океан.

Курильские острова сорвались с языка Сени Чуева совершенно случайно. Но разве это важно? Он уже верил в острова.

3

Хорошую работу найти нелегко, но Мананков упорно искал.

Почти до вечера толкался Прокоп по городским улицам. Шлепал по веселым лужицам на асфальте, приглядывался к объявлениям. Требуется много, а толку что?

На центральной площади Прокоп купил два пирожка с кислой капустой и, далеко не отходя, съел их с отменным аппетитом. Хотя и не было повода для особого торжества, радовался Прокоп свету и теплу, воробьиной возне. Вдрагивал от заполошенных трамвайных звонков: весной и трамвай звенит веселее.

Долго ходил Прокоп, узнавал адреса торговых баз, побывал в нескольких кабинетах, но без успеха. Один начальник даже трудовую книжку попросил, заглянул в нее, свистнул неодобрительно и отдал обратно:

— Прогульщики своих хватает.

Прокоп хотел было рассказать про сволочного прораба Патрикеева, который вкатил в трудовую книжку нехорошую статью, но, посмотрев на укоризненно насупившегося начальника, решил — не поверит.

Мимо заводов Прокоп проходил, на объявления не глядя. И без того знал, что там написано: требуются токари и слесари, машинисты и механики, электрики и шоферы. А внизу каждого объявления еще одно слово: разнорабочие. На завод Прокопа взяли бы и с плохой записью в книжке — людей нехватка, — но в заводские разнорабочие Прокоп боялся. И наказ папаша не забылся: устраиваться к харчам. Лучше уж поискать, ведь должна где-то быть хорошая работа.

Наконец Мананков устал. Безразличной стала ему весенняя отрадность: ноги гудят, пирожки в желудке рассосались — опять захотелось есть. Кое-как доплелся до вокзала, устроился в пригородный. Вскоре в вагонах скопился народ, и поезд тронулся, покотился на левый берег. По пути Прокоп придумал заглянуть в гости к Кузьме Звягину.

Кузьма встретил Прокопа без особого интереса: к старым жильцам, которые числились в его книге, Звягин любопытства не чувствовал. Прокоп же о Звягине вспомнил не случайно: Мананкова выгнали из общежития как уволенного за прогул без уважительной причины. К Звягину Прокоп пришел с тайной целью узнать о прописке. Но сначала рассказал о своих хлопотах.

— Зря ходил. — Кузьма потряс головой. — Хорошую работу на дороге не найдешь. Кому ты нужен: ни знакомых, ни специальности... Вот я золотку устроил проводницей на южный поезд, вот это да-а... Одного компоту навезла — невпроворот. А что рису — так и не говорю: озолотится баба.

— Даже говорить не хотят, — вздохнул Прокоп. — Поглядел в книжку, говорит: у тебя — КЗоТ. А что же мне с тем КЗоТом, в кузнию молотобойщиком? Или в литейку обрубщиком? Мне там мозги за три дня вытрясет...

— Вытрясет, — подтвердил Кузьма и снял с плиты жестяной чайник. — Давай пропустим чайку.

После чая Кузьма отмяк, совсем подобрел. Стал прикидывать, куда Прокопу определиться.

— На лесоперевалку не пойдешь? Не пойдешь... Там бревно мокрое, тяжелое. Хотя и деньги платят... Нет, не пойдешь. На хлебокомбинате грузчиком — нетрудно, но платят мало.

Кузьма ходил по комнатухе, заложив руки за спину: рассуждал. А Мананков сидел у стола, прихлебывая кипяток.

— Ну, а ежели и пристроишься куда, где угол найдешь? У меня, парень, больше не прописывают. Под снос я подпадаю, будут мне выделять квартиру с балконом. — Звягин круто выругался и тоскливо спросил: — А зачем мне балкон? Ты мотай-ка отседа подальше. Вон у словки сосед из Норильска пишет — лопатой деньгу гребет. А кто он такой? А никто, работяга! А в отпуск едет, деньгами сорит, как архиерей...

Звягин вдруг остановился, что-то посоображал, потом увлеченно, словно наконец сделал открытие, затараторил:

— Есть, парень, тебе дело! Верное. Как это я запомнил... Есть у меня знакомец, ушлый мужик, он говорил... Словом, езжай-ка сезонником на Север. Лето повкалываешь — с деньгами вернешься. Точно! Они туда на полгода ездят, до осени вкалывают, потом бесплатно вывозят их. На Большом проспекте поищи ихнюю контору, я приблизительно знаю... Сейчас самый срок наниматься.

Прокоп верил Звягину и не верил. Слишком часто за последнее время не везло Мананкову. А сегодня, если говорить по совести, Прокоп окончательно понял, что в городе, как того хотелось, ему не при-

строиться. Может, в самом деле хоть раз повезет? И загоревшись последней надеждой, Прокоп переспросил:

— На Большом проспекте?

Контора находилась в подвале. Еще с проспекта Прокоп заметил стрелу из фанеры: отряд бЗ. Стрела с раздвоенным концом показывала вниз.

Под сводчатым потолком было накурено, вдоль стен стояли наспех сколоченные лавки. На холодном цементном полу — окурки, обрывки газет и другая сорная мелочь, показывающая, что люди в этом помещении подолгу не задерживаются, забегая на минутку, за порядком не следят.

В одном углу подвала громоздились бочки, пахнущие керосином, в другом — у железной двери, ведущей в глубь помещения, к стенке прислонены были топографические рейки.

Прокоп толкнул железную дверь и очутился в помещении поменьше, но более обихоженном. На стенке висел лозунг, начертанный на красном сатине, на полу — стол с рахитичными ножками крест-накрест, а рядом железный сундук вместо сейфа.

За столом в белом овчинном полушубке, накинутом на плечи, сидел круглощекий человек и что-то быстро писал, макая перо в стеклянную ученическую непроливашку. Прокоп снял кепку, деликатно кашлянул:

— Насчет работы я... Куды тут надо?

— Куды? — переспросил круглощекий. — Сюды, сюды. Специальность какая?

— Нету специальности. Нету, — вздохнул Прокоп, предвидя осложнения.

Но начальник поставил на бумажке последнюю точку, расписался, протянул руку:

— Это хорошо, что нету... Где трудишься?

— Безработный я, — признался Прокоп.

— Еще лучше. Давай паспорт, трудовую...

«Сейчас КЗоТом корить станет», — подумал Прокоп, отдавая документы. Безобидное сочетание букв складывалось в сознании Мананкова в какой-то зловещий звук. Он уже приготовился рассказывать о прорабе Патрикееве, но начальник, придерживая у плеча полушубок, мельком заглянул в паспорт, потом в трудовую книжку: сверил фамилию. Затем нагнулся, крутанул в стенке сундука большим ключом. Крышка со звоном откинулась, документы Мананкова исчезли в железном чреве.

— Деньги нужны? — спросил круглощекий.

— Деньги всегда нужны, — рассудительно ответил Прокоп, — только где их...

Начальник снова нагнулся, покопался в сундуке, а когда поднялся, в руке у него — новенькая двадцатипятирублевка:

— Держи.

Прокоп от стола не уходил, ждал длинного разговора. А дальше было вот что: круглощекий взял чистый лист бумаги и опять принялся покрывать его фиолетовыми буквами.

— А как же... Чего же мне теперь? — спросил Прокоп, убедившись, что молча он может простоять у стола до морковкиного заговенья.

— В каком смысле чего? — в свою очередь спросил круглощекий, не отрываясь от бумаги.

— Деньги вот, как же...

— Что, мало? Больше не даем. Ступай. Завтра с утра приходи.

Простота обращения потрясла Мананкова. Он шагал по проспекту

в сторону вокзала, несколько раз доставал из кармана помятую бумажку, убеждался, что она существует, разглаживал ее и, повторяя, бормотал:

— Я ни сном, ни духом, а он — деньги, говорит, хочешь?

В самом радужном настроении, окрыленный свалившейся удачей, первой за долгое время, Прокоп встал в очередь за билетом на пригородный. Он хотел продлить ощущение окрыленности, поэтому решил купить билет. Чтобы не таиться от проводников.

Прокоп почти приблизился к окошечку кассы и в который раз достал деньги, но тут его осенило: без причины денег не дают. Не было еще такого, чтобы деньги давали просто так, за здорово живешь. Зинка, правда, давала, не заботясь об отдаче, но Зинка не казенный человек — баба...

И Прокоп вышел из очереди перед самым окошечком кассы. Уже не радость, а только тревогу вызывала в нем простота обхождения круглощекого начальника. И вдруг Прокоп понял окончательно — это заманивали его, а потом еще неизвестно что потребуют за каждый рубль.

На левый берег Мананков ехал привычно — в тамбуре. По хозяйскому дворику прошмыгнул к Зинке. Рассказал о случившемся, несколько раз возмущенно повторял:

— Я ни сном, ни духом, а он — деньги, говорит, надобны?

— А что же за человек? — беспокоилась Зинка.

— Кто ж его знает, — хмурился Прокоп. — Полушубок на ем белый... Я уж было разменял четвертную-то, хотел тебе должок отдать...

— Да что ты! — Зинка всплеснула руками. — Ты об этом не думай даже... А работать-то куда повезут?

— Слыхал я, в лес, на Север. Будто по плотницкому делу работа. Звягин сказывал: до осени в тайге, потом обратно вывезут. А вывезут или нет — кто знает?

— И что — одних парней берут? — поинтересовалась Зинка.

— Девочек, что ли, повезут? Девкам, что ли, топорами махать?

— А постирать кому, щи сварить?

— Ты чего это заездила? — покосился Прокоп. — Ты гляди, в это дело не встревай... Щи-и захотелось варить... Не хватало мне мороки — хвост за собой тащить.

Зинка почти весь вечер молчала. Жарила картошку, кормила Прокопа и все молчала. Лишь укладываясь спать под лоскутное одеяло, невзначай спросила:

— На проспекте контора-то?

4

Наутро Мананков подвала не узнал. В переднем помещении — народу полно. Все суетятся, кричат. Один по лестнице бежит на улицу, другой с улицы мчится весь в мыле. До Прокопа — никакого дела.

Мананков уселся на скамейку, ноги поджал, чтобы занятым людям не мешаться, ждет, что дальше будет. Дверь во второе помещение распахнута, и видно Прокопу — за столом другой человек: пожилой, худющий, суетливый. Вот он поговорил с кем-то, размахивая руками, потом как ужаленный выскочил из-за стола:

— Савелов!

— Ага, Степан Макарыч! — отозвался из дальнего угла длинный детина, стоящий на коленях перед большим тюком, набитым всякой всячиной.

— Что — ага? — опять крикнул Степан Макарович. — Не ага мне нужно, а краска! Где краска? Нету краски? Па-ачему нету краски?

— Есть краска, Степан Макарыч,— сказал тот, который Савелов.

— Сколько банок?

— Две, Степан Макарыч.

— Па-ачему две? — взвился Степан Макарович.— Ты цилиндры собираешься красить или на заборах гадости писать? Я сколько говорил? Я десять банок говорил! Бери человека и немедленно на базу.

— Людей нету,— не сдавался Савелов.— Мои люди с Ситковским уехали полушубки получать...

— Люде-ей нету? — Степан Макарович даже задохнулся от нахлынувшего гнева.— А кто тут курит? Кто на задницах мозоли набивает? Людей нету? — повторил он и вприпрыжку подбежал к Прокопу: — Па-ачему сидишь? Чье подразделение? Вон! Вон отсюда! Пришли работать — работайте! Немедленно на базу!

Минут через десять Прокоп трясся в кузове грузовика. Ничего страшного пока не произошло, к шумному начальству Мананков привык, но все равно правильно, думал он, что деньги сберег. Если дело пойдет хуже, можно деньги вернуть и документы потребовать. А то с таким начальством маеты не оберешься — никаких денег не захочешь. Он, может, только для начала безвредно орет, а сам хуже Патрикеева.

На базе Савелов показал, какие банки грузить. Совсем легкие банки, килограммов по десять. Прокоп их моментально в кузов побросал. А этот Савелов ушел и где-то целый час околачивался. Шофер в кабине придремал. Мананков долго не думая закрыл борт кузова, влез и тоже прикорнул.

В подвал они вернулись к обеду. Народу здесь поубавилось, исчезли тюки. А какой народ остался, заметил Прокоп, этот уже не суетился, старался держаться незаметнее. Рядом с Мананковым на скамейку уселся молоденький парнишка, одетый в отличие лучше других — в черном пальто, в форситовых сапогах. Парнишка немного помолчал, елозя по скамейке, потом спросил:

— После обеда станут принимать или сразу?

— Чего принимать? — не догадался Прокоп.

— Рабочих, конечно,— сказал парнишка и неожиданно покраснел.

— Не знаю.

— Говорят, на самолетах повезут...

— Еще чего,— усомнился Прокоп.

— Все так говорят.

Прокоп промолчал. В самолеты ему не верилось. Как это так? А платить кто будет?

От противоположной стенки прямо к Прокопу направился здоровенный парень в стеганке. Подойдя вплотную, остановился, широко расставив ноги, спросил:

— Курить найдешь?

— Махра.

Парень цыкнул сквозь зубы длинной струйкой, вынул руки из карманов:

— Давай.

Пока крутили сигарки — познакомились. Парень деловито осведомился:

— По амнистии выскочил?

— Работал я здесь,— сказал Прокоп.

— А я выскочил. Вышел, глянул — голова закружилась. Все как положено: вышки, колючка. А попросись сызнова — не пустят. Не пустят — и точка! Потому как свободным стал Тимоха Трунов: амнистирован. Эх, братва, птицы-чжики, жить начнем!

Докурить не успели, распахнулась железная дверь, суетливый Степан Макарович крикнул:

— Заходите по одному!

Первым к столу подошел вальяжный мужик с длинными волосами. Он подошел смело, поклонился с небрежным изяществом, подал документы. Степан Макарович заглянул в трудовую книжку и сразу же, закатив глаза, запричитал:

— Ну что вы, голубчик, придумали? Куда я вас возьму, у меня не ансамбль! Вы знаете, что такое наша работа?

— Я твердо решил,— сказал длинноволосый и вздохнул.

— Нет, нет и нет! — зачастил Степан Макарович.— Я не могу! Понимаете, не могу! Вы художник, а мне нужны землекопы! Не могу губить ваш талант!

Степан Макарович отдал артисту документы, приподнялся, с чувством пожал руку. И стоял так, пока артист двигался к выходу. А когда он ушел, Степан Макарович сердито сказал:

— У меня своих артистов девать некуда, того и гляди все имущество пропыют.

Приблизженные к Степану Макаровичу люди понимающе засмеялись. Они сидели под прошлогодним лозунгом, принимая молчаливое участие в найме рабочих.

Степан Макарович выкликнул следующего. Следующим оказался паренек в форситовых сапогах. И опять начальник застонал:

— С меня голову снимают за разбазаривание квалифицированных кадров. Ты ведь токарь! У тебя разряд! А я беру чернорабочих, ясно? Чего тебе — на заводе плохо было? Сухо, тепло, зарплата регулярно... А у нас — в палатках жить!

— Ну и пускай,— сказал паренек.— Я хочу в палатках.

— Он хочет в палатках, слышали? — спросил Степан Макарович своих приближенных, которые в ответ неодобрительно покачали головами.— А что ты еще хочешь?

— Говорят, самолетами повезут...

— Самолетами?! — Степан Макарович схватился за голову.— Все ясно! Токарь,— начальник заглянул в паспорт,— Чуев желает на самолет! Кому в подразделение нужен токарь Чуев? Гокалов, тебе токарь пригодится?

Один из приближенных пожал плечами. Гокалов работал начальником подразделения третий год. И каждую весну он присутствовал при этой комедии. Гокалов знал, что начальник отряда Лемех возьмет в экспедицию и токаря, и пекаря, и даже оперного певца, если, конечно, они не стары, не привередливы. Лемех отправил длинноволосого артиста доказывать свою талантливость вовсе не потому, что пожалел его, а потому, что отгадал его запойность и скрытый гонор: в тайге с таким намучаешься. А парнишка, что стоял перед Лемехом, совсем еще зеленый. Такие, знал Гокалов, исполнительны и потому удобны. И Гокалов сказал:

— Пригодится, пусть едет.

Но Лемех для виду заартачился. Отложив в сторону документы, посоветовал:

— Иди подумай. Полчаса подумай, потом приходи. Наверно, передумаешь.

— Не передумаю! — отчаянно воскликнул Сеня.

— Иди, иди! — приказал Лемех и выкрикнул: — Следующий!

Тимофея Трунова начальник принял моментально. За ним подошел Прокоп. Лемех узнал Мананкова — память на лица крепкая,— осердился:

— Это ты, лодырь, на базу ехать не хотел? Мне лодырей не нужно!

— Ездил я,— слабо отбивался Прокоп,— чего надо — сделал...

— Еще бы не сделал,— внушительно произнес Лемех.— Документы давай!

— Вчерась отдал, деньги получил.

— Кому отдал? — удивился Лемех.

— Толстенькому такому, в полушубке...

— Ситковскому, наверно,— подсказал длинный Савелов.— Вы, Степан Макарыч, вчера Ситковского оставляли здесь.

— Вот чертовщина,— смутился Лемех,— совсем голова закружилась от горячки... Все точно — оставлял Ситковского.

Лемех полез в сундук, поворошил там какие-то бумаги, извлек документы Мананкова. Трудовую книжку пролистнул мгновенно, не обратив никакого внимания на запись, раскрыл паспорт там, где делаются особые отметки, удивился:

— Так ты не судимый?

— Вольный я,— сказал Прокоп.

— Не передумаешь лететь? Условия знаешь?

— Не-е... Деньги вчерась мне дали... Это как, по условиям? Бесплатно деньги дал.

— Бесплатно чирьи садятся,— пояснил Лемех.— Деньги в счет зарплаты: двадцать пять рублей в сутки. Ясно? Выдавать будут начальники подразделений. Решился?

Прокоп согласно кивнул. Тогда Степан Макарович положил на страничку паспорта кругленькую резинку от печати и придавил ее тяжелым пресс-папье. Взял ручку, написал поверх печати: «Принят в отряд 63».

— Смотри, если передумал — другой штамп поставлю: уволен.

Но Прокоп уже тянулся за паспортом. Он хоть простой с виду, Прокоп Мананков, но соображает. Догадался, что на плохую работу с такими строгостями не берут. Наверное, повезло.

Лемех бросил паспорт Мананкова обратно в сундук:

— Теперь осенью получишь.

Часа два сидел Прокоп в помещении: шел прием. Приняли и Сеню Чуева и еще многих. А когда прием закончился, начальники подразделений стали по спискам выкликать своих людей. Тот, которого Лемех назвал Гокаловым, выкликнул Прокопа, Сеню Чуева и Тимофея Трунова. Придерживая у груди пухлую полевую сумку, Гокалов приказал:

— Завтра к восьми как штык. Смотрите у меня... Кому денег дать?

И опять Прокоп получил двадцать пять рублей. Со вчерашними — уже полсотни. А за полсотни у Патрикеева на стройке нужно дня три вкалывать до соленого пота. Нет, что там ни говорите, а у Прокопа начиналась новая жизнь.

Из подвала они вышли втроем, объединенные списком Гокалова. После промозгой подвальной сырости, застоявшегося табачного дыма солнечная улица обдала их радостным теплом, весенней прибранностью, звонким гомоном.

— Эх, свобода! — Трунов от восхищения зажмурился.— Вот она, хотишь — нюхай ее, хотишь — руками щупай!

— За что сидел? — любопытствовал Чуев.

— За дело. Машину зерна увез... Колхозное было зерно.

— И строго дали?

— Сколько положено, столько и дали. Я на закон зла не таю — судили правильно. А вот гада одного, который меня в это дело втравил,

этого гада я не прошу. Когда-нибудь встретимся — бить буду. Долго буду бить. Без слов, от души.

Тимофей Трунов помолчал, видимо, представляя, как он того гада будет бить, затем предложил:

— Я так думаю, чижики: запродались мы на корню, надо куплю-продажу обмыть. Тут поблизости чайная есть, зайдём?

— Чевой-то лишние деньги бросать, — не согласился Прокоп. — Возьмем белого вина, пирогов с капустой... Выпить-то и на воле можно.

— Может, красного купим? — предложил Сеня Чув. — Вообще я согласен, но, может быть, красного? Красное я больше уважаю...

— Водка удобнее. — Трунов пресек прения. — Красное пускай бабы пьют.

Сеня не стал противиться. Он пребывал в состоянии приятного возбуждения и мысленно повторял: «Рабочий отряда 63. Аэрогеодезического управления». Аэрогеодезия... Что-то непонятное, но значительное. Главное — аэро. Значит, авиация. И лететь на самолетах! Далеко-далеко. Оставайтесь со своими станками, нарядами, допусками и припусками. И Мамонов оставайся, и Уткин-талант. Еще неизвестно, у кого талант!

Облюбовали скамейку в тихом сквере, устроились основательно, не таясь прохожих. Прокоп развернул промасленный сверток с пирожками, руками порвал на куски кружок клейкой ливерной колбасы. Тимофей Трунов достал из кармана стакан:

— Увел с прилавка, где газировкой поят.

— А если хватятся? — обеспокоился Прокоп.

— Во дает! — хохотнул Трунов. — Из-за стакана хватятся? Думаешь, искать станут?

— Искать, думаю, не станут, — поразмыслил Прокоп, — только все равно — чужой стакан...

— Ты его потом обратно отнеси, скажи — совесть замучила, — в насмешку предложил Тимофей.

Но Прокоп насмешки не понял, с радостью согласился:

— Правда твоя, отнесу... А то как же так, был стакан — и нету.

Тимофей Трунов пристально посмотрел на Прокопа — не шутит ли? Понял, что не шутит, повернулся к Сене и, подмигнув ему, постучал кулаком по скамейке: дерево. Прокоп ничего не заметил, разливал водку.

5

Целый день убила Зинка Щипачева, бегая по начальству с обходным листом. Книжек в библиотеке не брала, а печать с отметкой подавай. На склад мчись, прораба поймай, гоняясь за ним по всему микрорайону.

Прораб Патрикеев заявление Зинке подписал не сразу:

— Зря, Щипачева, гонишься за этим обормотом. Мананкову одна дорога — чернорабочим вкалывать. А у тебя образование — семь групп закончила. Можем на курсы определить. Хотишь штукатуром? Не хотишь — на маляра можно. У тебя комната есть, крышу над головой ценить надо.

Зинка на уговоры не поддавалась: вербовка кончилась, держать не имеют права.

— Учить-то меня сперва надо было, когда приехала. Просилась ведь. А вы что говорили? План надо. Вот и сполняйте свой план. А я на Север подамся.

Вспомнился Зинке дядечка в подвальной конторе: такой уж обходительный, такой добрый — удивительно даже. Пока разговаривали,

место дал посидеть. Наверное, тот самый дядечка, про которого Прокоп рассказывал. И полушубок на нем белый.

— Вообще-то, Щипачева, женщин мы берем в исключительных случаях. Тяжелые условия у нас,— говорил он Зинке с сожалением в голосе.— Работа наша трудная...

— Я все могу,— уверяла Зинка,— и постирать кому, и обед сварить. К работе привычная, возьмите.

— Избегаем мы принимать женщин,— вслух размышлял начальник.— Но и без женщин в тайге трудно, понимаешь? Трудно... Взять, что ли, на свой риск? Под свою ответственность, а?

— Возьмите,— снова попросилась Зинка,— не пожалеете.

— Не пожалею? — заинтересованно переспросил начальник. — Ну ладно, поглядим. Под свою ответственность беру. Здесь пока глаза не мозоль, приходи перед отправкой. Ситковского спросишь, ясно?

— Спасибо вам! Все понятно — вас найти. Спасибочко. Побегу собираться.

Ситковский проводил Зинку до двери, пожал на прощанье руку, совсем смутив ее. А пока она поднималась по лестнице, смотрел, прищурив глаз, словно бы прицениваясь.

Прокоп пришел поздно, к новости отнесся неодобрительно. Зинка хотела что-то объяснить, но Мананков слушать не захотел:

— Я предупреждал, что врозь будем? Упреждал. Стало быть, врозь и будем. Чего выдумай — за мной тащиться...

— Думаешь, помешаю тебе? — грустно спросила Зинка.— Разве мешала?

— Не перечь! — гаркнул Прокоп.

— Да разве перечу? — Зинка подошла к Прокопу, хотела положить руку ему на плечо, но Мананков резко отшатнулся, и Зинка осталась стоять с поднятой рукой.— Зачем же так, Прокоп?

— Затем, что не лезь, куды тебя не просят.— Прокоп быстро засобирился, схватил в охапку стеганку.— Тебя не просят, ты и не лезь! Чего не сидится на месте? У тебя койка здесь, крыша над дурной башкой!

— Да что вы заталдычили: койка, койка! Что мне, сгнить на этой койке одной-то? Здесь таких девать некуда, а мне тот дядечка в конторе сказывал, что в спедиции без женского присмотра — погибель. Может, ты без меня и не проживешь?

— Я не проживу? Это я с тобой двух ден не проживу, а без тебя ишшо как... И ты в голову себе такого не бери, чтобы мы вдвоих на чужих людях кружились. Покружились, будет.

— Прокоп! — Зинка ухватила за рукав стеганки, пытаясь удержать его на пороге, но Мананков так рванул стеганку, что затрещал рукав, и Зинка отпустила его и осталась одна.

И чего Прокоп взъелся, чем не поглянулась? Вроде бы все на месте: и стоит Зинка на крепкой ноге, и хоть вдоль, хоть поперек — не плоская. А что рыжая и с веснушками, так ведь не одна такая... Брови все равно черным карандашом подрисованы, не хуже, чем у других. На щеке синенькая мушка выколота: по моде. Больно было, но терпела Зинка, подружки говорили: надо, если хочешь кому-нибудь полюбиться. А выходит, ничего не надо.

Терентий Петрович Гокалов, попарившись в бане, лежал на кушетке в нательной рубаше. Он давал последние указания жене. Супруга Гокалова сидела за круглым семейным столом и записывала все в ученическую тетрадку.

— Первую получку пришлют — купи Верке зимнее. Взрослеет девка, приодеть надо. Да приглядывай за ней строже. Не распускай.

— Что ты, Тереша, не волнуйся: Веруна у нас хорошая...

— Все они хорошие, — наставительно сказал Гокалов. — У Сысовых Нинка тоже хорошая была, а в подоле принесла.

— Избави бог! — всплеснула руками жена. — Глазу не спущу.

— Вот так... Еще пиши: после майских поехать к брату за поросенком. Митрий обещался на подсобном хозяйстве достать. Выкормишь.

— Лишь бы достать боровка, а выкормить-то выкормлю. Из столовой каждый день по три ведра остатков носить можно.

— Огороды нынче в степи обещают, картошку посадите. В контору сходишь, все скажут. А в приусадьбе редиски поболее сейте... Редиски да огурцов — живая копейка.

— Это уж как всегда, — успокоила жена.

— В отпуск-то когда думаешь?

— Летом бы хотелось, Тереша... Отдохнуть поехать к своим. Хорошо у них — лес, озерья кругом.

— Лес, лес... А в лесу-то что? — проворчал Терентий Петрович. — Осенью поехала, грибов солевых пособирали бы... Рыжиков там или груздей. Кадушку грибов привезла бы к моему возврату.

Жена вздохнула и записала в тетрадку: кадушка груздей. В доме Терентия Петровича хозяину подчинялись беспрекословно.

— Деньги сберегай, — предупредил Гокалов. — Хоть Лемех и обещает царские условия, а что получится — неизвестно. Может, погорю я на этом сплаве.

— За что они тебя так, Тереша? — осторожно полюбопытствовала жена. — Или не угодил чем?

— Сказано, ум у бабы короток, — обиделся Гокалов. — За что, за что... Доверие мне оказали, понятно? Из всех отличили...

Накануне, по заведенному порядку, Степан Макарович Лемех собрал в контору отряда всех начальников подразделений. Лишний раз с грустью убедился, что армия у него маленькая. А хозяйство огромное. По всей Сибири шастанут партии шестьдесят третьего отряда. Вот и нынче: в Горный Алтай надо послать наблюдателей и астрономов, на Север отправить строителей. Опять же топографы и наблюдатели там нужны. А где людей брать? С кадрами у Лемеха — зарез. Техников не хватает, десятников недобор...

В последний день Степан Макарович пришел в контору одетым по всей форме. Ничего округлого в фигуре Лемеха отродясь не было — новенький китель болтался на нем, топорщился, мялся в крупные складки. Стоило Лемеху шагнуть — и брюки устрашающей ширины приспускались гармошкой, Степан Макарович их все время подтягивал.

В конторе на скамейках сидели начальники партий, подразделений, десятники — Лемех ставил перед ними «задачу на сезон».

— Предусмотреть все мелочи в нашем деле невозможно. Кто не согласен? Все согласны? Правильно. Стало быть, главная задача — самостоятельность и решительность. Радистов для всех партий не хватает, на связь не надейтесь, указаний по радио не ждите... Планы доведены, сметы утверждены. С завтрашнего дня отряд переводится на полевое довольствие, прошу не задерживаться. Вопросов прошу не задавать. Поздравляю, товарищи, с началом работ. Все. Прошу остаться Ситковского и Гокалова. Остальные — свободны.

В подвале стало шумно: заскрипели скамейки, под гулками сводами затопали сапоги десятников, раздались возгласы:

— Привет до осени!

— Мирончук, будешь на Алтае — привези медвежью шкуру!

— Повариху-то прошлогодною берешь, Шмаков? Гляди, сварит она тебе алименты!

— Ха-ха-ха...

— Гвоздей у меня маловато. Три ящика наскреб...

Вот уже и по спидам друг друга похлопали, и пожали на прощанье руки. И кое-кто уже ушел — будто головой в омут, нырнув в другие заботы. А кто-то все еще топтался посередине подвала, словно не решаясь шагнуть в беспокойную жизнь под зыбким палаточным кровом, но все равно потом поднимался к людям, к машинам, груженным тросами и огромными коваными гвоздями, железными печками и ведрами, ящиками с вермишелью и консервами. Сезон начался — ничего не поделаешь, до осени в тайгу...

Степан Макарович усадил Гокалова и Ситковского, а сам остался стоять. Молчал долго, сцепив на груди длинные пальцы. Потом вздохнул и заговорил непривычно спокойно, но с тревогой в голосе:

— К вам разговор особый. На следующий год выходя работать в тундру. В тундру, товарищи... А это означает — дополнительные хлопоты для всего отряда. Вы знаете, Гокалов, что такое тундра.

Терентий Петрович неопределенно пожал плечами. В тундре он никогда не был, но приблизительно знал — болота. Гокалов вообще мало чего знал по гражданскому делу. После восьми лет сверхсрочной службы старшиной с великим трудом закончил курсы техников. На курсах учили строить геодезические знаки — деревянные вышки. Вот и все, что знал Терентий Петрович применительно к мирной жизни.

— Так вот,— продолжал Лемех,— трудности для всего отряда... В тундре для строительства знаков леса нет. Не растут в тундре деревья. Вывод? Лес нужно доставить своими силами. Мы перебрали много кандидатур, остановились на вас, Гокалов...

Начальник партии Ситковский кивнул. Это он подsunул Лемеху кандидатуру Гокалова, потому что жалко было отрывать от строительства опытных начальников.

— Знаю, тяжело будет,— внушительно сказал Лемех.— Дело новое, никто у нас сплавом леса не занимался... Но мы надеемся на вас, Терентий Петрович. Я подобрал специальную литературу, познакомьтесь. Будем считать, что не боги обжигают горшки, а мы их обжигаем сами. Задача ясна?

Терентий Петрович понурился.

— Я, Степан Макарыч, это... подумаю... Можно на размышление срок? — обреченно спросил Гокалов.

— Нельзя! — сердито воскликнул Лемех.— Никаких размышлений! Какие еще размышления? Сезон начался — работать надо. Людей не хватает? Постарайтесь — на берегу в Олонке. Еще что? Опыта нет? Научитесь, Гокалов! Сами научитесь и людей научите! Поймите, Гокалов, вам судьбу отряда вверяем... Справитесь — в будущем году вдвое увеличим объем строительства. Не справитесь — сорвем важнейшее дело!

— А какие условия будут? — как бы невзначай поинтересовался Терентий Петрович.

— Слышу деловой вопрос! — обрадовался Лемех.— Условия обещаю королевские. На заготовке леса — прогрессивка. На сплаве — график. Доставите плоты раньше времени — премиальные. Устраивает?

...Жену обмануть легко, себя — не обманешь. Догадывался Гокалов, что назначение на сплав не обошлось без козней Ситковского. Начальник партии Гокалова невлюбил. В прошлом сезоне Терентий Петрович плана не выполнил. Не по своей вине, просто не повезло. Машину ему дали слабенькую — полуторку. Дождичек брызнет — по лесу на

себе тащи. А весна, как назло, дождливая. А потом болезни на подразделение навалились. А по осени из-за Гокалова вся партия премиальных лишилась. На совещании по разбору результатов сезона Ситковский Гокалова назвал балластом на ногах коллектива. Ясное дело, спихнул балласт...

Вспомнив все это, Терентий Петрович погрустнел. Поднялся с кушетки, подошел к буфету с резными дверцами. Достал графинчик, заткнутый стеклянным чертиком с балалайкой, налил рюмку.

— Деньги сберегай,— повторил еще раз и выпил с горя.— Может, последний сезон еду. Будут прижимать — плюну на все, как-нибудь в городе устроюсь...

К полуночи в доме Терентия Петровича установилась густая тишина. Терентий Петрович извлек из полевой сумки тоненькую книжицу, вслух прочел название:

— «Сплав леса по рекам Сибири».

Это была та самая специальная литература, которую дал товарищ Лемех. Наказывал — изучить детально. Терентий Петрович приказы начальства привык выполнять: послунив пальцы, раскрыл книжку.

6

Машину ждали часа два. Ящики и банки с краской, какие-то тюки и связки тросов лежали навалом у ворот базы. Мананков, Сеня Чуев и Трунов стерегли груз.

Солнце припекало. От луж на асфальте поднимался парок, дальний конец улицы смотрелся сквозь зыбкое марево. Тополя проснулись от зимней спячки, покрылись едва заметным лиловатым налетом: проклюнулись сережки.

Проголодавшись, Прокоп Мананков сходил в булочную, вернулся с буханкой серого хлеба. Достал соль, заботливо увязанную в платок, круто посыпал ломоть, остальное отдал Трунову.

— Я завсегда угостительный для людей,— сказал на всякий случай,— поди, и ты куска не пожалеешь.

— Сухой кусок в глотку не полезет,— посетовал Трунов.— Сообразить бы.

— Можно складбину устроить,— согласился Прокоп.— А начальник не поругает?

Разговор о складчине дальнейшего развития не получил. Разбрызгивая лужи, к воротам базы подрулил грузовик. Из кабины выскочил взмыленный Ситковский, заорал еще издали:

— Где Гокалов? Быстро грузитесь, опаздываем на самолет!

Ситковский побежал искать Терентия Петровича, а Прокоп, доедая на ходу ломоть, подошел к грузовику, открыл борт и остолбенел. В кузове на расстеленном брезенте сидела Зинка Щипачева и держала у себя на коленях цветастый узелок с пожитками. Рядом лежал фанерный чемоданишко, замкнутый на висячий замок. Этот чемодан Прокоп много раз видал у Зинки в комнате.

— Все-таки сидишь? — мрачно спросил Прокоп.— А кто звал?

Зинка смиренно улыбалась; солнце светило ей прямо в лицо, она щурилась, но от яркого света не отворачивалась. Зинке было очень хорошо.

— А меня товарищ Ситковский взял. И ты мне не указ... Грузи вон что положено и поехали.

Таким тоном Зинка никогда не разговаривала с Прокопом. И Мананков сумел бы одернуть ее, как одергивал не однажды. Но тут прибежал Гокалов, все засуетились, заспешили и поехали в аэропорт.

— Я говорил — на самолетах полетим! — Сеня Чуев восторженно смотрел на Прокопа.

Мананков восторга не поддержал, отвернулся. Машина бежала по Большому проспекту на северную окраину города...

7

Самолет почти опрокинулся; глянул Тимофей в окошечко — земля под боком. Трунов ухватил Прокопа за плечо, зажмурился:

— Держись, чижик, посыпались!

— Отцепись! — Прокоп повел плечом. — Помолчи...

Посадки Прокоп не опасался. Всякие там тонкости о сложности приземления Мананкову неведомы: чего бояться — родная земля внизу. Самолет на снижение — значит, передышка близко. И сердце у Прокопа на посадке не заходило, и дышалось ничего себе, будто на качелях.

Вот когда, вздрагивая от натуги, самолет набирал скорость и взлетал, Прокопу становилось мутрно. Голубая пустота, мягко покачивая, пугала противостоительностью положения. И пока самолет летел, оцепенение не покидало Мананкова, он боялся даже пройти в конец салона за маленькую дверцу, хотя бы в том возникала крайняя нужда.

Самолет выровнялся, сбавил скорость, будто наткнувшись на что-то мягкое, круто пошел к земле. Замелькали редкие домишки, занесенные снегом, толкнуло снизу: взревели моторы, самолет покатился, вздрагивая на неровностях, потом что-то заскрипело — остановились.

— Уселись, — облегченно вздохнул Трунов.

А Мананков уже поднялся со своего места и засеменял к выходу вслед за пилотом, который, открыв дверцу, впустил в самолет морозный воздух Олонка, а затем, приладив для схода легкую трубчатую лестничку, подал команду:

— Выметайсь!

Прокоп, торопясь, прыгнул мимо лестницы: едва удержавшись на ногах, обрел равновесие и быстренько отбежал в сторону. Вдоль посадочной полосы тянул пронизывающий ветер, морозец ожег уши, немедля проник под углую стеганку.

К самолету Прокоп возвратился, когда груз, что везли с собой, уже лежал на снегу, а Ситковский, Гокалов и съездившиеся в своей слабой одежке работники обступили встречающего — юркого мужичишку в дубленом полушубке, бородатого, длинноносого, все время переступающего с ноги на ногу от неумемного стремления что-то немедленно сделать, что-то предпринять для всеобщего блага.

— Четвертый день самолеты дальше не пускают... И-и, что делается! В гостинице забито.

— Но ведь нам места заказаны? — спросил Ситковский. — Вы договорились, Успенский?

— Договоривался, а толку-то, — шмыгнул носом Успенский.

— Могут не дать?

— Могут, они все могут... Пойдемте, испытаем судьбу.

Дав команду перетаскивать груз в здание аэропорта, Ситковский и Гокалов, едва поспевая за проворным Успенским, пошли на разведку.

Олонокский порт удивил Мананкова. Небольшой деревянный дом, битком набитый народом. Народ разный, больше все какой-то оголтелый, бородатый, в собачьих дохах, с мешками и ящиками, горластый народ и напористый.

В зале ожидания — буфет. Спирт разливают в стаканы, взвешивают на весах: чудно и непривычно. Кое-кто, заметил Прокоп, разбавляет спирт шипучим вином, на закуску берут банки с нарисованным красным пауком: как употреблять такую гадость, Прокоп не представлял.

Здесь же на разношерстный галдящий клубок людей смотрели окошечки касс. Перед окошечками — очередь. Не та змеящаяся и постоянно обновляющаяся, которая живет час, самое большее — два, а та, которая складывается сутками, в которой все друг друга знают. Фактически не очередь — коллектив, объединенный общими интересами, сплоченный перед лицом всяческих напастей: будь то какой-нибудь ловкач, пытающийся проникнуть к окошечкам без права, выстраданного ожиданием, будь то крикливая баба-уборщица, без особой пользы размахивающая метлой. В первом случае очередь поднимала страшный шум. Кто сидел на ящиках или рюкзаках, сразу же подскакивал, люди толпились, не пропуская нахала. Во втором случае глухо ворчали, передвигали свои рюкзаки и ящики, но не совсем, не в дальнюю сторону, а так себе, чтобы тут же водвориться на старое место, теперь уже подметенное.

Если Прокоп Манаңков немного оробел от скопления народа, то Сеня Чуев смотрел на эту толчею, млея от радости. Ведь среди этих бордачей в унтах и дохах наверняка есть настоящие золотоискатели, есть, наверное, капитаны северных морей.

Покинув Тимофея Трунова, который остался присмотреть за грузом, Чуев ходил по залу ожидания, протискиваясь сквозь тесные группки людей, и жадно слушал обрывки разговоров, слова, пахнувшие простором, белым безмолвием, мужеством.

— В Тикси пурга по-черному работает.

— Это как по-черному?

— Как? А вот так: руку вытянешь — пальцев не разглядишь. Понял?

Кто как, а Сеня понял. Черная пурга — это когда люди ходят, придерживаясь за натянутые веревки. Об этом Сеня читал, но позабыл. А теперь вот вспомнил.

В углу зала, отгородившись жестким диваном с высокой спинкой, резались в карты. Играли, видать, давно, устали. Бросали карты без особого азарта, хотя на кону лежала куча денег. Покосившись на Сеню, банкомет смекнул, что его опасаться не стоит, сбросил себе туза. Заговорили:

— Жилых откроют, Кресты не пускают... Надоела ожидаловка.

— Шурфы бить не терпится?

— Не в шурфах дело, к месту бы скорее.

— Полевые идут? Идут. Северные начисляют? Начисляют. Вот и сиди где пришлось.

— А помнишь, как из Таймалыра выбирались? Вот было...

— Да-а, в Таймалыре было. Что за лето заработали, почти все там и оставили: два месяца ждали, пока вывезут.

— А вот мы на Яне...

Около буфета Сеня Чуев опять задержался. Его внимание привлекла группа парней, которые выделялись среди других. Все как один в меховых куртках, совершенно новых, с широкими воротниками, обутые — Сеня Чуев никогда таких и не видал — в меховые сапоги с «молниями» вдоль голенищ.

Парни пили шампанское, ножичками ковыряли консервированных крабов. Подтрунивали над каким-то очкариком:

— Ты хоть живой вертолет видал? Нет? Вот так. А нас уже обслуживают.

— Так и нам обещают.

— Нет, вы слыхали — им обещают! Наивняк! Пока Камаканская экспедиция работает — никто не получит.

— Точно, — вздохнул очкарик. — Вы — особ статья. Вон как вас одели...

— Ну, переходи к нам! Хочешь, с хозяином потолкуем?

— Не-ет,— очкарик отхлебнул вина,— нам надо структуру до конца довести.

— Смотри, тебе жить. Мы ведь и без тебя...

Один из парней, на вид самый старший, заметив любопытствующую физиономию Сени Чуева, нахмурился, наклонился к уху очкарика, что-то зашептал. Сеня Чуев, застыдившись, отошел.

Тем временем вернулось начальство. Ситковский похлопал в ладоши, требуя внимания, объявил:

— Груз до завтрашнего дня сдавайте на хранение, мы договорились... Получайте деньги и располагайтесь ночевать; Успенский проведит.

— А чего провожать-то? — сказал Успенский.— И так найдут. Записочку дам, устроят.

— Пешком, что ли, шагать? — поежился Трунов.

— Денег дам — такси нанимай,— усмехнулся Гокалов.— Здесь такси с рогами.

— Это совсем рядом,— заверил Успенский.

— Полушубки же обещали, как прибудем.— Тимофей опять поежился и вздрогнул, показывая, что промерз.

— Будут полушубки,— сказал Ситковский.— И полушубки и валенки. Но не сразу.

В зале ожидания было так накурено, что у Ситковского разболелась голова. Он направился к выходу. Все потянулись за ним. На улице Ситковский закончил:

— Смотрите у меня, без фокусов! Мы уже числимся в поле, так что мои распоряжения имеют силу полевого приказа. А что такое полевой приказ? Это — святыня! В экспедиции слово начальника — приказ в квадрате. Нарушители дисциплины лишаются премиальных, прогрессивки, а могут лишиться и... В общем, прошу иметь в виду. Мы сегодня заночуем в гостинице. Кстати, Щипачева, вы можете остаться с нами. Все-таки женщине в гостинице удобнее...

Зинка взглянула на Прокопа. Посмотрела как-то просяще, словно защиты искала. Прокоп же на ее взгляд не отозвался, равнодушно потупился, дав понять, что ему наплевать, куда и с кем пойдет Зинка.

Терентий Петрович вынул из полевой сумки тоненькую пачку кредиток, отсчитал каждому положенное, строго предупредил:

— Собираемся к девяти. Успенский заказал оленей — перевезем груз на базу. За неявку взыщу.

Квартира в самом деле оказалась близко. Прошли мимо ничем не огороженного аэродрома, поднялись по отлогой тропинке на заснеженный холм и вот он — поселок. Дома серьезной постройки, крепкие, почерневшие от времени, но тлену не поддавшиеся: смолевые бревна износа не знают.

Догнав старуху, тащившую деревянные санки с бочкой, полной воды, спросили, где найти хозяйку, которая сдала в аренду дом.

— С Филимоной мы рядом сселены, суседи,— сказала старуха.

Подхватили санки — кто за веревку, кто сзади подталкивал. Старуха, не отставая ни на шаг, воодушевленно зачастила:

— У нас изба не плоше Филимоной, а чевой-то не пришли арендовать. Филимоной-то пронырлива — ужась!

— Молодая она? — полюбопытствовал Трунов.

— Молодая,— завершила старуха.— Как похоронную получила на мужа, так и осталась молодой...

Встретила их женщина лет пятидесяти, была она пасмурна, неулыбчива. Покрутив в руках записку Успенского, сказала дребезжащим баском:

— Ваша горница со двора отчиняется. Ступайте, там уже один мухлюй расположился.

Мухлюй оказался человеком хрупкого телосложения, с длинными волосами, что по тем временам встречалось нечасто. Когда они вошли, он надел пиджак, висевший на спинке стула, из кармана достал очки, нацепил их на нос, пригладил волосы и только потом сказал:

— Фамилие мое Библиенко. Звать — Николай Филаретович.

В дальнем от Гонохова райцентре, слышал Прокоп, проживал опальный батюшка отец Филарет. Длинные волосы Библиенко, его фамилия и отчество навели Прокопа на радостную мысль, что перед ним земляк. Он с интересом спросил:

— Из поповских будете?

Библиенко на это обиделся, снял очки и внушающе произнес:

— Мое фамилие к религии не относится. Я счетный работник. И меня знают в Иркутске...

— А меня в Барабинске знают,— сказал Тимофей Трунов, неожиданно шагнув вперед.— В Ачинске тоже знают. И ничего, не обижаются.

— Я не понимаю,— Библиенко снова нацепил очки и пригладил волосы,— что намекиваете? Меня подозрели в церковной работе, и я отвечаю...

— Я не подозрел,— смущенно вмешался Прокоп.— У нас в Арабели отец Филарет был, мелькнуло — не папаша ли...

— Мне нет интересу, что у вас мелькает,— отчеканил Библиенко.— И вы, не зная меня, не клеветайте!

— Слушай, ты, фламинга со стеклышками, а ну-ка сбавь обороты!— Трунов горой надвигался на Библиенко.— По очкам захотел?

— Тимофей, чего на человека взъелся? — подал голос Сеня Чуев.— Нельзя же так, впервые человека видим...

— Я его давно знаю,— буркнул Трунов, но отступил.

Библиенко слегка оторопел перед натиском Тимофея, но, услышав его слова, встрепенулся снова:

— Откудова вы меня знаете? Откудова?

— Кончай глотничать,— тихо посоветовал Трунов.

— Трунов, перестань же! — страдальчески воскликнул Сеня.

— Ладно, замнем для ясности,— согласился Тимофей, прошел в передний угол и разделся, бросив ватник на пол.

Кроме единственного стула и разросшегося в ушате фикуса, никакой мебели в горнице не было. Около печки лежал потертый фибровый чемодан Библиенко и его же бобриковое пальто.

Согласившись работать в экспедиции, Николай Филаретович считал, что ниже падать некуда. Все потеряно — шумный город Иркутск, комната, снятая за весьма умеренную плату, невидная, но доходная служба на топливном складе. Своими руками Библиенко к антрациту не прикасался, испачкался о бумажки. Страху натерпелся — в жизни не забудет. Пока ревизор извлекал из архива отработанные накладные, Библиенко кило на шесть похудел и даже пожелтел вроде. Такого желтого Николая Филаретовича и выставили со склада, и учинили запись в документах, что к материальным ценностям его подпускать нежелательно.

В экспедицию Библиенко завербовал завхоз Успенский, который летел на Север через Иркутск.

— Вы же грамотный, вам десятником быть...

Грамотным Библиенко был только для выписывания накладных, но, польщенный отношением Успенского согласился.

Вечеровали недолго — сказалась усталость, накопленная за трое суток утомительного путешествия с пересадками и неустроенными ночевками в промежуточных аэропортах. Пожевали хлеба с колбасой, купленной впрок еще в Красноярске, попили студеной воды из бочки в сенях и улеглись на полу, поближе к теплу. Библиенко выключил свет, расстелил две газеты, лег на них и укрылся пальто.

Когда притерпелись без электричества, заметили, что за окнами не темная ночь, а долгие сумерки, и непонятно — ночь это или вечер, а может, утро уже начинается. Сене Чуеву в окошко видать: только самые крупные звезды светятся, а мелочь, которой богато ночное небо на материке, растворилась в этом мраке.

— А где же база экспедиции? — зевнув, спросил Чуев.

— Завтра узнаем, — отозвался Трунов. — Завтра надо полушубки выбивать из начальства... Обещали — пускай дают, здесь до весны еще долго.

— Чевой-то начальник говорил — приказ в квадрате, это как? — задумчиво сказал Прокоп.

Сеня Чуев вздохнул:

— Ну, Прокоп, с тобой со скуки не умрешь... Где тебя такого делали, еще бы парочку заказать.

Прокоп не обиделся. Пока до Олонка летели, Сеня Чуев с Тимофеем характерами сошлись — городские люди. А над Прокопом все посмеивались. Но, посмеиваясь, подставляли ему ящики потяжелее.

Мананкова это не волновало, он думал о другом: с кем работать? Трунов — шоферюга, топора в руках не держал, да и поехал он в экспедицию по нужде, а не в надежде на заработок. Парнишка этот, Чуев, вообще ничего не умеет, только петушится да про свой токарный станок рассказывает. А тут еще Библиенко подвернулся, тот и вовсе не рабочий человек. А с кем же работать? Если бы по отдельности платили, тогда бы у Прокопа голова не болела, но в том-то и дело, Гокалов объяснял — зарплату начисляют чохом, всему подразделению поровну. Стало быть, сколько ни упирайся, а если тот же Чуев или Библиенко нормы не выполнят, то и Прокоп останется без заработка. Неужели, думалось Мананкову, в эту экспедицию не едут серьезные мужики?

Еще ночью, выходя во двор не столько по нужде, сколько от бессонницы, Прокоп заметил, что морозу поубавилось. А утром вышел — снег под ногами не скрипит, по приметам погода склонялась на буран.

Из сарая, низко нагнувшись в дверях, во двор пожаловала хозяйка. В подойнике пенилось молоко, пар поднимался над ведерком. Прокоп повел носом — нестерпимо захотелось молока. Посторонившись с занесенной снегом тропки, Мананков вежливо поздоровался, спросил участливо:

— Доится еще кормилица?

— Куды там! — огрызнулась Филимониha. — Дергаешь, дергаешь за сиськи, а молока — слезы.

— Зима у вас длинна, — Прокоп покачал головой, — до выпасов тянуть плохо.

— Месяц еще в стайке кормить, а то и полтора. — Голос Филимониhi потеплел, сочувствие Прокопа тронуло ее. — Это не Расея...

— Так и я не расейский — сибиряцкий, — охотно объяснил Прокоп. — А только у нас вот-вот водополье шуганет — все затопит. Потом подсохнет, на водотопных лугах травища подыметя — литовкой не взять.

— Лугов и здесь хватает, — вздохнула Филимониha, — косить некому... Сейчас народу полно, к лету — пустынь, все в тайгу уйдут. А самой где управиться?

— Молочка не продашь? — подвел Прокоп к главному.

Хозяйка взглянула исподлобья, предложила без особой надежды:

— Снег в подворье разгребти — продам.

Прокоп согласился: копать снег привычно, у прораба Патрикеева по четыре копейки кубометр копал. А снег-то разве такой? На стройке снег с обломками кирпича, с ошметками цементного раствора. А тут — пух. И молока хочется.

Прокоп расчистил широкие дорожки — от крыльца к сараю, к дощатой уборной. И даже на улице под окнами все расчистил, хотя работа была бесполезная: поземка усилилась.

Просыпаясь, из дому по одному выходили квартиранты. Библиенко прошел по дорожке молча, даже не поздоровался. Сеня Чуев просеменил к уборной, крикнув на ходу:

— Даешь, Прокоп! Спозаранку в трудах!

Тимофей Трунов спросил недоуменно:

— Ты чего это? Зачем?

Зато немного погода, когда Прокоп принес от хозяйки поллитровую банку с молоком, тот же Трунов обрадованно потер руки:

— Дело! Вместо заварки в кипяток зальем, погреемся!

Прокоп и Тимофею в кружку плеснул, и Сене Чуеву, и даже Библиенко, которого, считал, обидели вчера напрасно. Сеня Чуев за молоко сказал спасибо, а Библиенко только головой кивнул, блеснув своими стеклышками. Самому Прокопу молока осталось вполовину от того, что было. Как раз столько и надо.

Пока пили чай, собирались да шли по деревне — закружила настоящая пурга. «Опять хозяйке по сугробам лазить», — подумал Прокоп, отворачивая лицо от колючего ветра.

Выбрались на вершину холма — ничего не видать. Постройки аэропорта, которые вчера отсюда были видны, скрылись в белесой мгле.

— Не заблудимся? — крикнул Сеня Чуев, вспомнив разговор о черной пурге в Тикси.

— Где же тут блудить! — ответил Прокоп и пошел первым, прокладывая след. — Спешить надо, начальник наказывал к сроку...

8

На крыльце аэрофлотовской гостиницы, двухэтажного деревянного дома, их поджидал завхоз. Отвернув рукав полушубка, Успенский взглянул на часы и обрадовался:

— Постарались! Молодцы! Сейчас олени должны прибыть... А вот они уже здесь. Молодец, Туприн!

Со странным костяным звуком, нелепо выбрасывая длинные ноги, к гостинице приближались олени, впряженные попарно в узкие нарты.

— Ого-го, — закричал Успенский, — давай сюда!

Передние нарты подкатили к крыльцу, каюр бросил на снег тонкий шест, которым погонял оленей, потом соскочил сам и резко дернул за повод. Олени остановились. Каюр засунул рукавицы за ремень, улыбнулся, весело сказал:

— Табак курим!

— Молодец, Туприн! — похвалил Успенский.

Туприн улыбался, раскуривая коротенькую трубку.

Уже погрузили тросы и ящики, когда из гостиницы вышла Зинка Шипачева. Прокоп сначала не узнал ее, а потом пригляделся и оторопел. Зинка стояла на крыльце, обутая в маленькие черные валенки, одетая в новехонький полушубок. Воротник у полушубка поднят, и Зинка, немного скособочившись, одним ухом о воротник терлась и жмурилась, потому что ветер ей прямо в лицо хлестал.

— Видал, заработала уже,— ослабился Тимофей Трунов.— Теперь тебе ее не видать как своих ушей.

— Плевать я хотел,— нахмурился Прокоп.— Выдра, она и есть выдра.

— Выдра не выдра, а устроилась около начальника,— зло сказал Трунов и, отвернувшись от ветра, стал закуривать.

У Тимофея на Зинку своя обида. В Кулуме позвал ее погулять. Зинка по привычке на Прокопа поглядела, а Мананков будто бы ничего не слышит, в сторонку отошел. Гуляли недолго, негде в Кулуме гулять в распутицу — грязь. Походили вокруг аэропорта, попытались проникнуть по деревянному тротуару подалее в поселок, но вернулись обратно: тротуар сломан. А тут уже совсем стемнело, и Тимофей решил — облапил Зинку.

— Ты что, сдурел?! — взъярилась Щипачева.— А ну, убери грабли!

— Чего убери, чего убери? — хрипло выдавил Тимофей.

— А ну, пусти! — Зинка заизвивалась, пытаясь вырваться.— Пусти, паразит!

Наконец Зинка рванулась так, что Тимофей не устоял на ногах, взмахнув руками, упал в грязь. Поднялся, тяжело дыша, процедил сквозь зубы:

— Чего кричишь, сука...

— Кто сука? — Зинка сделала шаг вперед.— Да я тебе морду искровеню за такое слово!

— Ладно, ладно,— скривился Тимофей, но отступил.— Подумаешь, подняла хай, тронули ее... Шуму больше. Может, я поцеловать хотел.

— Поцелова-ать,— всхлипнула Зинка.— Чего же ты, как зверь, бросаешься? Постылые... От вас слова душевного ждут, а вы — сразу...

— Сло-ова ждут,— протяжно передразнил Тимофей.— А с Прокопом тоже слова ждала? А сама лаешься, как сапожник,— это ничего?

— С вами не лаяться, волчицей завывать можно,— вздохнула Зинка и пошла прочь. Приостановилась в отдалении.— Прокопа ты не тронь.

Тимофей щепочкой соскоблил грязь со штанов и ватника. Потом разыскал колонку, руки помыл. И долго еще стучал каблуками по дощатому тротуару. Ходил взад-вперед, чего-то думал: тошно было Трунову.

А Зинку в тот вечер в зале ожидания Ситковский нашел:

— Ну, где же вы так долго пропадаете? Я ужин заказал, пойдемте.

— Нет-нет, что вы, я не хочу! — отмахнулась Зинка.— Вчера ходила, посмотрела — хватит.

— Что это вы, право,— укоризненно сказал Ситковский.— Вчера — это вчера, а сегодня ужинать тоже надо. Пойдемте, не обижайте меня. Одному, знаете, скучно...

Раньше Зинка об ресторанах думала плохо, думала — только пропащие люди в ресторанах сидят. А вчера в Красноярске Ситковский уговорил пообедать, так оказывается — ничего, сидят себе обыкновенные люди, некоторые одеты ничем не лучше, и едят биточки и котлеты. Водку, правда, пьют, так это даже лучше, чем пить ее в гадюшниках или на улице: в ресторане хоть с закуской.

В Кулуме ресторан поплоче: столики под клеенкой, стаканы граненые, а уж оркестр и подавно захудалый. В кулумском ресторане Зинка совсем освоилась, а уж в Олонке к приглашению Ситковского отнеслась как к должному: ужинать так ужинать. И опять вчера Зинка выпила красного вина. Немного. Сладкого. Голова слегка закружилась.

— Я дал команду, Зина, чтобы Успенский вам предоставил полушубок и валенки. Только вам, Зина.— Ситковский улыбался. Он раскраснелся, на лбу выступили капельки пота, и Ситковский промакнул их мяг-

кой бумажной салфеткой.— Надеюсь, вы понимаете, Зина, что это только для вас?

— Спасибо, Роман Николаевич.

— О-о, одного спасибо мало.— Ситковский шутливо погрозил Зинке пухлым пальцем.— Ради вас я нарушил порядок. Спецовку мы имеем право выдавать только на базе... А я вот — видите...

— Ну, я вам два спасибо скажу,— засмеялась Зинка. Ей было хорошо с этим вежливым, обходительным человеком, который чем дальше, тем лучше относился к ней.

Перед самым закрытием ресторана Ситковский вдруг предложил:

— Возьмем шампанского и поднимемся ко мне.

— Зачем, Роман Николаевич? — Зинка поднялась из-за столика.— Я спать пойду.

— Нет-нет,— решительно сказал Ситковский,— такой прекрасный вечер должен иметь достойное завершение — мы выпьем шампанского!

Размахивая большой черной бутылкой, Ситковский подошел к двери своего номера, пригласил:

— Прошу.

— Я не пойду,— тихо сказала Зинка.

— Зина, ведь я ваш друг! — обиженно воскликнул Ситковский.

— Вы начальник, Роман Николаевич,— все так же тихо сказала Зинка и пошла по коридору к общей женской комнате, куда ее с большим трудом устроил Успенский.

— Зина! — Ситковский догнал ее, схватил за плечо.— Ну что вы в самом деле! Почему бы нам не посидеть?

— Я не хочу сидеть, я хочу спать,— непреклонно сказала Зинка и, выскользнув из-под руки начальника, ушла...

Проснувшись, Ситковский подумал, что сегодня — прощанье с цивилизацией. Ни гостиницы больше не будет, ни ресторана. Начинается полевая жизнь, обступят заботы, пойдут неприятности. А все потому, что нет ядра кадровых рабочих. Вон у геологов — работа постоянная, заработок стабильный, поэтому и люди держатся. А у Ситковского в партии плотники-верховики кадровые, да и то не все. Остальные — сезонники, случайный народ.

Но главная беда — радист. Сидит на базе зверь, не подступиться к нему. В прошлом сезоне Ситковский решил твердо: радиста Мыльников из партии уволить. А он, подлец, отказался выезжать на материк. По закону же, если человек желает остаться на зимовку, увольнять его нельзя. Отряду выгодно, чтобы человеку лишний раз билетов на самолет не покупать... Вот и просидел Мыльников всю зиму на базе, на связь с отрядом выходил, когда заблагорассудится, пил, сообщают, беспробудно. Как с таким работать? Просил у Лемеха нового радиста, а начальник отряда свое гнет:

— В других партиях и такого нет. Радуйтесь!

Лучше уж его совсем бы не было. Знал бы Ситковский, что связи нет, нервы не трепал. Нечего сказать, дал он маху, когда Мыльников на работу принял! Подсунули геологи. Начальник разведки уговорил:

— Мыльников — класс! Пятнадцать лет в Арктике, с таким не пропадешь!

С таким в омут бросишься. Сами-то, наверное, намучились с ним, вот и подсунули. А тут еще новости — завхоз начинает кадры подбирать. Успенский какого-то жулика привез, пообещал ему должность десятника... Вчера, пугая работяг строгостями о лишении премиальных, Ситковский самого главного не сказал, умолчал, что злостным нарушителям дисциплины обратного билета на самолет не будет.

Вспомнил вчерашний ужин, вздохнул: «Соплячка, а туда же... Норов показывает. Ничего, притерпится...»

На крыльце Ситковский появился по зову Гокалова. Терентий Петрович с Успенским все досконально проверили: как груз увязан, не потеряется ли чего по дороге. А уж потом Гокалов пошел за начальником. Ситковский первым делом к Зинке:

— А вам к лицу, товарищ Щипачева, наша спецовка. Смотрите-ка, не узнать вас. Молодец Успенский, расстарался...

— Когда нам полушубки дадут?! — сердито выкрикнул Трунов. — Если мы не с тобой, начальник, в гостинице, так можем на морозе погибнуть?

— Я думаю, если вы не женщина, то можете и потерпеть. — Ситковский нахмурился. — Было ясно сказано: получите.

— А ехать, простите, как? — Библиенко поправил очки. — Мы можем замерзнуть.

— Замерзнуть вы никак не можете, — поспешил Успенский начальнику на выручку. — Олешки ослабшие, груз тяжеловатенький, придется иногда рядком с нартами пробежку делать. Верно я говорю, Туприн?

— Слабый олень, слабый, — согласился каюр. — Кто мерзнет — сокуй даю, шкуру даю...

Туприн отвязал со своей нарты сокуй, у помощника забрал оленьи шкуры. Библиенко как-то боком-боком, но оказался самым первым и взял сокуй из рук каюра. Одна шкура досталась Сене Чуеву, другая — Тимофею. Прокоп Мананков за шкурами не погнался, какая в них корысть? Вот сокуй бы — толстую меховую рубаху с капюшоном, длинную, почти до пят, — такую одежку Прокоп бы взял. Но раз сокуй достался Библиенко, пускай. А шкура Прокопу и даром не нужна. Жесткая, колом торчит: не завернуться в нее, не укрыться.

К Прокопу подошла Зинка:

— Может, возьмешь мой полушубок? Я в стеганке не заколею, у меня поддевано много... Возьми, а?

Мананкова жаром обдало от такого бесстыдства. Он вскинул голову, как норовистая лошадка, зубы стиснул. Тимофей, стоявший рядом, еще большее подначил:

— Возьми, Прокоп! С барского плеча шуба-то, за особые заслуги жалована...

— Шагай отсель! — прошипел Прокоп сквозь зубы. — Мне твою способность не надо! Иди, зовут!

А с передних нарт и в самом деле раздался голос Ситковского:

— Товарищ Щипачева, задерживаете! Идите скорее, трогаемся!

Зинка печально посмотрела на Прокопа, ничего не ответила, ушла. Тимофей подмигнул:

— Правильно сделал, подачек не берем.

Мананков устроился на нартах, груженных двумя ящиками с вермишелью. Втиснулся между ящиков, сообразив, что так ему в спину ветер не достанет. Управлять оленями не нужно, они привязаны к передним нартам, потянутся. Стало быть, руки можно под мышками греть, ничего страшного — доедет.

Сеню Чуева, наоборот, очень угнетало, что оленями нельзя править. Он уж и каюра просил пустить его нарты отдельно, чтобы ехать самостоятельно, но Туприн сказал:

— Нет. Другой олень неграмотный, мой грамотный.

— Как это — грамотный? — спросил Сеня.

— Мой олень повод знает, твой привязанный идет.

Так и ехал Сеня Чуев впервые в жизни на оленях на короткой привязи, на чужом поводу. Прикрылся от ветра жесткой шкурой и ехал, поч-

ти ничего не видя. Да и что смотреть? Тот восторг, что теснил его грудь с той минуты, когда самолет поднялся над городом, незаметно растаял, растворился в заботах, как бы устроиться поудобнее на ночевку, как бы уберечься от ветра да как бы поскорее добраться до постоянного места. Сеня Чуев пока еще не осознал, что постоянного места в обычном понимании у него не будет до самой осени, что экспедиция, если она не стационарная, — это в первую очередь полное отсутствие постоянного места. Не знал он также, что холод, ветер и дождь — основные приметы его новой жизни.

И еще немало пройдет времени, пока Сеня Чуев научится не замечать плохой погоды, потому что она всегда плохая, научится не замечать неудобств кочевого способа существования, а отдыхать привыкнет в любом положении, где придется. А потом еще будет время, на Чуева навалится постоянная усталость. И лишь когда он преодолит эту усталость, придет к Чуеву второе дыхание, радостное ощущения Арктики. Это будет уже не тот жутковатый восторг, с которым Сеня Чуев покидал свой город, — это будет уверенность, утверждающая в человеке его пригодность к жизни.

Ехали долго, с перекурами, давали отдых оленям. Во время остановок бегали, стараясь согреться. Сеня Чуев боролся с Труновым, пищал, зажатый крепкой рукой Тимофея. А Прокоп бегал один: отбежит шагов двадцать, подгоняемый ветром, повернется назад. Разве согреешься на ветру?

Впереди Зинка грелась с начальником. Толкались они плечо к плечу. Зинка сбивалась с дорожки, увязала в рыхлом снегу, визжала от непонятной радости и протягивала руки Ситковскому, а тот ей охотно помогал и смеялся, чего-то говоря. Все шевелились. Один Библиенко за всю дорогу не поднялся на ноги. Как завалился на нарты, запакованный в сокуй, так и доехал до базы.

База — несколько разбросанных домишек, срубленных на скорую руку, — расположилась на высоком, обрывистом берегу. Съехали на лед, опять остановились. Успенский предложил:

— На оленях подниматься — лишних два километра. Давайте пешком по тропке взберемся...

Никто не воспротивился разумному предложению, только Библиенко лежал притаившись, будто ничего не слышал.

Трунов вразвалку приблизился к нартам, ухватил сокуй за плечи, рывком дернул на себя. Библиенко, не ожидавший подвоха, выскользнул из сокуя. Поднявшись на ноги, он ринулся на Тимофея:

— Хулиганство! Чего ко мне привязался?

— Ничего. — Тимофей равнодушно пожал плечами. — Начальник велел разбудить.

— Безобразие! — разорялся Библиенко. — Думаешь, нет на тебя управы? Ничего, в гайге тоже прокурор не медведь...

— Ах ты козел комолый! — встрепенулся Тимофей. — Кого прокурором стращаешь? Я тебе...

— Прекратите немедленно! — закричал издали Ситковский. — Разойдитесь!

— Еще потолкуем, — пригрозил Трунов и показал Библиенко кулак. Олени тронулись. Тимофей сказал Прокопу:

— Видал, какая пакость? Прокурора вспомнил... Я ему покажу прокурора!

— Зря связываешься, — ответил Прокоп. — Не знаешь человека, а лезешь. Может, клеветной человек-то... А может, хороший, а ты остервелся на него.

Трунов промолчал. Он и сам чувствовал свою неправоту, но ничего поделаться с собой не мог. Как только увидел этого Библиенко, так и захотелось какую-нибудь гадость учинить ему, потому что сразу вспомнил своего заклятого врага, из-за которого жизнь пошла наперекосяк. Вот и обличьем Библиенко не похож на того, и ростом, и лицом совсем другое, а все кажется, что один и тот же человек.

В последний раз, когда ездил Тимофей на уборку, поставили его на постой к колхозному счетоводу Дронову. Не столько квартира была хороша, сколько дочка счетоводова — Галя. И откуда у сволочей такие дочки?

По вечерам, сделав последний рейс, Тимофей возил Галю на дальнее озеро. Но длилось это недолго. Счетовод однажды сказал:

— Ты вот что, парень, Гальке мозги не крути, а то плохо будет. Восемнадцать годов девке, потеряет голову, а тебя и след простыл...

— Почему же простыл, — намекнул Тимофей, — я за город не очень держусь, могу в вашу МТС устроиться, шофера нужны...

— А я сказал — не крути мозги, — отрезал Дронов. — Ей школу надо кончать, а не трепаться с заезжей шоферней!

— Эх вы, — обиделся Тимофей, — что же вы на свою дочь клепаете? Разве я что плохого сделал?

— Сделал не сделал, а Гальку не замай... И еще вот что: в клубе для городских общежитие устроили, переходи на постой.

С тех пор Тимофей с Галей виделся украдкой.

И надо же тому случиться, застиг их Дронов на задах. Может, в самом деле следил, может, в огород пошел, но увидел. Галя побледнела, плечи у нее опустились, прошла мимо отца как побитая. Тимофей Дронова не испугался, смотрел прямо, ждал, что скажет.

— Стало быть, не послушал меня? — удивленно сказал Дронов. — Ладно, потом покалякаем...

Больше Тимофей Галю не видал. Но каждый раз, возвращаясь из города, Тимофей около дома Дронова давал длинный сигнал. Пусть знает счетовод, что не такой парень Трунов, чтобы от своего счастья отказаться. Была у Тимофея мысль: работу в колхозе закончить и Галю увезти с собой. Но дальше случилось вот что.

Ехал Тимофей с элеватора, устал от нелегкой дороги: ломало спину, руки набрякли тяжестью. Думал, приедет сейчас — и в баню... Свернув на знакомую улицу, хотел уж было сигнал давать, вдруг увидел — Дронов с поднятой рукой останавливает.

— Слушаю! — с вызовом сказал Тимофей, притормозив около счетовода. Он был уверен, что Дронов из-за сигналов скандалить начнет. Но случилось непонятное.

— А ты не слушай, ты вылазь, — попросил Дронов. — Вылазь, разговор есть. Пойдем в избу.

По густой тишине, установившейся в горнице, Трунов понял, что в доме никого больше нет. А Дронов поставил на стол деревянную миску с соевыми груздями, из сеней принес шматок сала, порезал его. Хлопнув дверцей буфета, извлек бутылку. Потом сказал:

— Умойся с дороги, давай солью.

Полил над ушатом, подал полотенце. Показал Тимофею место за столом, сам сел напротив. В душе Трунова радость колокольчиком: «Может, смирился, понял, что нам с Галей врозь невозможно?» Дронов как будто прочел его мысли:

— Стало быть, в зятя метишь? Что ж, в таком разе давай помозгуем... Глядишь, сговоримся.

Голодный, усталый Тимофей охмелел быстро. Жевал грузди, цепляя их, скользких, погнутой вилкой. Счетовод заговорил свистящим шепотом:

— Прожить-то проживете, до весны разрешу здесь, горница пустует... А с весны строить начнешь, так?

— Так,— подтвердил Трунов.

— А жрать чего будете? — поинтересовался Дронов.— Сколь ты заработал, шишигу с постным маслом? А здесь тебе не город, хлеба в магазине не купишь. Так?

— Вроде бы так.

— Ты не щерься, разговор сурьезный... Зима длинная, припасу всякого много требует. А главное — хлеба! Поболее хлеба. И самим жевать надо, и продать по весне тоже надо. Строить начнешь, денег не напасешься... И вот тебе мое слово: смотайся по-быстрому на ток, нагребви пшенички. Ночь темная, никто не увидит. Нагребешь?

— Нагребу,— оторопев, согласился Тимофей, и улыбка сползла с его лица.

— Сделаешь, как велю,— будет тебе Галька.— Дронов насупился и погрозил Тимофею пальцем.— А коли труса спразднуешь — ходи мимо наших ворот, мне в зятях пентюха не надо.

— Кто струсит? — обиделся Тимофей.— Я струшу? Да меня ничем не запугаешь! Как сказал, так и будет: жди к рассвету с пшеницей...

Судили Тимофея в райцентре. В острастку другим — при полном зале Дома культуры.

9

Обосновавшись в конторе, тесной избушке, разгороженной фанерой на две комнатки, Ситковский первым делом послал Успенского к радисту:

— Неси какие есть радиogramмы и самого тащи...

Успенский вернулся удрученным:

— Мыльников привезть никакой возможности нету, пьяный он. И радиogramм нету, говорит — мотор крутить некому, на связь не выходил.

— Черт знает что такое! — вспылал Ситковский.— Почему некому мотор крутить, где человек?

— Был человек,— замялся Успенский,— сбежал... Сами знаете — Мыльников.

— Нет, это черт знает что! — нервно повторил Ситковский.— Прибыл начальник партии, нет чтобы встретить его, так пожалуйста — пьяный!

— Пока, говорит, рабочего не будет, с топчана не подымусь,— пожаловался Успенский.— А кто к нему пойдет?

Ситковский задумался. Самому пойти к Мыльникову — все равно не послушается, только авторитет свой подорвешь. Нет, надо принять решение, на глаза радисту не показываясь.

— Зови Гокалова!

Терентий Петрович явился по первому зову. И прямо с порога заявил претензию:

— Как же так, Роман Николаевич? Спальников мне не хватает. Все подразделения раньше нас прибыли, расхватали спальники, а мне что делать?

— Погоди ты,— поморщился Ситковский,— сейчас важнее есть дела.

— Важнее нету,— набычился Гокалов.— Люди на голом полу спать не будут, всего три мешка у завхоза осталось...

— Да погоди! — воскликнул Ситковский.— Разберемся! Сейчас другая забота, человека на рацию нужно. Кого предлагаешь?

— А почему моего человека? — Гокалов потускнел.— Чего это мои людьми дырки затыкать? Мне топорища заготовливать надо, снаряжение дополучать... Своих дел хватает.

— Не тем тоном разговариваешь, Гокалов! — сердито предупредил Ситковский.— В партии все дела общие, что важнее, то и будем делать. Кого предлагаешь?

Гокалов понял, что не отвертеться, мысленно представил недоукомплектованное подразделение, прикинул, что если уж отдавать, то такого, без которого обойтись можно. Трунов — парень сильный, себе нужнее. Чуев — шустрый, ноги молодые, на побегушках согдится. Библиенко пока что в распоряжении Успенского. Остается Мананков. Правильно, этого и отдать не жалко.

— В таком разе Мананкова берите.

— Зови Мананкова,— согласился начальник партии.

Прокоп никакой беды не подозревал, выслушал Ситковского спокойно.

— На постой определяем тебя к радисту. Будешь мотор крутить, там и жить пока будешь. Только гляди у меня, не пить! Сорвешь связь — оставлю в Олонке без права выезда на материк. Иди.

Рация — в избушке на крутом берегу. Палочки антенн жидкие, не то что в аэропорту.

На пороге Прокоп пошаркал сапогами об оленью шкуру, в который раз удивляясь, что добро под ноги брошено, постучался. Никто не ответил. Тогда он толкнул дверь — и двери-то не как у добрых людей, внутрь избы отворяются.

Сначала Прокоп ничего не разглядел: оконце снегом завалено, в избушке сумрак. Но, пообвыкнув, Мананков увидел черные ящики, догадался — рация. Вдоль стены — топчан, и на нем, укрывшись с головой собачьей дохой, лежал кто-то большой и храпел.

Прокоп прислушался, решил, что храпит мужик не изболевшийся и не ослабший. Он так долго и так много втягивал в себя воздуха, пропахшего табаком и сыростью, а потом с таким звериным рыком выталкивал его обратно, что в избушке казалось совсем тесно. Между двумя заходами устанавливалась пауза, долгая, тревожная: человек собирался с силами. Вот в такую-то паузу Прокоп громко кашлянул, не надеясь, правда, разбудить хозяина. но оказалось — разбудил. Радист шевельнулся, отогнул полу дохи и, тяжело нахмурившись, взглянул на Прокопа.

— Ситковский послал,— виновато объяснил Прокоп.— Мотор какой-то крутить... И ночевать...

— Дурак твой Ситковский,— сипло сказал радист, совсем сбросив с себя доху.— Дурак и не лечится, а надо бы...

Прокоп дипломатично промолчал. Радист потянулся, сладко застояв от давления избыточных жизненных соков, свесил ноги с топчана, сел.

Мананков осмелел, снял шапку, придвинул табурет и уселся, не спуская глаз с радиста. Такие люди встречаются не каждый день: редкостного роста мужчина и обличья необыкновенного. Голова, как ведерный чугуун, только желтая от плеша, расплывшейся от лба до затылка. А бровищи черные — прямой полосой без промежутка.

Радист нагнулся, вытащил из-под топчана огромные яловые сапоги. Притопнув сапожищами, он выпрямился, но не совсем, а пригнув голову, потому что голова упиралась в прокопченный потолок, заклеенный газетами.

— Будем знакомы: Мыльников. Прошу не путать с литературным штабс-капитаном Рыбниковым, понял?

— Понял,— согласно ответил Прокоп.

— Будешь служить верой — жить будешь,— продолжал Мыльников.— Завертишь хвостом — на колени поставлю. А на коленях человек жить не может, только сволочь может жить на коленях. Понял?

— Понял,— сникнул Прокоп.

— Вот так,— изрек Мыльников и уселся на топчан. Долго стоять в низкой избушке ему никак нельзя.— А сейчас дуй за спиртом. Деньги есть?

— Крохи,— пожался Прокоп.

— Жалеть нельзя! — припечатал Мыльников.— Копейку пожалеешь — рубль потеряешь. Шагай.

С бутылкой спирта Прокоп вернулся быстро и застал Мыльникова сгорбленным на табуретке перед приемником. Обернувшись на скрип двери, радист предупредил:

— Тихо. Эфир живет...

Волосатой лапой Мыльников потихоньку поворачивал какую-то ребристую штуковину, и приемник переливисто подвывал, тонко и жалобно попискивал, временами как бы кашлял, давясь обрывками разговоров.

Прокоп вынул из кармана бутылку, поставил на стол. Мыльников сразу же выключил приемник, взял бутылку, поцеловал донышко, встряхнул:

— Есть три вещи, ради которых стоит жить на свете: спирт, бабы и дальняя радиосвязь.

Мыльников ударил ладонью по донышку бутылки. Не сильно ударил, но пробка наполовину высунулась. После второго удара она едва держалась в горлышке. Тогда Мыльников вынул ее и той каплей, что повисла на пробке, помазал у себя за ухом.

Прокоп снял телогрейку, пристроил ее на погнутый гвоздь в стене, придвинулся к столу. Когда он шел в магазин, денег и впрямь было жалко. Все-таки две дневные зарплаты пришлось отдать ни с того ни с сего. Но когда спирт купил, поуспокоился. Решил, что для знакомства выпить не грех. Да и долг платежом красен — поди, и Мыльников угостит когда-нибудь.

Непонятные разговоры радиста Прокопа не смущали — блажь. На своем недлинном веку Мананков повидал уже разных начальников. А что Мыльников начальник, Прокоп не сомневался. Раз послали к нему в услужение, стало быть, начальник. И опять же денег не очень жалко: с начальником выпить — глядишь, послабление будет.

— Спирт надо вводить в организм со значением,— сказал Мыльников.— Умеешь?

— Умею,— улыбнулся Мананков.

— Нет, не умеешь,—возразил Мыльников.—Учись, это делается так.

Мыльников налил полный до краев стакан, в три глотка опустошил его, не переводя духу, снова наполнил и опять сглотнул. И только потом шагнул в угол, где на ящике стояло ведро с водой, зачерпнул все тем же стаканом, прополоскал рот, выплюнул в угол, воду допил. Прокоп сидел ошалелый, отказывался верить своим глазам. Он судорожно глотал слюну, страдальческая гримаса искажала его лицо.

— Вот как это делается,— сказал Мыльников, переводя дыхание. И еще раз зачерпнул воды.

— Не сгоришь? — острожно спросил Прокоп.

— Горит душа,— мрачно просипел Мыльников.— Что ты знаешь о жизни? Ничего! А я слушаю эфир. Я со всем миром один на один. Гонолулу... Слышишь? Острова. Я отравленный эфиром.

— А я как же? — спросил Прокоп.— Мне-то не осталось!

— Не осталось,— подтвердил Мыльников.— И не надо тебе. Зачем? Чтобы блевать? Чтобы показать миру, как ты слаб?

— Я тебе не холуй,— обиделся Прокоп и поднялся с табуретки.

— Вот-вот,— погрузился Мыльников,— уже и бунт на корабле. Чем тебя жизнь учит? Подчиняться! Твое предназначение запланировано, иди к солдат-мотору — крути...

Мотор этот оказался похожим на маленький сепаратор с двумя ручками. Прокоп уселся верхом на грубо сколоченную скамью, взялся за ручки и застыл, ожидая дальнейших указаний. Обида давила Прокопа: «Надо же к такому паразиту в подчинение подпасть...»

Мыльников включил приемник, долго искал чего-то в эфире, невнятно чертыхнулся. Потом надел наушники. Стальное оголовье было слишком маленьким для его огромного черепа, наушники держались на висках, и Мыльников стал похож на черта с тонкими рожками и большими выпуклыми глазами без зрачков. К приемнику подключен динамик. Прокоп слышал тонкий писк морзянки и всякую другую толкотню в эфире. Наконец Мыльников поймал свои позывные, скомандовал:

— Давай!

— В какую сторону крутить? — спросил Прокоп.

— Крути, не спрашивай! — гаркнул Мыльников. — Толкач муку покажет!

В первое мгновение Прокопу показалось, что его новая работа — пустяковина. Рукоятки вращались легко, без натуги. Солдат-мотор зажужжал, как машина у зубного доктора. Но потом Мыльников щелкнул каким-то выключателем, и Прокоп сразу же ощутил тягучее сопротивление рукояток, пришлось подналечь.

— Давай-давай! — подзадорил Мыльников. — Сейчас погоняем этого фертика, покажем, как работают в Арктике. — Мыльников постучал ключом, прислушался. — Ага, понял. Стоп!

Прокоп остановил мотор. Мыльников придвинул к себе стопку чистых листков, стал быстро записывать радиogramмы. В стакане перед Мыльниковым — десятка полтора остро отточенных карандашей: сломает один, хватает другой и опять пишет, лихорадочно откидывая заполненные листки. Прокоп искоса поглядывал на Мыльникова, удивлялся, что после бутылки спирта радист не скис, не захмелел, а как бы даже наоборот воспрянул, и рука его твердо держала карандаш, и взгляд как будто просветлел, и к тому же еще Мыльников улыбался, брюзгливо скривив толстые губы. Радиogramмы из отряда закончились, Мыльников послушал, просипел:

— Теперь жми по-настоящему!

Прокоп взялся за рукоятки. Вот тут и пошла горячая работа. Минут через пять Мананков взмок, по спине заструился пот, шапку он сбил с головы быстрым движением, пожалел, что вместе с телогрейкой не снял с себя давеча стеганую поддевку, самодельную, похожую на жилет. Мотор оказался с норовом: как только Мыльников начал стучать ключом часто-часто и без перерыва, Прокопу пришлось привстать со скамьи и; проворачивая рукоятки, налегать всем телом. Под столом тонко визжал умформер, маленький генератор, которому Прокоп давал энергию.

— Ровней крути, не мясорубка! — заорал радист. — Передачу начали!

Пот застилал Прокопу глаза, рук не поднять, не утереться. Уголками рта он сильно дул себе на брови, крупные капли падали на мотор. А Мыльников все подгонял:

— Жарко стало? Еще жарче будет!

«За что он меня так?» — подумал Прокоп, налегая на рукоятки изо всех сил. Мананков, не разгибаясь, задрал голову и вдруг обнаружил, что Мыльников совсем не смотрит на него, стучит ключом и подгоняет кого-то там, на другом конце радиоволны. Мананков немного ослабил усилия, чтобы проверить свою догадку, так оно и оказалось: радист ничего ему не сказал, а опять крикнул:

— Ага, повторить? Я тебе повторю! Успевай, корова-а!

Притерпевшись к облегченному режиму, Прокоп понял, что из по-

следних сил упирался он совсем напрасно, умформер жужжит ровно, над передатчиком взхлеб моргает лампочка — все нормально. И хотя крутить мотор, конечно, трудно, но не так уж чтобы сверх всякой меры. А сноровка появится — и подавно жить можно.

Мыльников напоследок придавил лапой головку ключа, снял наушники, гордо поглядел на Прокопа:

— Видал, как я его гонял? Вот так, пусть знают, что Мыльников в эфире. Сморчки.

Прокоп вытер вспотевший лоб, поднял с полу шапку, нахлобучил на слипшиеся волосы. Как только крутить кончил — по телу озноб. Холодно в избушке. Теперь Прокопу болеть нет никакого смысла, появился к жизни интерес.

Мыльников перечитал все, что на листки записывал, повернулся к Прокопу. А лицо у него опять пасмурное и как бы брезгливое, нехорошее лицо.

— За спиртом пойдешь?

— Нет уж, поищи дураков у соседей.

— Та-ак,— покривился Мыльников,— буду учить тебя подчинению. У тебя всего две сонные артерии, могу передавить одним пальцем. И да же тени от тебя не останется...

— Давилки коротки,— огрызнулся Прокоп и на всякий случай переместился к двери.

— Стой! — скомандовал Мыльников.— Забери РД, снеси в контору. Заодно скажи Ситковскому, чтобы лечился. А еще здесь появишься — плохо будет. Теперь иди, нелепое создание.

Мыльников не повышал голоса, не пугал — говорил сиплым шепотом. Но Прокопу стало страшно с этим человеком. Мыльников прилег на топчан, не снимая сапог, потянул на себя доху. Прокоп поспешно вышел.

На улице от пронзительного сияния некуда деваться. Прищурившись, Прокоп шагал по вытоптанной в глубоком снегу тропинке, покачивал головой, недоуменно вспоминая радиста, бормотал:

— Чокнутый как есть... Громила.

Ситковского в конторе не оказалось, радиogramмы принял Гокалов. Терентий Петрович внимательно изучил их, особенно интересные переписал в свой блокнот. В одной Лемех приказывал Ситковскому полностью укомплектовать подразделение сплавщиков, в первую очередь выделить Гокалову дефицитный сизальский канат. В другой напоминал, что ответственность за сплав леса с начальника партии не снимается. Радиogramмы придали Терентию Петровичу заряд бодрости: помнит Лемех, Ситковский послушаться не посмеет, все даст.

— Я туды больше не сунусь,— напомнил о себе Прокоп.— Грозится этот, которому крутил...

— Э-э,— махнул рукой Гокалов,— всем грозятся. Не я тебя посылал, не мне и говори. А мой приказ: завтра с утра пойдете топорища заготавливать. Не забудь.

— Может, Ситковскому сказать про радиста? — спросил Прокоп.

— Ситковского не ищи,— сказал Гокалов.— Бери сокуй, тебе достался... Ночуй с ребятами.

Избенку, которую показал Прокопу Терентий Петрович, уже заселили плотно, шумно и дымно. Кроме знакомых, с кем летел и ехал до базы, жили здесь другие люди: черноглазый, немного раскосый Саша Чашкин и обмундированный в армейское достояние Иван Куканов.

— Я бы этот Север в гробу видал,— рассуждал Куканов,— а потом подумал и решился... Лето в тайге прокантуюсь, расчет получу — сразу

обарахлюсь. А то — здравствуйте, я ваша тетя, в армейских бриджах в клуб даже не пойдешь...

А Чашкин ничем свое присутствие на Севере не объяснял:

— Какая разница? В Саянах работал, на Камчатке бывал... Здесь поработаю, на Памир подамся.

Чашкин и Куканов в Олонок приехали на неделю раньше, успели получить хорошие спальные мешки, валянки, полушубки. Из тех, кто с Прокопом приехал, пока он солдат-мотор крутил, тоже кое-что урвали. Трунов лежал на цигейковом спальнике, Сене Чуеву достался ватный. А Библиенко обидели, не хватило мешка. Успенский выдал ему две оленьих шкуры и стеганое одеяло. Тут и Прокоп смирился с тем, что ему спальника не дали. Если уж Библиенко, грамотному человеку, не хватило, то ему и подавно. Спать и в сокуе можно. А завтра, говорил Гокалов, дадут полушубки — тогда и совсем хорошо. В избенке тепло было от раскаленной печурки, Прокоп быстро уснул.

Трунов, расстелив листок бумаги на чем-то чемодане, терпеливо и старательно писал письмо. Писал, что вот уже вышел на свободу и уехал на Север, что осенью вернется на материк и если Галя его не забыла, то он может приехать к ней. Трунов Гале писал и раньше, из колонии, но ответа не получал. Может, не хотела иметь дел с лагерником? А теперь, может, ответит?

Сеня Чуев не давал покоя Чашкину:

— А на Камчатке как?

— Как и везде — вкалывать надо, — лениво отвечал Чашкин. — На консервном комбинате ящики сбивали с выработки... Мура. Одно хорошо — баб много было. Как понавезут вербованных!

— А в море-то плавал?

— В море? — удивился Чашкин. — На хрена оно мне сдалось. Мне на берегу места хватало...

10

Топорища рубили на взгорке за Олонком. Утопая в снегу, каждый искал себе подходящую сухостойну, валил с корня и тащил к дороге. Здесь распоряжался Терентий Петрович:

— В тайге без топора дня не проживешь... И запасные нужны. Сейчас поглядим, кто из вас на что способен.

А что глядеть, не много умения надо, чтобы топорище вытесать. По настоящему — по-плотнички — Прокопу с топорищем не сладить, но простенькое сделать, как в Гонохове, бывало, тесал — такую работу Мананков умеет. Два топорища вытесал, закурил.

— Готово, что ли, Мананков? — недоверчиво спросил Гокалов.

— В грубости готово... Вниз спустимся, доделаю.

— А ну покажи! — Терентий Петрович повертел в руках топорище, удивился. — Смотри-ка, похожи на всамделишные. Тогда вот что, еще одно сделай — для меня.

Ну ладно, Гокалову сделал топорище — все-таки начальник, но и остальным пришлось. Сене Чуеву заново вытесал, сам Сеня полено вкривь и вкось загубил. Трунову подправил — из загогулины вещь получилась. И солдату помог, и Чашкину. Один Библиенко без Прокопа обошелся — на удивление всем, сработал приличное топорище.

— Вы трудились, что ли, по плотничьей части? — поинтересовался Гокалов.

Николай Филаретович скептически вытянул губы:

— В каждом деле главное — образованность.

— Что ж, по-твоему, Мананков профессор? — хохотнул Куканов. — У него топорища лучше твоих.

— Я о себе сказал,— со значением произнес Библиенко.— Образованный человек всему научается быстрее...

Пока спускались к поселку базы, Гокалов открыл секрет:

— Думаю, этим наличным составом мы и в тайгу двинемся. Еще одного человека подкинут, а остальные — вы. Привыкайте друг к другу, до-олго вместе жить...

Прокопа у конторы встретил Успенский и набросился на Терентия Петровича:

— Мыльников опять сорвал утренний срок! Рабочего, говорит, нету. Как же так, ведь Ситковский приказал!

— Ну и что? Мне, что ли, без рабочих остаться?

— Ох, Гокалов! Гляди — прогадаешь... Ты ведь пока не в тайге, на базе живешь. Ситковский найдет способ повлиять...

— Найдет,— невесело согласился Гокалов и приказал: — Мананков, возвращайся на рацию. Бери сокуй, получай шубу и отправляйся: но-чуешь там.

— Кого бы другого,— попытался возразить Прокоп.— Грамотного бы туда, что я...

— Нет-нет,— зачастил Успенский,— тебя начальник партии послал — значит, будь с радистом. Понадобится — заменят. Ты уже, можно сказать, привык, техникой овладел...

Когда топорщица рубили, Гокалов впервые как следует пригляделся к Прокопу и понял, что этот парень не такой уж пришибленный. К топору сноровка есть — самое главное на заготовке леса. И Терентий Петрович пожалел, что отдал Прокопа во временное пользование радисту. И чтобы как-то отметить Прокопа, Гокалов отдал ему единственный дубленый полушубок, кроенный из цельных овчин, а остальным рабочим выдал крытые, собранные из лоскутов, обшитых слабенькой серой тканью.

Что там ни говори, повезло крупно: даже Библиенко начальнику в глаза заглядывал, выпрашивал такой же полушубок, но оказалось — нету. В отличном расположении духа Прокоп пришел на радиостанцию и готов был к прохождению тяжелой службы. Мыльников опять спал. Прокоп занялся делом: собрал по углам пустые бутылки, выбросил их, жалея, что на Севере бутылки в магазин не принимают. Подмел избушку, принес воды. После этого обследовал предназначенный ему топчан, нашел, что он вполне пригоден. Постелил сокуй, из телогрейки сделал подушку.

Прокоп, стараясь не шуметь, натаскал дров, растопил железную печку. Вскоре в избушке стало тепло и уютно. Прокоп возился с печкой и как-то прозевал момент, когда Мыльников перестал храпеть. От приятных забот с огнем Мананкова отвлек сиплый рев:

— Это что еще за географические новости? Кто здесь?!

— Это я, Прокоп,— улыбнулся Мананков, ожидая какой-нибудь похвалы за свою работу.— Опять меня прислали... Жить будем, вот прибрался маленько.

— Кто будет жить? Вон отсюда! Во-он! — Мыльников грузно поднялся, схватил чайник и плеснул на огонь. Только было разгоревшиеся поленья зашипели, пахло угаром.— Сгинь с глаз! — Мыльников горой надвинулся на Прокопа, и Мананков под рукой у него метнулся к топчану, схватил новый полушубок, юркнул в дверь. Уже с улицы крикнул:

— Меня гонишь — ладно, огонь-то зачем задавил? В тепле был бы!

Прокоп бесцельно бродил по поселку, пока не наткнулся на столовую. У крыльца Мананков приостановился. Поесть бы не мешало, но, потратившись вчера на спирт, Мананков не сразу решился на новый расход.

Может, перетерпеть? Вспомнил выпитый Мыльниковым спирт, досада одолела совсем, плюнул в снег, зашел.

Бережно поставив поднос на краешек стола, Прокоп снял железную тарелку, проверил ложкой, сколько попало мяса. Оказалось — не очень, но для казенной порции терпимо. Зато котлета была большая. На материке из такой две сделают и за две деньги сдерут. А в общем-то, ничего удивительного в большой котлете нет. Оленье мясо с говядиной в сравнение не идет.

Когда супа в тарелке не осталось, Прокоп вдруг понял, что напрасно себя обманывает: не столько есть ему хотелось, сколько выпить. И все равно он выпьет, потому что сегодня жизнь пошла куда-то вкось. А поняв это, Прокоп совсем огорчился на себя за то, что съел суп без всякой пользы и спирт теперь ляжет не на чистый организм, а смешается с супом и может получиться так, что никакого облегчения не принесет. «Натошак-то мне и стопки хватило бы,— грустно подумал Прокоп,— а на сытое брюхо полтора ста надо...»

Из столовой Прокоп вывалился не скоро. Плюнув на дополнительный расход, несколько раз подходил Мананков к буфету, заказывал от души, забыться хотел. Обидно было Прокопу, все вспомнилось: и Мыльников-громилла, и Зинка... Зинка? Да-да, Зинка. Догадался-таки Прокоп, что не Мыльников обидел его — Зинка душу отравила. Зинка, кровиночка родная, обидела. И так захотелось Прокопу Зинку повидать, так захотелось сказать что-то не матерное, а какое-то такое хорошее, чего сроду никому не говорил.

Вспомнил Прокоп, как Ситковский звал Зинку в гостиницу, а она на него посмотрела. Ясное дело, моргни он тогда Зинке — ни в жизнь не пошла бы с начальником. А он отвернулся, она и пошла. Ушла... Куда ушла? Нет, Зинку Прокоп всегда найдет! Если разобраться по-настоящему, вовсе и не пьян Мананков, куда угодно дойдет.

Перейдя Олонок по льду, Прокоп углубился в реденький лес, состоящий из корявых лиственниц, толстых в комле и сходящих на нет к вершинам. Плохо утоптанная дорожка петляла не долго. У подножья сопочки, неизвестно кем и зачем на таком отшибе построенная, стояла избенка. Здесь, слышал Прокоп, нужно искать Ситковского. А если Ситковского — наверное, и Зинку.

Прокоп прислушался у двери: внутри веселились. Слышалась песня, приглушенно звенела гитара, кто-то смеялся. Прокоп хотел было заглянуть в слабо освещенное оконце, но к вечеру морозец окреп, затянул разводами стекло, и Прокоп ничего не разглядел. Тогда, потоптавшись у двери, Прокоп приоткрыл ее и, не очень проникая в избушку, сунул голову в задымленное, пахнущее кислым тепло.

Никакой мебели в избенке не было. Пол заслан шкурами, спальными мешками, а в середине разостлана плащ-палатка. На ней — консервные банки и еще какая-то снедь, какая — Прокоп не рассмотрел.

— Тебе чего, Мананков? — строго спросил начальник.

— К Щипачевой я. По делу надо,— сказал Прокоп, прикрывая за собой дверь.

— По делу завтра приходи.— Ситковский сказал это совсем другим тоном, вроде бы с ровней говорил. И подмигнул Прокопу, как бы намекая мужчина мужчине, что постороннему в компании делать нечего.

— По срочному делу надо.

Зинка накинула на плечи полушубок.

— Чего тебе?

— Слово сказать надо.— Прокоп посторонился, пропуская ее вперед, плотно закрыл дверь.

Ночи почти не было. Заря притухла, ни звезд на небе нет, ни тьмы

настоящей. Зинка стояла перед Прокопом простоволосая, прятала ухо в поднятый воротник.

— Ну, какое твое слово, Прокоп?

— Ты чего, совсем рехнулась? — спросил Прокоп. — Ни стыда, ни совести... Одна с мужиками.

— Тебя же нет со мной, Прокоп, — вздохнула Зинка, — а мне с кем-то же надо быть...

— Во зло мне действуешь?

— Нет, не назло... Меня, может, по-человечески-то впервые в жизни приветили.

— Зачем ты ему? Переспать? — убежденно сказал Прокоп.

— А хоть бы и так, Прокоп. С добрым словом не жалко.

— Не дури, Зинка, пойдем.

— Куда? Куда поведешь, Прокоп? В лес?

— Пьяная ты...

— А ты тверезый пришел? — озлилась Зинка. — Тверезым-то вспомнил ли обо мне?

Зинка ушла.

Обратно он шел, почти не выбирая дороги. Случалось, останавливался, разговаривал сам с собой, представляя, что с Зинкой, корил ее, материл:

— Дворняга! Кровью заплачешь...

А то и садился прямо на снег, глотал и глотал какой-то ком, застрявший в горле, и, задрвав голову, смотрел в белесое, не знающее весенней ночи северное небо и кого-то спрашивал:

— Зачем?

Тишина стояла над Олонком.

Наконец он наступил, последний день на базе. До обеда увязывали на нарты мешки с крупой, мукой, ящики с махоркой, вермишелью, сушеным луком, картошкой. Ситковский сам все проверял, хватался за веревки, сбнаружив беспорядок, поднимал шум. К суматошному шуму Ситковского все привыкли, удивляясь, правда, что всегда смирный и немного сонный начальник партии в дни отправки подразделений делался нестерпимо шустрым и голосистым.

Отправляя подразделение Гокалова, Ситковскому шуметь пришлось самую малость: все сделано на совесть. Особенно тщательно уложили связки стальных тросов, бухту тонкого, но прочного сизальского каната. Подчиненные Гокалова выходили в тайгу по первому разу, но трудились старательно, без подгона. Только Прокоп Мананков все время поглядывал в сторону конторы: Зинка там полы мыла. К Зинке за Олонок Прокоп ходил еще один раз, совсем трезвый. Но разговора снова не получилось. Зинка сказала:

— Чудной ты... Собачкой за тобой бегала — нос воротил. А теперь сам, как собачка, хвостом вертишь.

— Стало быть, я уже за собачку схожу? — обиделся Прокоп. — Ладно, концы на этом...

— Прокоп! — позвала Зинка, но Мананков не откликнулся.

Теперь Зинка полы в конторе помыла, принялась печку топить. Выбегала на улицу с топором, неумело тюкала промерзшие поленья. Улучив минуту, Прокоп подошел:

— Уезжаем мы... Может, встретимся еще.

— Неужто думал — скроешься? — сказала Зинка.

— Ежели разрешили бы, с собой забрал...

— Мне с тобой нельзя.

Набывчившись, Прокоп спросил:

- А с начальником можно?
 - С начальником можно, при месте, — спокойно согласилась Зинка.
 - Ну и... оставайся, коли так. — Прокоп пошел прочь.
- Глаза Зинки налились слезами, но Прокоп этого не видел.

11

Терентий Петрович сидел в палатке, вел подсчет заготовленной кубатуре. С трудом передвигая по заржавевшим проволочкам костяшки маленьких счетов, Гокалов то и дело сбивался, записывал цифры на бумажку, чтобы потом уточнить результат. Когда результат совпадал, Гокалов удовлетворенно мурлыкал вполголоса:

— Аванец-баланец, ажур-абажур...

В этот ответственный момент в подразделение Гокалова прибыло пополнение, обещанное Ситковским еще в Олонке. Пополнение дало о себе знать отчаянным криком, приглушенным низовым ветром.

— Братки-и-и! — донеслось в палатку Гокалова. — Помогайте якорь броса-ать!

Терентий Петрович выбрался из палатки, подняв воротник дождевика, подошел к берегу. На середине Куронаха болталась яркая оранжевая надувная лодка, а за ней, привязанная длинной бечевкой, тащилась зеленая, чем-то груженная, глубоко осевшая, рассекающая волну, как уют. В оранжевой лодке копошился небольшой мужичок, для навигации одетый странно — в полушубке и валенках. Длинное самодельное весло в руках мужичка моталось, словно крылья ветряной мельницы, но работа была пустая — заводь не выпускала зеленую лодку. Там, где вода, ударившись о скалу, поворачивала вспять, зеленая лодка упрямо разворачивалась и тащила за собой легонький буксир.

Заметив Гокалова, мужичок обрадованно замахал рукой и тонко, по-мальчишески крикнул:

— Помогайте! На четвертый круг пошел!

— И на двадцать четвертый пойдешь, — рассудительно ответил Гокалов, не двигаясь с места. Достав портсигар, Терентий Петрович закурил папироску, сплюнул прилипшие к языку табачинки, присел на корточки. Мужичок в лодке перестал работать веслом, уложил его поперек, распрямился, откинувшись назад. Журчала вода на прибрежных камнях, где-то неподалеку прозевавший весну куропач трескучим голосом звал к себе куропатку. Гокалов курил, смотрел на воду.

— Что же вы, дяденька? — спросил мужичок, в который раз проплывая мимо Гокалова. — Мне приставать надо.

— Приставай, — согласился Терентий Петрович. — Только для начала пересядь. Гребни на тяжелой посудине.

Мужичок проплыл мимо, осмысливая сказанное, потом засуетился, подтянулся к зеленой лодке, перебрался в нее, замочив полы полушубка, снова замахал веслом. И уже через несколько минут тупой нос резиновой лодки послушно уткнулся в берег.

— А как ее привязать? — спросил мужичок, издали поглядывая на Терентия Петровича.

— Откуда плыл?

— С Нечана, — ответил прибывший.

— Как на Нечане отвязывал, так здесь и привязывай. А потом иди сюда...

Вскоре Терентий Петрович уже читал записку Ситковского и неодобрительно хмурил брови.

— Куда ж он глядел? У меня что — богадельня? Детский сад? У меня же заготовка леса с последующим сплавом... Ты мне зачем?

Перед Гокаловым стоял парнишка: белобрысый, с маленькими синими глазками на веснушчатом лице. Стоял скособочившись, виновато молчал.

— Нет, ты скажи: на что ты мне сдался,— Гокалов еще раз заглянул в направление,— Василий Башлыков?

— Васятка я,— сказал парнишка.

— Васятка? Отлично! — Гокалов всплеснул руками.— Неожиданная радость посетила нас! Ну, что будем делать?

— Не знаю,— вздохнул Васятка.

— А я знаю! — вскричал Гокалов.— Нянчиться будем, вот что! Как же ты увече скрыл?

— Так я же вприсядку... С боку на бок — оно не так заметно.

— А бревна таскать — тоже вприсядку будешь? — гремел Терентий Петрович.

— Не знаю, дяденька,— сник Васятка.

— Дяденька, тетенька...— плаксиво сказал Гокалов, а потом крикнул: — Иди к черту с моих глаз!

Васятка Башлыков похромал к костру, дымившему поодаль от палаток. Гокалов посмотрел ему вслед, не утерпел, окликнул:

— С ногой-то что у тебя?

— Кто ж ее знает? — обернулся Васятка.— С детства усохла.

У костра Васятка вежливо поздоровался с Библиенко, не дождавшись ответа, съезжился и стал еще меньше, чем был на самом деле. Библиенко помешивал кашу, сосредоточенно и торжественно разглядывал синеватые пузыри, лопающиеся на поверхности: каша из сеченой гречи опять оказалась жидковатой.

— Поубавить огонь надо,— посоветовал Васятка,— на медленном жару дойдет и не пригорит...

Библиенко бросил на Васятку пресекающий взгляд, но послушался. Потом спросил:

— К нам или мимо?

— К вам. Насилу добрался,— охотно ответил Васятка, смекнув про себя, что сейчас самое время попросить чего-нибудь горяченького. Но Библиенко упредил:

— Еще один рот на мою шею.

— Я маленький,— улыбнулся Васятка,— мне много не надо.

— Вот вы, маленькие, и жрете больше всех.

Васятка вздохнул, поднялся от костра, выбирая места посуше, подался к берегу. У своих лодок он обнаружил Гокалова, который уже распутал веревки, удерживающие упаковочный брезент, и внимательно рассматривал груз. Увидев Васятку, Гокалов недоуменно спросил:

— Это что? Цемент?

— Банки с цементом,— подтвердил Васятка.

— Кто послал?

— Ситковский, кто же еще...

— Совсем опупел,— задумчиво сказал Гокалов.— Зачем мне цемент? Я веревок просил, тросов, канатов!

— Ситковский сказал: доставь...

— Фактура есть?

— Какая фактура?

— Ну, документы на цемент? Фактура, накладная...

— Ничего нету,— развел руками Башлыков.— Сказали — доставь, я доставил.

— Как же это — без накладной товарные ценности принимать? А может, ты продал канаты? Вез и продал по дороге, а? А мне цемент сплавляешь!

— Кому продал, какой канат? — обиженно спросил Васятка. — Я людей-то никого не видал... Медведя видал на берегу, а людей — никого.

— Ловкий человек и медведю дефицитный товар продаст, — сказал Гокалов. — А кто ты таков есть, я не знаю. В общем, без накладной принимать не буду. Мне он без надобности.

— Мне тоже, — простодушно улыбнулся Башлыков.

— Тебе? — Терентий Петрович усмехнулся. — Тебе он, как камень на шею. Расписывался?

— Расписывался, — подтвердил Васятка. — И за цемент, и за лодки.

— Лодки принимаю, а за цемент несешь ответственность. Встретишь Ситковского — сдашь.

— Где же я его встречу? — чуть не плача спросил Васятка.

Гокалов снял шапку — выглянуло солнце. Постояв минуту, блаженно щурясь, вдруг заторопился к себе в палатку. Поднимаясь на крутой берег, крикнул Васятке:

— Осень настанет — встретитесь!

Уединившись, Терентий Петрович погрузился. Даже здесь, в тайге, начальник партии сумел ущемить Гокалова, прислав негодного человека. Башлыков-то, конечно, не виноват, на него Терентий Петрович напустился с досады. Никаких указаний Ситковский не прислал — значит, подчеркнул, что сплав целиком зависит от Гокалова. И настойчивости, с которой Терентий Петрович добивался для своего подразделения особых прав и внимания, Ситковский не простил. Напоследок разговор у них вышел крупный.

— Я товарищу Лемеху сообщу, — пригрозил Гокалов. — Десятника так и не дали... Сегодня же рапорт отобью.

— Сегодня? Давай, давай... Только пора бы знать, что без моей визы радист никакого рапорта не примет. А визы я не дам: претензии вздорны! Десятника сам назначай... Есть у тебя Библиенко в конце концов, грамотный человек...

— Библиенко можете себе оставить, мне другого нужно. Успенский его подобрал, пускай возле себя держит. А мне десятника давайте другого.

— Нет другого. Кончаем разговор.

Успенский хлопотал за Библиенко, уговаривал назначить его десятником. Сам Библиенко вьюном вился вокруг Терентия Петровича, хвалился книжечкой, утверждающей, что когда-то он окончил курсы счетоводов по наиновойшей системе журнального учета.

Но Терентий Петрович заметил, что к Библиенко рабочие относятся без уважительности, разве станут такого слушать? А главное, что особенно не понравилось Терентию Петровичу, Библиенко не представлял себя в другой роли, как в должности хоть маленького, но начальника.

Может, именно поэтому Терентий Петрович категорически отказался назначить Библиенко десятником, не любил он легких путей. В армии Гокалов к званию старшины пробился десятым потом. Начальником подразделения в мирной жизни стал, когда на курсах до помутнения в глазах вызубрил все, что полагалось. А тут на тебе: раз-два — и в десятники. Терентий Петрович ему так и сказал:

— Я с вами на десятника не договаривался, беру рабочим...

— Ну, хорошо, — поникшим голосом сказал Библиенко, — но ведь рабочие тоже разные... Кто-то ведь будет поваром, верно?

— Верно, — подтвердил Гокалов. — Каждый рабочий дежурит неделю.

— А зачем это дежурство? Поставьте меня поваром, — попросился Николай Филаретович, — постоянный человек всегда лучше.

Терентий Петрович задумался. Обычно рабочие с большой неохотой несли повинность у костра: бывали на этой почве скандалы, недоразумения. А постоянный человек в самом деле лучше. И опять же Библиенко при деле будет. И на свою беду Терентий Петрович записал в тетрадку приказ о назначении рабочего Библиенко поваром, ответственным и за выпечку хлеба. Еще месяца не прошло, как уехали из Олонка, а полная неспособность Библиенко уже была ясна. Лепешки у него получались такие, будто их стряпали из опилок. Редкий день обходился без скандала из-за подгоревшей каши или пересоленного варева, отдаленно напоминавшего суп. Все эти неприятности делали Терентия Петровича раздражительным. Ну разве мог он при этом обрадоваться появлению Васятки Башлыкова, слабенького парнишки с усохшей ногой?

Первым из леса вышел Прокоп. Шагая вдоль берега, увидел лодки, смекнул, что кто-то прибыл из партии. Васятка в то время сидел у воды, мочил ржаные сухари, жевал, запивал из консервной банки. «Что за люди,— думал он,— хоть бы спросили, как добрался...»

— Кого поднесло? — спросил Прокоп, приближаясь, и протянул руку: — Здравствуйте, товарищ приезжий...

Васятка перестал жевать, вытер руку о полу, неуверенно поднялся:

— Здравствуйте... Ситковский меня прислал.

Прокоп разглядел Васятку получше, деловито поинтересовался:

— Спирту не привез?

— Не-е,— Башлыков мотнул головой,— мне Ситковский наказывал, чтобы не смел...

— Дурак твой Ситковский.— неожиданно проронил Прокоп и сразу же вспомнил Мыльникову.— Ладно, может, и правильно наказывал... А ты чего здесь колдуешь?

— Я не колдую,— вздохнул Васятка,— я насчет пообедать...

— Обед Фламинга варит, спросил бы.

— Просил, а он ругается. Не прокормишь вас, говорит...

— Шкура! — возмутился Прокоп.— Начальнику сказал бы.

— Начальник меня обидел,— сник Васятка. И рассказал Прокопу, как встретил его Гокалов.— Трое суток добирался до вас... Того и гляди банки с цементом лодку пропорют, углы у них острые. Чуть что — и на дно утянули бы... А он — мне банки не нужны.

Прокоп слушал, покачивал головой, поддакивал. А когда Васятка замолчал, сказал:

— Ты на это дело наплювай. Не пропадешь, точно говорю. Чего-нито скумекаем. И пожрать сообразим. Я в общий котел второй день не лезу. Тащи топор!

Васятка похромал за топором, явно повеселев от слов Мананкова.

— Сперва для цемента подтоварник срубим,— сказал Прокоп.— Руби вона те листьяги, тащи сюда...

Васятка направился было к трем небольшим листовницам, но Прокоп, понаблюдав за тем, как он ходит, остановил его:

— Ладно, я сам.

Срубив деревья, Прокоп раскряжевал их на короткие бревешки, затесал на концах углубления, сгородил клеть-подтоварник и перетаскал банки с цементом, уложив их на подтоварник, прикрыл сверху брезентом. Васятка то и дело пытался вмешаться, помочь, но как-то уж так выходило, что дела ему не доставалось, и он понапрасну суетился, то без надобности поддерживая бревно, то, хромая сбоку Прокопа, тянул вниз банку с цементом. Когда работу закончили, Прокоп собрал оставшуюся щепу, сучки и обрубки, разжег костер. Из палатки принес две банки го-

вяжѳей тушенки, вспорол их большим охотничьим ножом, купленным еще в Олонке, поставил разогревать.

— Быстро и без мороки,— сказал он Васятке, показывая на тушенку.— Сегодня я тебя покормлю, завтра отдашь.

— Отдам,— охотно заверил Васятка.— Только чего это — одну тушенку жрать? А если с кашей?

— Как это с кашей?

— Я бы сварил, жаль, что долго...

— Варить не надо, на общий котел имеем право.

Прокоп поднялся, решительным шагом направился к Библиенко. О чем они там говорили, Васятка не слышал, но видел, как размахивал руками Библиенко, отгоняя Прокопа от ведра. И все-таки Мананков принес котелок каши.

— Фламинга перья поднял — раньше времени, дескать, я пришел... Сказал пару ласковых, успокоил.

— Сквородка есть? — спросил Васятка.

— Вона чего! — удивился Прокоп.— Сперва кашу, теперь сквородку... Может, самовар тебе?

— Сквородка нужна,— убежденно сказал Васятка.— Вкусно будет.

Прокоп чуточку помедлил, но опять пошел к Библиенко и вернулся со сквородкой. Васятка спустился к лодкам, принес горсть сушеного лука. Из банок слил на сквородку растопленный жир, зажарил лук и вместе с мясом вывалил все в котелок, тщательно размешав. Запахло вкусной едой, совсем по-домашнему, для тайги необычно и как-то совсем забыто. Когда Васятка разделил кашу на две неравные доли — Прокопу побольше,— из своей палатки показался Терентий Петрович. Потянув воздух мясистым синеватым носом, Гокалов навел справку:

— Чего рубаете?

— Кашу,— ответил Прокоп, облизывая ложку.— Знатная еда, Фламинге такая не снилась. Присаживайтесь, Терень Петрович!

Гокалов приблизился, заглянул в котелок, но на корточке не присел. Есть вещи, которыми не шутят: отведать Васяткиной каши — значит подорвать авторитет. А для начальника подразделения авторитет важнее сытости — в этом Терентий Петрович был твердо уверен. Поэтому, сухо кашлянув, Терентий Петрович направился к общему котлу, только буркнул с дороги:

— Каша она и есть каша, одинакова везде...

А с лесосеки тем временем шли рабочие. Усталые, голодные, насквозь промокшие. И каждый останавливался около Прокопа с Васяткой, на скорую руку знакомился с пареньком, обязательно обращал внимание на котелок и, глотая слюну, шагал дальше потреблять невеселую стряпню Николая Филаретовича.

В обед Тимофей Трунов не вытерпел:

— Поучился бы жратву варить. Чего ты нас преснятиной кормишь!

— У меня, может, калории в сохранности,— оправдывался Библиенко.

— Зубы повыпадают от твоих калорий! — вставил Трунов.— Прокоп правильно сделал — откололся от котла, здоровье бережет... Что ж, нам тоже откалываться? Каждый сам себе стряпать начнет?

— Кому не нравится — можете,— огрызнулся Николай Филаретович.

— Ах, можем? — недобро спросил Куканов.— Ну, тогда что ж, тогда пускай Библиенко за нас кубики пилит... Так, что ли, Терентий Петрович?

— Никто такого вопроса не ставил,— строго сказал Гокалов.— Официальных жалоб на повара не было...

— Чего жаловаться, когда сами видите,— вступил Сеня Чуев.

— При такой работе ноги протянем! — выкрикнул Трунов и отбросил ложку.

— Разговорчики! — пресек Терентий Петрович.— Работа как работа, в тайге легче не найдешь.

Гокалов демонстративно доел невкусную кашу, куском лепешки вычистил миску, принялся за чай.

Библиенко не знал, что его кулинарная карьера стремительно закатывается. Этого не знал еще и сам Гокалов. Делу помог случай. После обеда Терентий Петрович подозвал Васятку:

— Пилу в руках держать умеешь?

— Дрова пилил,— заверил Башлыков.

— Дрова-а,— покривился Гокалов.— У нас не дрова — деловая древесина. Разницу понимаешь?

— Можно и деловую,— согласился Васятка.

Терентий Петрович поразмышлял, зрительно представил свои кадры на лесосеке: у Прокопа напарником Чуев. Чашкин с Кукановым норму тянут. Трунов до сегодняшнего дня сучки обрубал за всеми... А ежели к Трунову пристегнуть новенького? Что получится? Хорошо получится, вот что! Еще одна пара вальщиков прибавится, заготовка пойдет быстрее. А сучья пусть каждый сам себе обрубает. Правильно! И Гокалов распорядился:

— Башлыков пойдет в лес с Труновым. Прохлаждаться нам некогда, включайся, парень, в трудовой порыв... Хошь вприсядку, хошь кадрию — вкальвай!

Тимофей Трунов к этой новости отнесся неодобрительно. Рубить сучья ему больше нравилось: ходи от лесины к лесине, махай топором, если есть чего рубить. А коли ребята запарились и не успевают с корня валить, Тимофею — перекур. И вымокнешь меньше: первыми к дереву вальщики идут, протопчут дорожку. Сами мокрые, а Трунов не очень. И опять же сам себе голова, от напарника независим... А тут подсунул начальник недомерка, проку от него никакого, норма — на двоих.

— Это что же, в наказанье мне? — насутился Трунов.

— Производственная необходимость.— Терентий Петрович отвернулся, разговор окончен.

Тимофей Трунов с Васяткой хлебнул лиха. Башлыков оказался левшой и никак не мог приспособиться пилить с той же стороны, что и Трунов. Согнувшись в три погибели, Васятка рывками дергал пилу и, заглядывая ей под зубья, все вытягивал шею так, что пила звенела у него перед самым лицом.

— Ровней тяни! — орал Трунов и матерился.

А под вечер случилась неприятность, которую впоследствии Гокалов квалифицировал в производственном журнале подразделения как «травму из-за собственной небрежности рабочего Башлыкова». Затурканный, запуганный рыканьем Трунова, Васятка согнулся уже в четыре погибели и нечаянно, покачнувшись, чиркнул зубом по собственному подбородку, почти у горла.

— Я когда сам не видал бы, никому в жизни не поверил, что самому себе можно горло перепилить двуручной пилой! — разорялся Трунов по возвращении с делянки.— А если насмерть зарезался бы? Мне опять — срок! Убирай его, начальник! Убирай, слышь? Иначе в лес не пойду!

Васятка пришел последним: горло перевязано рукавом исподней рубахи, лицо бледное и виноватое. Молча прошел мимо презрительно сощурившегося Гокалова, влез в палатку, где поселился рядом с Прокопом, и улегся.

На следующее утро Васятка Башлыков на делянку не пошел. Гокалов не допустил. Во время завтрака он сказал:

— Отстаем с планом. Поимейте в виду, ежели к концу месяца не стаскаем к реке все что положено — прогрессивка наша плакала. Я ждал подмогу, а прислали — сами видите. Башлыкова от работы с пилой отстраняю. В лес пойдет Библиенко.

— Как это так? — встрепенулся Библиенко. — Я повар! У меня свои обязанности!

— Временно, — пояснил Терентий Петрович, — пока Башлыков порезанный... А там поглядим.

— Чего поглядим? — плаксиво спросил Библиенко. — Чего поглядим? Мне товарищ Ситковский говорил...

— Цыц! Ситковский далеко, понял? А то навсегда с поварешкой расстанешься... Пойдешь в пару к Трунову. А Башлыков тебя покамест возле костра заменит...

Тимофей Трунов поднялся, снял с головы шапку, с силой бросил ее на землю:

— Издеваешься, начальник? Режь меня на куски, соли крупной солью, но с этим Фламингой я в лес не пойду! Работу тебе надо — требуй! Но не издевайся! Ты чего мне суешь? То шкета кривобокого, теперь июду конторскую? Я тебе как человеку говорю: не пойду!

— Трунов, не забывайся! — Гокалов хотел было призвать Тимофея к порядку, но, заметив выражение крайней отчаянности на его лице, неожиданно смягчился. — Ладно, потом поговорим... Сейчас некогда, время идет. Значит, так: Трунов в паре с Чуевым, Мананков с Чашкиным, Библиенко с Кукановым. Все.

— А зачем нас разбивать? — недоуменно спросил Куканов. — Мы с Сашкой привыкли...

— Молча-ать! — заорал потерявший терпение Гокалов. — Прекратить разговорчики!

Наступила недобрая тишина. Терентий Петрович вытер платком вспотевший лоб. Был он красным, нахохлившимся, злым. Понимал Терентий Петрович, что крик — последнее дело. Но уж довели Терентия Петровича... Ведь что ни скажи, все не так... Конечно, черт бы его побрал, этого Библиенко, кому такой зануда нужен? Но что же делать?

— Терень Петрович, отпусти меня с Фламингой, — прозвучал в тяжелой тишине голос Мананкова. — Какую-никакую кашу варил, неужто пилы не подергат?

Просьба Мананкова прозвучала вовремя, авторитет начальника был спасен. Гокалов сказал с облегчением:

— Можно и так. Я ведь и хотел, чтобы с Библиенко по очереди работали... Ну, а ежели Мананков такое желание выказал, тому и быть.

Когда все разошлись, Гокалов спросил поникшего Васютку:

— Чего варить думаешь?

— Не знаю, продукты посмотреть надо, — едва слышно ответил Башлыков.

— Разберись в обстановке, доложи, — по-военному приказал Гокалов.

Эх, армия! Тысячу раз пожалел о ней старшина Гокалов. Попытался бы этот стервец Трунов поднять на него голос... Нет, этого Терентий Петрович даже представить не мог.

Вскоре Васятка Башлыков докладывал:

— Масла постного много, можно пончики варить. На первое щи будут, сушеная капуста имеется...

— Какие же это щи — пресные? — нахмурился Терентий Петрович.

— И ничего не пресные, — загорелся Васятка, — томат-паста есть! И лимонная кислота!

Терентий Петрович поразмышлял немного, почесал под мышкой.

— Пончики, говоришь?

— Ага, пончики и кисель.

— Ну, валяй пончики, поглядим...

Обед произвел ошеломляющее впечатление. Щи, заправленные томатом, жареным луком, жирные от свиной тушенки, прошли на ура. На второе Васятка разложил по мискам какую-то розоватую массу, обильно политую растопленным сливочным маслом.

— Это что же такое? — недоверчиво спросил Мананков, который в поддержку Васятке вернулся к общему котлу.

— Это цимус, — улыбнулся Башлыков. — Ты ешь — вкусно... Морковок сушеных много, вот я сообразил.

К незнакомой еде поначалу отнеслись настороженно, но уже через минуту все отчаянно работали ложками, а Иван Куканов попросил добавить.

— Ты где же так научился? — поинтересовался Чашкин. — В ресторане работал?

— Не-е, сам не работал, — вздохнул Васятка. — Дядька у меня повар... После войны к себе забрал. Худуший я был. Вот он и хотел откормить, вытребовал к себе. Шеф-повар он — в закрытой столовой для военных... Помогал я ему, целый год на кухне проторчал, потом сбег.

— Что так? — удивился Куканов.

— Хотел он меня насовсем при себе оставить, ремеслу учить... Только я поваром не хотел, сбег.

— Балда, — категорически определил Куканов. — Жил бы себе да жил... Всегда в тепле, жирный кусок близко.

— Научился бы поваром — на всю жизнь пригодится, — вставил Мананков.

— Стремления нет. — Васятка пожал узкими плечами. — И учиться там нечему, поглядел — и все...

— Цимус, говоришь? — Гокалов выскреб остатки. — Ничего цимус, хороший цимус. — Потом он выжидательно посмотрел на Башлыкова.

Васятка выдал коронный номер: притащил от костра эмалированный тазик, доверху наполненный румяными пончиками.

— Ох!

— Во дает!

— Ну, объедаловка нынче!

И только один Библиенко кисло поморщился:

— А масла-то, масла сколько ушло на эту забаву!

На Николая Филаретовича зашумели, припомнили пригорелые каши и каждый день одинаково пресный суп с вермишелью.

— Пускай лучше масло расходуется, чем жить на подсосе, — рассудительно сказал Чашкин.

Васятка авторитетным тоном внес ясность:

— На пончики масла меньше идет, на лепешки больше... На сковороде масло горит, а пончики в ведре варятся, лишнего в себя не впитывают...

— Чего он понимает, — язвительно сказал Трунов. — Не слушай, Васятка, жми в том же духе!

Еще не успели покурить после сытного обеда, как в палатку вернулся Терентий Петрович и зачитал новый приказ: рабочий Василий Башлыков утверждался поваром подразделения, а бывший повар Николай Филаретович Библиенко переводился рабочим на лесоповал. Протесты Биб-

лиенко начальник подразделения во внимание не принял, заявив, что интересы производства требуют перестановки кадров.

— А если не согласен, можешь жаловаться.

— Кому жаловаться, медведю? — захныкал Библиенко.

— Не знаю, не знаю, — ответил Гокалов и для пушей внушительности захлопнул толстую тетрадь в клеенчатом переплете. — И еще, чтобы не забыть: кто-нибудь скажите каюру, пусть после работы зайдет ко мне.

Вторая половина рабочего дня тянется нескончаемо. Солнце к горизонту не клонится: вкальвай да вкальвай. А после обеда и пила в руках медленнее ходит, и топор почему-то тяжелее. После обеда курить хочется и жажда одолевает. Прокоп догадливый, на делянку принес бутылку с чаем. Хоть и холодный, но все не вода. Библиенко же часто ел снег, а от снега, известное дело, пить хочется еще сильнее.

— Наживешь водянку, — предупредил Прокоп, когда, свалив пяток лиственниц, они устроились на перекур. — Снег жрать весной — гиблое дело. У нас в Гонохове, рассказывали, два охотника пошли по весне лабаз строить, один в дороге помер. Раздулся от воды, а удержать себя не может, лакает снежницу... Привезли его на санках, помер...

— Чаю ведь не дашь, — сумрачно сказал Библиенко.

— Почто не дам? Сегодня дам глотнуть, завтра не дам... Свой принеси.

У Библиенко от непривычной работы тупо ныла спина. И руки дрожали мелко-мелко. Жадно попив холодного чаю, он устало прислонился к стволу. Где-то в отдалении позванивала пила, вгрызаясь в неоттаявшую древесину, слышались голоса: ребята ругались с каюром.

Тайга здесь росла реденькая, угнетенная мерзлотой и холодом. Пока подберешь рослое дерево, годное для строительства геодезических знаков, досыта набродишься по набухшему снегу. В этом и была основная трудность заготовки. Высокие лиственницы, как правило, жались в распадах, снегу там — по грудь. Свалить такую лесину трудно, а уж вывезти и подавно. Ослабевшие олени вязли, падали, дико выкатывая глаза, хрипели, будто перед смертью.

— Губить олешка уговору не была! — кричал Туприн. — Спина таскай нада!

— Ты сам на спине таскай! — ярился Тимофей Трунов. — Мое дело свалить, от сучьев очистить! Твое дело — к берегу вывезти!

— Брошу такая работа! — не сдавался Туприн, но, вдоволь накричавшись, принимался понукать оленей гортанными воплями...

Потного Библиенко обдало ознобом. Отшвырнув едва начатую самокрутку, он предложил:

— Давай-ка пилить, простудимся.

— А ты хитер, — улынулся Мананков, — притворялся, что пилить не умеешь... Сноровка есть, сразу видать.

— Жизнь научит, — сказал Библиенко, поднимая на плечо длинную пилу. — На Востоке в береговой артиллерии служил, приходилось в тайге бывать... Там тайга — этой не чета.

— А у нас в Гонохове? — похвалился Прокоп. — У нас и кедра, и пихта, и сосна — чего хошь выбирай. На одном пятачке можно весь план сполнить... И грибы есть, и брусника...

— На Востоке тоже ягод много, — произнес Библиенко. — Виноград дикий — не пролезешь... Лимонник тоже. А рыба? Сначала корюшка пойдет, потом красная — валом... Батарейцы ряшки наедят — лоснятся. Икру ложками черпали.

— У нас в Гонохове раньше осетров из зимних ям доставали, по семь пудов... Ну, ладно, разговорились — давай пилить.

Какую лиственницу валить — выбирал Прокоп. Утопая в жидком снегу, он пробирался к дереву, топтался вокруг, трамбуя площадку, потом уж подзывал Библиенко. Работал Прокоп легко: расставив прямые ноги, сгибался, не ощущая ломоты в пояснице. Библиенко перед каждой лиственницей опускался на колени, так ему было удобнее. Ватные штаны его намокли, под телогрейкой струился пот, от головы, когда снимал шапку, несмотря на теплынь, поднимался парок.

Прокоп верно заметил: сноровка к пиле у Библиенко была. Приходилось и лес пилить, и землю копать.

Необъяснимо устроен человек: попав в лес, Николай Филаретович вдруг успокоился. Терять больше нечего, а жизнь идет — значит, что-то еще будет впереди...

Обиженно скрипнув, лиственница покачнулась, постояла еще, словно бы раздумывая, в какую сторону падать, но Прокоп слегка надавил на ствол, и дерево упало, куда ему велели — вершиной к реке.

— Туды же пошло,— непонятно объяснил Мананков.

— Куда?

— В план... Чуев так говорит. Упадет листвяга, он обязательно скажет: в план пошло. Чудак. Привык на своем заводе. Ему бы и в тайгу гудок...

Прокоп, сам того не зная, угадал точно: Сене Чуеву не хватало завода. Упрашивая начальника отряда поставить в паспорт штамп, Сеня не представлял, что аэрогеодезия — это жидкий снег под лиственницами, непропеченные лепешки, надоедливый визг пилы. Север оказался немножко не таким, как в книгах, хотя Сеня уже увидел много такого, чего никогда в жизни не увидел бы.

Когда они ехали к месту заготовки леса, неожиданно стало очень тепло и солнце сияло так ярко, что глазам делалось больно. Кое-где на таежных гривах снег растаял до мха, и Сеня впервые в жизни увидел голубику, перезимовавшую под сугробами, ставшую мягкой, как крохотные бурдючки с вином. Именно вином пахла голубика, терпкая ягода северной земли.

Они ночевали в палатке на первой стоянке. Сеня совсем уж было заснул, но где-то рядом раздался какой-то гневный клекот неизвестного существа. А утром увидел на снегу отпечаток лапы какого-то зверя. След был странным: вокруг нетронутая снежная целина и всего один отпечаток лапы с длинными когтями. Сеня рассказал ребятам, как кричал этот зверь.

— Медведь? — испуганно спросил Библиенко.

— На медведя не похоже,— усомнился Прокоп.— Медвежий след я знаю. На росомаху похож, только не возьму в толк: по воздуху, что ли, она летела?

Тайну странного зверя открыл каюр Туприн.

— Бабушка такой медведь котелок кладет,— сказал он.— Белый куропатка крылом махал, кричал — себе девушка звал...

Этот человек знал все, что делается в тайге.

К работе в лесу Чуев привык быстро. В первый день наломал спину, едва до палатки добрел. А потом дело пошло, втянулся. Одна беда — скучно было с Прокопом, поговорить с ним нельзя. Зато теперь с Тимофеем — другое дело. Трунов — бывалый человек, начнет про колонию рассказывать — зубами скрипит.

— Тяжело приходилось?

— Эх, Чуёк! Свое отдам, только бы мимо пронесло...

Тимофей Трунов привык с топором сучья считать, а пилу невзлюбил. Одно дерево свалят — перекур.

— Маху я дал с этой геодезией,— жаловался Трунов.— Надо бы к

дому пробираться, крутил бы сейчас баранку... Самая лучшая работа! Почет и уважение: минок, подбрось, подвези. Я ведь думал на Алтай поехать, на Чуйский тракт. Эх, красотища! Перевал в горах — вниз глянешь, и голова кружится. Мотор волком воет.

— Страшно?

— Что из того, зато прибыльно. За страх тоже платят. Там мужики по двадцать лет работают, пушкой не вышибешь...

— Везде ты побывал. А я, кроме детского дома, ремеслухи да завода, и не видал-то ничего.

Интересные разговоры Сени Чуева с Тимофеем Труновым, по наблюдениям Гокалова, сдерживали темпы лесоповала. И Терентий Петрович после посещения делянки ввел новый метод учета: на каждом бревне оставь свою метку.

— Тоже мне ревизор, — ухмыльнулся Трунов. — Таких зарубок я и на чужих лесах понаставлю. Нам схимичить — дважды два. Смухлюем?

— А зачем? — удивился Сеня. — Себе дороже обойдется, лишнюю неделю здесь проторчим... Кончатъ скорее надо, на плотях отдохнем.

Довод Чуева Тимофею показался более убедительным. Теперь Трунов сам командовал:

— Кончай перекур!

Снегу в тайге осталось совсем мало: солнце свою работу справляло аккуратно. Но особого облегчения солнце не принесло. Из-под снега вылезли трухлявые стволы ветропадных деревьев, стало труднее ходить. По низинкам на каждом шагу — свежые болотца, все равно вымокнешь. Но самое неприятное — олени отказались работать. По глубокому снегу они хоть как-то, но волочили длинные хлысты, сдвинуть с места такую тяжесть по земле не могли. Туприн понапрасну тыкал их хореом в бока и истошно кричал. Олени падали, даже не хрипели — просто закрывали большие коровьи глаза и были готовы к смерти.

— Кончатъ нада, — сказал Туприн начальнику. — Олешка помирай будет, мне плоха будет...

В голосе каюра прозвучала такая решительность, что уговаривать Туприна Терентий Петрович не стал.

— В таком разе, — сказал он, — напишу тебе бумагу, что половину условий договора ты выполнил... Корми своих оленей до осени, отдыхай. В Джеляде встретимся, найдем, когда понадобится.

— Как бревна таскать будешь?

— На плечах, как же еще, — вздохнул Терентий Петрович.

Терентий Петрович притащил карту. Его очень волновал предстоящий путь на север.

— А когда Куронах в Лучакан впадет, что будет?

— Вода будет, — ответил Туприн. — Куронах — мала вода. Лучакан — многа. Лучакан — большой река. Труба есть, вода быстра бежи...

— Длинная труба? — обеспокоился Гокалов.

— Длинный, долга ехать.

— Не разобьет плоты?

— Зачем бьет? Пока плот делаишь — вода нету, упадет...

Терентий Петрович ожесточенно почесал в затылке: вот и разберись тут, что к чему. Про лучаканскую трубу в Олонке ходили различные слухи, толком ее никто не видал. Один якут утверждал, что зажатый отвесными скалами Лучакан в том месте плотов не пропустит. А председатель сельсовета, старый эвенк, рассказывал, что никаких скал там нет, порогов тем более...

Потом Терентий Петрович уединился и долго еще рассматривал карту: кое-где течение Лучакана было обозначено неуверенным пунктиром. Карта ничего не знала о предстоящем пути.

То утро, промозглое совсем не по-летнему, наполнилось шуршанием капель, падающих на отяжелевший брезент, тихим журчанием внезапно родившегося ручейка, стекающего мимо чадающего костра. Терентий Петрович вошел в общую палатку, когда Васятка Башлыков разливал по мискам дымящийся суп, положил тетрадь на видное место, а сам опустил-ся на разостланный спальный мешок, поближе к горячей печурке.

Рабочие ели вяло: утром всегда так, пока не проработаются. Васятка знал об этом, но все-таки с надеждой поглядывал: авось кто-нибудь попросит добавки. Васятка не то чтобы стремился каждому угодить, он просто любил смотреть, как люди уничтожают его стряпню, его щуплое тело, казалось ему, наливается силой оттого, что кто-то много и аппетитно ест.

В обед Васятка безмерно суетился. Выдумывал несуществующие предлоги и выскакивал к подтоварнику с продуктами, подсыпал в поллитровую банку соль, рукояткой ножа давил сморщенную дробь черного перца, проверял, не остыл ли чай, который он только что снял с огня. И все это бегом, торопливо, с радостью, потому что люди, уплетая щи или размоченную в воде, а потом заправленную консервами сушеную картошку, похваливали его и откровенно наслаждались вкусной едой. В тайге, где человеку остается мало радости, еда имеет огромное значение.

У Терентия Петровича от общего руководства подразделением спина не ныла, ладони не саднило и аппетит не подвергался временным колебаниям. Если бы аппетит Терентия Петровича изобразить графически, то получилась бы ровная жирная черта.

Энергично взмахивая ложкой, Гокалов быстро насытился и, подождав, пока всем нальют чаю, потянулся за тетрадью.

— Я намерен доложить, что нынче, по моим подсчетам, мы заканчиваем заготовку леса.

Гокалов сообщил новость буднично, будто этой минуты не ждали так долго. А ведь ждали. Мечтали о том дне, когда не надо будет сгибаться с пилой, не надо рубить смолистые сучки, от которых топор отскакивает, как от твердой резины, не надо, сбивая плечи в кровь, таскать бревна к берегу. Знали, что этот день приближается, но что он уже пришел — не верилось.

— Уже все? — улыбнулся Чашкин. — А запас?

— Запас вырубим сегодня, — ответил Гокалов и раскрыл тетрадь. — Я намерен еще доложить результат нашего упорного труда. План перевыполнен почти на полмесяца. Стало быть, зарплата возрастает...

Гокалов не сказал ничего нового, все было подсчитано заранее. Но даже зная все это, ребята слушали Гокалова с большим удовольствием.

— Вот так будет! — непонятно высказался Иван Куканов, яростно потирая ладони. — Гробиши будут, жизнь наладим!

Терентий Петрович строго посмотрел на Куканова, закруглил выступление:

— Сегодня в лес идут Библиенко, Мананков, Чашкин. Остальные приступают к сплотке.

— Могли бы меня не посылать напоследок, — недовольно пробурчал Библиенко.

— Пререкаться не советую, — предупредил Гокалов.

— Оставили бы его, — подал голос Прокоп. — Плечо ссадил бревном, толку от него почти никакого...

— Адвокатуры нам тоже не нужно! — осадил его Терентий Петрович. — Обойдемся без нотариуса! Заданье вам — двадцать пять хлыстов, длину знаете...

Первую же лиственницу, которую они спилили поодаль от берега, пришлось оставить на месте: не осилили. Прокоп с Чашкиным встали под комель, кое-как оторвали от земли, цепenea от натуги, взвалили на плечи. А Библиенко поднять вершину не смог.

— Рывком ее, рывком,— сквозь зубы процедил Чашкин, но тут же охнул.— Бросай, Прокоп, упаду...

Бревно шлепнулось на сырую землю. Чашкин присел на корточки, опустил голову. Библиенко виновато молчал. Прокоп пнул бревно каб-луком:

— Ни в жизнь... Надо стяжки рубить, кантовать будем.

— Полдня прокантуешься,— сказал Чашкин, переводя дыхание.— Вот зараза, кровь в голову бросилась...

— Я хотел,— оправдательно сказал Библиенко.

— Чего — хоте-ел,— отмахнулся Прокоп, ^мкишки полопались бы.

— А может, поближе к воде поискать подходящих? — неуверенно спросил Библиенко.— Чего мы за это место ухватились: делянка, делянка... Кто ее делил? Походить надо по берегу, чего-нибудь попадет-ся же!

Чашкин поднял голову, с любопытством посмотрел на Библиенко:

— Слышь, Прокоп, а ведь Фламинга дело говорит. Пилить, которые сами в воду упадут... Нет, не совсем в воду, а рядышком. А? Только как их потом доставить — вот в чем вопрос...

— Тут вопроса нету,— сказал Прокоп.— Багор нужен и веревка. Вот и весь вопрос.

— Я могу за багром,— предложил Библиенко.— И веревку принесу. Скажу начальнику — для облегченья...

Николай Филаретович ходил долго. Прокоп два раза успел поку-рить. Натаскав на берег обрубленных сучьев, покрывшихся молодой хво-ей, они уселись так, чтобы холодный ветерок не дул в спины; и, поджи-дая Библиенко, лениво разговаривали.

— Воды в Куронахе поубавилось.

— Пора бы...

— Интересно, рыба в нем есть?

— Конечно.— Прокопу вопрос показался странным.— Какая же ре-ка без рыбы. Народу тут нет, не ловят, не пугают...

— А у нас даже крючков нету,— вздохнул Чашкин.— Ружья есть, а крючков нету.

— Ружья казенные, положено в тайге. А про рыбу кто же думал? Погоди, маленько подберемся с делами — налажу крючки. Я уже при-глядел проволоку на ящиках со сгущенной, сталистая проволока...

— Я раньше слыхал — Север, Север, дичь палками бьют. А сколько раз выстрелить пришлось? Весной еще, когда утки летели... А с тех пор и не стреляли.

— Значит, место такое,— рассудил Прокоп.— Недобычливое место, потому и нет ничего. Вот поплывем — поглядим...

— В Средней Азии я жил, возле Балхаша, вот где охота,— мечта-тельно сказал Чашкин.— Люблю Азию.

Николай Филаретович наконец-то принес моток веревки и багор без черенка.

— Гокалов не хотел давать веревку: не выдумляйте, говорит... На-силу выпросил.

Предложение Библиенко оказалось толковым. Миновав низменный полуостров — отсюда ушли вешние воды,— Чашкин уверенно направил-ся к высокому берегу, который от палаток был виден смутной полосой. Они еще не дошли до цели, как сразу же за излучиной увидели три де-рева на подмытой торфяной кочке. Одна лиственница склонилась к реке,

чуть подпилить — сама поплывет, другие немного подтолкнуть — и в воде. Прокоп посоветовал свалить эти деревья на обратном пути.

— Верно! — подхватил Чашкин.— Поднимемся дальше, отсчитаем сколько надо, а обратно пойдем — все подберем...

С трудом преодолевая завалы, промытые ручьями канавы, они прошли еще километра два, оставив за собой десятка три подходящих деревьев. Пока Чашкин с Библиенко пилили, Прокоп заготовил два стяжка, вырубив их из звонкой сухостоины. Потом он обрубил сучья с первого поваленного дерева, подковырнул стяжком под комель — бревно легко подалось к воде. Размотав веревку, Прокоп накинул петлю на вершину, затянул.

— Вот так. Остальные прихватывай — и как на поводу будут. Веревка длинная, на три части поделим.

— Гокалов заругается из-за веревки,— предупредил Библиенко.— Велел в сохранности представить.

— Пусть орет,— согласился Чашкин.

Терентий Петрович Гокалов, как уже было сказано, о сплаве леса имел самое смутное представление. Молевой сплав — это он знал. Это когда спиленное бревно толкают в речку и оно само по себе плывет. Если к берегу прикнется, его надо багром отпихнуть. Но пихать багром несколько сот бревен по широкой реке никак нельзя. Стало быть, оставалось одно: связывать бревна пучками, пучки стягивать между собой и таким манером, пlying на этих пучках, направлять бревна к цели.

Метод такого сплава Терентий Петрович вычитал в специальной литературе по приказанию начальника отряда товарища Лемеха. Правда, в книге сказано, что буксировать плоты должно специальное судно, укомплектованное хорошо обученным экипажем, и что таким прогрессивным методом можно сплавлять сразу несколько тысяч кубометров, но все это Терентий Петрович отнес к разряду малосущественных деталей. Там — много, здесь — мало. Значит, там большие пучки вяжут, а здесь надо маленькие.

Поэтому главной заботой Гокалова при экипировке подразделения были тросы и веревки. Только тросами можно связать бревна в надежные пучки, потому Гокалов доставал их сколько мог. Тросов Терентий Петрович надоставал столько, что ими можно было бы опутать каждое бревно из тех, что подразделение обязано доставить на Север, в пустынную тундру.

Объявив, что увязка пучков — дело чрезвычайной важности, Терентий Петрович мобилизовал на работу даже Васятку. Терентий Петрович сам надел длинные резиновые сапоги, намереваясь не просто руководить с берега, но спуститься непосредственно в гущу событий, в воду.

Терентий Петрович все же сомневался, потому что не знал, как быть. Как расставить людей? Каким образом стягивать бревна? Но книжка на такие вопросы ответов не давала.

В конце концов Терентий Петрович решил действовать согласно обстановке, что в переводе с военного языка на общежитейский означало — на авось. Но решимость эта облегчения Гокалову не принесла.

Невеселые мысли, посетившие Терентия Петровича, никаких внешних изменений в его поведение не внесли. Командовал он по-прежнему твердо:

— Башлыков и Чуев! Ваша задача спехивать хлысты на воду, подводить баграми к нам. Трунов и Куканов стягивают пучки. Задача ясная?

— Понятно, чего ж такого,— шмыгнул носом Васятка.

— Сапоги короткие,— сказал Трунов.— Вода холодная...

— Сапоги выданы, какие положено, других нету. Есть еще вопросы? Все ясно? Начи-инай!

Сеня Чуев встал с того края штабеля, куда бревна лежали комлями. Он даже не подумал, что делает это специально, чтобы облегчить работу Васятке, просто встал — и все. Столкнув бревно, Сеня вонзил острие багра в вершину и подвел его к тихой заводи, где ждали сплотчики. В это время Васятка, действуя багром как рычагом, спустил с откоса еще одно бревно, радостно крикнув:

— Само пошло! Видал, Чуёк? Ты не подымайся, один управлюсь!

Это была первая поправка в расстановке сил, придуманной Гокаловым. Поправке этой он обрадовался, смекнув, что не так черт страшен, как-нибудь все образуется.

Терентий Петрович стоял по колено в воде, придерживал трос, наблюдал за работой Тимофея и Куканова. Трунов засучил рукава и подводил под бревно конец троса. Потом делал петлю и давал знак Куканову. Вдвоем они затягивали петлю, а Терентий Петрович испытывал прочность стяжки, приговаривая:

— Растеряем куботаж — голову сымут. Тяни крепчей, не боись порвать!

Неожиданно Трунов резко выпрямился, скверно выругался и сказал:

— Ну, чего ты над душой стоишь, начальник? И без тебя тошно: руки коченеют, ноги заходятся... А ты стоишь в сапогах и горло дерешь...

Терентий Петрович быстрым шагом вышел из воды, сел прямо на землю, снял сапоги.

— Иди надевай! Думаешь, мне жалко? Для дела нужно — ничего не жалко! Бери!

Трунов скромничать не стал, переобулся, притопнув, повеселел:

— Другой табак! Теперь и в воду можно. Ай да начальник! Спасибо!

— Мне не спасибо твое, дело нужно, — ворчливо сказал Гокалов. И тут же добавил: — Только тяни крепчей, затягивай!

До полудня над притихшей в тумане рекой гремел голос Терентия Петровича. А когда из-за речного поворота вышел Прокоп, с трудом удерживая у берега десяток бревен, первая связка была готова: из воды выглядывала ребристая спина неведомого чудовища. Тяжелая сырая лиственница плохо держалась на плаву. Основная часть связки, опутанной стальным тросом, оказалась под водой.

Сеня Чуев хотел испытать, как плавает готовая связка, и прыгнул на спину чудовищу, но оно, грузно повернувшись, сбросило его, при этом совсем погрузилось и лишь потом неохотно всплыло. Сеня Чуев с помощью Васятки выжимал штаны.

Прокоп внимательно оглядел ребристую спину чудовища и сказал убежденно:

— Она не поплывет.

«Вот оно, начинается, — горько подумалось Терентию Петровичу, — надо отвечать, а что отвечать...» Гокалов хмуро уставился на Прокопа, давая понять, что обойдется без замечаний со стороны. Если бы Гокалов сказал Прокопу, чтобы тот не лез не в свое дело, Прокоп обязательно бы послушался, и тогда неизвестно, чем бы кончилось это повествование. Но Терентий Петрович ничего не сказал, а взгляда Прокоп не понял и простодушно добавил:

— Таким пучком она не поплывет. Ее надо по бревнышку раскатать, к ромжине вицами прихватить...

— Кого ее? Кого ее?

— Сплотку раскатать надо. — Прокоп показал руками, как будто разорвал дефицитный трос. — И к ромжине...

— Какая еще ромжина? — Гокалов не сдавался. В голосе слышалось недоверие, но уже появился и затаенный интерес.

— Ромжина-то? — удивился Прокоп. — Обыкновенная. Лесину сухостойну свалить — вот и ромжина... Клиньев натесать надо, виц напарить. Вицу кольцом на два бревна надеть, клин на излом через ромжину вбить — вот и сплотка... Потом опять два бревна...

— А вицу эту твою где взять? — с разгорающейся надеждой спросил Гокалов.

Прокоп укоризненно покачал головой. Ему вдруг показалось, что начальник валяет дурака: ведь не может же он не знать таких обыкновенных вещей, известных каждому гоноховскому пацану. Но начальник смотрел на Прокопа все так же строго, он ждал ответа. И Прокоп объяснил:

— На вицу прutowник идет. Распаришь талину над костерком, вокруг столба покрутишь — она полопается вся, податливой делается, как веревка, а крепкая — ужась... У нас в Гонохове по таежным речкам всегда такие плоты спускают. Хошь какой лес плывет — и береза сырая, и листвяга...

— Ну-ка, ну-ка, — сказал Терентий Петрович и придвинулся поближе к Прокопу, — растолкуй-ка подробнее...

Прокоп сел на корточки, начертил прутиком на узкой полоске прибрежного песка и ромжину и клинья. Растолковал, как поставить на готовом плоту м а л ь ч и к а, к которому крепится гребь.

— А можно и без мальчика, кобылу можно поставить, еще крепче будет, — сказал Прокоп в заключение.

— Кобылу... мальчика, — как заклинанье, повторил Терентий Петрович и чуть было не рассмеялся от радости.

Чем больше Прокоп говорил — буднично о будничном, — тем больше оттаивал взгляд Терентия Петровича, тем спокойнее чувствовал себя начальник подразделения, убеждаясь, что выход из безвыходного положения все-таки найден.

Ну кто бы мог подумать, что Прокоп Мананков носит в своей кудлатой голове бесценные знания о мальчиках и кобылах, что именно он так неожиданно, а главное, вовремя спасет и авторитет Гокалова, и производственную программу геодезического отряда. Терентий Петрович спросил:

— Ты чего же раньше молчал? Чего не говорил, что знаком со сплавом?

— А почто говорить? — удивился Прокоп. — Не спрашивали ведь...

— Ах, голова садовая, — ласково вздохнул Гокалов, но тут же как-то странно всхлипнул. Это Терентий Петрович на мгновение представил ужасную картину: Прокоп Мананков в его подразделение не попал. И тогда Гокалов зачистил: — Ты вот что, берись-ка ты, Прокопий Андреяныч, за дело практически. Давай-ка поруководи работой, обучи народ. Моя поддержка обеспечена...

Прокоп даже рот разинул, удивившись такому обращению. Первый раз в жизни его по отчеству повеличали, вспомнили папашу.

М

К вечеру около палатки возвышался ворох тальниковых прутьев. Прокоп приказал разжечь костер, а сам тем временем сделал на лиственнице затес, смастерил нехитрое, напоминающее плетку приспособление для того, чтобы крутить вицы. Приказания Мананкова выполнялись беспрекословно, сам Терентий Петрович ходил рубить тальник и вообще ни на шаг не отступал от Прокопа, запоминая все, что он делал.

Костер разгорелся дымный — потрескивала хвоя. Прокоп показал, как крутить вицы. Подержав талину над огнем, он зажал ее в прищеп затеса, на другом конце прихватил прут сыромятным ремешком и, скручивая его, пошел вокруг лиственницы, наматывая на ствол. Освободив затем талину от ремешка, выдернул ее из прищепа, показал Гокалову готовую вицу. Размочаленный прут превратился в крепкий податливый жгут, сохранивший форму кольца. Снедаемый нетерпением, Гокалов спросил:

— Библиенко, все понял?

Николай Филаретович обиженно пожал плечами: дескать, чего же понимать. Гокалов потребовал:

— Сделай-ка самостоятельно!

Библиенко послушно пошел вокруг дерева.

— Шибчей крути, шибчей! — крикнул Прокоп.— Крути, чтобы попала, чтобы мягкой сделалась!

— Чтобы мягкой! — эхом повторил Терентий Петрович.

Вица у Библиенко получилась хорошая. Убедившись в этом, Гокалов заторопил:

— Теперь на берег пошли... Пускай Библиенко крутит, а мы попытаемся хоть несколько бревен связать сегодня.

— Чего пытаться-то? — хмыкнул Прокоп.— Завсегда так делают.

— Пойдем, пойдем! — сказал Терентий Петрович, увлекая Прокопа.

На берегу все было приготовлено для сплотки: ромжины — длинные сухостоины, принесенные Прокопом, десяток клиньев, заготовленных Труновым по указанию Мананкова. Подобрал два одинаковых по длине бревна, Прокоп надел на них кольцо вицы, положил поперек ромжину, заломил через нее клин и ударами обуха загнал его намертво. Потом эту же работу повторил с другого конца.

— Вот так надо, — сказал он, когда бревна оказались на плаву.

— Молодец! — воскликнул Гокалов, окончательно поверивший в удачу.— Молодец! — повторил он и окинул окрестности победным взглядом.

Два дня подразделение готовило прутья, тесало клинья. Дело спорилось. Библиенко, как конь на привязи, ходил по бесконечному кругу. Прокоп занимался сплоткой: в заводи хозяйничал он.

Терентий Петрович опять появлялся на берегу лишь для того, чтобы убедиться, что работа идет нормально. Вмешательства Гокалова не требовалось.

Оно потребовалось позже, когда Библиенко поругался с Прокопом. Вицы вить оказалось занятием трудным: у Николая Филаретовича запылились руки, да и голова кружилась от непрерывного хождения вокруг ствола. И Библиенко стал халтурить, подбрасывал нескрученные вицы, надеясь, что никто не заметит. Но Прокоп заметил и еще раз показал, как правильно крутить тальник. Мананков подумал, что Николай Филаретович все позабыл. А когда Сеня Чуев принес на берег новую охапку плохих виц, Прокоп разволновался:

— Ты чего такой бестолковый? Опять позабыл? Ведь показывал...

— Иди знаешь куда?! — закричал Библиенко, возмущенный таким обращением.— Ты что, в самом деле принялся командовать? Сморгаться научись, потом командуй!

Прокоп растерянно моргал. За последнее время как-то так получилось, что он и впрямь стал командовать. Прокоп ничего об этом не думал, он говорил, а все его слушались: он знал работу. Но вот, разозлившись, Николай Филаретович напомнил, что никакого такого права командовать Прокоп не имеет, и Мананков сразу сник. Перебранка случилась перед ужином, поэтому Прокоп бросил топор и пошел к палатке Гокалова.

— Библиенко орет... Я все показал, мне бы теперь освобождение.

— Так,— хмурясь, сказал Гокалов.— Никакого освобождения тебе не будет. Наоборот, дел прибавлю. За ужином покалякаем.

Попив чаю, Гокалов сказал:

— Сегодня получился нехороший казус: рабочий Библиенко обматюгал рабочего Мананкова.

Тимофей Трунов не удержался, хохотнул: как будто бы впервой.

— Это не так смешно, как некоторым кажется,— оборвал Трунова начальник.— Рабочий Мананков моим приказом был назначен руководителем работы. Обматюгав его, рабочий Библиенко тем самым кинул камень в мой огород... Я решил принять соответствующие меры: рабочему Библиенко назначается выговор. Теперь так. Как известно, должность десятника у нас свободная. Так вот, я намерен доложить, что рабочий Мананков Прокопий Андреевич теперь ваш десятник. Отношением к труду и знанием дела Мананков завоевал в упорной работе право на возвышение, а также на прибавку к зарплате. Прокопий Андреевич теперь мой помощник, должны все понять. И Библиенко тоже.— Терентий Петрович потряс в воздухе тетрадкой, как он делал это всегда после важного сообщения.

— Писать-то умеет десятник? — криво улыбнулся Библиенко.

— Писать у нас многие умеют,— разъяснил Терентий Петрович.— Работать умеют не все... Понадобится писарь — позову тебя.

— Чего слушать Фламингу,— подал голос Чашкин.— Прокоп в тайге свой человек, нам привыкать пришлось, а с него как вода с гуся.

— Пускай будет десятником,— согласился Тимофей Трунов.— В жилу попадем — бутылку поставит.

Прокоп почувствовал себя очень неловко. Он сказал:

— Ну, чего там выдумлять? Какой из меня десятник?

— Какой мне нужен,— сказал Гокалов.— Еще вопросы есть?

Вопросов больше не было. И тогда Терентий Петрович удалился в свою палаточку, искренне убежденный, что для поддержания авторитета он не должен находиться на глазах у подчиненных во время своей личной жизни. Личная жизнь в крохотной палатке была невыразимо скучна, но изменить своим убеждениям Гокалов не мог.

И то хорошо, что пока в подразделении Гокалова тишина. Но нынче подразделение уходит на север далеко вперед. Никаких встреч до жилухи не предвидится. А потому знал Терентий Петрович — тяжело будет людям.

Подготовкой к отплытию Прокоп руководил в чине десятника. Терентий Петрович распределил рабочих загодя, закрепил за плотами. При этом посоветовался с Прокопом:

— Не возражаешь, если на головном плоту с тобой в паре пойдет Чуев? И Башлыков припряжется... Вдвоем-то они нормального мужика заменят, а?

Прокоп согласился, и Терентий Петрович зачитал очередной приказ, в котором Трунова спарил с Чашкиным, а Библиенко с Кукановым. На свою долю Терентий Петрович предусмотрел плаванье в резиновой лодке для разведки фарватера и общего руководства.

Готовые плоты, оснащенные гребями, подтоварниками для снаряжения и продовольствия, отстаивались в тихой заводи. Прокоп разделил груз на три части, свою долю увеличил за счет банок с цементом, которые отходчивый Гокалов давно уже принял от Васятки. На своем плоту, помимо подтоварника, Прокоп из отесанных бревешек наладил возвышение для костра: Васятке теперь придется и еду варить, и у весла стоять, а костер можно жечь на плоту, не обязательно каждый раз приставать к берегу. Потом Прокоп подался на ближний мысок, там заметил он

тонкие сухостоины, годные на шесты. Притащив за собой пяток жердин, Мананков заострил их и аккуратно сложил на плоту. Уразумев, в чем дело, за шестами потянулись Трунов и Куканов.

Когда все приготовления были закончены, попили напоследок чаю, улеглись ночевать. Дождь, моросивший все эти дни, с обеда перестал, низовой ветерок разогнал тучи, и теперь в палатке было светло от розовых лучей незаходящего солнца. Печурка, обложенная камнями, источала тепло и уют. Несмотря на тяжеловатый запах от сохнувших портянок, в палатке ощущалась благодать.

— Красота,— мечтательно сказал Куканов.— Жизнь теперь пойдет легкая, поплывем себе по течению... Жилуха будет, баб найдем. Спирту добудем...

— Так тебя и ждут бабы,— зевнул Библиенко.

Прокопу вспомнилась Зинка Щипачева. Грустно стало, захотелось увидеть Зинку. Эх, встретиться бы, может, наладится жизнь.

А Сене Чуеву почему-то вспомнились свои ребята. Как они там? А как Иван Уткин? Кто же у него в сменщиках ходит?..

Только Чашкин не думал ни о чем, Чашкину хорошо в спальном мешке. Саша не понимал этих людей. Подтянув колени к подбородку, Чашкин оцепенел до утра. Он и проснется в той же позе, не всхрапнет во сне, не пошевелится.

Где-то над рекой тревожно закричала казарка. Наверное, песец напал на выводок, и птица теперь отвлекает его, плачет, взывая к справедливости. А может, сова напугала птицу...

Сам Прокоп плотов не водил, но много раз плавал с гоноховскими мужиками, сплавлявшими дрова по извилистой речке Пенжебряк. Видел, что самые умелые и сильные вставали к передней гребни. Оттолкнувшись шестом, Прокоп скомандовал Чуеву:

— Поглядывай, чтобы нас не развернуло. Если я начну отбивать от берега, ты к берегу гребни.

— Все наоборот? — волнуясь, спросил Сеня.— А если ты к берегу погребешь, нам что же, к середине реки стараться?

Прокоп задумался, соображая, что делать, но ничего не придумал и махнул рукой:

— Ладно. Там поглядим...

Терентий Петрович держался в некотором отдалении. Удобно устроившись на свернутой палатке, он неторопливо пошевеливал веслом, удерживая легкую лодчонку в куговертной заводки, чтобы не снесло течением раньше времени, пока не отчалили все плоты.

Тимофей Трунов от Мананкова несколько не отстал, а вот Куканов, пока спорил о чем-то с Библиенко, замешкался, и третий плот едва отвалил от берега, когда первые два уже выбились на стрежень. Обнаружив беспорядок, Терентий Петрович громко крикнул:

— Не растягивайся! Пошевелись, Куканов!

А чего шевелиться! Хотя Куронах и поизрасходовал свою первую силу, но был еще полноводным, подхватил плоты, потащил мимо зеленых от древней замшелости скал, мимо обозначившихся галечных отмелей. Заходили под ногами бревна, пугая на первых порах зыбкостью основания, заскрипели вицы, притираясь к ромжинам, зажурчала вода, выплескиваясь на плот.

— Плыве-ом! — донесся до Прокопа радостно-суматошный крик Куканова.— Расступись, берега-а!

— Поглядыва-ай! — ответил Прокоп, налегая на весло. За поворотом показался высокий утес, плот мчался прямо на него.— Отбива-ай! Расшибе-ет!

— Куда отбивать? — засуетился Сеня Чуев. — В какую сторону?

— К берегу держи свой конец, чтоб не развернуло, — придушенно сказал Прокоп, едва переводя дыхание.

Гребь выходила из воды, тяжелея с каждым взмахом. Пружиня, огромное весло поднимало Прокопа, и на какую-то долю секунды Мананков ощущал под ногами пустоту, наваливаясь на неподатливое дерево, он тянул гребь до потемнения в глазах.

Утес приближался. Сквозь пот, застилавший глаза, Прокоп уже различал камни, сглаженные водой. Когда-то, отвалившись от скалы, они выстроились грядой перед утесом. Удариться об эти камни — не миновать купели. А дело шло к этому.

Прокоп бросил гребь, когда до утеса остались считанные метры. Догадавшись, что весло при ударе о камни может сбить его с плота, Мананков отскочил подальше, зачем-то обхватил голову руками и успел отчаянно вскрикнуть:

— Держи-ись!

И сейчас же последовал удар. С упругим звенящим звуком выскочив из гнезда, сухое тесаное бревно взвилось к вершине утеса, развернувшись, задело о камни и упало расщепленным. А плот в ту самую минуту, когда, по всем статьям, ему надо бы рассыпаться от столкновения, неожиданно приостановился и потом, увлекаемый мощным течением, резко повернувшись от утеса, поплыл к следующему повороту, к другой скале.

Теперь у передней гребки оказался Сеня Чуев, испуганный и растрепанный. Он все еще греб, багровея от натуги, все еще хотел что-то изменить в своей собственной судьбе. Прокоп осмотрелся, приказал Чуеву:

— Кончай воду месить. Река-то умнее нас. На поворотах весло из гнезда вынимать будем. Иди, запасное установим...

На лодке приблизился Гокалов. До следующего поворота было еще далеко, и Терентий Петрович без опаски причалил к плоту.

— В чем дело?

— Куронах учит... Весло выбил, как спичку сломал.

— Какие предложения? — поинтересовался Гокалов.

— Против силы не переть... Пускай везет как знает. Скажите ребятам, чтобы на поворотах в берег веслами не тыкались.

Терентий Петрович поплыл передавать полезный опыт. Но Тимофей Трунов, издали понаблюдавший, как обошлось дело у Прокопа, обо всем догадался самостоятельно и весло убрал заранее. И получилось хорошо: даже не задев о камни, плот развернулся на стрелне.

15

Зинка измаялась без ночи. Первое любопытство прошло, уже не радовало незаходящее солнце, хотелось темноты. Не завешенных окон, а настоящей темноты, которая приходит вслед за лиловыми сумерками. А тут солнце лезло в глаза, будило не к месту, когда на часах обозначен был поздний час, не давало заснуть.

Выбравшись из спального мешка, Зинка отодвинула край плотной занавески, заглянула в окно, сощурилась: свет резанул глаза. Спать совсем расхотелось. Она с трудом натянула линялое, много раз стиранное платье. Одергивая подол, задержала руку на животе, ощутив под ладонью тугую упругость, вздохнула.

Лиственницы окрест поселка нежно зазеленели. Хвоинки были мягкими, но пахли настоящим лесом и на вкус напоминали сосновую хвою — кисло-горькие. Зинка всю жизнь пробовала на вкус, что видела вокруг. От этого случались неприятности: девчонкой наелась белены. Но зато Зинка знала, что семена клена кислые, а цвет желтой акации — сладкий, что липовый лист какой-то масляный, жирный, а листья сирени пронзи-

тельно горькие. По своей неодолимой привычке Зинка пожевала хвоинку лиственницы, с удивленьем обнаружив, что корявое, едва оттаявшее после лютой и долгой зимы дерево покрылось мягкими щеточками, по вкусу напоминающими сосновую или пихтовую хвою.

Хорошая погода стояла давно, появились комары. Зинка не захотела надевать накомарник, она никак не могла привыкнуть к сетке перед глазами, поэтому, отмахиваясь от звенящих в воздухе кровопийц, быстро спустилась к реке и пошла вдоль берега. Около поселка берег был захламлен консервными банками, бутылками, каким-то рваньем. Зинка шла туда, где почище.

Зинка обогнула отвалившуюся от берега глыбу и замерла. В двух шагах от нее сидел радист Мыльников, огромный, сгорбившийся. Перед Мыльниковым тлел дымокур.

Мыльников услышал шаги, поднял голову и заметил Зинку. Положив поверх обгоревших сучьев ветку с зеленой хвоей, радист дунул в костер, спросил:

— Испугалась?

— Чего пугаться, — ответила Зинка, — не медведя встрела.

— Врешь, испугалась. Все боятся.

— Я не боюсь — значит, не все. — Зинка повела плечом.

— Если не боишься, иди к огоньку. — Мыльников опять подул в костер. — Составь компанию...

Зинка приблизилась. Мыльников поднялся, огляделся. Заметив поодаль плоский камень, направился к нему. Камень был большим и тяжелым, но радист выворотил его с лежачего места, поднес к дымокуру, положил удобнее:

— Садись, гостьей будешь.

— Поздно уже сидеть-то, — сказала Зинка.

— Поздно быть не может, — просипел Мыльников, — скорее рано. Но разобраться во всем, то и не поздно и не рано — в самый раз. Когда человеку не спится — это плохо. Тогда он начинает думать... А ты почему не спишь?

— Наверно, тоже думаю. — Зинка натянула подол на колени.

— Ты думаешь... О чем ты можешь думать...

— Каждый про свое думает, — не обиделась Зинка. — Мне, может, больше вашего дум хватает... Ситковский грозит уволить.

— Значит, не потрафила начальнику. Чем же ты ему не пришлась?

— А ничем не пришлась, — простодушно созналась Зинка. — Он же лал, чтобы я с ним в конторе поселилась, а как я могу? У меня мужик есть. Мужик, значит, в лесу будет пуп рвать на тяжелой работе, а я, выходит, с начальником прохлаждаться? Так не бывает.

— Бывает, — сидло выдохнул Мыльников. — Еще не так бывает. Чего раньше думала, зачем ехала?

— С мужиком ехала! — встрепенулась Зинка. — Мужик у меня шибутной, завьется — где его искать? А у меня, может, ребенок к зиме будет... Как же я одна останусь?

Мыльников недоверчиво покачал головой:

— Ты не ври. Я знаю: Ситковский никогда не возьмет с собой замужную бабу.

— Так он же не знал, что я за Прокопом еду! — воскликнула Зинка. — Он же думал, что я сама по себе! А Прокоп меня тоже брать не хотел... А я разозлилась — ужась! Думаю, ладно, никуда от меня не денешься. Если за тобой не поеду, потом сам себя проклинать будешь. И поехала. А начальник мне — и гостиницу и в ресторан...

Мыльников захохотал. Он отвалился на спину, раскинул руки и, глядя в пустое зеленоватое небо, хохотал до слез, приговаривая:

— Погорел Ситковский... Погорел кот мартовский... Учудила девка!

Зинка Щипачева сначала не поняла, что приключилось с Мыльниковым, даже немного испугалась. Но потом смекнула, что это рыканье, бульканье в кадыкастом горле радиста — обыкновенный смех. И тогда она тоже рассмеялась и сказала:

— Он мне говорит: как же можно так, у вас никаких чувств ко мне... А я ему — какие чувства, если я брюхатая!

Отсмеявшись, Мыльников вытер выступившие слезы, достал из кармана пиджака плоский флакон со спиртом. Отвинтил пробку, спросил:

— Выпьешь?

— Нельзя мне, — сказала Зинка. Она почему-то чувствовала себя спокойно рядом с этим огромным, страшного обличья человеком. Вот говорили про него — зверь. А он хохочет.

Мыльников встряхнул флакон, сделал глоток, шумно выдохнул:

— Мне тоже нельзя. Раньше весь пузырек очистил бы, а теперь — не желаю. Жизнь меняется. Вот Берия слетел. Ты об этом чего думаешь? — А чего думать?..

— Неужто в тебе никакого интереса к этому нет? — спросил Мыльников.

— Был бы интерес, так Ситковский грозитя. — Зинка вздохнула.

— А мне понять хочется... Надоело все, уеду на материк — будь что будет. Может, пронесет...

— Чего пронесет-то? Уедешь — жить будешь.

— Болтаешь попусту, — буркнул Мыльников. И передразнил: — Жить буде-ешь... А как жить, если со страху всю жизнь растерял? Не знаешь? Вот и я не знаю... Отец мой носил фамилию Мельников. И он и брат его — оба сгинули. А я с перепугу одну букву в фамилии переделал и от великого страха на край света убежал... Как я боялся! — Мыльников опустил голову, сцепил на затылке огромные ладони и, напрягшись, пригнул себя к потухающему костру.

Зинка спросила едва слышно:

— Домой теперь поедешь?

— Поеду. Последнюю зимовку кое-как перенес: на материк тянет — спасу нет. Если в чем виноват — пускай наказывают.

— Наказывать-то тебя за что? И так наказан: родителей потерял.

— Эх, доброта твоя бабья! — сказал Мыльников. — Все бы так думали!

— Так и думают, — заверила Зинка, — а как же иначе...

— Улечу. Улечу, улечу, — как молитву, повторял Мыльников.

— Хорошо тебе — уедешь. А нам до осени маяться.

— Так ведь говоришь — Ситковский выгнать грозит. Вот и воспользуйся. — Мыльников поуспокоился, говорил тихо.

— А есть у него такое право? — всполошилась Зинка.

— За ненадобностью может уволить. Но обязан билет на самолет купить..

— Мне билета не нужно, — замотала головой Зинка, — мне нужно с Прокопом встренуться.

— Хочешь, помогу? — усмехнулся Мыльников. — Напугаем аморалкой, не посмеет тронуть...

— Какой аморалкой? — насторожилась Зинка.

— Приду, скажу: уволишь Щипачеву — начальнику отряда радиogramму дам, сообщу, зачем вез сюда... Или такой способ: адрес его жены у меня имеется, припугни, что ей письмо напишешь как пострадавшая...

Зинка зябко вздрогнула.

— Нет, никакой помощи мне не надо. Чего это вы все — запугать, напугать... Сами говорите, что жизнь меняется, а сами же норовите на

испуге прожить. Вы Ситковского напугаете, он меня припугнет — разве это жизнь? Для того, что ли, люди живут, чтобы пугать дружка дружку? Ведь не для того они живут. Им спокой нужен.

Перевалившись с боку на бок, Мыльников приподнялся над землей. Он криво усмехнулся, пробурчал:

— Ладно, иди... А то возьму и немножко голову оторву. Смогу.

— И чего наговариваете на себя?

— Наговариваю? А ты встреть своего Прокопа, спроси, как я ему чуть было голову не отрубил.

— Прокопу? Да мой Прокон, если хотите знать, никому себя в обиду не даст!

— Ну-ну,— успокаивающе засипел Мыльников.— Вижу — защита... А он тебя защищает?

— А что я ему,— сразу сникла Щипачева.— Он и не знает ничего. Он думает, я с начальником... Задурила ему голову. А как же иначе? Есть же у меня гордость. А он понять должен, что врозь нам не жить. Я так думаю.— Зинка виновато улыбулась и закончила: — Вот какое мое горе...

— Письмо ему напиши,— посоветовал радист,— обрадуется...

— Куда напишешь, на медвежью берлогу?

— Зачем на берлогу, на Джеляду. Они мимо Джеляды никак не проскочат.

16

Выгибаясь мостиком, Куканов сладко потянулся, по-щенячьи заскулил, раздирая в зевоте рот, резко поднялся и замер: никаких ароматов еды Иван Куканов в воздухе не обнаружил. Наоборот, нос его уловил несъедобный запах неуютной тревожности — чуть-чуть першило в горле, капельку пощипывало глаза.

— Стерню жгут,— сказал Иван удивленно,— горелым пахнет.

— Какую стерню, профессор,— Чашкин зевнул,— здесь на тыщу километров в любую сторону хлеба не сеют... А может, и на две тыщи.

— Жгут,— непреклонно сказал Куканов.— Паленым наносит.

Из палатки вылез Прокоп. Васятка копошился у костра, но дым уходил в сторону, влекомый едва ощутимым утренним ветерком.

— Чего у тебя творится тут?

— Какая-то хмарь накатила,— объяснил Башлыков.— Как будто дым какой...

— Дым, он и есть.— Прокоп прикурил от головни.— Тайга где-то горит... У нас в Гонохове было — кедрач пластал, все лето свету не видали.

— А нас не достанет? — Васятка пристально посмотрел на Прокопа.

— Как же ему достать, когда гореть нечему. По берегам-то что — камни. Одно слово — труба.

Знаменитая лучаканская труба вместо быстрины, которой пугали Гокалова, встретила сплавщиков стоячей водой. При слиянии Куронаха с Лучаканом радовались ширине и простору реки, думали плыть на всех парусах до самого моря. И плыли, пока не втянулись в проклятую трубу. Дня два, когда труба только начиналась, плоты потихоньку тащило, но потом движение вовсе прекратилось: ближе к осени лучаканская труба превращалась в длинное глубокое плесо.

Картина вокруг безрадостная: ни травы, ни дерева. Мрачные осыпи древнего хребта, пропиленного рекой в то время, когда здесь водились мамонты, уничтожали все живое. И зверь и птица бежали от камней.

Западня оказалась прочной и тем более обидной, что никаких видимых препятствий для сплава вроде бы и не было. Ну что это такое — исчезло течение? Скажи кому — засмеют и не поверят. А Гокалову было

не до смеха. Терентий Петрович считал попусту прошедшие дни и тосковал.

Услышав голос Прокопа, Терентий Петрович позвал:

— Прокопий Андреяныч, загляни ко мне!

Мог бы и не звать. Давно уже сложился порядок: умывшись, Прокоп втискивался в персональную палатку начальника для утренних переговоров. Гокалов испытывал потребность в сочувствующем собеседнике. В сто первый раз подсчитывал он дни, отпущенные по графику на сплав, и в сто первый раз выходило у него, что график, придуманный товарищем Лемехом, срывается. В запасе оставалась неделя, сэкономленная на лесоповале и сплотке. Присядят в трубе — прощай заработок.

— Что будем делать?

— Не знаю. Ей-богу, не знаю.

— Думать надо, десятник.

— А что думать, ежели вода остановилась.

— Не бывает такого.

— Конечно, не бывает. Чтобы вода в реке остановилась — не бывает.

— А у нас как?

— Остановилась, — вздохнул Прокоп.

— Какие настроения у народа?

— А что им, в карты режутся. Трунов карты нарисовал.

— Азарт? — насторожился Гокалов.

— На спички, — пояснил Прокоп. — А то на воду. Проиграешь — банку воды пей.

— Карты похожие? — невзначай поинтересовался Гокалов.

— Ничего, играть можно.

— Да-а.

Терентий Петрович давно не играл в картишки. С удовольствием погонял бы в подкидного.

— Надо сообщить народу, что проживаемся мы в пух и прах. А что делать? Что?

— Не знаю.

Завтрак вышел невеселым. Как Васятка ни старался, ничего любопытного из оставшихся скудных запасов провизии произвести не мог. Синяя каша из сеченой гречки и молочный кисель. Когда-то такой кисель был встречен восторженно. Васятка придумал заварить болтушку из сгущенного молока крахмалом, получилась отличная еда. Но тогда кисель был лакомством, а теперь почти что основой котла.

— Опять этот студень? — мрачно спросил Чашкин, увидев ведро с киселем.

— Опять, — подтвердил Васятка.

— Это же пытка, — поморщился Библиенко.

— А что варить, подтоварник пустой... Тушенки семь банок осталось. Лук кончился, картошка на исходе. А крахмал еще есть, будем на кисель нажимать...

— От твоего крахмала задница слипается, — буркнул Трунов.

— Кончайте глотничать, — сказал Куканов.

— Не виноват же он, что продуктов мало, — поддержал Ивана Чуев. — Рыбы наловим, уху заварим к обеду...

— Чего сидим, чего ждем? Бросать все надо, в жилуху двигаться! — крикнул Трунов.

— Как это — бросать? — насутился Гокалов. — Это разве твое личное имущество, чтобы бросать? Ты можешь распоряжаться?

— А я — чье имущество! — взорвался Тимофей и отбросил миску с кашей. — Меня можно прогорклым маслом травить? Можно?

— Масло-то и впрямь прогоркло,— вставил Библиенко.— Списать его надо...

— А ты молчи, подлюга! — заорал Трунов на Николая Филаретовича, вскочил, сжав кулаки.

— Трунов! — приструнил начальник.

— Чего завелся? — Куканов тоже поднялся.

— Не буду я киселя варить,— всхлипнул Васятка,— остынь.

— А-а, идите вы...

Тимофей Трунов перешагнул через вытянутые ноги Чашкина, сдернул с матицы накомарник, вышел из палатки. Беспричинные стычки в подразделении Гокалова в последнее время участились: угнетало безделье. Терентий Петрович придумывал работу, но, придуманная, она помогала слабо. Подтянули вицы на плотках — потратили день. Собрали по берегу плавник, притянули к сплоткам для лучшей плавучести — управились за три дня. А больше делать нечего.

После завтрака Сеня Чуев пошел на плот с удочкой. Снасть самодельная — Прокоп наладился гнуть крючки из проволоки. Крючки выходили похожими на фабричные, но разгибались. Сколько раз было: возьмется хариус или хороший сижок, а выдернуть из воды не удастся. Только ерши и окуни заглывали самодельные крючки на совесть, но в трубе окуней попадалось мало.

И еще плохо — пока червя найдешь, тонну камней перевернешь. Сеня закинул удочку на остаток вчерашнего червя и вернулся на берег. Камни осклизлые, заросшие каким-то синим мхом. Сеня переворачивал валуны терпеливо.

А в палатку вернулся поостывший Трунов, надоело кормить слепней и комаров. Достал из кармана карты, молча принялся тасовать.

— Метнем? — Чашкин показал коробку со спичками.

— На воду.

— Давай,— согласился Саша.

К разостланному брэзенту со своего места подполз Библиенко. Понаблюдал, как Тимофей сдает карты, попросил:

— Мне тоже.

Трунов ощерился, хотел матюгнуться, но вместо того неожиданно предложил:

— С тобой — на кисель.

— Как это на кисель? — насторожился Николай Филаретович.

— Обыкновенно: проиграешь — жрешь кружку киселя. Идет?

— А если ты?

— Тоже.

— Идет,— после некоторого раздумья согласился Библиенко.

— Васятка! — крикнул Чашкин.— Волоки свой студень!

На кисель никогда еще не играли, новизна вызвала оживление. Прокоп пододрвинулся к игрокам. Чашкин не вытерпел, сам пошел за ведром. Ведро поставил у входа, почерпнул полную кружку киселя и водрузил на кон.

Первую партию проиграл Тимофей. Сморщившись, кружку опорожнил. Библиенко посоветовал:

— До дна пей, не оставляй зла.

— Ладно, какое там зло,— улыбнулся Тимофей.— Держи карту.

Николай Филаретович играл азартно, пыжился, делал вид, что ему все нипочем. Но счастье изменило ему: карты знали хозяина, лучшие шли к Тимофею.

Две кружки Библиенко одолел сравнительно легко, третью выпил с передышками, от четвертой отказался:

— Не могу.

— Зло таишь? — нахмурился Тимофей.

— Какое там зло, брюхо не позволяет, — жалко улыбнулся Николай Филаретович, желая свести проигрыш к шутке.

Но Тимофей шутить не согласился.

— Во всяком брюхе есть лишняя требуха, — сказал он наставительно. — Хлебай.

— Не буду. — В голосе Библиенко послышалась решимость.

— Как это — не буду? Играл? Играл. Стало быть, хлебай.

— Не могу. Я завтра...

— Может, я к завтраму подохну, что тогда?

— Я и без тебя съем, — заверил Библиенко. — При свидетелях.

Тимофей Трунов дотянулся до кружки, поднес ее к лицу, понюхал кисель и вдруг, резко махнув рукой, выплеснул на Библиенко. Николай Филаретович медленно снял очки, оглядел всех, близоруко сощурившись, сказал совершенно спокойно:

— Так.

— А как же? — зло спросил Трунов.

Но Библиенко не ответил. Собрал ладонью со щек остатки киселя, вытер руку о брезент и, попятившись на четвереньках, выполз из папки.

— Издеваешься, Трунов, — сказал Иван Куканов. — Верх берешь...

— В защитники лезешь? — крикнул Тимофей. — А вот защитнику салазки загну, как будет?

— Горло перегрызу, — предупредил Куканов.

— Вот что, кончайте! — потребовал Прокоп, испугавшись назревающей драки. — Кончайте, а то Гокалова кликну, он успокоит.

— Что вы в самом деле, как кобели цепные, — поддержал Прокопа Чашкин. — Ну, перегрызетесь, а дальше что?

— А дальше — десятник знает, он к начальничку стучать бегаёт. — Тимофей повернулся к Прокопу. — Ишь ты, заговорил... Конча-айте! Не рановато ли?

— Совсем рехнулся, паря, — пожал плечами Прокоп, — теперь на меня напраслину прет... Что я ему сделал?

— Верх берет, — снова сказал Куканов.

— Молчи, падаль! — крикнул Трунов.

— Перестань, Тимоха, — Куканов погрозил пальцем, — нас на испуг не возьмешь.

Трунов поднялся: беспричинная ярость клокотала в нем. Но ни Куканов, ни Чашкин, ни тем более Прокоп драться не собирались. Прокоп даже не шевельнулся. И тогда Трунов ушел.

— Каверзный парень, — сказал Чашкин.

— Нервы показывает, — уточнил Куканов.

Прокоп вышел вслед за Тимофеем. Огляделся, заметил, что Трунов карабкается по каменистой осыпи на стенку трубы, из-под ног Тимофея срывались камни, которые побольше — катились до воды. Прокоп пошел к начальнику.

Терентий Петрович лежал, закрыв глаза, но как только Прокоп откинул полог, Гокалов сел.

— Плохо, — сказал Мананков, опускаясь на корточки. — Ребята грызутся...

— Кто? — насупился Гокалов.

— Какая разница. — Прокоп безразлично махнул рукой. — Все подряд. Звереют от скукоты.

— Что предлагаешь? — Терентий Петрович задал излюбленный вопрос.

— А что, ежели на разведку податься? — осторожно сказал Про-

коп.— Спуститься до конца трубы, оглядеть низа... Может, придумаем что.

Гокалов задумался. Остаться без Прокопа он не хотел даже на день, с десятником спокойнее. Но обстановка требовала жертв, Герентий Петрович это понимал.

— Один думаешь плыть али прихватишь кого? — спросил он, и Прокоп догадался, что Гокалов уже согласен.

— Вдвоих способнее. Фламингу возьму. Здесь от него никакой корысти, а возьму с собой — спокойнее будет.

— Действуй. Соберешься — покличь на берег, инструктаж дам.

Обиженный Библиенко, после того как умылся с плота, на берег не вышел, присел рядом с Сеней Чуевым.

— Ты скажи, такая река, а рыбы нету,— после долгого молчания произнес Библиенко.

— Ничего, поймается,— прошептал Сеня, зачарованно глядя на поплавок.

Ни разу в жизни Чуеву не пришлось посидеть с удочкой, только по книгам и кино знал он о рыбалке. Когда Прокоп сделал первый крючок, наострил его и, раскалив на углях, сунул в кружку с водой, Сеня к этой затее отнесся насмешливо. Но когда Прокоп, наладив удочку, поймал на катышек теста первого сига, Чуева будто громом поразило. Живая рыба, серебристая, упругая, лежала у его ног, топырила жабры, била о землю хвостом. Рыбачья страсть подкосила Сеню.

— Дай мне.— Чуев потянулся за удочкой.— Дай!

— погоди малость... Половлю, отдам.

— Дай, Прокоп! — Сеня упрашивал, как ребенок, и от нетерпения притоптывал ногой.— Ну что тебе стоит?

С тех пор Чуев хватался за удочку в любую досужую минуту. Перед завтраком, перед сном — все едино. Плохо, что досужих минут было маловато, плоты несло на север. А вот теперь, в трубе, сиди хоть с утра до ночи, но в стоячей воде хорошая рыба на снасть не шла. И все давно уже бросили бесполезное занятие — несколько удочек валялось на плотках, один лишь Сеня не мог уgomониться. Это он, заметив однажды на камне бледного выползка, придумал искать червей, ворочая валуны. Но хорошая рыба не попадалась даже на столь редкостную наживу. Прислушиваясь к советам, Чуев месил тесто с растительным маслом, сыпал с плотов остатки каши, насаживал на крючок мальков и ждал, терпеливо ждал удачи.

Прокоп уважал Сенину страсть, подошел тихо. Сеня поднял взгляд от поплавок, и Прокоп заметил, что взгляд у него осоловелый и счастливый.

— Видал, сколько надергал? — Сеня говорил шепотом.— Будет уха.

— Будет,— согласился Прокоп,— из запаха...

Библиенко хихикнул. Прокоп давно уяснил, что Николай Филаретович от обид был отходчивым; Другому бы той кружки киселя хватило для переживаний на три дня, а Библиенко уже отошел. «Это хорошо для него»,— подумал Прокоп, а вслух сказал:

— Филаретыч, нас начальник на особ заданье бросает. Посылает на низа поглядеть, почто вода стоит, да и вообще что там и как. Бери, говорит, Библиенко, он человек трудолюбимый... Пойдешь?

Пока Николай Филаретович обдумывал сказанное, Сеня Чуев вспыхнул:

— Возьми меня, Прокоп! Скажи начальнику — Фламинга отрекается, а меня возьми.

— А кто же народ ухой кормить будет? — сказал Прокоп.— Тебя нельзя, ты провиант добываешь.

— Я сам пойду к начальнику,— решительно сказал Чуев.— Если позволит, возмешь?

Прокоп отрицательно покачал головой:

— Куды вешься? Фламингу от блатяка увезти надо. Остервился чегой-то Тимоха. Понял? — Прокоп повернулся к Библиенко: — А ты, Филаретыч, быстро собирайся! Тихомолом уйдем на гокаловской резинке.

Библиенко кивнул. Его даже тронула забота Мананкова — ведь надо же, от кого заботу приходится принимать! — как настоящий десятник о людях рассуждает.

— А может, втроем можно? — ухватился Сеня за последнюю соломинку.

— Никак нельзя,— отрезал Прокоп.— Вдруг сплутаем, не вернемся... Помоги-ка лодку надуть.

Вынужденное безделье отразилось и на лодке Терентия Петровича, ее давно не подкачивали, лодка сморщилась, стала похожа на дешевую, мягкую колбасу. Прокоп доставил от подтоварника полушубки, кусок брезента на подстилку, закопченный котелок, свой топор, обернутый в тряпку.

Приковылял Васятка, недоверчиво возбужденный:

— Чего это Фламинга выдумляет? Куда это вы?

— На кудыкину гору,— раздраженно сказал Прокоп.— Не знаешь, что ли, как спрашивать? Чего дорогу закудыкиваешь?

— Это я так,— поник Васятка,— не подумавши...

Вскоре нехитрые сборы были завершены. Рюкзак с провиантом Прокоп завернул в брезент, положил на дно. Ружья на всякий случай — вдоль бортов. Сборы, конечно, обнаружили: Куканов и Чашкин давно уже крутились на берегу, каждый жалел, что с Прокопом поплывет Библиенко.

— Мне что, Гокалов сказал,— пожимал плечами Прокоп.— Сказал бы другого — взял бы хоть кого.

Терентий Петрович вышел на берег. Приблизился, держа у груди полевой бинокль. На берегу посмотрел в бинокль туда, откуда по трубе спускалась дымная гарь, потом перевел стекла вниз по течению: ничего не видеть.

— Бинокль возьми, Мананков, под свою ответственность. Дорогая вещь, потеряешь — будешь платить.— Голос Терентия Петровича звучал торжественно.— Помни, от твоего успеха мы все зависим. Пройди до конца, погляди, что там творится.

— А ежели конца не будет?

— Особо не задерживайся... Три дня плывите,— поставил точку Гокалов.— Не найдете ничего — поворачивайте.

17

Потом уже, думая обо всем этом, Прокоп дивился: почему не поплыли на разведку в тот день, когда плоты остановились?

Резиновая лодка по стоячей воде шла не очень ловко: осевшая, она бороздила гладь, как утюг. Весла у Гокалова сохранились фабричные, приходилось грести по очереди, занимая место на резиновой скамеечке. Первым греб Библиенко, а Прокоп, устроившись на носу, то и дело пытался разглядеть в бинокль неизведанную даль. Но даль была затянута плотной дымкой, порой даже высокие берега терялись. И Прокоп от греха подальше спрятал бинокль в рюкзак:

— Забава одна... И чего Гокалов видит в него?

— Все видит,— пояснил Библиенко,— только в ясную погоду.

— В ясный день я без этих стеклышек все разгляжу,— не сдавался Прокоп.

К вечеру, когда смутное солнце скрылось, Прокоп направил лодку к каменистой косе, выступившей из воды при впадении маленькой речушки. Вблизи оказалось, что ночевать на косе невозможно — острые камни торчали из синего ила, еще не просохшие, малоуютные. Но зато между камнями синий ил был покрыт сочными стрелками лука.

— Гляди-ка, здесь его литовкой косить можно! — удивился Прокоп.— На что у нас в Гонохове дикого лука по лугам — пропасть, но такого не видал...

— Прямо как настоящий! — восхитился Библиенко.— Такой лук на базаре продавать можно...

— На базаре и дерьмо продать можно,— рассудил Прокоп.— Надо скумекать на обратном пути, впрок набрать. Мужики по зелени стосковались, спасибо скажут.

В глубоких сумерках отчалили от косы, набрав охапку лука. Прокоп спешил, хотел выбрать место для ночлега засветло, но не успел. Приткнулись поблизости, около больших камней, оттащили лодку подальше от воды.

— Вдруг водополье от верховых дождей? Уплывет наш пароход, Гокалов шею свернет...

— Разве к осени половодье бывает? — недоверчиво спросил Библиенко.— Откуда взяться воде?

— Сказал ведь — от дождей. Верховые дожди пойдут, здесь река всколыбнется. Делай, что говорят. Ищи суховье на костер...

Плавнику по берегам валялось много, сухие дрова весело занялись: большой костер запылал в ночи. Прокоп приладил над костром жердину, повесил котелок. Вода вдоль стенок сразу же запузырилась.

— Тушенку раскубрим али оставим напослед? —спросил Мананков.

— Оставим. Неизвестно еще, что там впереди...

— Правильно,— согласился Прокоп,— раскубрить банку всегда успеем... А нынче чаю попьем, луку в соль помакаем. Скорее бы закипал, что-то я признобился...

Чай пили долго, одолев один котелок, вскипятили второй. Разомлели, вели посторонний разговор.

— Ну вот скажи, что я ему сделал? — вспоминал Библиенко своего недруга.— Как взъелся в Олонке, так и не дает житья...

— Трунов — парень обиженный,— задумчиво сказал Прокоп.— Карахтер суковатый у него... Держится-держится, а потом — хрясть! — по сучку надломится.

— Да при чем тут характер? — досадливо поморщился Библиенко.— Голова-то человеку для чего дадена? Чтобы думать... Так ты подумай, прежде чем на человека кидаться.

— Э-э, не скажи... Голова головой, но карахтер тоже человеком вертит. Вот ты, к примеру, бунчливый. За то тебя и не любят. Бунчишь-бунчишь — кому пондравится? А почто бунчишь? Карахтер показываешь... А возьми Васятку! Калекий человек, изморыш... Потому и доверчивый он, что в карахтере у него все от калекости идет. Силы нет, одно спасенье — верить каждому.

— Смотри-ка, да ты философ! — засмеялся Библиенко.— Никогда за тобой не замечалось. Молчишь все больше, а тут — рассыпался...

— А почто говорить? Свою правду не скажешь, для всех одну говорить надо... А трепать попусту несвычный я.— Прокоп вздохнул.

Утром опять выпили чаю. Ночной ветерок к утру усилился, разогнал дым, но нагнал тучи. Теперь по-над водой видно было значительно дальше, но холодные гребни останцев прятались в тумане: пахло дождем.

Когда тащили лодку к воде, поднимая ее повыше, чтобы не пропороть днище об острые камни, за ближним мысом послышался сильный плеск.

— Ш-ш.— Прокоп приложил палец к губам, потянулся к ружью.

Знаком приказал Библиенко остаться на месте, пригнулся и, скрадываясь за камнями, побежал к мысу. Библиенко на всякий случай тоже взял ружье.

Мананков подкрался к оконечности мыса, обернувшись, зачем-то погрозил Библиенко пальцем и только тогда осторожно выглянул из-за серой скалы, держа палец на спусковом крючке. Что он там увидел, Библиенко не знал, но догадывался — что-то малозначительное, потому что Прокоп вышел из-за скалы и стоял теперь во весь рост, не таясь.

— Иди сюда,— негромко позвал он.— Особо не греми. Иди погляди — глаза повылазят.

То, что он увидел, поразило его. В узком заливе, в который впадала речушка с берегами, поросшими луком, вода бурлила от беспрестанного движения крупных тайменей. Устье речушки было настолько мелким, что большие рыбины поднимали над водой яркие плавники, били хвостами, неожиданно показывали широкие пасти.

— Чего это они? — оторопел Библиенко.

— Почем знать,— пожал плечами Прокоп.— Расскажи — не поверят.

— Поймать бы...

— Чем? Пальцем? Снасть не взяли... А и взяли бы, на нашу снасть таких зверей не уловишь. Видал, кругами ходит?

Прокоп положил ружье на выступ скалы, долго целился, выбирая тайменя покрупнее. Выстрелил, когда над водой показалась спина огромной рыбины. В заливчике поднялась невообразимая толкотня. Несколько тайменей бросилось в устье, на мелководье: отчаянно работая хвостами, они извивались в западню, повернули обратно, пытались уйти в Лучакан. Глубина была далеко, и рыбины выскакивали из воды, переворачивались в воздухе, падали, поднимая брызги. А наперерез тайменям с диким криком бежал Мананков, размахивая руками, пытались загнать на отмель.

— Окружай-ай! — кричал он Библиенко.— Прыгай в воду!

Николай Филаретович растерялся. Сапоги у него были с короткими голенищами, а вода показалась холодной.

— Окружай, мать твою! — орал Прокоп, но таймени уже добрались до глубины: только круги по воде.

Прокоп остановился, все еще не веря в неудачу. Держал палец на спуске, надеялся, что вынырнет пудовый таймень, и тогда уж он не промахнется, всадит жакан. Но чудо не повторилось, все стихло. Едва слышно журчала речушка при впадении в Лучакан.

Библиенко смущенно молчал, чувствуя свою вину.

— На могиле с тобой ходить,— зло сказал Прокоп, снимая сапоги, чтобы вылить воду,— там спешить некуда... Почто стоял? Эх, шаньга непропеченная! Горлистый ты мужик, а, кроме разговорчатого горла, ничего в тебе нету.

Библиенко не оправдывался, чего уж там, когда виноват. Он смотрел, как Прокоп выжимает портянки, и терпеливо слушал.

Прокоп потом до обеда молчал. Библиенко греб и греб и не просил смены — заглаживая вину. А Прокоп сидел на носу, поглядывал в бинокль, который сегодня, когда развеялся дым, очень ему понравился, приближая далекие берега.

Прямой коридор трубы закончился к полудню. Было странное ощущение: впереди стена, останцы замкнули текучую воду, Лучакан остановился на веки вечные. Но чем ближе подплывали к этой стене, тем явственней обозначалась узкая щель, заполненная водой. Прокоп смотрел в

бипокль — щель становилась все шире и шире, потом уже стало ясно: Лучакан круто поворачивает. А впереди, на правом берегу небольшого плеса, глазу открылась странная гора, напоминающая каравай деревенского хлеба.

— Глянь-ка — булка,— определил Прокоп.— Доплывем до нее, причалим. Обедать пора.

Библиенко смерил взглядом расстояние до горы, понял, что махать ему веслами не меньше часа, но ничего не сказал.

— А гора с подножья лесом покрыта,— разглядел Прокоп.— Сейчас вершину тучей накроет...

Доплыть до горы не успели, заморосил дождь. Тучи спустились к реке, все вокруг стало серым и влажным. Библиенко устал, поднял весла. Хотел было сказать, чтобы Прокоп подменил, но с удивлением обнаружил, что лодка медленно движется без его усилий.

— Течение есть,— неуверенно сказал он.— Пльвем...

— Какое течение,— фыркнул Прокоп,— с разгону идет.

— Немного есть... Не гребу, а пльвем. И никакого разгона...

Вскоре и Прокоп заметил, что лодка движется: ободранная коряга на берегу оставалась позади.

— Погоди, погоди,— прошептал Мананков.— Не греби, уясним точнее.

Они мокли под мелким дождем полчаса, но лодка не остановилась. И чем ближе к горе, тем быстрее становилось течение. Прокоп бросал в воду клочки газеты: бумага, покачиваясь на мелкой волне, отставала.

— Чудеса,— недоумевал Прокоп.— Плыли, веслами упирались, а тут вода опять побежала...

— Может, дождь помог? — предположил Библиенко.

— Такой не поможет. Был бы уливный — другое дело... И то сразу вода не прибудет.

— А речка-то тайменная! — вспомнил Николай Филаретович.— Воду добавляет.

— Сколько там воды,— сморщился Прокоп.

Подплывая к горе, услышали впереди глухой шум.

— Тихо! — Прскоп предостерегающе поднял руку. Дождик шелестел по воде, но шум пробивался сквозь шелест — ровный, пугающий.— Кажись, порог! Греби к берегу.

Лодку оттащили за грядку камней, накрыли имущество брезентом. Прокоп взял ружье, двинулся первым. Обойдя мшистый камень, отколовшийся когда-то от скалы и скатившийся к самой воде, остановились пораженные.

— Вот она и закавыка,— сказал Прокоп.— И трех ден плыть не пришлось...

Каменное русло трубы в этом месте сужалось метров до десяти. По большой воде плыть можно, но засушливое лето обескровило реку: труба превратилась в корыто, лишь самая малость воды перекачивалась через край.

— Не пройдут плоты,— покачал головой Библиенко.

— Поглядим,— уклончиво сказал Прокоп.

Оставив Библиенко на берегу, Прокоп, прыгая с камня на камень, попытался перебраться на другую сторону. Но ничего не получилось: на середине, там, где, бушуя, вода устремлялась с порога, расстояние между камнями оказалось слишком большим. Кое-как удерживаясь на осклизлой спине большого валуна, Прокоп огляделся, зрительно вспомнил ширину плотов: если направить точно — пройдут.

Библиенко тем временем запалил костер, сходил к лодке за котелком. Место у подножья горы ему нравилось — мелкий ольховник, лист-

венницы, изломанные ветрами, еще какой-то кустарник неизвестной породы. Все-таки не труба, где одни камни. Хоть ночевать сегодня будут по-человечески: нарубят веток, подстелют.

Прокоп вернулся.

— Спустишь пониже, берега погляжу. Ты отдохай, обратно тронемся.

— Сегодня?

— Неужто время терять? Конечно, сегодня. Подхарчимся и побегим. Я на весла сяду...

По берегу Прокоп спустился версты на две, изумляясь переменам в природе. Ниже от горы, которую Прокоп так и окрестил Булкой, изменилось все: опять появился лес, высоченная трава обрамляла многочисленные болотца. Лучакан здесь был извилистым, и перед тем поворотом, до которого добрался Мананков, в него впадал приток, спокойный, но многоводный.

Обратно Мананков решил прошагать напрямую, лесом, но вскоре повернул к берегу: путь преградило озеро. На ровной глади черными точками рассыпаны утки. Прокоп сдержал охотничий пыл, помня о предстоящей дороге к плотам.

Напоследок Мананков влез на гору. До вершины не поднялся — помешал туман, — но все-таки выбрался на чистое место, остановился. Сквозь мелкую сетку надоедливой дождя Прокоп увидел пойму, испещренную серебристыми заплатами озер и стариц. Подальше от поймы начинались пологие холмы без малейших признаков леса. Холмы тянулись далеко-далеко, исчезая в тумане. «Вот она и тундра, — подумал Прокоп, — а я думал, она, как степь».

Степь Мананков видел в окрестностях города, где работал на стройке. Степь Мананкову не понравилась.

18

— А места там добычливые — ужас! — Прокоп обжигался чаем. — На озерах дичи много, сам видал.

— Чего же не убил? — Терентий Петрович смотрел строго.

— Обратно спешил... И еще ягоды — тьма.

— Какая ягода? — загорелся Васятка.

— Едовая, — усмехнулся Прокоп. — По болотинам морошка... Голубику видал...

Ребята возбужденно загомонили. Постылая труба так всем надоела, что рассказ Прокопа о том, что где-то на берегах растут деревья, а на болотах — морошка, воспринимался, как отчет мореплавателя о неизвестных и прекрасных островах.

Прокопа и Библиенко усадили на лучшее место, Васятка подливал чай, все сгрудились вокруг, заглядывали Прокопу в рот, ловили каждое слово.

— Речка там впадает, дальше хорошо пойдем. Добраться бы только до Булки.

— Значит, на веслах в другой день к обеду приплыли? — Гокалов озабоченно хмурил брови.

— Аккурат, — подтвердил Прокоп.

— Откудова там течение? — недоуменно спросил Чашкин. — Не брешете?

— Откудова, откудова, — поперхнулся Мананков, — я тебе что, профессор? А течение есть!

— Я думаю, — важно сказал Библиенко, — течение там заметно потому, что вода через порог скатывается. Здесь она тоже течет, но потионьку, а на выходе из трубы заметнее.

Помолчали, обдумывая сказанное. Так молча и согласились с доводом Библиенко.

— Ну, значит, так! — Гокалов решительно прервал молчание. — Просиживаться здесь никакой выгоды нет. Дней десять простоим — начнем прогрессивку проедать, и тогда в конце сезона заработка не спрашивайте... Какие будут предложения?

Может быть, впервые с весны Терентий Петрович начал говорить без подготовки. Даже с Прокопом не посоветовался, а вот прямо так и бухнул — какие предложения?

А какие там предложения, если никто ничего не знает.

— Паруса надо ставить. — Сказав это, Сеня Чуев тут же понял, что сморозил глупость, и конфузливо умолк.

— Паруса-а, — передразнил Чашкин. — Бечевой тянуть надо. Вот и все.

— Я бурлаком не нанимался, — подал голос Тимофей Трунов. — Разве утянешь такую махину? Соображать надо.

— Ты, Тимоха, гляжу я, сообразительный на то, как не делать, — сказал Мананков. — Ты соображай, как делать. Ребята хоть что-то говорят... Оно в самом деле жрать почти нечего, выбираться надо. И заработок опять же... Ты думай, Тимоха.

— А чего думать, один выход: плоты поперек счалить, шесть весел по бокам образуются — гребки до горы.

— И паруса поставит, — опять сказал Сеня Чуев, и на этот раз его никто не передразнил. — Брезент есть, палатку можно приспособить... Хоть слабый ветер, но дует. Поможет.

Терентий Петрович одобрил:

— Трунов предлбжил правильно, попытаемся так. Еще раз говорю: не выберемся на этой недели в Джеляду — прогорим.

Счаленные плоты двигались медленно, но все-таки двигались. Терентий Петрович, учитывая важность момента, приказал поднять свою лодчонку на плот, сам встал у гребки с Прокопом. Шесть весел не понадобилось, решили обойтись четырьмя, гребли по двое.

Тесанные еще весной, за лето гребки высохли, стали полегче, но все равно к вечеру каждый почувствовал тягучую усталость. Гокалов подавал пример, хорохорился:

— Таким манером можно до моря плыть.

На ночевку остановились, не доплыв до устья речушки, где Прокоп гонял тайменей. На берегу случилось неожиданное: Гокалов сказал, что бы отдельной палатки ему не ставили.

— Народ намотался, из-за одной ночи огород городить не стоит. Переспим сообща.

— Тесновато будет, — предупредил Прокоп, — вплотную лежим.

— Ничего, до утра перебьемся.

Разбили палатку. Затопили печурку, потянуло теплом, разморило.

— А кто плавник на костер будет собирать? — спросил Прокоп.

— Я и без чаю усну, — сказал Чашкин, влезая в спальник.

Васятка приспособил ведро между камнями, ковыляя по берегу, собирал топливо, маялся с костром.

— Никакой совести, — вздохнул Васятка. — Я ведь тоже цельный день веслом махал, а теперь мне же помочь не хотят.

— А ты что думал, как у дяди в столовой будет? Сам долю выбрал, — ответил Прокоп.

— Я ничего, — согласился Башлыков. — Справляю. Тебе только сказал...

— Мне тоже не говори,— буркнул Прокоп, но уже смягчившись.— Не надо было ехать куды попало.

— Не поехал бы, коли дядька не прогнал,— признался Васятка.

— Как это? — Прокоп посмотрел на Васятку недоверчиво.— Говорил ведь, что сам не захотел...

— Не путаю,— вздохнул Башлыков.— Он меня чего держал-то возле себя? Вдвоем натаскать можно больше... А я не хотел. Зачем мне?

— Сволочь, выходит, дядька твой...

— Почему сволочь,— не согласился Васятка,— хороший дядька. Семейно-то кормить нужно, одеть всех... А мне-то зачем?

— Вон что,— задумчиво сказал Прокоп.— А я думал, по глупости ты в тайгу подался, как Чуёк.

— Своего дела не брошу. Устроюсь где-нибудь. На Севере люди нужны.

— На каком Севере? — оторопел Прокоп.

— А я ведь на материк не собираюсь,— сказал Башлыков.— В Олонке узнавал, с руками брали, договор обещали заключить... Ситковский трудовую книжку не отдал. Мы, говорит, тебя привезли, у нас и работай. Осенью — на все четыре. Вот и жду осень.

— Вон ты ка-ак,— протянул Мананков.— Стало быть, тайную цель имеешь... А все молчал.

— До времени молчал. Теперь скоро кончим с плотами, огляжусь, где-нибудь брошу якорь. В Джеляду придем, узнаю. Может, там и останусь. Давай вместе?

— Чего?

— Не поедем на материк.

— А мне какое занятие в Джеляде? — погрустнел Прокоп.

— Работа везде есть,— убежденно сказал Васятка.

Чай вскипел. Башлыков рукавом телогрейки ухватил ведро за горячую дужку, понес в палатку. Прокоп шагал следом. Он никогда не думал оставаться на Севере, и разговору об этом никогда не было, но слова Васятки Башлыкова запали в душу.

— Слышь, Васька, а почто ты с материка поваром не завербовался?

— Зачем? Я человек свободный, сам себе место выберу. Как же вербоваться, места не зная? Вербуют-то на три года, попадешь куда-нибудь в преисподню, три года кары. А в нашем положении: не приглянулось место, помахал ручкой — и все.

«Все правильно,— подумалось Прокопу.— Вот тебе и калека! А рассудил — любо слушать. И как у них головы устроены, которые в городах живут? Топорища вытесать не умеет, а свою выгоду понимает...»

В палатке — тяжелая тишина. Когда ноют плечи, а ладони горят огнем, натертые шершавыми гребнями, говорить не хочется. Оплывает свежа, подвешенная в консервной банке к матице, из-за погнутой дверки походной печки в глаза бьет пламя, бордовые блики гуляют по лицам.

Библиенко натянул на босу ногу сырые сапоги, пошел к плотам за маслом. Сахар принесли сразу, побоялись, что размокнет. Сахару оставалось немного — берегли.

Терентий Петрович устроился в дальнем от печки углу. Место молчаливо уступил Трунов, хотя до сих пор Тимофей в свой угол не пускал никого, даже Прокопа. Гокалов лежал поверх спального мешка, прикрыв глаза.

Библиенко вернулся не скоро, а вернувшись, потоптался и неуверенно сказал:

— Там это... Кажись, вода прибыла...

— Шутить? — Гокалова будто подбросило.

— Плоты причаливали вплотную к берегу? — спросил Библиенко и сам же ответил: — Вплотную. А мне пришлось прыгать, отошел плот.

Прокоп еще не успел разуться, из палатки выскочил первым. За ним — Васятка, припадая на левую ногу. Но Николай Филаретович Башлыкова обогнал и все твердил Прокопу:

— Подошел, пригляделся, а плот — плавает... Кое-как допрыгнул.

А из палатки, шумно гомоня, вываливались пригревшиеся обитатели и, не замечая резких порывов холодного ветра, пронизывающей сырости, полураздетые мчались к берегу.

Библиенко не ошибся — плот отошел. Причальные веревки совсем ослабели, хотя ломы, вбитые в землю, держались крепко.

— А может, сдали ломы? — спросил Гокалов. — Может, плохо привязали?

— Я проверял, — заверил Прокоп. — В две петли прихватили...

— Подтянуть надо веревки.

Прокоп бросился выполнять указание. А Терентий Петрович поднял из-под ног камень и положил его сверху другого, возвышающегося у самой кромки воды. Сеня Чуев догадался, что начальник сделал метку, и сейчас же принялся сооружать другую. Глядя на него, за дело взялся Куканов. Вскоре на берегу поднялись груды камней.

— Пойдемте чаевничать, потом проверим. — В голосе Терентия Петровича не слышалось оптимизма.

Чай пили долго, но без наслаждения: каждый думал о воде. Сеня не вытерпел, вознамерился выйти, но Гокалов не пустил:

— Куда спешишь? Сиди, успеем...

— Может, уже заметно.

— Ежели заметно — никуда не денется.

— А если прибывает — поплывем?

— Не болтай много, — одернул Гокалов.

— И ветер усилился, — сказал Сеня. — При таком ветре паруса срываются...

— Вода прибует — паруса без надобности, — подал голос Прокоп. — Как раньше плыли, так и поплывем.

— Жаль, — вздохнул Сеня. — С парусами красивее.

Терентий Петрович выудил из кармашка бриджей часы, поднес к лицу: прошел час. Гокалов завел часы, спрятал. Оглядел всех, поворачивая голову медленно и торжественно, решительно сказал:

— Теперь пойдём.

Камень, который положил Гокалов, совсем скрылся. Отметка Сени Чуева показала, что за час вода прибыла сантиметров на десять.

— Так не может быть, — задумчиво сказал Терентий Петрович. — Очень много прибыло, так не бывает...

— И ничего не много, — возразил Прокоп. — Какой день дожди идут. В верховьях всколыбнулось, к нам пришло. Очень даже может быть.

— Если так пойдет, к утру палатку достанет, — заключил Библиенко. — Плоты унесет...

— Сказал тоже, — пробасил Куканов, — они как-никак привязаны.

Но Николая Филаретовича поддержал Прокоп:

— На плотях человека надо. Сторожить придется... Я, что ли, погляжу, Терень Петрович?

— Да, да, Мананков, рисковать не имеем права, — важно сказал Гокалов. — Чуть что — буди по тревоге.

Всю ночь Прокоп палил костер, погревшись у огня, шагал в промозглую темень, подтягивал причальные веревки. Вода прибывала. Она прибывала так стремительно, как это бывает только на Севере, где вечная

мерзлота не пускает небесную влагу в глубь земли и дождевые потоки, переполняя высохшие русла ручьев, скатываются в реки, затапливают берега.

В рассветной серости утра Прокоп не узнал Лучакана: река несла грязные клочья пены, какой-то таежный мусор, ветви и даже стволы деревьев. А вчера она была похожа на стоячее озеро. Ветер дул ровный, не ослабевая ни на минуту: такие же, как пена, грязные и клочковатые, мчались к морю низкие облака.

Совсем рассвело, когда Прокоп поднял тревогу: вода подкралась к палатке.

— Ноги промочите, вставайте! — крикнул Прокоп. — Прямо из палатки мырять можно!

Хотя и стремителен был вал, но Прокоп наблюдал паводок всю ночь, и для него изменившаяся обстановка потеряла новизну. А для помятых со сна, взьерошенных ребят открывшаяся картина была, как гром без тучи. Плоты покачивались рядом, в трех шагах от палатки.

— Вот это да-а! — только и сказал Трунов.

— Я же говорил! Говорил! — ликовал Чуев.

А Гокалов уже командовал:

— Плоты расчалить, поплывем в прежнем порядке... Завтракать будем на плотках, время — золото! Я — впереди!

— Вот уж и пожрать не даст, — пожаловался Библиенко. — Успели бы и чаю попить по-человечески, в палатке... Скажи, Прокоп, попьем чаю.

Прокоп отмахнулся:

— Какая разница? Раз втемяшилось ему торопиться, то не свернет.

Библиенко не предполагал, какую утрату понесло бы подразделение, если бы задержалось на берегу. В этот день Лучакан преподнес им еще один подарок, а присидели бы в палатке — остались бы ни с чем.

Плывущий впереди плотов Терентий Петрович вынырнул из-за поворота к Булке и даже вскрикнул от испуга: его резиновая лодка неслась на горбоносую голову лося, украшенную огромными чашеподобными рогами.

Почему сохатый выбрал для переправы такое неудобное место, как лучаканская труба, неизвестно. Лось плыл к берегу, быстрое течение сносило его, он не мог увернуться от легкой лодочки Гокалова. Терентий Петрович, когда схлынул первый испуг, схватился за ружье. Лось фыркал, косился на Гокалова большим фиолетовым глазом, но, беспомощный на глубине, упрямо плыл к дальнему берегу.

Терентий Петрович поднял ружье, прицелился. Потом вдруг сообразил, что тяжелая туша сохатого может утонуть, и опустил стволы. Взявшись за весла, Гокалов немного приотстал и, сохраняя выгодное расстояние, поплыл за зверем.

Из-за поворота один за другим вынесло плоты. Прокоп оказался на последнем. Ребята увидели лося.

— Стреляй! — орал Чашкин. — Стреляй, уйдет!!

— Упустите-е! — вопил Библиенко.

Гокалов знал, что делал. Течением сохатого поднесло к мысу, и зверь, почувствовав под ногами опору, вышел из воды. Гокалов снова прицелился: лось вздрогнул, медленно, словно собравшись отдохнуть, опустился на колени, а потом, подобрав под себя задние ноги, завалился на бок. Гокалов для верности выстрелил еще раз.

Терентий Петрович победно оглянулся. Теперь с плотов доносились восторженные крики. И тогда все как по команде взялись за гребни, ударили к берегу.

Плоты снесло далеко. К месту, где лежал убитый лось, припустились бегом, переговариваясь:

— Я думал, уйдет!

— Как он на лодку не бросился... Плавать бы начальнику на дно.

— А рожищи-то, как сучья на старом пне...

Терентий Петрович поджидал рабочих, опершись на стволы. Сапог Гокалова попирал голову зверя. Пока ребята гомонили, разглядывая трофей, Терентий Петрович спокойно молчал, словно бы убивать лосей ему привычное дело. А когда волнение чуть-чуть улеглось, Гокалов сказал:

— Теперь — с мясом.

Приученный к такой работе с детства, Мананков освежевал сохатого, повелительно покрикивая на помощников. Мяса оказалось много — некуда девать. Васятка первым делом ухватил большую лиловую печень, добавил сердце и легкие и побежал варить.

Прокоп рубил мясо крупными кусками. Библиенко складывал куски на чистый камень. Терентий Петрович подчеркнул свою роль:

— На одном мясе теперь проживем.

— Не протухнет? — спросил Куканов.

— Ни в жизнь, — успокоил Прокоп. — Мы его по-остяцки провялим. У нас остяки мясо вялят — в жару не пропадает. А свежатину на первое время и так подержим, уже холодно...

Часа через три, отяжелевшие от обильной мясной пищи, все-таки отчалили к Булке. Оказывается, гора была обозначена на карте Терентия Петровича, называлась она Эге-Хая, но, с легкой руки Мананкова, все называли ее Булкой. За Булкой, говорила карта Гокалова, Лучакан сливался с тундровой речкой Уджой и петлял дальше до поселка Джеляда.

Джеляда — жилуха! Нужно прожить в тайге все лето, чтобы понять, что такое жилуха. О Джеляде мечтали, как о столице мира.

— В Джеляде сапоги хромовые куплю, — мечтательно сказал Куканов. — Первым делом сапоги.

— А я спирту, — усмехнулся Трунов. — Напьюсь, кому-нибудь морду начищу...

Замолчали, думая каждый о своем. Плоты несло ровно, лишь изредка приходилось опускать гребни. Лодка Терентия Петровича маячила далеко впереди: приближалась Булка, порог.

На плоту Прокопа Мананкова шел особый разговор:

— Ну, получишь расчет, вернешься на материк, а дальше? А здесь мы хозяева сами себе. Не понравится — дальше поедем.

— Так-то оно так, — отбивался Прокоп, — да кто меня возьмет...

— Ты пойми, — горячился Васятка, — люди сюда вслепую, по вербовке едут! А мы уже здесь!

— Ладно, поглядим...

Терентий Петрович издал знак прибавиться к берегу. Вода на пороге бушевала по-страшному, над камнями кипели буруны. Лодочку Гокалова так потащило в горловину, что он, отчаянно замахав короткими веслами, едва справился с течением. И потому принял решение причалить плоты на почтительном расстоянии от Булки, так спокойнее.

Вечером лепили пельмени. Идею подал Прокоп, вспомнив, что у них в Гонохове всегда пельмени делали из сохатины.

— Мясорубки нет, — вздохнул Васятка.

— Зачем она? — удивился Прокоп. — Топоры острые, ножи есть... На чурбаках посечем. У нас и в глаза тех мясорубок сроду никто не видал, всегда бабы мясо секут.

Ели пельмени долго, запивали бульоном и опять жевали до изнеможения.

— Полегче, полегче,— предупредил Гокалов,— будете ночью почту гонять... А завтра день ответственный — через порог пойдем.

— Ничего, выдюжим,— ответил Прокоп, подставляя кружку под черпак.— Навар силу дает.

В тот вечер долго не спали. Разговор то стихал, и тогда лежали, прислушиваясь к шуму порога, то возникал вновь, когда кто-нибудь вспоминал Джеляду.

— Пороги пройдем, за два дня до жилухи доберемся?

— Засуетился Чуёк,— недовольно сказал Куканов.— Когда пройдем пороги, тогда и загадывай...

— А что, воды много. Обязательно пройдем. Гитару куплю в Джеляде. И самоучитель. Эх, и запоем же! — Сеня высунулся из мешка:

Стано-очек, мой стано-очек,
Резец самокальный идет.
А тока-арь шестого разряда
Стоит и хреновину гнет...

— Соскучился по заводу? — спросил Гокалов.

— Страсть как соскучился,— признался Чуев.— Вернусь, назад пойду. Не имеют права не взять, у меня разряд...

— Разряд — полдела, стремление надо.

Сеня Чуев пригнулся в мешке, съезжившись в комочек. Сквозь прищуренные веки смотрел на размытый огонек оплывшей свечи, слушал ветер и отдаленный шум воды, вспоминал цех.

19

Порог обследовали вдвоем: Прокоп на веслах, Гокалов — вперёдсмотрящим. Лодчонку понесло на буруны, развернуло, закружило волчком и протасило в опасной близости от камня, еще не спрятанного паводком. А дальше течение стихало, из глубины на поверхность поднимались пузыри, лопались, пена, взбитая бурунами, редкими клочьями плыла в заводь и кружилась там до тех пор, пока случайно не выносило ее на стрежень.

— Как думаешь?

— Проскользнем.— Прокоп шмыгнул носом.— На всяк случай по двое к веслам встанем...

— Не заклинит?

— Тогда по трое к веслам,— уточнил Прокоп.— Ровно выдержим, не заклинит.

— Давай-ка еще разок на лодке пройдем.

Как и в первый раз, лодку понесло к черной спине камня. Прокоп ударил веслом, лодка скользнула в сторону, выплыла на тихое место.

— По трое встанем, отобьемся,— убежденно сказал Прокоп.

Гокалов долго стоял на берегу и решал вопрос: плыть или не плыть? Может, подождать денек, вода прибудет — безопаснее станет. Последнее препятствие надо преодолеть. Если пройдут — минуют Джеляду, а там пустячное дело: спуститься километров на сто, выгрузить бревна на берег и отчитаться. И никто — ни Ситковский, ни сам товарищ Лемех, кроме благодарности, ничего Гокалову не скажут.

Терентий Петрович чувствовал себя полководцем перед последним, решающим боем. Был он сегодня тщательно выбрит, сосредоточен: плыть или не плыть? Хорошо бы, махнув на все рукой, зажмурить глаза и отдать команду — плыть! Ну, а если плоты разобьет?

Терентий Петрович скосил глаз на свое войско. Ребята пообносились. У Библиенко подошва на сапоге веревочкой привязана. Иван Куканов еще на сплотке случайно утопил телогрейку, все лето ходил в полушубке: сносил больше нормы, при расчете надо будет вычесть полную стоимость.

Свою безопасную бритву Гокалов никому не давал, а использованные лезвия — пожалуйста. Это же уму непостижимо, что за народ: никто в тайгу бритвы не взял. Весной еще брились лезвиями Гокалова, зажмут в расщепленную лучину, скоблятся, аж слезы текут. А потом надоело. Не войско, а банда разбойников. Приличный человек увидит — испугается.

— Вот что,— сказал Гокалов,— даю вам бритву. Нагрейте воды и приведите себя в порядок.

Тимофей Трунов погладил окладистую бороду:

— Теперь уж жалко, до материка сберегу...

— Теплее с бородой,— задумчиво сказал Библиенко, хотя борода его вряд ли грела — жидкая, рыжая, клочковатая.

— Я тоже не буду, как все.— Прокоп деликатно отвернулся.

— А я побреюсь, наверно,— деловито произнес Чуев.

Но Гокалов его деловитости не поддержал:

— Ты еще года два перебьешься, потом соскоблишь пушок...

20

Джеляда существует на всех картах мирового масштаба. По реке Лучакан это единственный кружочек, обозначающий поселение челсвека: за Джелядой до самого моря человек не живет.

Близость жилухи почувствовали километров за десять: мимо плотов юркнула брезентовая лодчонка и рыбак, усердно работавший веслом, с недоумением посмотрел на сплавщиков, пока не скрылся за поворотом. Потом на высоком торфянистом берегу показался одинокий тордох, заброшенный, наверное, с весны: почерневший, с обвисшими оленьими шкурами. А вскоре на горе, выплывающей из тумана, разглядели светлые кубики домов, сгученные без всякого порядка и аккуратности.

Гокалов уплыл вперед сразу же, как только провели плоты через порог, а теперь вернулся встречать, удерживая лодку на стрежне. Издали подал команду:

— Причаливайте напротив Джеляды! Я обследовал, место доброе!

— Нам бы к поселку! — крикнул Библиенко.— Поближе к жилухе!

— Не-ет! — Гокалов замахал руками.— Отлогий берег, обсохнем! Вода убывает!

— Врет, поди, стервец,— усомнился Прокоп, но послушаться не посмел, ударил веслом к левому берегу. И на Библиенко прикрикнул: — Наддай!

Когда плоты закрепили, Гокалов провел совещание.

— В тундре лес — большая драгоценность,— сказал он сурово.— Сами заметили: по берегам — ни деревца... Имею сведения, что лесу в поселке нет. Они гнали себе плоты, но неудачно. Разбили на пороге, почти все растеряли. Так что остались без матерьяла... Может, будут склонять вас на незаконные сделки. Поимейте в виду: у нас каждое бревно по счету. Предупреждаю: за недостачу под суд. Отвечаете все без разбору.

Терентий Петрович размеренно прохаживался около костра, придерживая у бедра распухшую полевую сумку. Рабочие, кто на ящиках, а кто прямо на тундровом мху, сидели вокруг огня, поглядывали на Гокалова настороженно. Служебная озабоченность начальника никаким образом не передалась таежной вольнице.

— Мне надо вопросы решать,— продолжал Гокалов,— я поселюсь на том берегу... Вы у меня здесь смотрите! Сегодня отдыхаем, завтра берем продукты и отчаливаем.

— Чегой-то так спешно? — не удержался даже Прокоп.— Денька три надо бы.

— И отдохнуть не успеем,— заскулил Библиенко.— У меня волдыри на ладонях... Спецовка положена, а где рукавицы? И в больницу надо сходить, провериться...

— Почему так спешно? — Гокалов остановил Библиенко недобрым взглядом.— Метеостанция сообщает, что в верховьях вода падает. Быстро падает, не убежим — застрянем. Это раз. И последнее. Спирта в поселке нет. В прошлом году завоза не было, пароходы морским путем не прошли... Так что в поселок особенно не рвитесь. Кроме того, сообщаю неприятность. Денег нам не переслали. Был на почте, узнавал...

— Во-она как! — ахнул Чашкин.

— Белье купить надо бы,— тихо сказал Прокоп.— Кальсоны порвались...

— А жрать чего? — возмутился Васятка.— Опять на киселе жить? С меня взятки гладки, я от котла откалываюсь, буду гребстись, как и все...

— Тихо! — успокоил Гокалов.— В сельпо я договорился: продукты нам дадут под расписку. Сезон закончим — сюда вернемся, тогда и рассчитаемся. Вся партия соберется в Джеляду... Но, кроме продуктов, предупреждаю, ничего не будет.

Гокалов сел в свою оранжевую лодчонку и поплыл в Джеляду. Горько было на душе у Терентия Петровича. Все-таки нашел Ситковский способ, как уесть неугодного начальника подразделения: не переслал денег. За трактор в сельпо перечислил копейка в копейку, а на расходы подразделению — ни рубля. Разве скажешь ребятам правду? Бросят плоты, разбегутся раньше времени и правы будут.

А на левом берегу бушевали страсти. Маленькие кубики домов — желанная, манящая таежника жилуха отодвигалась куда-то вдаль.

— Врет, стервец.— Прокоп терял уважение к начальнику.— Это как же — деньги не переслали?

— И без спирта, говорит, живут,— пробасил Трунов.— Подумаешь, пароход застрял... Ну, один застрял, так другой же пройдет! Не могут же они без спирта.

— Чего гадать, айда на разведку! — предложил Чашкин.— Сами разнюхаем!

— А лодка? — спросил Куканов.— Лодка-то дырявая.

Полчаса галдели, обвиняя друг друга в порче лодки. Хотели заставить Библиенко заклеить прокол, но клей в пузырьке высох, а Николай Филаретович воспротивился:

— Были бы факты, что лодку продырявил я, не споря заклеил бы. А раз фактов нету, за кого-то вкалывать не собираюсь. Обвинять себя понапрасну...

— Слушай, ты можешь молчать? — страдальчески сморщился Сеня Чуев.— Когда молчишь, тебя можно терпеть. А рот откроешь, так и хочется спихнуть в омут.

— Сам помолчал бы,— осторожно огрызнулся Библиенко.— Наберись ума, тогда и болтай.

— Кончайте вы! — Иван Куканов ладонью рубанул воздух.— Подем или нет?

Решили плыть на дырявой лодке, подкачивая ее в пути.

— Давайте Фламингу оставим плоты стеречь,— предложил Чашкин.— Зачем лишний груз возить?

— Ребята, ребята! — закричал Библиенко, знавший по своему опыту, что если предложение понравится, то его как бы в шутку, но из лодки вытолкнут.— Это еще вопрос — кто бесполезный груз! У меня деньги есть, на бутылку хватит.

Признание о деньгах вырвалось у Николая Филаретовича помимо его воли, это было стремление поставить себя вровень с грубой силой. Библиенко хотел показать свою значительность и кровную необходимость коллективу. И коллектив признал необходимость Библиенко.

— Не свистишь? — мрачно спросил Трунов.

Николай Филаретович извлек из тайной прорехи три бумажки по двадцать пять рублей каждая.

— Запасливый,— усмехнулся Куканов, а Трунов подвел черту:

— Берем с собой.

Поселок при ближайшем рассмотрении оказался грязноватым, плохо обихоженым, каким-то временным. Между домов валялись пустые бочки из-под бензина, несчетные собачьи стаи населяли поселок, наполняя его тоскливой грязней, скулежом, воем.

Вокруг домов возвышались холмы и холмики мелкой щепы: здесь десятилетиями рубили дрова, не заботясь о порядке, выплескивали помой, бросали обноски.

Сплавщики миновали огороженную площадку метеостанции и остановились в нерешительности.

— Может, до больницы дойдем, я быстро,— невинно сказал Библиенко.

— Давайте сразу в магазин,— предложил Трунов.

— А может, на почту? — Чашкин выжидающе посмотрел на Прокопа.

— Чего там делать? — удивился Прокоп.

— В магазин, в магазин,— настаивал Трунов.

— А если сбрехал начальник? — предположил Чашкин.— Получил гроши и зажил, а?

— А ведь верно! — поддержал Куканов.— Проверить надо.

Почту, маленький домик, отгороженный от низового ветра баррикадой из бочек, нашли по антеннам. Никаких привычных по материке окошечек для посетителей на почте не было. Просто комнатка, стол и стулья. И здесь же у стенки стоял маленький ручной коммутатор телефонов на двадцать. За коммутатором сидела толстая женщина в форменной тужурке, спокойно вязала.

— Мы насчет денег узнать,— сказал Трунов, первым протиснувшись к столу.— Экспедиция мы, деньги должны быть.

Женщина перестала считать петли, прижала крючок большим пальцем: ей не нравилось, что отвлекают.

— Нету вам денег, уже узнавал начальник,— недовольным тоном сказала она.— Ищите, говорит, получше, может, затерялся перевод... А когда у нас терялось? Нечего мне искать, наизусть все знаю.

Потоптались молча, хотели уже уходить, но Библиенко неожиданно спросил:

— Случайно, востребовательного письма на мое фамилие нету?

— До востребования у меня три письма неизвестно чьих.— Женщина отложила вязанье и двинулась к столу. Но тут приглушенно брякнуло на коммутаторе, и женщина вернулась, чтобы поднять трубку.— Кого надо? Осипова нет на месте... А я говорю — нет. Я ведь лучше знаю... И звонить не буду. Вот тебе и ладно! — Женщина выдернула из гнезда провод с медным наконечником, повесила трубку.— Подай ему Осипова — и все, как будто я знаю, куда он делся...

Женщина достала из ящика стола три конверта:

— Сопуев, есть такой? Нету среди вас? Значит, не вам... Четвертый месяц письмо валяется и обратного адреса нету. Баранов? Тоже нету? Значит, не вам. Мананков? Есть такой?

— Мананков,— поправил Сеня Чуев.

Женщина поднесла конверт поближе к глазам, удостоверилась:

— Правильно, Мананков... Кто будет?

— Тебе письмо, Прокоп,— улыбнулся Сеня, пропуская десятника поближе к столу.

— Чего выдумляешь,— пробормотал Прокоп, однако придвинулся.— Какое письмо? Кто писал?

— Кто писал — не знаю, а если вы гражданин Мананков, то предъявите документ.

— Какие документы, мы экспедиция! — взволновался Васятка за Прокопа.

— Наши ксивы у начальника в Олонке,— подал голос Трунов.— Бюрократию разводишь, мамаша.

— Я тебе не мамаша,— осердилась женщина.— Без документа не имею права отдать.

— Спокойно, спокойно,— попросил Библиенко.— Мы удостоверяем личность Мананкова. Коллективно! Прокопий Андреевич Мананков — это он и есть.

Женщина опять поднесла конверт к глазам, сказала равнодушно:

— Правильно: Мананкову Прокопу... От кого ждете письмо, гражданин?

— Не жду я ничего. Чего жду? — не понял Прокоп.

— Ну, кто тебе мог написать? — подсказал Куканов.

— Хрен же его знает.— Прокоп развел руками.— Сроду писем не получал... Одно получал, так от папашки из Гонохова. В город он мне писал... А тут откудова ему знать адрес?

— Но ведь кто-то же узнал,— резонно заметил Библиенко.

— Ясно! — осенило Трунова, и он осклабился.— Называй, Прокоп, Зинкину фамилию, не ошибешься!

— Щипачева, что ли? — нахмурился Прокоп.

— Получите,— согласилась женщина.

Подтрунивая над Мананковым, гурьбой вывалились из почтового домика.

— Теперь Прокопу отвечать надо, а писать не умеет,— съязвил Библиенко.

— Отвечу, не бойсь.— Прокоп не собирался шутить.

— Первую любовь вспомнила! — гоготнул Трунов.— Надоело с начальником.

— Зачем же так, Тимофей? — огорчился Васятка.— Если бы мне кто-нибудь написал или тебе — разве плохо?

Трунов вспомнил свои безответные письма Гале, помрачнел, ничего не ответил.

— Ладно,— примиряюще сказал Чашкин,— пошли до магазина... Ты чего, Прокоп?

Но Мананков отстал от компании, свернул за штабель бочек. Устроившись здесь, подальше от чужих глаз, Прокоп долго осматривал конверт, читал свою фамилию, подумал, что впервые видит письмо от Зинки. Внутри конверта лежала свернутая страничка из тетрадки в косую линейку. Округлым почерком пятиклассницы на страничке значилось:

«Добрый день или вечер, Прокоп. С приветом к тебе Зина. Начальник сказал, что вы будете в Джелиде, и еще один человек говорил. Вот я и написала. Ты не думай, Прокоп, плохого. Я тебе не изменяла и не

изменю до гроба. Я тебе не набиваюсь, но ты меня рассуди. Дите у нас будет, а ты от меня хотел уехать. Ты ничего плохого не думай. Дите наше. Ты посчитай, когда жил у меня в Закаменке, и скажи, когда мне рожать. Как скажешь, так и будет. На Ситковского зла не держи. Он мне ничего не сделал. До плохого я не допустила бы. Спроси хоть кого и узнаешь, что с ним я один на один не оставалась. А за то, что вид показывала, ты меня прости. Ситковский хотел меня обратно отправить, а я упросила. Теперь встретимся осенью в Джелиде. Я тебе не набиваюсь. Как скажешь, так и будет. Не захочешь жить, держать не стану. Только я люблю тебя. И всю жизнь любить буду. Скучаю по тебе. Во сне видела, будто ты новые сапоги нашел. Это хорошо, а что у тебя хорошего, я не знаю. Целую тебя крепко. Не сердись на меня. Зина».

Прокоп читал письмо, шевеля губами. Возвращался к началу, чтобы поглубже проникнуть в смысл написанного. Потом отрывал взгляд от листка, словно бы не веря в реальность происходящего, осматривал окрестности. Все правильно: ржавые бочки, серое небо, мутная вода в реке, а на левом берегу — плоты. И опять Прокоп читал аккуратные буквы, и опять у него выходило: Зинка любит, родится у них парнишка. Зинка приедет в Джелиду, здесь повстречаются. Вспомнил, когда украдкой проживал у Зинки в Закаменке, на пальцах посчитал, сколько времени прошло с той поры, сообразил, что скоро Зинке рожать. И совсем успокоился: брюхатая, конечно же, к чужому мужику не пойдет.

21

Положение жителей поселка, обрисованное Гокаловым на совещании, оказалось даже более невеселым. Председатель сельпо, получив секретную депешу о том, что караван пароходов затерло льдами в проливе Вилькицкого, распорядился создать неприкосновенные запасы продовольствия на складе. В магазине же торговали исправно только одеждой, тканями, разной прочей галантереей и предметами ценными, но несъедобными. Из продовольствия в магазине, кроме залежалых консервов, мяса и рыбы, ничего не было. Мясо и рыбу жители поселка в расчет не брали: рыбу по озерам не перечерпать, а оленей в тундре не сосчитать. Всех огорчало отсутствие **з а в е з е н н ы х** товаров.

На витрине продовольственного отдела лежали пачки папирос «зенин». Сеня Чуев попросил пачку, осмотрел ее со всех сторон, осуждающе скривился. На пачке было написано «г. Ленинград, 1939 г.».

— Курить их никакой возможности нет, подмоченные,— предупредил продавец.— Держим для ассортимента. И спички военного образца остались...

Продавец, заросший мужик в сером от запустения халате, показал Сене обернутый в газету пучок корявых, занозистых палочек с зелеными концами. К спичкам выдавалась дощечка, облитая коричневой серой.

— Ну и дожили вы тут,— вздохнул Сеня.— Чего же дальше будет?

— Нормально будет,— лениво ответил продавец.— Нынче караван морем прошел, уже в заливе разгружают наш пароход. Придут баржи, навезут всякого добра.

— Подохнете до каравана,— пообещал Трунов.

— Между прочим, необходимым продуктом торгуем,— обиделся продавец.— С голодухи, между прочим, никто ног не протянул. И цинги в полярку не было: лук самолетом доставляли.

— А спирту не доставляли? — поинтересовался Чашкин.

— Нет,— вздохнул продавец.— Уже скус забыли...

Невеселым, молчаливым табунком перешли к промтоварному прилавку. Здесь никакой беды не ощущалось. Висели шубы и костюмы, грудились кипы материала.

— Это же надо — золотые часы в свободной продаже! — воскликнул Библиенко. — Вот что значит Север! Снабжение. — Николай Филаретович почти нюхал прилавок, чтобы получше все разглядеть.

Продавец перешел в промтоварный отдел, показал Куканову шевиотовый отрез и фетровые чесанки, расстелил по прилавку кожаное пальто. Сене Чуеву достал с верхней полки запыленную тульскую гармонь, Чашкину подал бескурковое ружье центрального боя. Продавец уже знал, что денег у сплавщиков нет, но был рад избавиться от гнетущей скуки.

— А что это за банки такие? — спросил Трунов из того угла, где были выставлены утюги и ведра, топоры и пилы, керосиновые лампы и кастрюли.

Не заботясь о товарах, разложенных перед ребятами, продавец ушел в угол к Трунову и тоном, каким говорят о чем-то бросовом, ответил:

— Это паста для горения... Раньше была. А теперь высохла — никакого значения не имеет. Списать бы надо, да срок не вышел. Не списывают — дорого стоит. На денатуратной основе.

Продавец хотел уж было вернуться к Чашкину, который потребовал охотничий карабин с оптическим прицелом, но к Трунову приблизился Николай Филаретович и вдруг зачастил:

— Нет-нет, покажите! Покажите-ка нам!

Продавец безразлично пожал плечами, подал Библиенко жестяную банку, похожую на консервную, но не запечатанную наглухо, а имеющую крышку. На банке поблекшая надпись: «Денатурат. Паста для горения. Применять для подогрева пищи. Осторожно: ЯД». Поверх надписи был нарисован череп.

Ломая ногти, Библиенко попытался открыть банку, но безуспешно.

— Дай-ка мне. — Банку отобрал Трунов, подковырнул крышку желтым, прокуренным ногтем, и крышка с глухим стуком упала на прилавок. В банке оказалось что-то твердое, ссохшееся и белое. Трунов понюхал, возвестил: — Братцы, водярой пахнет! Сучком.

Белую массу, похожую с виду на парафин, нюхали все по очереди, соглашались: водкой пахнет. Ковыряли ее ногтями — твердо.

— Это ничего, что засохло, — успокаивал Библиенко, — если написано денатурат — значит, пить можно.

— Как же ты, целиком жевать будешь? — усомнился Трунов.

— Что-нибудь придумаем, — стоял на своем Библиенко. — Я лак очищал, еще как пили... И политуру...

— Сказал тоже. — ухмыльнулся Тимофей, — политуру кто не пил.

— Берем? — полуутвердительно спросил Библиенко.

— А череп-то чей нарисован? — Сенья Чуев не думал, что все это затеяно всерьез. — Такого же отважного...

— Э-э, — отмахнулся Николай Филаретович, — нарисовали, чтобы отпугнуть потребителя.

Библиенко достал деньги широким жестом и попросил:

— Заверните!

— Была не была! — заржал Трунов. — Там поглядим, что выйдет.

Продавец, выкладывая банки на прилавок, попросил:

— Ежели получится — дайте знать. Припрячу к празднику...

Колдовали над таинственной пастой с веселым азартом. Наверное, кроме Библиенко, никто не верил в практическое применение мылообразного денатурата.

Для начала Николай Филаретович поставил банку на угли: денатурат расплавился. Но остыв, паста опять загустела. Трунов посоветовал насыпать соли. Чашкин рекомендовал в расплавленную массу налить холодной воды. Перебивая друг друга, предлагали один рецепт фантас-

тичнее другого. Наконец парафин в банке свернулся. Николай Филаретович выловил белые хлопья, а остывшую жидкость слил в кружку. И когда отравы обрела плоть реальной опасности, шуткам пришел конец.

— Ну? — спросил Трунов, поглядывая на Библиенко.

— Что ну? — ответил тот, опасливо скосившись на кружку.

— Пей, — предложил Трунов.

— Почему я должен первым? — Библиенко дернул плечом.

— Дураков нет, — сказал Васятка.

Установилась тишина. Тимофей Трунов вышел, спустился к плотам и принес маленькую бутылочку с вишневым экстрактом.

— Ты чего? — Башлыков попытался отнять экстракт. — Последний флакон! Истратишь, к чаю не останется!

— Ладно тебе, — мрачно усмехнулся Трунов и оттолкнул Васятку. — Живы будем — достанем. А подохнем — без чаю обойдемся. — Плеснув в кружку экстракта, Тимофей пояснил: — Для вкуса. — Потом окинул всех посуровевшим взглядом и жестко сказал: — Будем жребий метать.

И тогда поднялся с места Прокоп, который до того сидел, ни слова не говоря, и так же молча выпил отраву, закусил ее ломтем свежего хлеба, купленного в Дзеляде. И опять уселся на свой сокуй.

Мертвая тишина навалилась на палатку. Стало слышно, как за рекой в поселке размеренно тарахтит дизель и тоненько звенит циркулярная пила, а над рекой тревожно попискивают мелкие черные чайки.

— Наро-од, — осуждающе сказал Прокоп, сдерживая тошноту.

— Сенька! — Трунов вышел из оцепенения. — Быстро в лодку! Подкачивай насосом, может, в больницу повезем!

Сеня Чуев побежал к лодке. Васятка достал из ящика банку сгущенного молока, быстро вспорол ее, поставил около Прокопа:

— Если что — молоком отраву отпаивают. Помогает...

Прокоп не ответил. То, что он выпил, было настолько гадким, что на первых порах Мананков хотел выскочить из палатки, облегчить желудок. Но теперь Прокоп чувствовал, как темная сила наливает жилы: ему стало жарко. Библиенко, сидевший ближе всех к Прокопу, первым обнаружил, что лицо Мананкова покрывается красными пятнами, и деловито осведомился:

— Берет?

— Забирает, — ухмыльнулся Прокоп.

Николай Филаретович засуетился, застучал банками, опустошая их в кастрюлю.

На следующий день в Дзеляде, к удивлению участкового милиционера, раскосого человека по фамилии Осипов, появились нетрезвые жители. Продавец сдержал слово — припрятал банки. Под великим секретом — только друзьям или же полезным для своего существования людям — открывал он тайну никому не нужных банок и рассказывал, в каком доме обосновались ловкачи из экспедиции.

Это придумал Библиенко: никому не рассказывать, как делается выпивка. Кто желает, пускай несет банки на переработку. Желающие нашлись.

Председатель сельпо позвонил участковому Осипову и попросил безобразие пресечь:

— Ты понимаешь, что будет, если и завтра пекарь напьется? Нам головы поотрывают. Мне в первую очередь, потом тебе!

— А чего они пьют, одеколон? — поинтересовался Осипов.

— Если бы одеколон, — вздохнул председатель сельпо на другом конце провода. — Заразу какую-то глотают, ослепнуть могут... Ты знаешь, что нам с тобой будет, если кто-нибудь ослепнет?

Уточнить эпицентр напасти Осипову не составляло труда. На квар-

тиру к радиотехнику участковый пришел в сопровождении двух добровольных помощников, опасаясь, что, наглотавшись отравы, мужики не признают его полномочий и выставят за дверь. Не драться же с ними!

Но в квартире никого не оказалось, кроме Прокопа. Мананков спал, сидя за столом. Участковый Осипов велел разбудить Прокопа.

Мананкова вели через весь поселок, поддерживая под руки.

Ночевать Прокопа оставили в крохотной избушке с самодельными решетками на оконце. Охранял избушку дешевенький замок, открывающийся любым гвоздем.

— Подонки и уголовники! — кричал Терентий Петрович. — Позор!

Гокалов метал молнии, но ничего поделать не мог: Библиенко и Трунов спали тяжелым сивушным сном, Мананков находился под стражей.

Давно уже получено продовольствие. Чашкин и Куканов, не говоря о Сене Чуеве и Васятке Башлыкове, которые вообще не прикоснулись к отраве, ругаясь и пыхтя, перевезли на плоты ящики с вермишелью и маслом, мешки с крупчаткой, сахаром и пшеном. Поселок, живущий до времени на полуголодном пайке, оторвал из неприкосновенных запасов все, что попросил Гокалов. Председатель сельпо принимал от Терентия Петровича расписку, ругаясь:

— С одной стороны, ничего тебе давать не надо! Сколько от вас вреда за вчерашний день, это же ужас! А с другой стороны, бери все что хочешь, бери сверх того, но побыстрее уезжай! Только вот это... Гарантии слабоваты. Что мне твоя расписка? Кто ты такой?

— Я же документы предъявлял. — Терентий Петрович виновато хмурился.

— А что мне твои документы? Скроешься с глаз — ищи ветра в тундре... Слушай, у тебя материальные ценности есть? Оставь мне в залог что-нибудь. А то ведь сельсовет просит за тебя, а отчитываться не председателю сельсовета — мне...

— Цемент нужен? — без особой надежды в голосе поинтересовался Гокалов.

— Цемент? — встрепенулся председатель сельпо. — Спрашиваешь! Кому же цемент не нужен! Много?

— Двести килограммов.

— Маловато... Жаль. Я думал — тонны две.

— Могу тросы оставить. Сизальские канаты, стальной трос...

— Ого, вот это уже деловой разговор! Тогда бери все что хочешь.

Терентий Петрович подписал бумажку, от стыда не поднимая глаз. Весь этот разговор с председателем сельпо накопил в нем злобу на рабочих.

— Подонки! — кричал он теперь. — Люди Гокалова по тюрьмам обретаются — вот до чего дожил Гокалов! Катержане с бубнами на спинах — вот кто работает в подразделении Гокалова! А кто будет плоты разгружать? Кто за гребь встанет? Где человека найду!

Накричавшись вдоволь, Терентий Петрович отправился в поселок выяснять ситуацию. Так все хорошо могло сложиться: продукты добыл, лишний груз отдал на хранение в склад сельпо... Правда, цемента обратно не получишь, израсходуют на нужды поселка, но это не беда, на будущий год завезут — рассчитаются. И надо же — Мананков в грязную историю влип. Как его выручать?

Оставшись одни, ребята долго молчали. Весть о том, что Прокоп в заточении, обескуражила их.

— Могут срок намотать? — тревожно спросил Чуев.

— Трунова надо бы спросить, он специалист по этим делам. — Чаш-

кин плюнул в костер.— Вроде бы не за что... Если бы сопротивление оказывал, тогда могут.

— А все этот гад, Фламинга! — с ненавистью сказал Васятка.— Он проспится — опять сволочью будет, а Прокопа не выпустят.

— Должны выпустить.— Чашкин снова плюнул в огонь.— Гокалов похлопочет: работать-то некому...

— Ты не плюй в костер, язык заболит,—предостерег Васятка и предложил: — А что, если самим, а? Сломать замок и выпустить...

— Вот и дурак,— угрюмо сказал Куканов.— Тогда уж наверняка посадят за побег.

— И нам с катушки отмотают помаленьку,— вставил Чашкин.

— Какой же это побег? — не согласился Чуев.— Что это, тюрьма? Избушка на курьих ножках...

— Блаженные вы, братцы! — возмутился Куканов.— Городите что попало. Избушка, избушка... Это ведь не в сказке: повернись ко мне передом, к лесу задом.

А Терентий Петрович в это время стоял перед участковым Осиповым и, стараясь не смотреть в его осуждающие раскосые глаза, проникновенно говорил:

— Золотой человек этот Мананков. Первая рука... Поверите, мухи не обидит. Перепил, видать.

— Конечно, перепил,— тоном, не допускающим возражений, сказал Осипов.

— Соскучились люди в тайге, тоже ведь понять нужно...

— А как же, конечно, стосковались. В поселке и то заедает...

— Так что? — осторожно спросил Гокалов.

— Что что? — в свою очередь полюбопытствовал Осипов и скосил глаза еще сильнее.

— С Мананковым что будет?

— А я откуда знаю, что с ним будет? Пить будет — сопьется. Не такие спивались. А за ум возьмется — человеком будет.

— Он будет,— заверил Терентий Петрович,— честное слово, золотой парень... Ну и как?

— Что как? — не на шутку начал сердиться Осипов.—Что, я должен разъяснительную беседу провести? У меня своих дел хватает.

— Беседу сам проведу.— Гокалов вздохнул.— Вы только отпустите его.

— Кого?

— Опять двадцать пять! Десятника моего, Мананкова, сажали?

— Сажал.

— Так отпустите его али нет?

Казалось, Терентий Петрович задал участковому неразрешимую задачу. Осипов морщил лоб, вникал в сущность вопроса все глубже и глубже, наконец удивленно сказал:

— А он что — все еще спит? Так иди разбуди... Постой, а ты что подумал — арестовали его? Ну даешь! Зачем он мне? У меня ни охраны, ни денег на питание...

Лопнуло спокойное небо над Джелядой: из тундры съезжался народ. Громко праздновали конец сезона строители и наблюдатели, астрономы и топографы. Шелестели наличные суммы в руках начальников подразделений — отсчитывали сезонникам зарплату. Что съедено за лето, что пропито, а что за сношенную раньше срока спецовку — вычли.

Помусолили чернильными карандашами в толстых тетрадках, отметили налоги. Остальное — получай.

Разбросить по месяцам, не так-то уж и много выходит, но полученные сразу, деньги казались большими: гуляй. Гулял, конечно, не всякий. Степенные мужики из плотников-верховиков отправляли заработок почтовыми переводами на свое имя по месту постоянного жительства. Так оно надежнее: и сам в дороге не издержишь, и в чужие руки не попадет.

Другие, у кого все хозяйство при себе, толпились в магазине. Север он и есть Север: фетровые чесанки на любой вкус — и черные и белые. Кто пофорсистее да поглупее — белые берет, у кого голова работает крепче, покупает черные, немаркие. Костюмы покупают бостоновые, на материке таких не найти. Сапоги хромовые и яловые — фабричной выделки, без базарного обмана.

У продуктовой витрины тоже толчея. Осень на Севере веселое время, если товары завезли. Спирт у продавца на виду, свободно. Колбаса копченая, твердая, как дерево, берут охавками, везут на материк гостинце. Работяги на дорожную колбасу — ноль внимания, покупают мягкую, залитую в бочках жиром. Компоты берут кисленькие, варенье к чаю. Кому обнову обмыть, кому просто так выпить и закусить, осенью — запросто...

К Джелиде Прокоп подъезжал в ранних сумерках. Ударил первый мороз: дышишь и слышно, как дыхание в воздухе замерзает. Еще не растаяла тоненькая полоска зари, а над головой уже заметались сполохи. То занавес с бахромой шевелится, то вдруг смешается все в кучу, потом рассыплется: мелкие стрелы по небу полетят.

Гортанно покрикивая, переднюю упряжку погонял каюр, повеселевший Туприн. Олени сытые, отъелись за лето в приморской тундре, обросли густым мехом. Рога тяжелые — голову скотине назад тянут. Бегут олени шибко-шибко, видать, почуяли жилуху... Хотя что им жилуха — не лошадь, в конюшню не поставят, все равно по морозу пастись.

Прокоп завалился на спину, укутанный в длинный сокуй.

Ведь все случилось до обидного просто. Тянул низовой ветерок, студеная вода чуть слышно плескалась между бревен. Ребята жгли на плотках костры — от огня не выжмешь. Прокоп успел крикнуть Чашкину:

— Отбивай к правому берегу, мелкая протока!

Но Чашкин поленился ударить веслом, думал — пронесет, как пронесило до сих пор. А плот затянуло в слепую протоку.

Гокалов волком выл. До устья Дорохая осталось три дня пути, там плоты ждал трактор. И погода торопила: по ночам подмораживало, в тихих заводях появлялись забереги — тоненький прозрачный ледок. Но плот засел крепко.

— Жилы вытянем, но выведем его на стрежень! — разорвался Гокалов. — По бревнышку раскатаем, но выведем лес из протоки!

И тянули жилы, пока не приехал Успенский. О чем они говорили, уединившись в палатке, Прокоп подслушивать не стал, но видел — палатка ходила ходуном. Терентий Петрович вылез на свет божий взъерошенным и потным. Уже на берегу Успенский укорял Гокалова:

— Придумал же, в наше время — бурлачить! Лемех уже в Джелиде, Ситковский вот-вот нагрянет на Дорохай лес принимать, а ты в какой-то протоке возишься. Ну, затащило плот, черт с ним! Нужно здесь бревна оставить, оттащить повыше и оставить. Но другие-то плоты надо гнать к Дорохаю!

— Думал, что выведем, — слабо оправдывался Гокалов. — А здесь как же лес выгружать, трактора нету...

— Зубами таскать, вот как! — зло сказал Успенский. — Ведь ты техник-строитель! Знаки строил, чем поднимал? Воротом? Неужели трудно

догадаться — ворот вкопать?.. Ну, Гокалов, гляди: не поправишь положение — Лемех тебя так взреет, что Арктике жарко станет!

Прокоп пожалел Гокалова. Долг платежом красен: начальник самолично выручил его в Джеляде, выпустил на свободу. И Прокоп вызвался выгрузить бревна без трактора.

— В подмогу дадите двух человек, справимся... Вы пока плоты гоните к Дорохаю, а мы тут останемся. Ничего, выдюжим.

Вот тогда и сказал Успенский:

— На тебя надежда, выручай...

В помощники Прокоп взял Чашкина и Куканова — они проворонили плот, загнали на мель. Две недели таскали бревна из замерзающей реки. На долю Прокопа досталось самое плохое — цеплять бревна петлями, расчаливать сплотки. Дыхание заходило от студености, руки ломило, как у ревматичного старика. А что поделаешь — надо. Ребята крутили ворот, налегая на водило. Размесили ногами круг грязи, срываясь от натуги, падали, матерились на чем свет стоит, но работы не бросили, выстояли. И как по заказу — ночью выпал обильный снег.

В первый свободный день даже не разговаривали: топили печку, лежали в тепле и не верили, что все кончено, что больше не будет тяжелых бревен и холодной воды. А к вечеру приехал Туприн, привез Прокопу приказание дожидаться Успенского, чтобы отчитаться за работу. Чашкин с Кукановым уехали, Прокоп еще два дня коротал в палатке, пока снова не появился Туприн с приказом ехать в Джеляду: никакого отчета не нужно.

Эх, Джеляда, Джеляда! И хорошо и тревожно возвращаться Прокопу. Ведь Зинка уже в Джеляде. Какая она? Хотел представить Зинку беременной, не смог. Фамилию ей менять надо. Теперь Мананкова будет. О другом Прокоп не думал.

Олени остановились, замотали головами: рогом об рог — костяной стук пошел. Уминая торбазами рассыпчатый снег, подошел Туприн:

— Один трубка курим, Прокоп. Во-она Джеляда светит!

— Где? — Прокоп кое-как поднялся в толстом сокуе, сел на нартах.

Огней еще не видно, но в сгустившейся темноте Прокоп разглядел матово светящееся облачко. Наверно, это и была Джеляда.

Прокоп встал, потоптался по скрипучему снегу, закуривать не стал — далеко доставать махорку. А Туприн присел на корточки, посаживает трубку из мамонтового клыка. Вот присел, будто в своем тордохе у печки, а сам ведь посередине тундры.

— Слышь, Туприн, а почто ты едешь не как все люди? Вот ехали мы, ехали — сбоку нас накатанная дорожка, а ты правишь по целику. Заплутать можно.

— Зачем чужой дорога? — смеется Туприн. — Хороший каюр — своя дорога в тундре. Звезду гляди — не плутаешь. Снег разгреби, погляди на мох — опять дорога... Чужой дорога много, в другой место приедешь. Свой дорога гляди — куда нада приедешь... Поехали!



НАЗЫМ ХИКМЕТ

★

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО

С турецкого

ИЗ ЦИКЛА «ПИСЬМА ИЗ ТЮРЬМЫ»

1

В солнечный день
на тюремном дворе
после дождя,
когда на земле
в лужах

двигались
белые облака,
черепичные крыши,
камни стен
и лицо мое
со всем тем,
что есть во мне

храброго,
подлого,
сильного,
слабого,

я подумал
о мире,
о родине,
о тебе...

2

Четыре часа.
Тебя нет.
Пять часов —
нет.
Шесть.
Семь...
Новый день.
И опять
за часом час
ждать...

В бурской тюрьме
было место у нас,
называлось садом,

у подножия теплой стены,
 пятнадцать шагов длиной...
 Ты туда приходила.
 Сидели мы рядом.
 Твоя сумка
 из красной клеенки
 у тебя на коленях
 лежала
 передо мной...
 Сколько я сделал твоих портретов —
 ни одного не оставила мне.
 У меня есть одна твоя фотография:
 садик (только другой),
 ты, такая спокойная
 и такая счастливая,
 кормишь кур
 и смеешься...

В нашем садике
 в Бурсе
 не было кур.
 И все-таки
 мы отлично смеялись,
 и нельзя сказать,
 что мы не были счастливы, —
 какие великолепные вести
 о свободе
 получали мы
 с той стороны!
 Как мы слушали
 звук их шагов —
 этих добрых вестей,
 были ими полны!
 И какие прекрасные
 умные вещи
 говорили мы
 в садике
 у тюремной стены!

3

Сегодня четверг,
 в тюрьме Чанкыры
 день базарный —
 пройдя
 сквозь железные наши ворота,
 в камышовых корзинах
 придут к нам
 горшки с вареной пшеницей,
 яйца,
 сверкающие баклажаны...
 Вчера я видел
 спустившихся к нам
 из горных
 затерянных деревень —

они были усталые,
хитрые,
подозрительные,
под бровями — печальная тень,
мужчины —
верхом на ослах,
женщины —
на своих босых ногах,—
пришли,
ведь сегодня
базарный день.

Среди них
есть, должно быть, такие,
которых ты знаешь в лицо,
должно быть,
уже второй четверг
они ищут глазами
на тюремном базаре
в толпе
«ту стамбулку»
«негордую»
в красном платке...

4

В пять часов наступает вечер
с облаками,
идущими на человека,—
их так много,
груженных дождем,
и проходят они так низко,
что можно рукою потрогать...

Зажглась
стосвечовая лампочка
в нашей камере
и керосиновая
у портных.
Это значит —
зима наступила.
Мне холодно.
Но не тоскливо.

Только мы так умеем:
в зимней тьме
за тюремной решеткой —
и не только в тюрьме —
в этом мире огромном,
в этом мире холодном,
который пора согревать,
в этом мире,
который будет согрет,—
мерзнуть,
клясть этот холод,
но не унывать!

5

Уже больше месяца
 в тишине тюремных ночей
 кошки —
 шерсть дыбом,
 на шее следы зубов,—
 крича
 то по-птичьи,
 то по-человечьи,
 бродят, мечутся...
 Время ближе к весне.
 В воздухе
 южный ветер.
 И как сильно он дует,
 как тепло!
 Где-то опять
 разбилось стекло,
 в эту ночь
 это третье...
 Дверь какой-то из камер
 осталась открытой,
 громко хлопает,
 рвется с петель...

На фронте
 мертвое тело
 заносит снег,
 и каску,
 слетевшую с головы,
 гонит ветер...

На фабричном дворе
 электрический свет
 на конце тонкой проволоки
 все качается на ветру,
 все качается...

На пороге цеха
 женщина —
 шея открыта,
 длинные волосы
 и подол
 на ветру развеваются...

Ветер в крышу ударил.
 Глыба льда
 с шумом падает,
 разбивается...

На равнину
 рысью повозки спускаются —
 колокольчики
 на хомутах заливаются..

И с клеенками,
 бьющими с двух сторон,
 на ветру,
 под этот топот и звон,
 среди ночи

проносятся к морю,
удаляются...

Тополя,
 превратившиеся на время
 в длинные
 тонкие
 рыбьи кости,
 светятся,
 хоть на небе
 не видно месяца...

И каштаны,
большие,
ветвистые,
толстые,
 не качаются,
 нет,
тяжело-тяжело
с ноги на ногу
 переминаются...

Идет
 далеко
 в звездном свете
толпа
 деревьев безлистных...
Этот гул —
 это южный ветер!
Он уже близко,
 близко!

.
Снег в горах
 отступает...
Соки бегут
 к кончикам веток...
Все готово к зачатыю —
 земля
 и зерно.

Время
 ближе к весне...
И рождение
 Нового,
страшное,
теплое
и прекрасное, —
наступить
 со дня на день
 должно...

1941.

* * *

Жизнь чинары,
 чьи листья —
 львиные лапы,
продолжается
около тысячи лет.

Жизнь каштана —
 три тысячи.
 Пять тысяч лет
 кипарисы
 стоят на земле.
 Даже тополь и тот
 семь столетий,
 зеленый и белый,
 семь столетий
 под солнцем живет.
 Мы же, братья,
 так мало живем —
 срок, отпущенный нам,
 так ничтожен!
 В этом важном вопросе
 можно к лошади
 нас приравнять:
 точно так же, как лошадь,—
 насытиться жизнью
 не может
 большинство,
 кто везет на себе
 лошадиную кладь.

1942.

ГОСТИНИЦА «БОР»

Невозможно спать в этой Варне,
 невозможно заснуть, невозможно,
 потому что звезды так близко,
 потому что сияют безбожно,
 потому что волны,
 погасшие волны,
 шелестят на песчаном пляже,
 что-то шепчут камешкам, шепчут
 раковинам
 и каждой
 травинке морской бессонной,
 в водорослях соленых
 шелестят всю ночь напролет...
 В море,
 как будто сердце,
 стучит какой-то мотор...
 И давние воспоминанья
 из Стамбула
 в гостиничный номер
 приходят через Босфор...
 У одного —
 глаза цвета яхонта,
 другое —
 в наручниках,
 третье
 держит платочек махонький,
 от платочка
 лавандой пахнет...

Невозможно спать
 в этой Варне,
 невозможно забыться, милая,
 в Варне
 в гостинице «Бор»...

1958.

В ЭТИ ЗНОЙНЫЕ ДНИ

В эти знойные дни
 думаю о тебе,
 о твоей белизне,
 о шее твоей,
 о нежных запястьях,
 о ноге твоей,
 спящей на темной тахте,
 точно белая птица
 под крышей в ненастье,
 о словах, которые
 сказала ты мне...

Не пойму —
 что из этого
 в памяти
 отпечталось ярче,
 а что слабей —
 слова твои,
 шея
 или запястье?
 В эти знойные дни
 думаю о тебе...

Я в гостиничном номере.
 Спать не хочется.
 Глубину тоски моей
 не измерить.
 Я обнажаю
 свое одиночество,
 немного похожее
 на смерть...

1958.

Перевела Муза Павлова.



ЭРНСТ КРЕНКЕЛЬ,
Герой Советского Союза

★

МОИ ПОЗЫВНЫЕ — РАЕМ*

Что мне было известно об Арктике? Там холодно, имеется Северный полюс, живут медведи и туда путешествовал Нансен.

Я перешел через мост, прошел по набережной, вошел в желтый дом и попал в огромный, подавлявший своей монументальностью вестибюль. Потом долго блуждал по коридорам непомерной высоты, где стены были заняты огромными, до потолка, шкафами орехового дерева. На дверках этих шкафов инкрустированы старинные адмиралтейские якоря. В шкафах хранились судовые журналы, подлинные карты, описания экспедиций — одним словом, все, что вошло в историю как немеркнущая слава русских моряков.

Я шел и думал — а ведь всему этому дал жизнь сам Петр Первый. От такой мысли становилось даже чуть-чуть не по себе, и я время от времени замуривался. Потом, поднявшись по скрипучим ступеням старинных лестниц, где-то наверху обнаружил, наконец, в маленьких комнатах учреждение с коротким названием «Севледок». Не сразу можно было догадаться, что за этим уютным названием скрывалось такое суровое учреждение, как Экспедиция Северного Ледовитого океана.

Войдя в Севледок, я познакомился с пожилым человеком. По отличной выравке и волевому лицу нетрудно было угадать, что передо мной — бывалый военный моряк. Им оказался гидрограф-геодезист Николай Николаевич Матусевич, опытный полярник, плававший в Арктике с 1911 года. Николаю Николаевичу, впоследствии профессору Военно-морской академии в Ленинграде, инженер-вице-адмиралу, заслуженному деятелю науки и техники РСФСР, вице-президенту Всесоюзного географического общества, было тогда примерно сорок пять лет, но в моих глазах это был человек весьма почтенного возраста. В этом мире все относительно!

То, что последовало за нашим знакомством, поразило мое воображение. Час назад я был безработным парнем, ничего не знающим не только о своем завтрашнем дне, но даже следующем часе. Я не ведал, где придется ночевать — в кубрике «Профсоюза» или же на скамейке какого-нибудь ленинградского парка, что из-за белых ночей было, прямо скажем, не очень удобно. И вдруг оказывается, что тем временем здесь, в Севледоке, меня давно и нетерпеливо ждали.

— О, молодой человек, — радостно сказал Матусевич, — как хорошо, что вы к нам пришли. Мы вас так ждем. В Архангельске корабль уже погруженный и снаряженный стоит в ожидании, когда вы придете!

Пораженный, я выкатил на своего собеседника глаза, в первый момент решив, что меня разыгрывают. Но человек был серьезен, розыгрышем, как говорится, и не пахло.

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 9 с. г.

Действительно, меня, вернее человека на предложенную мне должность, очень ждали. Из Архангельска на Новую Землю отправлялась экспедиция. Предстояло сменить зимовщиков на полярной станции в проливе Маточкин Шар. Отсутствие радиста для зимовки задерживало отплытие.

На Маточкином Шаре работала первая советская полярная станция. Построил ее в 1923 году тот самый Матусевич, который формировал сейчас вторую смену зимовщиков. Станцию воздвигли по специальному правительственному решению, и на деятельность ее возлагались большие надежды. Главное заключалось не в теоретических исследованиях (хотя научная работа, разумеется, там планировалась), а в практической помощи советскому полярному судоходству.

После того как английские интервенты покинули наш Север и белогвардейское правительство Миллера спаслось бегством от Красной Армии, в этих краях, как и в Центральной России, было чрезвычайно голодно. Воспользовавшись тем, что на Севере уже нет сплошного фронта, Ленин распорядился послать на восток, к Оби и Енисею, караваны кораблей за сибирским хлебом. Так как караванам предстояло пройти лишь Карское море, они вошли в историю под названием карских экспедиций. Одним из участников этих суровых и в высшей степени опасных походов был капитан Владимир Иванович Воронин, с которым впоследствии мне неоднократно доводилось плавать на Севере.

Через несколько лет по этому же пути пошли в Игарку за лесом и иностранные корабли. Их сопровождали наши немногочисленные ледоколы. Как и хлебные предшественники, лесовозные караваны также назывались карскими экспедициями. Чтобы гарантировать безопасность проводки иностранных судов, и решено было выстроить на Новой Земле полярную станцию Маточкин Шар.

Первая смена зимовщиков еще сидела на Новой Земле и не могла поделить свои впечатления, и поэтому осторожные коллеги-радисты, пославшие меня в Севледок, предпочитали подождать другого, более верного случая:

— Черт его знает, какая-то экспедиция на какой-то остров. Для семейного человека ехать за тридевять земель, да еще на целый год, это не годится...

Но то, что не годилось для них, оказалось для меня подлинной находкой. Буквально за два-три часа я был оформлен. И я и Матусевич (каждый по своим соображениям) торопились подписать нужные бумаги, пока партнер не раздумал. Так в мою жизнь вошла Арктика. Посвященный достойным человеком в рыцари сурового клана полярников, я связал с этим кланом почти всю мою дальнейшую жизнь.

Превращение в полярника было стремительным, как в кино. Я ощутил его лишь после того, как вышел на Невский проспект в качественно новом для меня виде и состоянии. Дело в том, что, кроме подъемных денег, по тем временам совсем не малых, я стал обладателем полной морской формы. Мне выдали отличную фуражку с крабом и черные штаны клеш традиционного морского фасона — с боковым клапаном, поднимающим моряков на качественно высшую ступень по сравнению с подавляющим большинством представителей сильного пола. Правда, к моему огорчению, в комплекте не оказалось кителя, но его заменили теплым черным бушлатом, и я вполне был этим удовлетворен.

Под ярким июльским солнцем я направился во всем этом североокеанском великолении на прогулку по Невскому проспекту. До отъезда в Архангельск оставалось несколько часов. Хотелось провести их неторопливо и с достоинством.

Жара в этот день была несусветная. Потел я в своем бушлате так, словно проглотил полкило аспирина. И проследить мой путь по городу можно было без малейшего труда, так как, вероятно, от струек пота, стекавших с меня, позади оставался мокрый след. Но это меня нисколько не тяготило. Красота всегда требовала жертв, а в том, что благодаря арктическому обмундированию я красив, сомневаться было невозможно. Погуляв по Ленинграду, я отбыл в Арктику.

В Архангельске меня действительно ждали. Экспедиционное судно «Юшар» («Югорский Шар») стояло у пирса, готовое выйти в море. Это был уже не молодой, но довольно крепкий корабль, купленный еще до революции в Англии Соло-

вещким монастырем. Дело в том, что Соловецкий монастырь, одно из красивейших мест Белого моря, на протяжении многих лет привлекал к себе богомольцев. Монахи делали на этом изрядный бизнес, как нетрудно понять из покупки «Юшара», приобретенного специально для того, чтобы перевозить богомольцев.

Путь на борт «Юшара» для меня, москвича, выглядел весьма необычно. С толпой пассажиров поезда, доставившего меня из Ленинграда, я погрузился на обшарпанный пароходик, гордо называвшийся «Москва». Пароходик заговорил не по возрасту громким голосом, вода забурлила за кормой, и мы поплыли на нашем речном трамвае...

Город на многие километры растянулся вдоль берега на противоположной стороне Северной Двины. До моря еще далеко, но все здесь живет, дышит и пахнет морем.

В Архангельск я попал впервые, и все здесь было мне интересно. Город этот, как известно, сыграл немаловажную роль в освоении Арктики не только радистом Кренкелем, но и куда более серьезными предшественниками, не упомянуть которых в этих записках просто невозможно.

Я плыл по Двине вместе со своим спутником по поезду, просвещавшим меня всю дорогу и рассказавшим бездну интересного про Архангельск и его окрестности. Фантазия расцветивала эти рассказы доброжелательного попутчика, превращая их в сочные живописные картины, возникавшие в моем воображении...

Вот еще пустыньны и не застроены берега. Тишина окутывает столь шумную сегодня Северную Двину. 1553 год. Архангельска еще нет ни на берегах Двины, ни на географических картах, а к маленькому северному селению подходит с севера оснащенный пирамидой парусов корабль под неведомым местным жителям иностранным флагом. Корабль входит молча — парусный флот обходится без шума паровых машин и двигателей внутреннего сгорания. И встречают его жители молча. Им еще не ясно, друг это или враг?

Сегодня мы знаем, что после того, как средневековые испанцы и португальцы прочно захватили в свои руки южные морские пути, англичане и голландцы, которым от этого сладкого пирога не досталось даже и корки, ринулись на Север.

Английские моряки всерьез отнеслись к задачам, которые были поставлены перед ними. В 1553 году, за пятьдесят лет до возникновения Архангельска, английские корабли ринулись на восток через льды. Путешествие оказалось трудным, далеко пройти не удалось. И если капитан Ченслер добрался до устья Северной Двины, а оттуда попал ко двору Ивана Грозного, то его коллега Виллоуби зазимовал во льдах подле берегов Кольского полуострова, где вместе со своим экипажем, насчитывавшим шестьдесят три человека, погиб от цинги и холода.

Спустя год одна за другой были организованы три голландские экспедиции, в том числе и экспедиция Виллема Баренца, чье имя носит суровое Баренцево море. Поход стоил жизни ее руководителю.

Величаво катит свои воды Северная Двина. На противоположном берегу людей не различишь — так она широка. Я смотрю на эти воды и вижу, как выплывали по ним на морской простор древние новгородцы, как приходили сюда мужики и бабы, бежавшие на Север от татарского нашествия, как под крыло Соловецкого монастыря, расположенного совсем неподалеку, стекались поборники старой веры, осенявшие себя двуперстным крестом.

Огромные лесовозы на десятки километров поднимаются вверх по течению. Незагруженные, они высятся громадами над водой и бредут, шлепая лопастями винта. Юркие моторки шныряют во всех направлениях, а вездесущие мальчишки на утлых лодчонках, несмотря на строжайший запрет, ловят в изобилии плывущие бревна, обеспечивая тепло своей семье на зиму.

Нагрузившись до предела своих сил и возможностей, наш «Юшар» вышел из Архангельска. Несколько часов шли по Маймаксе (так называется главная судоходная протока Северной Двины). Вдоль берегов тянулись бесконечные лесопильные заводы. У причалов грузились иностранные корабли.

После лапаминского створного знака начался выход в море. Вода была еще почти пресная, даже пить ее, несмотря на мутно-желтый цвет, было не противно.

Все дальше и дальше уходили мы от Архангельска. В стороне остался ярко-красный, а потому особенно приметный Северо-Двинский плавающий маяк с огромными белыми буквами «СД» на борту. За эти буквы, которые, как легко догадаться, были инициалами Северной Двины, маяк у всего североморского люда был известен под именем «социал-демократ». На маяке был своего рода плавающий клуб и биржа труда лоцманов. Они дежурили здесь круглосуточно и по вызову в любую погоду лихо подлетали на моторке к судну, нуждающемуся в их услугах.

Все это было мне еще интереснее, чем сам Архангельск. Я попал на море в первый раз. Нужно ли говорить, с каким любопытством впитывал я привычные подавляющему большинству людей, находившихся на борту «Юшара», впечатления.

К тому времени, когда мы пересекли Полярный круг, обогнули Канин Нос и вышли в Баренцево море, я почувствовал себя уже настоящим моряком — и не только потому, что на мне были брюки клеш и прекрасный теплый бушлат. Оказалось, что я не подвержен нападкам злейшего врага моряков — морской болезни. И хотя шторма настоящего не было, а была лишь свежая погода, это ощущение неуязвимости от качки наполняло мою душу неопишуемой гордостью. Интересно было сидеть в кают-компании во время обеда, смотреть, как горизонт то поднимается, то уходит, а ты должен в этот миг позаботиться лишь об одном: чтобы волна, поднимаемая в твоей тарелке, не вышла за берега и чтобы суп не оказался на столе, а еще хуже — на твоих новых флотских брюках.

Горизонт качался за окном, но, проглотив свою порцию супа, я выходил на палубу, чтобы во всей полноте наглядеться на то самое море, по которому погнался ветер странствий. Оно было красиво, но сурово. Хмуро-серого цвета, с белыми гребешками волн, море словно брюзжало по поводу того, что наш «Юшар» пришел сюда незванным, и безжалостно раскачивало его то с борта на борт, то с носа на корму и с кормы на нос. Но наш корабль, пылинка по сравнению с этой громадой, бодро шел вперед, не обращая ни малейшего внимания на грозную стихию.

Сознаюсь, мне это нравилось. Я чувствовал себя частицей корабля и, несмотря на свое амплу пассажира, считал себя тоже борцом со стихией.

Моряки поглядывали на меня с улыбкой. Им было, наверное, смешно, что московский мальчишка стоит, широко раздвинув ноги, не кланяясь волнам. Я же воспринимал их взгляды как одобрение: «Если эти морские волки одобряют, что я не кланяюсь волнам, значит, они признали меня своим!» Эта мысль повышала мое и без того немалое самоуважение. А однажды я даже почувствовал, что близок к тому, чтобы стать «своим в доску». Это было по тем временам высшей аттестацией нравственных качеств человека. Мысль о таком отношении ко мне старых, бывалых поморов, из которых был скомплектован экипаж «Юшара», пришла после того, как однажды, когда я смотрел на чаек, кто-то из матросов, отлично знавших эти места, рассказал мне интересную байку.

Известно, что моряки любят чаек и выстрелить в эту птицу, по неписаному кодексу морских законов, — грех совершенно непростительный. Но в Соловецком монастыре чайки окружены еще большим почтением. Там их чтут как святых птиц.

Еще в прошлом веке, когда Англия и Франция воевали с Россией, к берегам острова, на котором стоит Соловецкий монастырь, подошли английские боевые корабли. Развернувшись бортами к монастырским стенам, они нацелили на них пушки. Как известно, эти старинные пушки заряжались с дула, а стреляли от запала, в дырочку которого сверху насыпался порох.

Британские артиллеристы дали первый залп, и небо сразу потемнело, но не от порохового дыма. Свет закрыли тучи чаек, поднявшихся с птичьих базаров на ближайших островах. Со страха чайки обрушились на головы и пушки английских моряков огромное количество вещества, которое не назовешь дождем из-за его

вязкости и градом из-за его мягкости. И палубы фрегатов, и запальные устройства пушек покрылись толстым слоем птичьего помета. Англичане не могли стрелять и удалились несолоно хлебавши.

Соловецкий монастырь имел отношение и к Новой Земле. Она входила прежде в его епархию. В начале XX века население Новой Земли насчитывало не более двухсот человек. Их-то и опекали посланцы Соловецкого монастыря. Направлялись туда не лучшие представители монашеского племени — проштрафившиеся, пьяницы и лица, неугодные начальству. Попав на Новую Землю, эти немногочисленные монахи становились миссионерами, разъясняя язычникам всю великую пользу христианства. Чтобы агитация была наглядной, пускались в ход более веские доказательства достоинств христианства, нежели божье слово. Каждому обращенному выдавалась кумачовая рубаха и серебряный рубль.

И вот однажды обнаружилось, что население Новой Земли выросло в несколько раз. Причины этого феномена оказались примитивно просты — счет крещеных велся по числу розданных рубах, а местные жители, воспользовавшись тем, что приезжий служитель божий был не памятлив на лица, крестились по нескольку раз.

На карте страны, где для одной шестой части мира вполне хватало двух листов писчей бумаги, наше путешествие не выглядело особенно длинным. Но одно дело ехать в спальном вагоне, другое — качаться на волнах северных морей, сварливый характер которых общеизвестен.

Итак, тысяча километров по прямой, чуть больше по реальному курсу, через моря, которые, словно бухты Ледовитого океана, врезались в побережье нашей страны. Там, за двумя морями, и лежит волнующая и романтическая Новая Земля.

Первое море — Белое. Затем, вырвавшись из объятий Кольского полуострова и полуострова Канин, корабль попадал в Баренцево море и, держа курс на восток, подходил к Карским воротам. Эти ворота — главный вход в Карское море, узкий пролив между южной оконечностью Новой Земли, длинной, многокилометровой колбасой вытянувшейся на северо-восток, и островом Вайгач.

Такова традиционная северная дорога на восток. Однако этот старый тракт не удовлетворял потребностям полярного мореплавания. Моряки пытались нащупать новую, более удобную трассу. На первый взгляд выражение «нащупать новую трассу» может показаться странным — вода как вода, куда хочешь, туда и плыви. Ни гор, ни оврагов, ни рек, которые пересекает железная или автомобильная дорога. Но, оказывается, и тут, на воде, существовало множество подводных, тонкостей, неопровержимо убедивших северных флотоводцев, что прямая — далеко не всегда кратчайший путь между двумя точками.

Третье море, к востоку от нашей зимовки, — Карское. Оно имело у полярных капитанов дурную славу. Открытое в своей северо-восточной части, оно было почти заперто с юго-западной. Стоит подуть северо-восточным ветрам — и Карское море сразу же превращается в ледяной мешок. Ветер загонял в него миллионы тонн льда, а выйти этому льду некуда. Путь на запад преграждает Новая Земля, на юг — материк. И горе кораблям, попадавшим в эти не знающие пощады тиски.

Тягаться в силе с такой стихией было делом безнадежным. Но перехитрить ее человеку оказалось вполне по плечу. Не последнюю роль в задуманном предстояло сыграть Маточкину Шару.

Пытаясь понять, как закатились за Полярный круг такие названия, как Маточкин Шар или Югорский Шар, я беседовал впоследствии с многими умными и образованными людьми. Большинство склоняется к тому, чтобы считать привычное нам по картам «шар» искаженным словом «шхеры». Такое объяснение мне представляется весьма убедительным: ведь и Маточкин Шар и Югорский Шар — это проливы.

Пролив Маточкин Шар, получивший свое имя от впадающей в него речки

Маточка, почти пополам рассекал Новую Землю. И так как льды, набивавшиеся в мешок Карского моря под прикрытием Новой Земли, не попадали в Баренцево море, то пройти в Карское море через Маточкин Шар иногда было удобнее и проще, чем через Карские ворота. Вот почему регулярно информировать капитанов о ледовой обстановке в этом районе стало важным делом. Для этого на восточном берегу пролива Маточкин Шар в 1923 году и поставили нашу радиостанцию.

Через неделю в отличный ясный день, вернее, в солнечную ясную погоду того ужасно длинного дня, который в Арктике бывает один раз в году, «Юшар» приблизился к Новой Земле.

Я не раз разглядывал карту огромного острова, на котором мне предстояло зимовать, но действительность, конечно, не имела ничего общего с аккуратными расчерченными картами. Сознаюсь, что ощущения, которые я испытал, подходя к Новой Земле, сопутствуют мне всегда, когда я отправляюсь в какое-либо морское странствие. Морские карты очень точные. На них нарисованы мельчайшие очертания бесчисленных мысов, островов и проливов. И все же поле зрения картографа и человека, который смотрит на эти же места с капитанского мостика, настолько несоизмеримы, что для меня всегда было и осталось загадкой умение штурманов и капитанов сочетать эти удивительно непохожие вещи в своем воображении.

Мое воображение дальше чтения радиосхем не пошло, и поэтому, словно на чудо, смотрел я, как корабль развернулся и устремился прямо на берег. В первый миг это выглядело коллективным самоубийством. Но только в первый миг. Дергались стрелки, звонили звонки машинного телеграфа. «Юшар», разумеется, и не думал разбиваться. Он просто вошел в ту тоненькую и хорошо известную мне по картам черточку, которая была столь тонка, что в этой полоске даже не хватало места для надписи «пролив Маточкин Шар».

Пролив был узким, но глубоким. За каждым очередным мысом открывался новый поворот. Так длилось несколько часов, пока, осторожно, но настойчиво продвигаясь вперед, корабль не приблизился к полярной станции.

Путешествие по проливу оказалось богатым новыми впечатлениями. Природа рассыпала их с невиданной щедростью, и я понял, что Арктика в жизни, а не на картах и в книгах, где над всем господствует белый цвет снега, волшебна красива.

После нескольких часов хода пролив расширился. Правый берег стал более пологим. На нем, словно под охраной гор, стоял высокий деревянный крест. Под крестом лежал первый исследователь Новой Земли Федор Розмыслов. Еще в XVIII веке он возглавил экспедицию, составил достаточно подробное описание Маточкина Шара и собрал много интересных сведений о природе этого края.

Дерево в Арктике не гниет, сохраняясь десятилетиями и даже столетиями. Но на него обрушиваются ветры и снег, особенно злобно свирепствующие за Полярным кругом, и выдувают мягкие участки. Вот почему старые кресты на могилах полярников имеют обычно шершавую, рубчатую поверхность.

Величественный и безмолвный стоял крест. Глядя на него, никто из нас не подумал, что крохотное кладбище в этом далеком уголке земли пополнится за время нашей зимовки еще одной могилой...

«Юшар» втягивался в пролив все глубже, и вскоре мы увидели на пригорке большой и скучный одноэтажный дом. Правда, как поспешили тут же просветить нас всезнающие матросы «Юшара», дом этот далеко не всегда был скучным. Во время оккупации Севера иностранными интервентами он стоял в Архангельске и в нем размещалось офицерское увеселительное заведение со всеми положенными публичному дому аксессуарными. В 1923 году бывшее офицерское заведение перевезли на Новую Землю. Плотники собрали его для новой жизни, и корабль ушел, оставив на берегу первых зимовщиков станции Маточкин Шар, которых и предстояло нам заменить.

С большим удовольствием я бы опубликовал фотографии моих товарищей по первой зимовке. Полярники говорят, что первая зимовка, как первая любовь, запоминается навсегда. Увы, в ту пору советской фотопромышленности еще не существовало. Старые «кодаки», состоявшие на вооружении фотолюбителей, пылились без дела по той простой причине, что не было пленки. Немногочисленные снимки, которые я все же сделал, оказались недостаточно совершенными.

Сегодня полярники — знатные люди. О них много говорят и пишут. Да и сами они не скупятся на мемуары и книги, пользующиеся заслуженной любовью и вниманием читателей. Тогда же все было совершенно иначе...

Вряд ли в глазах общества можно было бы причислить меня и моих товарищей к числу известных людей. Помилуй бог! Напротив, у меня даже сложилось впечатление, что многие из моих спутников не только не стремились к известности, но, напротив, избегали ее. Некоторые из них видели в трудной северной службе возможность заработать себе хорошую репутацию, право на то, чтобы считаться полноправным гражданином молодой Советской республики.

Нашим начальником был Давыд Федорович Вербов, очень симпатичный, очень корректный и уравновешенный человек, что в Арктике, да еще в таком пестром обществе, играло не последнюю роль. Природный такт и несомненная мудрость позволяли управляться с десятью башибузуками, попавшими под его команду. Вербов делал это не торопливо, но и не медлительно. И его спокойствие заражало остальных уверенностью, которая всегда помогает людям, испытывающим трудности.

Но не следует думать, что Давыд Федорович был опытным полярником. Как и остальные, он попал на зимовку случайно. В те годы на Север не рвались. До того как возглавить полярную станцию Маточкин Шар, Вербов много лет занимался совсем иным делом — он был коммивояжером известной дореволюционной фирмы канцелярских принадлежностей «Отто Кирхнер и К°», а попросту говоря, торговал карандашами, перьями и тетрадками...

Среди моих товарищей выделялся удивительно веселый и милый человек, механик Костя Кашин. Это был какой-то сгусток энергии. Все он делал с улыбкой, весело, на все у него хватало сил. Двигатель всегда содержался в идеальном состоянии. Но Косте всего этого было мало. Он настойчиво лез в самые рискованные дела.

Около нашей радиостанции протекала речушка, вернее маленький ручеек. За ним поднималась высокая гора. В разлоге, у самой вершины, даже за лето не успевал растаять снег. Он лежал красиво, как гигантская чайка, распластавшая на горе крылья. Костя Кашин и наш магнитолог Белокоз на спор решили спуститься на нартах с этой снежицы. Давыд Федорович очень боялся, что они переломают себе руки и ноги, но они настояли на своем.

В сильный бинокль было хорошо видно, как они долго взбирались на гору и молниеносно спустились. Зачем это понадобилось — никому не известно, но такой поступок был в характере Кости Кашина.

Однажды из-за Кости я чуть не отправился к праотцам. У нас были винтовки и огромные револьверы, которыми в XIX веке вооружали почтарей. К этим револьверам у нас не было патронов. Однажды я попробовал, и оказалось, что хорошо входит обычный винтовочный. Но этот патрон длиннее револьверного. Полгильзы и вся пуля, высунувшись из барабана, оказывались внутри ствола. Зарядить револьвер больше чем одним патроном было невозможно.

Отправляясь дежурить на радиостанцию, ныряя в темноту, в пургу, я знал, что по дороге можно нос к носу столкнуться с медведем. Я клал себе за пазуху этот страшный револьвер. Делалось это больше для «психологии», чем для реальной защиты.

Револьвер лежал у меня в комнате на столе, но всенародно объявлять, что удалось подобрать к нему патроны, я почему-то не стал. И никто не подозревал, что из игрушки он стал оружием. Как-то ко мне зашел Костя. Я сидел на своей койке, он — напротив. Костя взял револьвер. Я даже рта не успел раскрыть,

как грохнул выстрел. Сантиметрах в пяти — десяти мимо моей головы пролетела пуля, врезавшись в стенку.

С Костей Кашиным я встретился уже после полюса, в Севастополе. Он командовал подразделением торпедных катеров, что по его характеру, как мне кажется, ему очень подходило.

Украшали нашу когорту и две другие красочные личности, фамилии которых не помню, — Пауль и Отто, матросы немецкого крейсера «Магдебург», потопленного русскими военными кораблями. После гибели корабля Пауль и Отто попали в плен, откуда их освободила Февральская революция. За это время они достаточно обжились в России и вернуться в Германию не пожелали. Каким ветром занесло их на Новую Землю, не знаю.

Более колоритным из этой пары, несомненно, был Пауль, сухощавый, с отлично тренированной спортивной фигурой, обладавший невероятной физической силой... Пауль запомнился еще и тем, как развлекал нас в трудные минуты северной скуки.

Мы, юнцы, очень любили ходить с ним в баню. Стоило Паулю раздеться, и он превращался в живой путеводитель по моряцкой нравственности, а точнее, по моряцкой безнравственности. На его могучем теле не оставалось ни дюйма кожи, свободной от татуировки. Тематика рисунков самая разнообразная — от орлов и якорей до мифических русалок и женщин в более реальных образах. Одним словом, тематика, в которую невозможно углубиться без нарушений правил хорошего тона, чего по отношению к читателю этих записок я, извините, позволить себе не могу.

Второй талант нашего Пауля проявлялся в праздничные дни, когда Давыд Федорович, понимая, что не отметить праздник — грех, выдавал нам по толике спирта. Выпив свой рацион, мы всегда просили:

— Пауль, закуси стаканом!

Пауль был добр и снисходителен к нашему любопытству. Без долгих уговоров он запросто откусывал край стакана и начинал жевать его с каким-то удивительно философским равнодушием. Он жевал его как завалившийся сухарь, даже не поднимая глаз, чтобы оценить воздействие своего удивительного таланта на поклонников, открывавших даже рты от восхищения.

Среди наших зимовщиков были даже два участника Кронштадтского мятежа. Один из них — сын члена штаба мятежников генерала Козловского. После разгрома папа удрал куда-то в Финляндию, а сын попал к нам на зимовку. Вторым человеком, имевшим отношение к этому же событию, был и наш доктор Федосеев. Не думаю, чтобы он был активным участником мятежа, но факт остается фактом.

Как и Козловского-младшего, Федосеева погнало на зимовку, вероятно, желание быть подальше от людей, а может быть, оправдать свой не самый благовидный поступок. Погнала его и неудачная любовь, невольным свидетелем которой стал я по своей должности радиста. Не раз приходилось мне приносить ему какие-то смутные телеграммы от его возлюбленной, равно как и отстукивать ключом ответы на них. Эта переписка была не самой веселой — радиogramмы Федосеева, переполненные любовью и нежностью, и ответные лаконичные, деловитые депеши. Девуца телеграфировала довольно часто, но слова любви она успешно заменяла просьбами о денежных переводах, на которые влюбленный доктор не скупился.

Доктором нашего Федосеева можно было назвать с известной натяжкой. Вероятно, он закончил несколько курсов медицинского факультета, когда началась первая мировая война. Студентов стали быстро производить во врачи и отправлять на фронт. А так как дать диплом недоучившемуся специалисту нельзя, то появился новый для медицины термин — зауряд-врач. Народ, который, как известно, за острым словом в карман не лезет, молниеносно переименовал это в «навряд ли врач».

Большого доверия, без которого медицине трудно одерживать победы над болезнями, Федосеев не внушал. Мы надеялись, что к его услугам нам прибегать

не придется, и прозвали про себя помощником смерти. Но обстоятельства сложились несколько неожиданно для всех нас — отбивать от смерти Федосеева, хотя и безуспешно, пришлось нам самим.

Федосеев поселился в той же комнате, где и до него жил врач предыдущей смены, доктор Шорохов. Мы называли эту комнату врачебной. От остальных помещений нашего, в прошлом весьма веселого, дома она отличалась не многим — кроме койки врача, в ней стоял застекленный шкаф и стол с ватой, марганцовкой, вазелином и прочими медицинскими штуками. В этих апартаментах среди клизм, шприцев, стерилизаторов и поселился наш лекпом, маленький человечек с заплывшими глазками.

Комната эта оказалась роковой. Еще до нашего приезда заболел и умер от воспаления почек доктор Шорохов. Несчастье случилось и с Федосеевым. Оно произошло в самом разгаре полярной ночи. Однажды все уже позавтракали, а лекарский помощник к столу не пришел. Отправились выяснить, в чем дело. Заглянули в щелку — керосиновая лампа горит, и больше ничего не видно. Стучим. Тишина. Снова стучим. Снова нет ответа. Взломали дверь.

Федосеев лежал на кровати. Одеало съехало куда-то в сторону. Он хрипел. Сомнений не оставалось — произошло что-то неприятное, но что?

Стали тормозить — доктор не просыпался. Хрип продолжался. И хотя никто из нас к медицине ни малейшего отношения не имел, стали его осматривать, а осмотрев, поставили безошибочный диагноз. Вся ягодица Федосеева была исколота. Рядом валялся шприц. Не надо было быть Гиппократом, чтобы сообразить — наш доктор морфинист.

Дальнейшее следствие подтвердило возникшее подозрение. Группа самодеятельных Шерлоков Холмсов, обшаривших врачебную комнату, довольно быстро обнаружила пустую банку из-под морфия. Сомнений не оставалось — либо Федосеев переборщил и загнал себе слишком большую дозу по неосторожности, либо решил покончить свои счета с жизнью. Так это было или иначе, оставалось только гадать, а гадать в этот момент было некогда. Нам, десяти медицински темным людям, предстояло решать неразрешимо сложную задачу — задержать на этом свете нашего эскулапа.

Как привести его в чувство? Во всю прыть рванулся я на радиостанцию, установил связь с Югорским Шаром и срочно вызвал врача:

— Как будто бы отравление морфием. Что делать?

— Пусть пьет черный кофе.

Легко сказать «пусть пьет черный кофе»! Кофе мы сварили немедленно, но наш больной упорно не раскрывал рот. Разжали зубы. Льем кофе. Льем больше на подушку, чем в рот. Федосеев не глотает и хрипит уже гораздо слабее.

Снова помчался на радиостанцию:

— Кофе не помогает! Что делать?

— Не давайте лежать. Пусть двигается!

Хорошенькое дело. Куда же тут двигаться, когда лежит наш Федосеев, как говорит, пластом лежит. Но раз медицина сказала «двигаться», значит, немедленно двигаться. Мы подхватили леккома под руки и в нижнем белье стали водить по длинному темному коридору нашего дома. Водим туда и обратно. Коридор для прогулок совсем не приспособлен. Под ногами чужие валенки, на стенах висят полусубки. Темно, холодно, а мы нашего полупокойника таскаем вперед и назад по грязному холодному полу.

Таскали мы его до тех пор, пока он не умер. У Федосеева оставалась военная форма. Мы уложили его на кровать, одели в эту форму и начали мастерить гроб, используя мокрые доски, вытасченные откуда-то из-под снега. Похоронить Федосеева сразу на кладбище, где был захоронен доктор Шорохов, не удалось. Грунт был тверд, как камень, а взрывчаткой мы не располагали. Выходом из положения оказался исполинский сугроб рядом с нашим домом. Вырыли в нем глубокую яму, похоронили Федосеева в этой яме и перехоронили уже потом, летом, когда снег растаял.

Гидрологом у нас работал Виктор Ахматов. Очень славный молодой человек. Он пленял меня тем, что не то учился, не то недоучился в каком-то морском заведении. У него была морская форма, о которой я мечтал и до которой все-таки правдами и неправдами добрался. Единственное, чего не хватало, чтобы чувствовать себя заправским моряком, — это татуировки.

Виктор предложил свои услуги. Технология такова. Чернильным карандашом делают соответствующий рисунок на руке или в каком-то другом месте. Потом на блюдечке разводят китайскую тушь, связывают в пучок три иголки и этими иголками накалывают под рисунок, который имеется на теле.

Конечно, это немножко болезненно. Но Виктор делал свое дело мастерски. Иголками надо орудовать умеючи. Нельзя колоть прямо, нужно это делать под известным углом, чтобы тушь вошла в кожу, но не было проколов до крови, иначе кровь вымоет из укола тушь. На левой руке у меня наколот радиознак. На нем имеется несколько пробелов. Видно, уколы были не точные, пошла кровь, и значок немножко пострадал.

Дальше я задумал накалывать все мои зимовки (я уже твердо решил, что до конца жизни буду полярником). Поэтому на правой руке сделано довольно неудачное очертание Новой Земли и дата: 1924—1925 годы. Это начало моей арктической деятельности. Еще на правой руке есть рисунок, который можно увидеть почти у каждого моряка: сердце, пронзенное стрелой. Это сердце почему-то больше похоже на редиску. Слава богу, что я не сделал очередной глупости и не наколот на этой редиске никакого имени. Мне тогда было двадцать лет! Ничего не поделаешь — дань молодости...

Но было бы неверно представлять себе весь коллектив нашей зимовки в виде таких личностей, о которых я рассказал выше. Слов нет — в ту пору в Арктику попадало много разных людей, каких сегодня и не встретишь. Однако все мы, лучше или хуже, решали задачи, ради которых и отправлялись на эту далекую и, в общем-то, не очень легкую жизнь.

Как мы жили? Утром, быстро позавтракав, расходились по рабочим местам. Но обед, а особенно ужин приносили приятные минуты в наши полярные будни. Магнитом для всех была кают-компания. Нельзя сказать, что она была оборудована очень шикарно, но все же там стояло расстроенное пианино, на котором лихо упражнялись Отто и мой коллега — радист Костя Сысолягин.

Была в кают-компании и приличная библиотека. Много интересных книг на английском языке. До сих пор помню романы Риддера Хаггарда «Копи царя Соломона», «Дочь Монтесумы» и другие. Благодаря этим книгам я немножечко освоил английский язык. Учился по своей системе. Каждый день задавал себе урок — три странички. Прочесть их надо было скрупулезно. Железное правило — слазить в словарь за каждым непонятым словом и запомнить его. Прочитав так три страницы, я разрешал себе читать дальше без словаря сколько хотелось. Романы были захватывающе интересными. Иногда я догадывался обо всем, но иногда попадалось слово, от которого многое зависело, и тогда, вне программы, я за этим единственным словом лез в словарь. Чтением английских книг для меня заканчивался очередной день.

В наши дни полярные станции снабжаются совсем не так, как в то время. Приходится удивляться, что мы вообще могли просуществовать на выделенном нам пайке. В те времена никто из обычных смертных не знал, что такое витамины. Вместо витаминов у нас было несколько бочек квашеной капусты, бочки с соленой треской, мешки с пшеном, гречневой крупой — и никаких деликатесов.

Насчет свежего мяса было плоховато. Когда пришли к концу запасы сена, мы съели единственную нашу корову. В таких условиях промысловая избушка, как легко догадаться, оказалась явно не лишней.

Об уровне снабжения можно судить и по табаку. Мы получили его в желтой упаковке из оберточной бумаги. На пачках было крупно написано: «Ханский», а ниже, помельче: «Легкий табак третьего сорта, филичевый».

Такой мерзости, как филичевый табак, сейчас не бывает в продаже. Это отходы, отбросы из нижних листьев табака, которые обрывают, чтобы он хорошо рос. У нас табак «ханский» был быстро переименован в «хамский». Вообще с этим хамским табаком нам не повезло. Во время выгрузки большой ящик упал в море и подмок. Когда мы курили, сигарки страшно стреляли во все стороны, да и по вкусу они походили на что угодно, только не на табак.

Новая Земля была сравнительно обжитым местом. Еще до революции на западном побережье южного острова находилась одна из первых нормально действующих метеорологических станций в становище Кармакулы. Однако информации, сообщаемой ее метеорологами, ледовым капитанам оказалось мало. В 1923 году, как уже говорилось, возникла новая станция — Маточкин Шар. 6 октября 1923 года в эфире впервые зазвучали ее сигналы.

Обычные метеорологические наблюдения проводились четыре раза в сутки и ничем примечательны не были. Весьма скромный размах носили и гидрологические исследования. Хороших плавучих средств (моторных шлюпок) станция не имела. Вот почему работали наши гидрологи только с берега. Каждый день они подходили к проруби, меряли температуру воды, брали пробы для определения ее солености и т. д.

Но даже в ту далекую пору аэрологические наблюдения, проводимые нашим аэрологом, выделялись своей оригинальностью. Сейчас для этой цели используются радиозонды — воздушные шары, передающие по радио наблюдения подвешенных к ним радиоприборов. Тогда еще радиозондов не было. Профессор Молчанов, с которым, как узнает читатель из следующих глав, мне довелось встречаться, еще не успел сделать это великолепное изобретение, открывшее эпоху в аэрологии. На нашем зимовье задача решалась иначе, и поскольку этот способ уже принадлежит истории, не рассказать о нем невозможно.

Основным средством аэрологических наблюдений на станции Маточкин Шар был воздушный змей. В истории науки и техники это нехитрое приспособление сыграло немалую роль. Большие коробчатые змеи были предшественниками планеров, на таких змеях конструкции капитана С. А. Ульянина поднимались наблюдатели русской армии. Коробчатый змей поднимал и аппаратуру нашего аэролога Димы Козловского. Запуск происходил на стальной проволоке. Чтобы осуществить его, нужно было бежать, вовремя выпустить змей, потом ручной вьюшкой быстренько размотать барабан, — одним словом, это была страшная волынка. В воздух поднимался метеограф, на закопченном барабанчике которого стрелка чертила изменения давления, по ним легко было определить и высоту. Одним словом, наш змей был несомненным предтечей будущих радиозондов.

Был у нас и магнитный павильон, стоявший довольно далеко от жилого дома. Он отвечал определенным требованиям — в нем не было ни одного гвоздя. Ни одной железной детали не имела даже печка, сверкавшая дверками и вьюшками красной меди. Магнитолог Белокоз слезно умолял нас, чтобы мы даже близко не подходили к этому месту. Работа магнитолога требовала полного отсутствия железа. Даже штаны он носил с костяными, а не с железными пуговицами. Иногда по забывчивости кто-нибудь с винтовкой приближался к павильону. Винтовка искажала наблюдения магнитолога, и он немедленно прогонял нарушителя.

Короткие экскурсии в обе стороны от полярной станции совершал и наш геолог. Открытия сами плыли ему в руки. По существу это была нехоженная земля, и все, что геолог ни находил, было впервые, и все это было интересно для дальнейших смен, которые, естественно, пополняли сведения об острове.

Не знаю, какие наблюдения вел биолог, но помню, что он интересовался песцами и лемингами — маленькими полярными животными, которые являются пищей для песцов. Полярники хорошо знают, что в зависимости от количества лемингов можно предсказать, каков будет успех охоты на песцов.

Была среди нас еще одна красочная фигура — Костя Зенков. Страшнее лица не придумаешь. Лоб, нос, щеки, подбородок — все сплошь побито оспой.

Черные курчавые волосы. Зубы, кривые после цинги. Костя был настоящим бродягой Севера, но при таком просто сатанинском виде оставался добрейшим человеком. Грамоте он не был обучен. Кажется, читать мог по складам и не более, но все знал, все умел. Любая работа кипела у него в руках, хотя по штатному расписанию станции он числился всего лишь разнорабочим, каюром — одним словом, сугубо подсобной единицей.

Мы все его очень любили, чтобы не сказать больше — обожали. Если чего-то не умеешь — иди к Косте. Он покажет, как надо сделать, или просто сделает сам. Естественно, что, когда на нашей зимовке началась «великая стройка», Костя возглавил это предприятие, потребовавшее его большого арктического опыта.

Поначалу все выглядело просто. Плотники сложили сруб. Мы промаркировали бревна, разобрали сруб и связали его в плот, чтобы отбуксировать на восток, к выходу из пролива Маточкин Шар. Естественно, что Костя Зенков стал командором нашего великого перехода, в котором я принял участие. Радиостом на зимовке остался мой коллега Костя Сысолятин.

Зенков стоял на борту плотика с длинным шестом, чтобы отталкиваться и от дна и главным образом от берега, а мы, по примеру наших славных предшественников — волжских бурлаков, впрягались в ляжки и тащили плот вдоль берега. Нас было трое — биолог Вакуленко (впоследствии снискавший себе дурную славу участием в преступлениях Семенчука и Старцева, о которых я расскажу позднее), геолог Егер и я.

Работа оказалась на редкость тяжелой. Нельзя сказать, что я к этому не был готов. Парень я был здоровый, да и наше прибытие на Новую Землю ознаменовалось таким авралом по разгрузке, что сомневаться не приходилось: Арктика не терпит белоручек. И все же волок нашей избушки стал для всей четверки делом не шуточным.

Мы шагали по мелкой гальке, покрывавшей берег. Под ногами плескалась морская вода, такая идеально чистая, что, глядя на нее, невольно задумываешься о мирской суете: человечество торопится спустить в реки всю грязь, а океан, проглотив с речной водой эти продукты цивилизации, даже виду не показывает, что они в него попали. Но и чистая вода, и мелкая шуршащая галька не замедлили напомнить о своем существовании. Наши здоровенные сапоги, которые мы мазали наизяществом, не выдержав объединенной атаки воды и гальки, начали протекать. Человек выглядел малюткой рядом со стихией, несмотря даже на то, что она не сердилась и не бушевала — морская вода, галька и камни просто делали свое дело. Сапоги постепенно разваливались.

Как на всяком морском берегу, попадались мысы, выходившие в пролив. Обходить их можно было только при отливе, когда обнажалась узенькая полоска берега. Мысов было много, а вариантов обхода лишь два — либо лезь в холодную воду, либо закуривай и жди отлива.

Иногда стояла тихая погода. Иногда же была волна. У отвесных утесов даже мелкая волна давала сильный всплеск. К вечеру совершенно мокрые от таких неприятных душей и белесые от соли, выкристаллизовавшейся на нашей одежде, мы останавливались у галечной косы, разбивали палатку и заваливались спать.

Спать, прямо скажем, было неважное. Палатка, правда, вместительная, а по арктическим условиям просто просторная, но растрепанная и очень грязная. Посередине ставилась жестяная печка с трубой. Печка раскалялась молниеносно. Бока ее краснели, наливаясь жаром. Мы лежали рядом. С одной стороны было царство холода, с другой — невыносимого жара. Но усталость брала свое, побеждая известную некомфортабельность нашего походного жилья, и мы засыпали довольно быстро.

Палатку наполняли самые невообразимые запахи. Сушились ватники, портянки, сапоги, остро пахли лавровым листом разогретые на печурке консервы. Если ко всему этому прибавить густой махорочный дым, то букет получался отменный и, я бы сказал, незабываемо выразительный.

Другому все это, быть может, пришлось бы не по вкусу, но я засыпал усталый и счастливый. Поехав на Север за экзотикой, я получал ее полным рублем.

Так, постепенно, мы добрались до мыса Выходного. На этом мысе, который, как свидетельствует его название, стоит на восточном выходе из Маточкиного Шара, сооружен большой створный знак. Правила судоходства, подобно правилам уличного движения, предусматривают такие знаки даже в далеком полярном захолустье. По отмеченному этим знаком створу корабли заходят в Маточкин Шар со стороны Карского моря.

Наше прибытие к этому месту было рассчитано заранее. Со станции подогнали шлюпку, потому что дальше предстояло пересечь большой по нашим меркам Канкринский залив. И хотя бурлацкая доля уже оставалась позади, мы не радовались. Тащить плот через залив в идеале предполагалось на парусе, но практически это означало на веслах. Так что если и произошло превращение, то только из бурлаков в каторжников, которых во многих странах, как известно из литературы, отправляли на галеры.

Залив уходил на север, закруглялся, и на противоположной стороне нас ждала неширокая коса. Подле нее цель нашего путешествия — мыс Канкрин.

На мысе Выходном весь наш скарб — палатку и все, что путешествовало на плоту, перегрузили в шлюпку. Сели на весла и с плотом на буксире взяли курс на мыс Канкрин.

Да простят меня моряки за чрезмерно сухопутную терминологию. Конечно, по всем правилам морских приличий расстояние до мыса надо было бы определить в милях, по-морскому, но в данном случае километры представляются мне более удобной, а главное, более понятной мерой длины. Предстояло пройти двенадцать—пятнадцать километров. Большая шлюпка и на буксире тяжелые бревна. Одним словом, не прогулка с любимой девушкой, как в песне «Мы на лодочке катались...».

На веслах мы провели пятнадцать часов. Но самое страшное произошло посередине залива. Был чудный тихий вечер. Солнце уже зашло. На севере громоздились высокие горы. При чистом небе солнце освещало их каким-то таинственным фиолетовым светом. Коричневые и черные горы, фиолетовый свет — и вдруг над горами в безоблачном небе появилась цепочка маленьких облаков. Облака бежали гуськом друг за другом на большой высоте. Были они хорошо обкатаны тамошним ветром и походили друг на друга, словно одно яйцо на другое.

Признаться, из всей нашей четверки появление этих облаков оценил по достоинству лишь Костя Зенков. Он поднял голову и сразу же высказал свое полное неудовольствие:

— Ой, ребята, это к сильному ветру!

Не буду кривить душой, прогноз Кости нам не понравился. Мы уже измотались. Если начнется сильный ветер, нас вынесет в открытое море. То, что на Новой Земле господствуют неблагоприятные для нас северо-восточные ветры, мы знали не хуже Кости.

Что делать? Плот бросить жалко. Пропадет тяжелый многодневный труд. А продвигаемся мы медленно. Сил грести почти нет. Тащить громоздкий плот не шуточное дело. Однако перспектива быть вынесенными в море нам настолько не улыбалась, что мы все же налегли на весла. Налегли и успели. Проскочили до того, как задул этот совсем не нужный нам ветер.

В тот момент все происшедшее показалось нам чудом, но чуда не было. Было другое — проявление могущества обыкновенного человека, которое я бы назвал чувством мобилизации, когда он, такой маленький и слабый, собирает все свои силы воедино, чтобы совершить то, чему сам потом будет долго удивляться.

Добравшись до противоположного берега, мы почувствовали себя счастливыми. В самом деле, хорошо бы мы выглядели, если бы нас вынесло в море. Радиосвязи не было. Второй шлюпки на станции не было. Одним словом, полная гарантия того, что мы просто пропали бы без вести, пополнив список жизней, отобранных у человечества Арктикой.

Итак, через пятнадцать часов пути мы прибыли на место назначения. И уж тут-то у нас сил действительно не оставалось. Не оставалось настолько, что, прыгнув со шлюпки, Вакуленко не смог удержаться на ногах и упал в воду. Не лучше выглядели и остальные. И все же пришлось поднатужиться. Вытащили на берег шлюпку, чтобы ее не унесло разгулявшееся море. Разбили палатку и заснули мертвым сном — сном людей, честно заработавших эти счастливейшие часы своей жизни.

На следующее утро началось строительство. Мы вытащили мокрые бревна. Довольно быстро сложили их по номерам в сруб. Нескольких бревен нам не хватило, но не потому, что мы их потеряли или неправильно промаркировали. Перед самым отбытием со станции создатели избушки решили внести в ее конструкцию новую архитектурно-строительную струю. Там улучшение казалось удачным, но, складывая сруб на месте, пришлось срочно «штопать» образовавшиеся дырки. Слава богу, кругом было много плавника, и результаты конструктивного новаторства удалось исправить довольно быстро.

О плавнике можно рассказывать много разных историй. Ученые занимаются плавником, изучают, где и как он движется. Когда глядишь на такое бревно, невольно проникаешься к нему уважением. Обычно оно прибыло в океан с Енисея или с Оби. Бревно похоже на сигару. Оно столько лет, а может быть, и десятилетий колобродило по Арктике, что концы его обились и закруглились. Но дело не только в изменении формы. Плавающая сигара становится твердой, как слонобая кость. Когда извлеченное из воды бревно просушишь и с трудом распилишь и расколешь, оно горит в печке ярко-желтым пламенем, потому что насквозь пропитано морской солью.

Избушка вышла отличной. Посередине стол. По бокам широкие скамьи, они же полати. В уголке камелек. Потолок засыпали морской галькой, крышу покрыли толем и, как говорят плотники, зашили досками. Все сделали добросовестнейшим образом, чтобы бушующие там ветры не сорвали кровлю.

Закончили работу. Затопили камелек, и сырой дом сразу же наполнился паром. Выглядела в этот момент наня избушка как хорошая баня, но мы блаженствовали.

Постройка была трудом, и не легким, но история зимовки недолго хранила на своих скрижалях наши имена. Недавно я приобрел книгу «Матшар» полярника А. Кузнецова, зимовавшего на той же станции через пять лет после нас. Кузнецов пишет, что посетили избушку, неизвестно когда и кем поставленную. Эта почетная безвестность доставила мне удовольствие и заставила возгордиться. Ведь среди строителей избушки был и я.

На первый взгляд наше строительство было забавой. Трудной игрой взрослых людей. Промысловых задач перед нами никто не ставил, для научных наблюдений в избушке не было ничего оборудовано. И все же постройка ее была делом весьма серьезным. Во-первых, мы облегчили себе добычу свежего мяса — дело в условиях Арктики никогда не лишнее. Во-вторых, тридцатикилометровые походы до избушки давали очень нужную всем нам физическую разминку. Одним словом, мы создали себе нечто вроде однодневного дома отдыха, куда можно было отправиться в любой свободный день, на любое число дней, не приобретая никаких путевок. Ну, а где вы найдете место отдыха, откуда можно привезти домой такие редкие сувениры, как шкуры песцов и белых медведей?

Теперь еще одна история, связанная с нашей избушкой. Однажды в полярную ночь мы втроем отправились на мыс Канкрин поохотиться. Довольно удачно все у нас получилось. Убили нескольких медведей, а потом из-за чего-то повздорили. Произошло это из-за какого-то пустяка, который при всем желании не могу сейчас вспомнить. Но помню, как, обидевшись на своих приятелей, я заявил, что уйду на станцию один. Сказал и сделал, не откладывая в долгий ящик. А дорога предстояла не близкая — примерно около тридцати километров, и стояла глухая полярная ночь.

Идти предстояло пешком. Как известно, снег в Арктике для лыж не очень-то годится. Ветер перегоняет его с места на место, перемальвывает в песок и утрамбовывается настолько плотно, что нога на таком снегу не оставляет следа, а лыжи не желают скользить, даже если они смазаны по всей лыжной премудрости. Неудобен мой путь был еще и потому, что очень часто попадались вмерзшие льдины и знаменитые арктические заструги. В наших средних широтах это понятие неизвестно. В Арктике же заструги весьма заурадная, хотя и не очень-то удобная часть пейзажа. Они возникают, если ветер долго дует в одном направлении, превращая поверхность снега в застывшие волны, к тому же волны с козырьками. Вот и изволь прыгать по таким волнам высотой примерно в полметра. И пешком-то трудно, а на лыжах вообще невозможно.

Такова была дорога, по которой я направился домой, сделав это явно сгоряча. Стояла изумительная ночь. Тихо. Никакого ветра. Ни единого облачка. Полная луна. Звезды выстроились в этой синеве, как на параде. Темно-синий небосклон, голубой снег, и я, единственная живая душа в ледяном царстве.

Шел я, шел и устал. Мне стало жарко, захотелось присесть и покурить. Напороться на медведей я не рассчитывал, но винтовка у меня была. Я поставил ее рядом и принялся закуривать.

Как будто бы хорошо знакомая читателям заурадная процедура, но не торопитесь с выводами. В условиях Арктики она выглядела иначе, чем на московской улице. Дело в том, что шел я в малице. Малица — одежда сугубо арктическая. Так называют длинную, чуть ли не до пола, меховую рубашку, к которой пришиты капюшон и рукавицы. Эту длинную рубашку приходится надевать через голову. Затем ее надо подтянуть, подпоясать кушаком, после чего за пазуху можно положить курево и патроны и прочую мелочь.

Итак, мне захотелось закурить. Я присел на какую-то льдину. Одну за другой втянул руки из рукавов малицы на грудь. Когда руки втянулись и встретились на груди, надо было на ощупь найти кисет с махоркой, бумагу, также на ощупь оторвать бумагу, развязать и завязать потом кисет, насыпать махорку, свернуть сигарку и, зажав ее, незаклеенную, в ладонь, аккуратно, чтобы не повредить и не рассыпать махорку, вынести эту сигарку наружу.

Чтобы вынести сигарку и спички, руки опять уходят в рукава. Дело в том, что рукавицы к малице тоже пришиты, но между рукавом и рукавицей есть щель. Когда надо стрелять или курить, то высовываешь через эту щель руки на мороз.

Окончив эту работу, а все, что я рассказал, продолжается долго и вполне может быть названо работой, я закурил. И вдруг мне стало страшно.

Страшно стало потому, что вокруг была тишина. Ее мало назвать мертвой. Это была абсолютная тишина. Ни скрипа, ни треска, ни ветра. Видимость на десятки километров. Освещенные полной луной, отлично вырисовывались горы. Звезды подмигивали, но никакого шума от этого, естественно, не получалось.

Немного отдохнув, остаток пути до станции я проделал не присаживаясь. Одна мысль о тишине вселяла в меня ужас. Когда я шел, она исчезала. Я прогнал ее скрипом моих шагов по снегу, шумом.

Измокший, уставший, напуганный, я пришел на станцию и, входя в дом, подумал: «Ну и дурак! Это же надо было поругаться и из мальчишеского самолюбия вести себя так глупо. В следующий раз такого уже не будет».

Я лежал на кровати в своей комнатухе и напряженно думал: почему же это совершенно новое для меня состояние — страх перед тишиной — показалось чем-то знакомым? Потом вспомнил. Несколько строк, приведенных ниже, наверное, известны и вам, читатель:

«У природы много способов убедить человека в его смертности: непрерывное чередование приливов и отливов, ярость бури, ужасы землетрясения, громовые раскаты небесной артиллерии. Но всего сильнее, всего сокрушительнее — Белое Безмолвие в его бесстрастности. Ничто не шелохнется, небо ярко, как отполированная медь, малейший шепот кажется святотатством, и человек пугается звука

собственного голоса. Единственная частица живого, передвигающаяся по призрачной пустыне мертвого мира, он страшится своей дерзости, остро сознавая, что он всего лишь червь. Сами собой возникают странные мысли, тайна вселенной ищет своего выражения. И на человека находит страх...»

Это написал Джек Лондон в рассказе «Белое Безмолвие». Впоследствии, перечитывая этот рассказ, я понял, что тогда я встретился с ней, с Великой северной тишиной. Я понял, насколько серьезны такие встречи, и никогда больше не выходил на них один.

В дальнейшем мы не раз путешествовали к этой избушке и никогда не жалели потом, что столько труда пришлось потратить, чтобы ее поставить. Походы эти щедро одарили нас интересными встречами с природой, неожиданными наблюдениями.

По мере того как надвигалась весна, мы все внимательнее присматривались к продухам. Это отверстия, которые тюлени и морские зайцы (морской заяц — это тоже тюлень, только более крупных размеров) поддерживают, чтобы изредка (я уж не знаю, на сколько времени у тюленя хватает воздуха) выныривать — глотнуть кислорода. К весне продухи совсем протаивают, и тюлени вылезают из этих лунок, ложатся на лед и греются на солнышке.

В бинокль с мыса Выходного, на расстоянии примерно около километра, а может быть поменьше, я увидел однажды, как к лежащему тюленю (а они очень чуткие) по-пластунски подкрадывается белый медведь. Самое интересное, что тюлень изредка поднимает голову, оглядывается — все ли в порядке, все ли спокойно, можно ли продолжать отдых, но медведя не замечает. А тот подкрадывался предельно осторожно, распластавшись на снегу, как меховой платок. Он полз на брюхе и одной лапой прикрывал свой черный нос, чтобы не выделялся на фоне белого снега.

Наконец медведь оказался совсем рядом, а его жертва так ничего и не замечала. Медведь прыгнул. Но... видимо, это был молодой зверь. Он не рассчитал прыжок и примерно на полметра перемахнул через тюленя. Оглянулся — тюленя не было. И что, вы бы думали, сделал медведь? Он пошел обратно и два раза прыгал на лунку, пока не отработал достаточной точности прыжка. Молодой охотник за тюленями явно тренировался и занимался самовоспитанием, не щадя собственного самолюбия.

Сознаюсь, я смотрел на эту картину разинув рот. Все было как в цирке, где властвует железный закон: не сделал номер — не уходи с арены, пока он у тебя не получится. Ареной был лед Карского моря, а дрессировщиком — природа. Зверь твердо знал, что, если он не отработает номер, останется голодным.

* * *

Арктика была щедра на впечатления, хотя работа и не позволяла часто отвлекаться. В результате год не прошел, а пролетел. И снова в проливе появился «Юшар». Снова большой аврал. Те, кто приехал, — на берегу, мы, уезжающие, взволнованные и немного счастливые, смотрим на них с борта корабля. Последние прощания. Винтовочный салют. Новая Земля осталась уже за кормой.

После тишины, окружавшей нас на зимовке, Москва показалась оглушительно громким и бурным городом, хотя почти все оставалось без изменений. На Лубянке, под Китайгородской стеной, на столах и прямо на земле по-прежнему раскладывали свой товар букинисты. Книжный развал, с его безвозвратно ушедшими типами, был живописным зрелищем. Наряду с любителями и знатоками книжной старины здесь действовали и «коммерсанты». Поглядывая в мою сторону, они выкрикивали во весь голос фамилии классиков, а затем, воровато оглянувшись, добавляли:

— Молодой человек, есть неприличные открытки!

Темп жизни изменился. Скрежетали грузовики, автобусы и трамваи, готовые разрезать неосторожного пешехода, как барашка в шашлычной. Извозчики стали ездить строго по правилам, а на главных перекрестках Москвы, подле стол-

бов с вертящимися стрелками первых московских светофоров, наделенные всей полнотой державной власти, встали первые регулировщики. Вращая огромные стрелки, они пускали в ход и останавливали экипажи с двигателем в одну лошадиную силу. На улицах рождался порядок.

Но перемена заключалась не только в появлении регулировщиков. За год моего пребывания в Арктике Москва обогатилась первыми такси. Была куплена партия автомобилей «рено». Черные, похожие на револьверы «браунинг», ручкой вверх, они еще тонули среди множества извозчиков. Глядя на этих тархтящих автожуков, москвичи и думать не могли, что разглядывают снаряд невероятной силы. Пройдет время, и он снесет Китайгородскую стену, расширит Тверскую, сделав ее улицей Горького, — одним словом, будет многим способствовать превращению «большой деревни», старой Москвы, в Москву наших дней.

Уже тогда началась реконструкция. Делалось это пока еще довольно робко. Все стройки, и большие и малые, были известны наперечет. Самые грандиозные из них, по современным меркам, выглядели более чем скромными.

На Тверской воздвигалось здание Центрального телеграфа. Окруженное забором, оно стояло в лесах. Ни одного подъемного крана — все делалось вручную, даже подъем кирпичей. Их таскал рабочий, называвшийся тогда козоносом. Небольшое приспособление — коза — позволяло такому носильщику уложить и тащить на спине несколько пудов кирпичей.

С удовольствием ходил я по московским улицам. На Страстной площади еще возвышался монастырь. В центре площади — окруженное трамвайными путями, одноэтажное здание трамвайной станции. Бронзовый Пушкин еще стоял в начале Тверского бульвара.

Я люблю Москву. После длительного отсутствия она показалась мне особенно прекрасной. Но любоваться долго не пришлось: меня призвали в армию.

БРАВЫЙ СОЛДАТ КРЕНКЕЛЬ

Солдатский сундучок. «Последний нынешний денечек...» Пижма красноармейца Царева. Бравый старшина Сагалович. Наряд в столовую. Старушка и ее булочки. «Солдат-мотор» в действии. Командир роты Шишкин. Как мы радиофицировали деревню. Военные парады с интервалом в полвека. Встреча со старым другом Рудольфом Абелем. На бирже труда. Коротковолновик — что это такое?

Каждый мальчишка мечтает стать военным. Моя мать понимала, что я не исключение из этого правила, и доставила однажды мне большое удовольствие. В нашем доме жил отличный столяр, и вот мама, разумеется, не сказав мне ни слова, заказала этому столяру настоящий солдатский сундучок. Она подарила мне его ко дню рождения, заметив при этом:

— Рано или поздно, но ты станешь солдатом!

Сундучок и впрямь был великолепный. Столяр сколотил его по-добро-соседски, на совесть. Сундучок был очень тяжелым. Что-либо более неудобное просто трудно себе представить. Разумеется, когда меня призвали в армию, я взял с собой мамин подарок. Не описать свой сундучок не могу, хотя к тому времени, когда меня призвали в армию, он давно перестал быть символом солдатской службы.

Портрет моего сундучка хочу начать с маленького отделения наверху. Там полагалось хранить чай, сахар, почтовые конверты, марки, карандаши. На крышке, с внутренней стороны, солдаты в старые времена приклеивали царские портреты и рисунки знойных красавиц, в большинстве своем позаимствованные с оберток туалетного мыла. Помню одну из таких оберток — на гребне изумрудной волны в чем мать родила лежит одна из таких белокурых сирен. Время наложило на этих обольстительниц отпечаток скромности. Они стали появляться в купальных костюмах, а потом и вовсе исчезли, так же как и цари. Одним словом, в моем сундучке ни царей, ни этих наяд не было.

Получив повестку военкомата, я вместе с товарищем, которого тоже призывали в армию, отправился куда-то за Язузу. Хорошо помню двор, огороженный какой-то красивой решеткой, — по всей вероятности, это была школа. Вместе с другими новобранцами мы вошли внутрь, а провожающие остались снаружи. Слава богу, что ни меня, ни моего приятеля никто не провожал. Все, кто пришел проститься с новобранцами, стояли за решеткой, словно в зоологическом саду, и не скупилась на напутствия.

Наверное, сказывалось, что большинство мамаш и бабушек выросло еще в царские времена, потому что наставляли они своих ребят так, словно те отправлялись не на солдатскую учебу, а в самое пекло страшной войны. Многие плакали, а от женских слез кое-кому из новобранцев тоже становилось себя жалко. Не лучше вели себя и женщины помоложе: они совали своим ненаглядным куски колбасы и булки, словно эти ребята долго постились; прежде чем нас собрали на этом дворе. Одним словом, как это часто бывает в ситуациях подобного рода, вокруг происходило много нелепого.

Нас построили. Одеты мы были разношерстно, кто в чем. За спиной составили чемоданы, в ряд которых попал и мой сундучок. Затем нам подали классическую команду:

— Ша-агом марш!

Захватив свои пожитки, мы потопали пешком к вокзалу. Маршировать далеко не пришлось. Нас привели на Курский вокзал и приказали грузиться в товарные вагоны — «сорок человек или восемь лошадей». Двери, как положено, загордили толстыми досками. И мы поехали.

Конечно, сейчас же стали петь песни того репертуара, который долгое время почти не менялся у новобранцев: «Последний нынешний денечек...», «Как родная меня мать провожала...»

Ехали мы недолго. Поезд остановился. С одной стороны сверкала река. С другой — поднималась крутая гора, на верху которой стоял старинный кремль. То, что он показался нам старинным, не удивительно: нас привезли в один из древнейших городов, более древний, чем Москва, — Владимир-на-Клязьме.

Снова на плечо сундучки и чемоданы. Мы маршируем по подъему и когда взбираемся наверх, красота открывается неопишуемая. Даже после Москвы, где стояло некогда сорок сороков церквей, владимирские храмы производили сильное впечатление. Увы, мы не показали себя знатоками культуры, равно как и ценителями искусства, и с беспардонной наглостью невежд перекрестили город во Владимир-на-Клязьме.

Нас загнали куда-то на окраину. Как во многих провинциальных городах того времени, эта окраина называлась «Америка». В «Америке» и размещались старинные казармы, куда нас привели. Чтобы представить себе облик этих казарм, вообразите большой гостиничный коридор, у которого внезапно исчезли стены, а межкомнатные простенки остались. В этих открытых полукомнатах с короткими табличками, обозначающими номера взводов, нам предстояло прожить свой военный год. Асфальтированный пол. Неистребимый запах сапог, мокрых шинелей и портянок. Все очень чисто. Все очень неудобно, как и полагается в казарме.

Наша рота в отдельном радиотелеграфном батальоне была особенной. Ее составляли одноклассники — молодые люди, окончившие вузы или техникумы. Народ подобрался разный. Были среди нас и электрики, и архитекторы, и механики, и химики, и даже профсоюзный работник по фамилии Иванов, страшно гордившийся своей исключительностью. Был Иванов парнем с гонором, не упускал возможности напомнить, что он не просто профсоюзный работник, а работник губернского масштаба. Однако этот высокий ранг не вызвал у нас большого почтения к его обладателю, а пара холодных ушатов воды, выплеснутых на него в бане, явно охладила и умерила его ощущение исключительности.

Да, разношерстное общество собралось в старой казарме. Многие из нас отстали из-за учебы от очередного призыва и теперь пришли выполнять свой

гражданский долг. Естественно, что по своему составу наша рота представляла собой то, что называется обычно «трудный контингент». Разница в возрасте. Высшее образование. Все с норовом, с претензиями. Вот почему нам назначили командира роты, которого я охарактеризовал бы как сильную личность.

Наверное, это уже характер человеческий — вспоминать смешное и забывать неприятное. Вспоминаю сейчас своего командира роты Шишкина с улыбкой, а если отбросить иронию, то перед глазами — совсем другой человек. Он был на своем месте и делал положенное ему дело. Образование у Шишкина было небольшое, но зато был опыт. Он прошел гражданскую войну, хотя и не вышел в крупные военачальники, но был служакой. Шишкин научил нас уважать дисциплину, прекрасно понимая, как нужна вся та мелочь, которая была нам тогда скучна и противна. Он прекрасно понимал поставленную перед ним задачу.

Тогда нам все это было весьма неприятно, но теперь, почти полвека спустя, можно сказать, что воспитывал нас Шишкин с пользой для дела.

— К парикмахеру и в баню!

Сразу же зазвучали вопли и стенания. Пышные кудри, модные прически — все полетело на пол. Парикмахер был настоящий, армейский и действовал с военной быстротой и решительностью. На головах оставались и борозды, и непропаханные места. Но это уже никого не волновало. Затем нас повели в баню.

После бани мы приблизились еще на один шаг к армии. Нам выдали настоящее солдатское белье — миткалевые рубашки, грубые подштанники, хлопчатобумажные штаны и гимнастерки, кирзовые сапоги.

Первая ночь в казарме. Ой, как вспоминался дом! Конечно, мы быстро привыкли, но в первую ночь нам всем стало очень скучно.

Впрочем, нашелся человек, который сумел нас изрядно повеселить. Укладываясь спать, красноармеец Михаил Царев, будущий народный артист СССР, извлек из своей тумбочки элегантною полосатую пижаму. Казарма радостно заржала, и на неположенный шум прибежал старшина. Он мгновенно оценил обстановку и, по возможности вежливо, объяснил, что солдату пижама не положена. Царев грустно посмотрел на пижаму и с нескрываемым сожалением убрал ее в тумбочку.

Тумбочка была обязательным предметом мебелировки казармы. Кровати стояли рядами, а между ними — стандартные грубые тумбочки. Одна на двоих.

Началась армейская служба. Нашим непосредственным начальником был старшина по фамилии Сагалович. Очень бравый был этот старшина. Гимнастерка, точно такая же, как на любом из нас, сидела на нем совсем иначе — без единой складочки, без единой морщинки. Сапоги всегда начищены до зеркального блеска — отличный образец для нас, молодых солдат, по существу еще новобранцев.

Был старшина Сагалович справедлив, но строг. Когда через несколько месяцев нас стали пускать по воскресеньям в город, получить у Сагаловича увольнительную сразу не удавалось никому. Осмотрев красноармейца с головы до ног и не найдя каких-либо видимых глазу дефектов, Сагалович говорил:

— А ну-ка принеси винтовку!

Винтовки, знаменитые трехлинейки образца 1891 года, стояли при входе в казарму, у дежурного, в деревянной стойке. Принести ее было минутным делом, но можно было и не торопиться.

Взяв винтовку в руки, Сагалович откидывал прицельную рамку, вынимал из кармана перочинный ножичек, неторопливо заострял кончик спички и начал водить по насеченным на прицельной рамке цифрам. А так как винтовку полагалось протирать маслом, то естественно, что после подобных упражнений кончик спички чернел. Старшина подносил ее к глазам хозяина винтовки:

— Это что? — и, не дождавшись ответа, говорил сам: — Это грязь.

Как известно, спорить с начальством бесполезно. Оставалось лишь уныло мотнуть головой и подтвердить:

— Так точно, грязь!

После этого мы исчезали минут на десять и, покурив, но даже не прикоснувшись к винтовке, снова появлялись перед очами нашего всевластного старшины. Сагалович брал винтовку в руки, бегло осматривал и говорил:

— Вот теперь порядок! Можете идти!

При выходе в город строжайше запрещалось заходить в питейные заведения. Но запретный плод сладок, и потому хотя и с оглядкой, но мы туда тянулись. Вернее, не в заведения, а в заведение, так как оно было единственным на весь город.

Около рыночной площади, как во всяком старом русском городе, стоял гостинный двор — сооружение, растянувшееся на целый квартал. Там, где некогда размещались лавки купцов, темнели галереи и склады. Рядом с рынком и гостинным двором — единственная гостиница, вывеска которой являла собой классическое смешение французского с нижегородским.

Гостиница называлась «Нотель». Первая буква «Н» — из латинского алфавита. Все остальные — русские, и для вящей убедительности на конце мягкий знак. Видимо, маляр, писавший эту вывеску, что-то слышал о латинском шрифте, хотя и не знал его.

При этом «Нотеле» имелся и ресторан. В 1925 году, когда я служил во Владимире, там еще сохранился, правда в зело слинявшем и обшарпанном виде, бывший ресторанный шик — шик заведения самого низкого пошиба. Лоснящиеся от грязи и захватанные бархатные портьеры. Просиженные пружины, подобно ежовым иглам торчавшие во все стороны из таких же потертых, некогда бархатных диванов. И, конечно, неизменные, многократно описанные сатириками и фельетонистами шишкинские медведи, превращенные смелой кистью копииста то ли в крыс, то ли в кроликов.

В наши дни солдата, попавшего на службу в город, ставший в какой-то мере национальной гордостью (а Владимир был именно таким городом), конечно, поспешили бы познакомить с его историей, с памятниками архитектуры. Тогда же ни то ни другое не было в моде. Лозунг «Религия опиум для народа» широко провозглашался в самых разных органах печати, а проводить грань между вредностью религии и красотой архитектуры или церковной живописи тогда еще не все умели.

Но пожаловаться, что нас не воспитывали, не могу. В казарме был красный уголок, политрук проводил с нами беседы, на стенах висели плакаты: «Красноармеец — полноправный гражданин СССР», «Винтовка защитит, книга вразумит — владей и тем и другим».

Иногда воспитание приобретало несколько иной характер. Наша рота возвращалась с учений по главной улице, которая и по сей день носит название улицы Третьего Интернационала. Приблизившись к центру города, колонна втянулась под Золотые ворота. Шли мы в казарму усталые, еле волоча ноги, но нельзя же показать жителям городка усталость и расхлябанность такой грозной боевой единицы, как наша рота! Раздается команда:

— Ногу! Ногу!

Сначала мы четко отбиваем шаг, а потом опять бредем не очень стройно. И тогда, для оживления боевого духа, наш взводный петушиным голосом командует:

— За-апевай!

Какое уж тут петь. Казалось бы, одно — донести измученное ратными подвигами тело до казармы. Но приказ есть приказ, а я — запевала:

Мы красная кавалерия.
И про нас
Былинники речистые
Ведут рассказ
О том, как в ночи ясные,
О том, как в дни ненастные
Мы гордо, мы смело в бой идем..

Мой гнусавый голос беспомощно растворяется в воздухе. Песня явно не получается, но наш командир неумолимо тверд:

— За-а-апевай!

Никто не подхватывает. И команда меняется:

— Газы!

Мы раскрываем противогазы, как положено по уставу, продуваем клапаны и натягиваем маски. Кто похитрее, спешит заложить за ухо спичечную коробку, чтобы легче дышалось.

Наш марсианский вид явно радует мальчишек. Нам почему-то он удовольствия не доставляет, и минут через пять мы радуемся, услышав новую команду:

— Снять противогазы!

Воспитательная сила взводного побеждает наше упорство. Вопреки усталости, выдержав тяжесть нескольких «газовых атак», наши вокальные способности прорезаются. И как полное самоутверждение звучат на весь город слова песни: «Мы гордо, мы смело в бой идем...»

Рота насчитывала около двухсот человек, но благодаря высокому росту я часто бывал правофланговым. Так бывало и когда нас посылали в наряд, и когда откомандировывали на разные работы, и когда, разбившись на пятерки, мы маршировали в столовую на обед.

Если я попадал в столовую как первый номер наряда, то в мои обязанности входило получить большую миску с супом на десять человек (две пятерки). Одновременно второй номер получал алюминиевые ложки и плошки, брал хлеб. Я разливал суп быстрее всех. Но разлить суп по плошкам — лишь часть задачи. Нужно было еще сделать и так, чтобы каждый получил свою порцию мяса.

Кусочки вареного мяса насаживались на деревянную щепку. Эта щепка напоминала шампур для шашлыка. Взяв ее в руки, я очень быстро раскладывал, вернее расшвыривал, мясо по алюминиевым плошкам. Моя стремительная деятельность очень нравилась командиру батальона. Он частенько приходил, смотрел и с откровенным удовольствием говорил мне:

— Ну, Кренкель, суп ты разливаешь, как артист!

Как и положено солдатам, на аппетит мы не жаловались. Кусок черного хлеба каждый мог слопать в любое время дня и ночи. Не удивительно, что торговка французскими булочками, приходившая со своей корзиной к воротам казармы, пользовалась у нашего брата неизменным успехом.

И булки были хорошие, и торговка, которая приносила их к казарме, тоже была очень хороша. Она отпускала нам булки в кредит. Она нам доверяла:

— Голубчик, подожду, подожду!

Старушка была безграмотная, но всех помнила, а главное, никогда не ошибалась в том, кто и сколько ей должен. Нам это уже не надо было помнить. Придешь к ней:

— Бабушка, сколько я тебе должен?

— Вот, голубчик, два рубля десять копеек. Тридцать булочек взял...

На нее можно было положиться. Это была честная, добрая старушка, и булки ее вспоминаются и сейчас.

Сильно досаждали мне занятия по физкультуре. Сам не знаю почему, я не умел как следует бегать. Разные пробеги (а в годы военной службы их было, разумеется, предостаточно) стали для меня форменной катастрофой. Рота всегда приходила раньше меня. Все знали — последним, едва переводя дыхание, прибежит Кренкель. Не нужно объяснять, что я быстро превратился в мишень для острот, в оселок, на котором с неослабевающим упорством мои товарищи оттачивали свое остроумие.

Иногда ночью нас поднимали по тревоге. Через три минуты после сигнала полагалось стоять во дворе, в строю. Это удавалось не всегда и не всем. Самым хитрым из препятствий, возникавших при исполнении этого будоражащего приказа, становилась портянна. Нужно было намотать ее правильно и быстро.

Частенько, когда рота выстраивалась во дворе, внимание ее превосходительству портянке уделял командир роты, а иногда даже и сам командир батальона. Эта процедура нам не нравилась. Да и что могло нравиться, когда выдернут из строя человека и предлагают ему разуть сапог и показать, как намотана портянка. Не приведи господь, если тот, на кого пал тяжкий жребий, намотал портянку неправильно! Тотчас же и во всеуслышание, чтобы не только дошло до каждого, но и укоренилось у него в мозгу, начиналась радея: «Вот если сейчас без остановки пришлось бы пройти пятьдесят километров, что бы получилось с вашими ногами? Вы бы как боец вышли из строя!» Командирское красноречие лилось полноводной рекой. Мы выслушивали разнос с серьезными лицами. Улыбаться не полагалось.

Нам казалось, что портяночным разносам не будет конца. Однако довольно скоро они прекратились. И не потому, что командиры подобрали или портянка потеряла в их глазах значение. Все было гораздо проще — мы научились наматывать портянки быстро и хорошо.

За портяночной учебой, эдаким приготовительным классом для новобранцев, начались занятия более серьезные. Мы изучили винтовку, научились стрелять и стали осваивать радиотехнику. И вот тут-то остроумие моих приятелей по поводу того, что я плохо бегаю, быстро иссякло. Я был одним из немногих, кого армия признала готовыми радистами. За год четырежды побывал на разных маневрах, работая на радиостанции.

Хорошо помню, как, оглашая воздух холостыми выстрелами, мы штурмовали город Алексин. Построив наплавной мост, мы форсировали Оку, и, оказавшись на противоположном берегу, я отлучал по этому поводу в штаб тщательно зашифрованную победную радиореляцию.

Маленькая радиостанция, которую мы развернули, форсировав реку, была переделана из старой искровой. Это было, как говорится, издание переработанное и улучшенное. Но тогда она имела все основания считаться новой техникой. Радиостанция АЛМ была впервые оборудована ламповым передатчиком, поступившим на вооружение Красной Армии.

Не помню, как назывался источник питания нашей радиостанции официально, по строгой терминологии радиотехники, но мы его быстро окрестили «солдат-мотором». «Солдат-мотор» принадлежал к числу чрезвычайно простых, а потому особенно надежных двигателей. На два седла, прикрепленных к велосипедной раме, усаживались два солдата и, поставив ноги на педали, начинали работать. Они отчаянно крутили умформер, а я, наблюдая за этим стремительным бегом на месте, только покрикивал:

— Ребята, поднажми! Напряжение падает!

Доставалось ребятам крепко. Крутить «солдат-мотор» было тяжким испытанием. Требовала эта работа людей большого веса и большой физической силы. Иначе невозможно было выжать из передатчика его технические характеристики. И хотя радиус действия радиостанции АЛМ считался семьдесят пять километров, достигался он далеко не всегда.

Сначала у меня была другая радиостанция. Ее возила «установка», где всего было по два: два экипажа, в каждом по два колеса, две лошади, два человека (ездовой и радист). В первой двуколке — радиостанция «Телефункен», во второй — телескопическая мачта антенны. АЛМ обходилась без конной тяги. Она была разборной и транспортировалась на плечах тех же солдат, которые ее обслуживали. Экипаж состоял из пяти человек: начальник, два радиста и два солдата, крутивших «солдат-мотор».

Спустя много лет на очередном Дне радио в президиуме торжественного заседания я встретился с конструктором радиостанции АЛМ — знаменитым и очень уважаемым в мире радистов человеком — академиком Александром Львовичем Минцем. Как предписывала торжественность минуты, естественно, занялись воспоминаниями. Воспользовавшись тем, что в зале собралось много молодых

солдат из радиочастей, я рассказал о своей работе на станции АЛМ в 1926 году. Александр Львович с интересом выслушал мой рассказ.

Много практики дали мне летние лагеря. Это был общеевойсковой лагерь, довольно далеко от Владимира, и наша рота числилась в нем отдельной самостоятельной единицей, находившейся на особом положении. Конечно, мы подчинялись лагерному начальству. Но, кроме этого, наш командир роты Шишкин во всей полноте власти, которую давали кубики в его петлицах, имел право назначать собственные тревоги и собственные походы.

Шишкин был верен себе и гонял нас без жалости. Кроме общелагерных походов, нам, радистам, приходилось участвовать и в тех, которые назначал Шишкин. Приходилось пройти тридцать — сорок километров, потом запустить наш знаменитый тандем, накрутить какую-то депешу, которая из-за недостаточной слышимости не всегда доходила до лагеря, затем сворачиваться и топтать обратно.

Наш командир роты обычно проводил такие дополнительные учения накануне общелагерного сбора. Что говорить, было тяжело, но эта напряженность развивала выносливость, вырабатывала, как говорят спортсмены, второе дыхание. Не знаю, как моим однополчанам, а мне это впоследствии пригодилось.

Конечно, в армии чисто военные дела — главное. Но не могу не рассказать о той большой культурно-просветительной работе, которую мы проводили. Армия многим способствовала и борьбе с неграмотностью, и уничтожению медвежьих углов, которых тогда, особенно в сельских местностях, было еще много.

В ту пору было очень в моде шефство.

У нашей воинской части была подшефная деревня. Туда-то и отправили меня однажды с одним из моих товарищей. Наш шефский долг состоял в радиофикации этой деревни, где командование поручило поставить детекторный радиоприемник.

Дело было зимой. Дали нам двух оседланных лошадей. И вот впервые в своей жизни я взгромоздился на лошадь. С видом бывалых кавалеристов мы поскакали через весь Владимир в подшефную деревню.

Поначалу наш рейд выглядел триумфальным шествием. Мы установили детекторный приемник. Ветхие старички и старушки послушали радио. Поохали, поудивлялись. Одним словом, все происходило точь-в-точь как в многочисленных газетных статьях, описывавших проникновение радио в деревню. Обилие такого рода литературы освобождает меня от подробных описаний стариковских восторгов, действительно имевших место...

С чувством людей, выполнивших свой нравственный долг, мы возвращались обратно. Лошадей пустили галопом. Мы очень торопились. Причина нашего стремления вернуться поскорее домой, в казарму, была вполне определенной. Мы были люди в кавалерийском деле неопытные. Когда начался обратный путь, стало так больно, что сидеть верхом просто не стало мочи. Кое-как добрались до Владимира и, о радость, на одной из окраинных улиц обнаружили извозчика, дремавшего вместе со своей клячей. Мы страшно обрадовались. Правда, денег у нас было мало, и мы сэкономили их, высчитывая каждую копейку. Какие уж у солдата деньги! Но боль была так велика, что, решительно отбросив в сторону проблемы экономики, мы немедленно наняли извозчика. Привязав сзади к его санкам верховых лошадей, покатали в казарму, блаженствуя от передышки, которую дали мягкие сиденья санок.

Выехали мы на главную улицу, и вдруг навстречу идет наш политрук. Лицо его изобразило пестрый букет эмоций, который читался с легкостью открытой книги. И мы и извозчик прочли эту книгу немедленно. Извозчик сказал:

— Тпру!

Мы кубарем вылетели из санок, взяли под козырек и застыли по стойке «смирно».

— А вы куда это казенных лошадей ведете на привязи?

Не буду описывать короткое, но энергичное следствие. Приговор был вынесен без промедлений. Каждому из нас выдали по двадцать четыре часа гауптвах-

ты. Так печально закончился наш благородный поступок по радиофикации деревни.

Наша часть — первый отдельный радиотелеграфный батальон — участвовала в парадах, которые по праздникам проводились во Владимире. Как и положено такому провинциальному параду, он проходил торжественно, но скромно, на площади неподалеку от одного из старейших зданий владимирского кремля, вобравшего в свое чрево все местные официальные учреждения.

Наш батальон демонстрировал владимирцам великолепие своей техники — несколько радиостанций на двуколках, старых-престарых радиостанций системы «Телефункен», бывших новинками еще в русско-японскую войну. Мы выстраивались. Раздавалась команда:

— К церемониальному маршу, первая радиостанция, на дистанцию одной радиостанции от радиостанции — ша-а-агом марш!

И под звуки оркестра мы начинали проход перед импровизированными трибунами.

Почти полвека спустя, когда в праздничные дни я смотрю по телевизору военные парады на Красной площади столицы, я неизменно вспоминаю наши первые парады во Владимире. Внушительное зрелище успехов радиотехники открывается на экране. Радиостанции установлены на машинах генералов и офицеров, на танках и бронетранспортерах, у артиллеристов и минометчиков. Радиоаппаратура скрыта в грандиозных корпусах межконтинентальных стратегических ракет, которые величественно завершают парад.

Всегда, когда я люблю эту картину, звучат у меня в ушах слова старой команды младенческих лет радио: «На дистанцию одной радиостанции — шагом марш!» Что говорить: за полвека в этом марше пройдена большая дорога.

Год, наполненный трудной солдатской службой, пролетел незаметно. Наконец нас выпустили. Я был одновременно и выпускником и выпускающим. Выпускником потому, что вместе со своими товарищами завоевывал себе звание командира, а выпускающим, потому что приходилось заниматься инструкторскими делами и обучать красноармейцев азбуке морзе.

Жизнь сложилась так, что впоследствии я встречался с очень немногими. Среди этих немногих оказался и мой друг, койка которого стояла рядом с моей, по другую сторону громоздкой солдатской тумбочки.

Это был очень интересный молодой человек, умный, интеллигентный, располагающий к себе. Он на лету схватывал все, что относилось к технике, и прекрасно рисовал, бесшумно оформляя нашу стенную газету и другие общедоступные средства наглядной агитации. И рассказчик был отличный.

За год службы мы сдружились. Вместе чистили картошку во время нарядов на кухню, вместе заглядывали в «Нотель», когда старшина Сагалович давал нам увольнительную, учил я его азбуке морзе, которая впоследствии ему не раз пригодилась в жизни. Одним словом, мы испытывали друг к другу явные симпатии, но жизнь развела нас по разным углам, и возникший в дружбе перерыв затянулся почти на полвека.

Встретились мы в 1965 году, через сорок лет после того, как отслужили в отдельном радиотелеграфном батальоне. Свел нас случай. Однажды я шел с Кузнецкого моста на улицу Кирова, и, проходя по Фурнасоровскому переулку, мимо здания Комитета государственной безопасности, увидел удивительно знакомого человека. На нем была модная шляпа с маленькими полями и зарубежный макинтошик. Узнали мы друг друга сразу же, с первого взгляда.

— Здорово!

— Здорово, Эрнст!

— Ну, как дела?

Задал я этот традиционный вопрос, и даже как-то не по себе стало: идиотский вопрос! Сорок лет не видеть друг друга и спросить, как дела. Это надо уметь.

— Ты что, на пенсии?

— Нет, работаю.

— А что ты делаешь? Где работаешь?

Мой друг показал большим пальцем через плечо на здание КГБ и сказал:

— Здесь работаю!

— Как же тебя занесло сюда?

— А я тут работаю музейным экспонатом.

— Интересное амплуа. А что же оно все-таки значит?

Тогда вместо ответа он спрашивает:

— Слушай, Эрнст, а ты иностранные газеты читаешь?

— Нет, ни одной, кроме «Вечерней Москвы».

И тогда мой друг просветил меня. Прощался я сорок лет назад с молодым радистом, а встретил знаменитого разведчика полковника Рудольфа Ивановича Абеля, которого обменяли на сбитого нашей ПВО американского летчика Пауэрса.

Мы записали телефоны друг друга. Так через сорок лет возобновилась наша дружба.

О своей деятельности Рудольф Иванович предпочитает не распространяться, а я не чувствую себя вправе задавать лишние вопросы. Однако в свое время из статьи «Рудольф Абель перед американским судом», появившейся в №№ 4 и 5 журнала «Советское государство и право» за 1969 год, я узнал, как героически вел себя мой друг.

Чтение этой статьи произвело на меня впечатление не столь новыми фактами, сколь мыслями, которые эти факты пробудили.

Герой Советского Союза летчик-испытатель М. Л. Галлай сформулировал однажды, что означают в его глазах трусость и храбрость:

«Инстинкт самосохранения — естественное свойство человека. Людей, которые относились бы к грозящим им опасностям совершенно равнодушно, — нет.

Вся разница между так называемыми «храбрыми» и так называемыми «трусливыми» заключается в умении, или, наоборот, в неумении действовать, несмотря на опасность, разумно и в соответствии с велением своего долга — воинского, служебного, гражданского, а иногда и неписаного — морального.

Со временем подобный образ действий входит в привычку. И тогда «храбрый» человек приобретает прочный, почти автоматический навык загонять сознание опасности куда-то в далекие глубины своей психики так, чтобы естественная тревога за собственное благополучие не мешала ему рассуждать и действовать быстро, ловко, четко, не хуже, а лучше, чем в обычной обстановке».

Эти высказывания мне понравились, и я показал их Рудольфу Ивановичу. Абель задумался, помолчал, а потом медленно сказал:

— Работа разведчика, летчика-испытателя, верхолаза, пожарника требует большой собранности, умения быстро разобраться в обстановке и принять то или иное правильное решение, которое диктует обстановка. Сказать, что в этот момент летчик-испытатель, даже когда у него барахлит самолет, пугается, или разведчик, когда его арестовывают, пугается, или верхолаз, когда он поскользнется, пугается, — нельзя. Каждый из них, в сущности, готовится к такому всю свою жизнь. Это его профессиональная обязанность — не теряться и найти правильный выход из положения.

— Ну, а можно к этому привыкнуть, к постоянной опасности? — спросил я.

— Можно.

— И ты ее понимаешь или нет?

— Привыкать можно, только поняв. Если ты ее не понял, то ты просто дурак!

Рудольф Иванович сказал как отрезал. А я сидел молча, вспоминая то, что прочитал в статье, где описывалось его судебное дело.

Летом 1957 года в номер гостиницы, где спал Абель, ворвалось несколько человек в штатском. Отрекомендовавшись, они заявили:

— Мы знаем о вас, полковник, все!

Угрожая арестом, они стали склонять Абеля к измене, к сотрудничеству. Несмотря на то, что застали его в трудную минуту — в ту ночь у Рудольфа Ивановича был сеанс связи с Москвой и ряд шифровальных принадлежностей, извлеченных из специального тайника, находился в этом же гостиничном номере, — он встретил атаку детективов твердо, спокойно и решительно отказался от всех «заманчивых предложений». Абель был немедленно арестован, и, несмотря на отсутствие доказательств — Рудольф Иванович сумел уже после ареста спустить в унитаз шифр и полученную из Москвы радиограмму, — он был отдан под суд. Ему грозила смертная казнь. Его обвиняли пять прокуроров. Но несокрушимая воля, мужество, природный ум и высокая культура позволили Рудольфу Ивановичу выдержать этот потрясающий поединок, названный на языке юстиции «Дело № 45094. Соединенные Штаты против Рудольфа Ивановича Абеля».

Таков мой друг по военной службе. Недавно в сборнике «Чекисты», выпущенном издательством «Молодая гвардия», он рассказал о своей работе. Рудольф Иванович подарил мне эту книгу с очень приятной для меня надписью: «Учителю азбуки морзе, старому товарищу, уважаемому человеку, другу и товарищу на память».

Но вернемся к дням моей юности. Кончился год службы, и красноармейцы нашей роты одногодичников стали командирами взводов запаса. На воротниках шинелей появилось по кубуку в каждой петлице. Если перевести это на язык современных званий, мы стали младшими лейтенантами.

Звание было не из высоких, но мы страшно гордились и поспешили снять солдатские ремни, чтобы приобрести командирский вид. Конечно, снять ремни было недолго, но шинели нас немедленно выдавали. За год они были вытерты, да так, что сомнений в том, что командира только что испекли из красноармейцев, не оставалось ни на минуту.

Осенью 1926 года нас демобилизовали, и мы разъехались по домам.

В те времена в Москве была безработица. Я, как демобилизованный, отправился на биржу труда. Была она в центре города, в двух домах — на углу Рахмановского переулка и Петровки, а также там, где за маленьким палисадничком сейчас находится Министерство здравоохранения.

Большой зал. Вечно толчется народ. Проходишь на регистрацию.

— Нет, сегодня спроса нет. Ни по какой специальности нет.

В конце концов меня направили на часовой завод, около Белорусского вокзала. Пошел я туда, оформился в цех, где мне поручили собрать какую-то радиодеталь. Не часовую, а радиодеталь. Тогда уже стало развиваться радиолюбительство и началось производство кое-каких деталей. За отсутствием радиозаводов их делали на часовых.

Собрал я порученный мне узел. Мастер подошел, посмотрел и сказал:

— Никуда не годится.

Стал собирать новый. Собрал — опять не годится. Короче говоря, через два дня я оттуда сбежал. Пришел на биржу труда, объяснил, что у меня ничего не получилось.

— Ну, хорошо, запишем вас опять! Опять поставим на очередь!

Следующее назначение я получил на Московский почтамт, на улицу Кирова, напротив Чаеуправления. Стал я заниматься тем, что раскидывал посылки по направлениям. Читал адрес на посылке и кидал ее в соответствующую кучу. Все это грузилось на трехколесные тележки, а затем перегружалось на автомобиль. Этим я занимался довольно долго. Так что, по существу, я не порывал с Министерством связи.

Я был уже радистом, но таскал посылки, хотя такого рода занятия, естественно, большого удовольствия мне не доставляли. Я рад был бы заняться чем-то другим, более интересным, но не находил выхода из положения, в которое попал. И вот однажды я придумал.

Не буду делать секрета ни из идеи, ни из ее реализации. Напротив, посвящу этой истории бóльшую часть последующей главы, но чтобы читатель не заблудился в дебрях технических подробностей, постараюсь, по возможности кратко, охарактеризовать отношение радиотехники тех далеких дней к коротким радиоволнам, едва успевшим получить первые права гражданства.

Победоносное вторжение коротких радиоволн в мир практической радиотехники повторило историю многих изобретений и открытий, сделанных человечеством со времен знаменитого яблока Ньютона.

После первой мировой войны на армейских складах разных стран скопилось большое количество неиспользованной аппаратуры. Эта радиоаппаратура старела, обесценивалась, а множество радиолюбителей в это же самое время мечтало получить в свои руки такого рода приборы и аппараты. И когда радиолюбители сумели проявить достаточную настойчивость, было решено продать им этот старый, дорогой, но по существу никому не нужный хлам.

Однако едва успели удовлетворить первое требование напористой молодежи, как возникло другое:

— Дайте частным лицам разрешение на работу индивидуальных радиостанций. Не держать же аппаратуру, как украшение на комодах.

Вопрос был сложный. Если разрешить, любители будут мешать правительственным радиостанциям, в эфире возникнет хаос, пострадают государственные интересы. Не разрешить тоже не очень удобно...

И тогда какой-то хитроумный человек придумал выход: разрешить любителям работу на волнах короче двухсот метров. Этот диапазон профессионалами не использовался. Он считался никчемным и бросовым. Автор этой идеи, равно как и его коллеги, был убежден, что любители сумеют держать связь друг с другом в пределах одного города, максимум. С такими, дескать, волнами больших расстояний не завоюешь и эфир особенно не засоришь.

Автор этого предложения не стремился афишировать свое имя. Жесткие ограничения длины волн не сулили ему любви радиолюбителей. Опасаясь их гнева, этот неведомый радиозаконник ушел от славы. Его имя осталось неизвестным и потеряно для истории, хотя этому человеку, вероятно, надо было бы поставить памятник как отцу коротких радиоволн.

Дело в том, что очень быстро попытки освоения коротких волн радиолюбителями приняли совершенно неожиданный оборот: один из них, пользуясь самодельной аппаратурой, установил связь с любителем на другом материке. По сравнению с тем, что требовалось по расчетам для такой же связи на длинных волнах, мощность передатчика была в несколько десятков раз меньше.

Ученые всполошились. Шло насмарку большое количество прежних расчетов. Установившиеся понятия сразу же устарели. Все приходилось пересматривать заново.

А пока взволнованные ученые разбирались в природе коротких волн, любители продолжали свое дело. Когда глухой ночью тускло светилось в огромном доме единственное окно, можно было не сомневаться, что, примостившись в уголке у своих аппаратов, затенив лампу, чтобы не мешать спящим домочадцам, — работает радиолюбитель.

Не разбираясь еще как следует в технике приема коротких волн, я попросил одного парня, кое-что знавшего об этом, сделать мне приемник. Он вытянул из меня довольно много денег, но сделанный им приемник не работал. И все же, несмотря на явную неудачу, короткие волны меня заинтересовали. В радиолюбительском журнале (к сожалению, сейчас это не делается) было приложение для коротковолнников. Оно печаталось на цветной бумаге и стало моим первым руководством в этой области радиотехники.

К тому времени уже имелись коротковолнники, активно действующие в эфире. И вот я познакомился с одним таким коротковолнником по фамилии Юрков. Этот восьмой по счету советский радиолюбитель-коротковолнник жил в до-

ме напротив военного универмага на Воздвиженке (ныне — проспект Калинина). Как-то вечером я зашел к нему и увидел предмет моих вожделений по части коротких волн — фанерную коробку примерно 40×40 сантиметров. Одна большая катушка из толстой медной проволоки и две лампы. Мне было объяснено, что это сооружение из фанеры, двух лампочек и одной катушки из красной меди и есть коротковолновый передатчик. Сознаюсь, что этот бесхитростный аппарат породил у меня множество мыслей...

В неказистом фанерном ящике, начиненном лампами и проволочками, рождается по твоей воле радиоволна. Вот она побежала во тьме ночной по проводу на крышу и там сорвалась, чтобы с непостижимой скоростью, протыкая облака, мчаться в стратосферу, в межпланетное пространство до отражающего слоя. Здесь, на высоте сотен километров, волна, дробную часть секунды назад созданная мановением твоей руки, меняет направление и под каким-то углом возвращается на грешную землю. Затем опять отражается и снова уходит ввысь. Так гигантскими скачками, то вверх, то вниз, волна бежит, опоясывая весь земной шар. Кто же примет ее, услышит и ответит? Это, может быть и вероятнее всего, такой же страждущий энтузиаст из соседнего квартала! Правда, антиподы — товар редкий, отвечают они не каждый раз и не каждый день, но в погоне за таким случаем одна из существенных причин радиоспорта. Установить самую дальнюю, самую интересную, самую необычную связь — мечта любого радиолюбителя-коротковолновика.

В начале 1926 года я уже имел официальный позывной EV 2EQ и работал в маленькой комнате, где жили мы с матерью. Окна выходили во двор. Двор был как узкий темный колодец. Ни одного солнечного луча ни в один из часов суток в нашу комнату не попадало. Я взобрался на крышу, сделал антенну и в уголке устроился со своими самодельными передатчиком и приемником.

Первые связи были, конечно, с москвичами, а потом появились и европейцы. Очень быстро я вошел в курс всех этих радиолюбительских дел.

Поразительные и первое время просто непонятные результаты требовали документального подтверждения. Вот по этой причине и родилась карточка-квитанция радиолюбителя-коротковолновика.

Если включить приемник, то в любое время суток слышна работа радиолюбителей. О чем идет разговор? Мощность передатчика, какой приемник, антенна, местонахождение, имя, стаж любительской работы, наличие тех или иных дипломов, погода. Каждая связь заканчивается просьбой о присылке квитанции, а партнер отменно вежливо обещает ее прислать.

Но как же изъясняются радисты?

Появился своеобразный жаргон — довольно небольшой список сокращенных английских слов, полностью охватывающих все наши интересы. Следовательно, для связи с коротковолновиком любой страны совершенно не обязательно владеть английским.

Итак, квитанция является подтверждением, что связь состоялась. Как выглядит карточка?

Возьмем любую. Основное — это личный сигнал радиолюбителя, так сказать его радиоимя. В центре крупно изображен позывной; одна или две буквы говорят о государственной принадлежности радиолюбителя, затем цифра — это соответствующий район, и затем еще несколько букв. Они всегда различны, и именно они означают собственное имя коротковолновика. Это основа основ. Все остальное зависит от личных вкусов собственника квитанции. Житейская мудрость гласит, что у десяти человек бывает одиннадцать мнений, тем более вкусов, но та же мудрость говорит, что о вкусах не спорят. Каждый хочет, чтобы его квитанция была оригинальной, броской и запоминающейся. Чего-чего только нет на карточках! Достопримечательности того места, где живет радист: белые медведи и крокодилы, пингвины и кокосовые пальмы, живописные развалины замка, гиганты индустрии.

Есть квитанции академически строгие, классические. Есть легкомысленные — с игривыми девушками. Есть с библейскими изречениями, хотя, как известно, господь бог сравнительно мало интересовался радиотехникой. Наиболее популярна карточка с фотографией владельца на фоне его аппаратуры.

Сравнительно недавно любители помещали полученные квитанции на стенах. Сейчас это считается дурным тоном. Да никаких стен и потолков не хватит. Теперь на стенах появились дипломы. Их великое множество. Большинство учреждено различными национальными обществами коротковолнников.

ДЛИННЫЙ РАССКАЗ О КОРОТКИХ ВОЛНАХ

Мошенничество или инициатива? Снова на Новую Землю. Перед Маточкиным Шаром в Нижний Новгород. Гостеприимство нижегородцев. Радисты-герои. Знакомство с М. А. Бонч-Бруевичем и В. В. Татариновым. Мой ровесник — ученый с мировым именем. С аппаратурой в Архангельск. Столица деревянного царства. Коротковолновый конфуз. Первая связь Новая Земля — Баку. Короткие волны получают в Арктике права гражданства.

На косогоре внешнего проезда Рождественского бульвара стоял и поныне стоит капитально построенный каменный дом. В 1926 году в нем размещалось московское представительство Нижегородской радиолaborатории.

Эта лаборатория вошла в историю отечественной радиотехники как колыбель всего большого и нужного, что мы имели в области радио. Большинство наших выдающихся ученых старшего поколения вышло из этого важнейшего очага культуры и техники.

В один из осенних дней я подошел к дому на Рождественском бульваре. Прочитав вывеску, не слишком уверенно переступил порог и спросил:

— Могу ли я видеть кого-либо из руководителей?

Учреждение было спокойным, посетителей здесь бывало не так уж много, и секретарша без всяких околичностей направила меня в соседнюю комнату.

Единственным обитателем этой комнаты оказался крупный добродушный блондин, которого едва можно было разглядеть за стопками книг и грудой журналов, наваленных на столе.

— Садитесь, молодой человек. Слушаю вас.

Не нужно было быть особенно наблюдательным, чтобы определить мою причастность к морским делам: об этом свидетельствовали потертый бушлат и не менее помятая фуражка.

— В 1924 году я зимовал радистом на полярной станции в Маточкином Шаре на Новой Земле. Теперь опять собираюсь в Арктику.

— Это прекрасно, но чем могу быть полезным?

— Я увлекаюсь короткими волнами, смастерил коротковолновый передатчик, приемник и вот теперь по ночам шарю в эфире и работаю с нашими и зарубежными любителями.

— Очень интересно, но все-таки что же привело вас ко мне?

— Гидрографическое управление намерено провести опыты по связи на коротких волнах в Арктике. Мне предложено договориться с вами о деталях этой работы. Управление установит аппаратуру, которую вы нам дадите, и обеспечит ее работу. Видимо, это дело будет поручено мне.

Я не поперхнулся и не покраснел, хотя далеко не все в моем заявлении соответствовало действительности. Кроме упоминания о зимовке на Новой Земле и увлечении короткими волнами, мой рассказ представлял собой святую ложь. Желаемое выдавалось за действительное.

Наверное, это был не лучший поступок в моей жизни, но уж очень хотелось, чтобы все произошло именно так. Хотелось с хорошей аппаратурой отправиться в Арктику, хотелось поработать на коротких волнах там, где на них еще никто не работал.

По молодости лет я больше был увлечен эмоциональной частью предложения, однако мой собеседник воспринял его очень деловито:

— Нижегородская радиолaborатория уже проводит опытную радиосвязь с Ташкентом и Владивостоком. Станция в Арктике дала бы нам дополнительный ценный материал по слышимости и прохождению коротких волн. В ближайшие дни в Москву приедет директор лаборатории профессор Бонч-Бруевич, я доложу ему о вашем предложении. Вас же попрошу не терять времени, приступить к подготовке и принести официальный запрос гидрографического управления.

Выслушав эту речь, я понял, что половина дела уже сделана. На свой страх и риск, а главное, за свой счет (что по моим скромным заработкам на почтамте было довольно трудно) я ринулся в Ленинград.

В верхних этажах Адмиралтейства, где размещалось управление экспедиции Северного Ледовитого океана, как и в 1924 году, набирали новую смену зимовщиков на Новую Землю. И как в 1924 году, им снова был нужен радист.

С сотрудниками экспедиции, сразу же узнавшими меня, я встретился дружески. В Арктику в те годы никто особенно не стремился. Вопрос оформления на работу на ту же Новую Землю был решен быстро, без волокиты.

Рассказ о коротковолновой радиостанции вызвал явный интерес, тем более что красок для того, чтобы описать, с каким неодолимым желанием Нижегородская лаборатория рвется к проведению этих опытов, я не пожалел.

Доложили начальству. Идею одобрили, и родилась — лиха беда начало — первая бумага о том, что, дескать, гидрографическое управление готово поставить эти опыты и обеспечить для них все необходимое.

Переговоры, подготовка и проведение эксперимента поручались «нашему радиотехнику тов. Кренкелю».

Начало было положено.

Нижегородская лаборатория всемерно шла навстречу.

Благополучно закончив переговоры в Москве и Ленинграде, я направился в Нижний Новгород (ныне город Горький). В 1918 году туда перекочевала из Твери, как назывался в ту пору город Калинин, лаборатория, которую без преувеличения можно назвать сердцем советской радиотехники. Да и само название лаборатории было характерным для ее сотрудников проявлением скромности. Это был настоящий исследовательский институт, решавший научные проблемы с размахом и подлинной творческой дерзостью.

Вот и Нижний Новгород. Огромный мост через Оку. Здание знаменитой когда-то ярмарки, крутой подъем мимо кремля — и я вышел на Откос, как называли когда-то нынешнюю Верхневолжскую набережную у слияния Волги и Оки.

Водный простор безбрежен. На горизонте — очертания не то леса, не то домов. Далеко внизу — буксиры, тащившие против течения караваны барж и плотов, словно застыли на месте. Дали и ветер почти морские. На всю эту величественную картину можно было смотреть прямо из окон лаборатории, фасадом выходящей на Верхневолжскую набережную.

Прибытие мое в Нижний Новгород не стало событием ни для города, ни для лаборатории. Сознаюсь, меня этот факт огорчил и не потому, что меня переполняло тщеславие и я ожидал духового оркестра и почетного караула, отнюдь нет. Просто было трудно решать бытовые, но для меня жизненно важные дела.

Записки вроде той, которую я вез к механику парохода «Профсоюз», мне никто не написал. В гостинице номера никто не приготовил, да даже если бы и приготовил, то у меня просто не было финансовой возможности воспользоваться гостиничным гостеприимством. А жизнь есть жизнь. Она требует своего. Надо и есть, и пить, и спать, причем лучше все это делать под кровлей, нежели под открытым небом.

Чувствуя шаткость своего положения, я не раскрывал широко рта ни для произнесения громких слов, ни для заглатывания обильной пищи. И, наверное, пришлось бы туговато, если бы не обычаи и порядки этого удивительного учреж-

дения. Меня пригрел заместитель Бонч-Бруевича по административным и общим вопросам Абрам Владимирович Зискинд. Не теряя времени зря он задал сразу же совершенно конкретный вопрос:

— А ночевать есть где?

И, услышав, что нет, повел к себе. Идти далеко не пришлось. Зискинд жил тут же, при лаборатории, в большой, светлой и очень солнечной комнате. По утрам он занимался гимнастикой и принимал холодный душ, на что я взирал с почтением, так как за всю жизнь к холодным душам не привык и, пожалуй, уже не привыкну.

Я с удовольствием вспоминаю гостеприимство этого славного человека. И дело было не только в том, что я получил и стол и кров. Его рассказы ввели меня в курс жизни лаборатории. От него я узнал много интересного. Он же познакомил меня с людьми, чьи идеи мне предстояло проверить в условиях Арктики.

Дом на Откосе заполняли энтузиасты. Люди разных возрастов, различных характеров, но одной профессии, — они жили делом, которое любили беззаветно. Даже по тому времени, когда энтузиазм охватывал молодых и старых, когда он был главной движущей силой людей, отмахивавшихся от жизненных трудностей, словно от назойливых мух, самозабвенность, с которой работали сотрудники лаборатории — от ее руководителей до вспомогательного обслуживающего персонала, — просто поражала.

Рабочий день начинался рано. Это было правилом. Кончался он подчас даже не вечером, а ночью. И все относились к этому как к совершенно естественному: ведь ночь была наиболее благоприятным временем для радиосвязи. Упустить это удобное время сотрудники лаборатории не могли, да и не хотели.

Сейчас, спустя много лет, когда личные впечатления слились с тем, что было прочитано об этих людях в разных книгах, мне уже трудно отделить одно от другого.

Начну с руководителя лаборатории — Михаила Александровича Бонч-Бруевича. Еще до переезда в Нижний Новгород, в Твери, он проводил опыты, окончившиеся для него тяжелым заболеванием.

Начальник лаборатории, у которого служил Бонч-Бруевич, был против всяких опытов, и поэтому Михаил Александрович занимался экспериментами на своей частной квартире. Для того, чтобы создавать вакуум в радиолампах, круглые сутки должен был работать ртутный насос. Ртуть надо было подливать, и, чтобы не прерывать производство, Бонч-Бруевич ночью просыпался и подливал ее. Надо знать, что такое открытая ртуть. Это верный способ отравиться медленно и почти неизлечимо. Бонч-Бруевич опасно болел, хотя все закончилось благополучно.

Ученый интересовался аппаратурой, которую мне давали для Арктики. Мы с ним беседовали, и он сказал, что Нижегородская радиолaborатория очень заинтересована в такой проверке применения коротких волн. Во-первых, короткие волны были еще «терра инкогнито», и потом совершенно не было известно, как они поведут себя в Арктике. Тем более что и Арктика тоже была еще такой же неизведанной землей. Конечно, для лаборатории, проводившей аналогичные опыты в других местах страны, это было очень интересно. В то же примерно время Нижний Новгород почти каждый день регулярно работал с Ташкентом. Иногда было слышно, иногда нет, но работа не прерывалась. Работали на разных волнах. Все было в новинку. По существу это была большая исследовательская работа.

Когда я познакомился с Михаилом Александровичем, он был молодым, очень подтянутым, с военной выправкой человеком. Потом наши пути разошлись, он переехал в Ленинград, где очень сдружился с Алексеем Николаевичем Толстым. Я отмечаю это обстоятельство, так как именно оно способствовало нашей встрече спустя десять лет, уже после того как я вернулся с полюса.

Мы с женой отмечали серебряную свадьбу. Совершенно неожиданно в гости приехал Алексей Николаевич Толстой вместе с Михаилом Александровичем Бонч-Бруевичем. Это была очень радостная встреча. Мы сидели дома за круглым столом и вспоминали те далекие годы, когда благодаря Бонч-Бруевичу в Арктике

появились первые короткие волны. Алексей Николаевич подарил мне по поводу серебряной свадьбы авторский экземпляр своей книги «Хлеб» и маленькую серебряную солонку. «Хлеб-соль» хранится у меня и поныне.

Другим большим ученым, с которым я познакомился в Нижнем Новгороде, был Владимир Васильевич Татаринов. Сохранилась фотография, изображающая высокого, худощавого человека с усами и небольшой бородкой, в толстовке с пояском. Он стоит рядом с макетом коротковолнового генератора. Таким я и помню этого замечательного пионера советской коротковолновой техники.

Как говорится в таких случаях, Татаринов мне в отцы годился. Мне едва стукнуло двадцать четыре, ему было сорок восемь. Это был уже известный ученый и, что поразило меня больше всего, разговаривал он со мной на равных.

Татаринов, тогда один из крупнейших в мире специалистов по антеннам, повел меня на «радиополе». Это действительно было поле, на котором нижегородцы вырастили густую рощу антенн. Посередине — небольшой деревянный домишко, как его называли — «дом радиопередатчиков».

Мне все было интересно в этом походе. Особенно поразила антенна, сконструированная Владимиром Васильевичем, — первая в нашей стране коротковолновая антенна с пассивным зеркалом из параллельных полуволновых излучателей.

Заметив мой полуоткрытый от восторга рот, Владимир Васильевич, сначала державшийся вежливо, но, в общем, сурово, несколько помягчел. Он поправил пенсне с большой дужкой, похожее на гоночный велосипед, и разговор у нас пошел вполне профессиональный, а потому очень доверительный.

Я рассказал Татаринovu о своем скромном арктическом опыте. Он же, углубляясь в интересовавшие нас обоих короткие волны, бросил несколько фраз о возможности послать их на Луну, чтобы принять потом отраженный сигнал. Как известно, эта идея была осуществлена примерно через четверть века, уже после смерти Татаринова.

По сравнению с радиолюбительскими масштабами и понятиями, все в радиолaborатории казалось мне подавляюще грандиозным. И комнаты, заставленные приборами и аппаратурой, и опытное поле с огромными мачтами, и невиданные по размерам передатчики, и гигантские генераторные лампы.

Радиолампы, сотворенные руками сотрудников самой лаборатории, произвели, пожалуй, наиболее сильное впечатление. Ни по размерам, ни по срокам службы они не имели себе равных. Разработанные М. А. Бонч-Бруевичем и его коллегами, они служили в четыре-пять раз дольше французских.

Один из сотрудников лаборатории произвел на меня впечатление своей молодостью. Он был мне ровесником — таким же молодым парнем. Разница была лишь в одном: он уже успел сделать открытие, принесшее ему мировую славу, начать опыты, послужившие потом фундаментом большого раздела науки. Молодого человека звали Олег Владимирович Лосев.

Сотрудники радиолaborатории, с которыми я успел познакомиться, рассказывали мне, как влюблен в свое дело Олег Лосев, работавший сначала служителем, затем лаборантом. Обычно он спал на лестничной клетке той же лаборатории, где и работал, постелив на раскладушке одеяло и прикрывшись потертым, выдавшим виды пальто. Уборщица стирала ему белье, варила кашу — горшок на три дня.

В 1922 году девятнадцатилетний ученый сделал открытие мирового значения, создав кристаллический гетеродин, или, как его быстро перекрестили за рубежом, «кристадин».

Работы Олега Владимировича Лосева стали экспериментальным обоснованием теории запорного слоя и современного учения о полупроводниках.

Молодой человек с большими задумчивыми глазами, он всю свою короткую жизнь отдал любимому делу. Лосев умер как солдат, тридцати девяти лет, в осажденном Ленинграде.

* * *

День бежал за днем, и дело, ради которого я приехал, постепенно стало приближаться к концу. В уголке одной из лабораторий поставили аппаратуру, которой суждено было стать первой коротковолновой установкой в Арктике. Приятным баском загудел умформер, и передатчик ожил. Ровным светом затеплились генераторные лампы. Стрелки одних приборов стояли как вкопанные, другие заметались как угорелые.

Такая коротковолновая аппаратура была прекрасной и несбыточной мечтой любого радиолюбителя.

На большой доске, ничем не прикрытый сверху, размещался трехламповый приемник, собранный по одной из последних схем. Лампы этого приемника — тоже последняя новинка лаборатории — жрали потрясающее количество тока. Передняя панель была двойной, и через обе стенки проходили удлиненные ручки управления. Управлять приемником приходилось на глазок и на слух. Теперь, тридцать лет спустя, этот ветеран вспоминается как трогательный и наивный первенец. Однако работал он превосходно.

После тщательной проверки и подробнейшего ознакомления с аппаратурой ее стали упаковывать, подготавливая к отправке в далекий Архангельск. Начал готовиться к отъезду и я.

Мое пребывание в Нижнем Новгороде было недолгим. И воспоминания по этому поводу довольно ограничены. Но образ Нижегородской радиолaborатории с ее удивительными людьми навсегда запечатлелся в памяти. Увозя с собой выданную мне в Нижнем аппаратуру, я берег ее, словно она была сделана из чистого золота. Одна мысль в этот миг не давала покоя: сумею ли я выполнить эксперимент, которого от меня так ждут? И ждут люди, не терпящие приблизительности или неряшливости. Мне предстояло привезти им факты.

Когда вторично идешь однажды пройденной дорогой, глазу открывается множество подробностей, в первый раз ускользнувших от тебя. На этот раз в Архангельске у меня было больше времени, и я с интересом вглядывался в прекрасный город.

Грудь вдыхает живительный воздух, наполненный запахом водорослей, просмоленных канатов, сосны; привезенной на многочисленные лесопильные заводы. Все это так хорошо и маянце, что чувствуешь себя перерожденным. За ближайшим углом встретишь что-то новое, и жизнь откроется как-то по-иному, с другой, еще непривычной стороны.

В названиях улиц и районов звучит далекое прошлое: Новгородская, Поморская, Бакарица и Кегостров, Кузнечиха, Соломбала. Говорят, что якобы Петр I устраивал когда-то под открытым небом бал, а так как сидеть было не на чем, то для желающих отдохнуть постелили солому. Если верить легенде, отсюда и название этой северной окраины города — Соломбала.

Ехать в Соломбалу далеко. По главной улице, по проспекту Павлина Виноградова надо долго и упорно трястись на трамвае до конечной станции. Затем переправа на пароходике через Кузнечиху — и вот она, Соломбала.

Шел я через территорию лесопильного завода. Под ногами опилки, кругом высоченные штабеля досок и бесконечные надписи на всех языках мира «не курить». Действительно, курить здесь нельзя: паршивый окурочок может навлечь большую беду. Да и не хочется даже курить. Воздух настолько насыщен ароматом сосны, что впору открывать легочный санаторий.

С лесом в Архангельске никогда не стеснялись. Берега укреплены лапшой — длинными обрезками досок. Это практиковалось десятилетиями. Лапша почернела, покрылась мохом, и не сразу поймешь, что берега-то деревянные. Если в центре города много старых и новых каменных домов, то в Соломбале больше деревянных. Из поколения в поколение в них живут семьи моряков, рыбаков и рабочих лесопильных заводов. В окнах положенные герань и фуксия. Чем суровее природа, тем больше любви у людей к ярким цветам.

Тротуары тоже деревянные, из толстенных досок, но ходить по ним надо умеючи. Местами доски прогнили, и в тротуарах зияют откровенные дыры, но это еще полбеды. Главное — следить за впереди идущим человеком. Если он наступил на дальний конец доски, то она бесшумно и предательски, как клавиша, поднимается у тебя перед самым носом. Последствия понятны без особых объяснений. Если закрыть глаза, шагов пешеходов не слышно. Слышно только хлопанье досок.

Центр Соломбалы — огромное здание петровской постройки: цель моего похода. Стены похожи на крепостные. Оконные проемы за счет непомерной толщины стен напоминают коридоры и пропускают мало света. Даже в жаркий летний день здесь сумрак и прохлада. Голландские печи рассчитаны на неиссякаемые лесные массивы, каменные ступени и узорчатые чугунные площадки лестниц протоптаны и отполированы поколениями моряков до блеска.

Фасад здания выходит к реке. У причала стоят гидрографические суда, а все пространство между зданием и берегом составляет территорию порта. Даже от названия учреждения, размещенного здесь, веет северным сиянием, штормовым ветром, экзотикой: «Убекосевер» — Управление безопасности кораблевождения по северным морям.

Передатчик, вывезенный из Нижнего Новгорода, был настолько хорошо и добротнo упакован для морского путешествия, что мне даже не хотелось его распаковывать. Его тщательно испытали, и надежность работы не вызывала сомнений. Но приемник надо было проверить.

По управлению, где было много связистов, быстро пронесся слух, что на полярную станцию Маточкин Шар везут какую-то интересную шкатулку, якобы новый приемник.

В те времена даже опытные радисты о коротких волнах знали примерно столько же, сколько сейчас рядовой гражданин — о технологии изготовления атомной бомбы.

Пришлось распаковать приемник, поставить его в одной из комнат — не без волнения (а не сломался ли он в пути?). Группа старых радистов молча и неодобрительно взирала на невиданную радиодиковинку.

Нельзя сказать, что демонстрация новой силы получилась убедительной. Любителей, работающих в эфире в те годы, было еще маловато, и, включив приемник, я, как на грех, не поймал ни единой станции. Старички переглядывались и многозначительно улыбались. Молодой человек, с пеной у рта ратовавший за короткие волны и соловьем разливавшийся на тему об их будущем, явно не внушал опытным работникам доверия, как, впрочем, и продемонстрированная им техника...

Настоящий радиоприемник — обязательно ящик с массивными эбонитовыми панелями. Ручки такие, что повернуть их может только взрослый, в полном соку мужчина.

А это? Какое-то легкомысленное устройство из проволочек и катушек, которое надо сближать, затаив дыхание, деликатно касаясь двумя пальцами. Нет, нет. Тут что-то не то...

Полагаю, что я показался им аферистом, а вся затея с коротковолновой связью — авантюрой, не стоящей и выеденного яйца.

Приемник же тем временем красноречиво молчал. Он был исправен, просто ни одна коротковолновая станция не работала. Действовал так называемый закон демонстрации, по которому все идет отлично, пока готовишься, и что-нибудь обязательно не заладится, едва приступаешь к демонстрации.

Чтобы отвлечься от неудачи, я поехал в город, но и тут ничего воодушевляющего не нашел. На площадке рядом с городским садом стояла парашютная вышка. Правда, прыгать с нее разрешалось далеко не всем. В этом удовольствии хозяева вышки отказывали детям, лицам в нетрезвом состоянии и «лишенцам», как называли тогда людей, лишенных избирательных прав.

Сознаюсь, что даже обладай я справкой, что все права находятся при мне, и то вряд ли воспользовался бы сооружением местных осоавиахимовцев. Было не до прыжков. Все мысли оставались там, в комнате, где безмолвствовал мой коротковолновый приемник.

Когда я вернулся домой, приемник, усевестившись, заработал. Но было уже поздно. Первое впечатление сложилось не в пользу всей этой затеи...

Снова знакомая дорога к Новой Земле. Оживленное движение в главной судоходной протоке Маймаксе, желтая вода при впадении в море Северной Двины, ярко-красное сооружение маяка «социал-демократ». Второй раз дорога всегда кажется короче. Я и оглянуться не успел, как мы пришли к Новой Земле.

Несколько суток продолжалась выгрузка. На берегу возвышались штабеля досок, ящиков, тюков сена. По существующим правилам, команда судна должна была выгрузить и доставить груз за линию прибоя, но такого рода правило, конечно, было делом относительным. Широкая галечная полоса с засохшими водорослями у подножия высокого холмистого берега красноречиво давала понять, что при хорошем шторме все грузы окажутся под водой. Надо было торопиться с их уборкой.

Нас, как и в прошлый раз, было одиннадцать человек. Большой, скучный дом по-прежнему высился на крутом берегу. Сюда предстояло поднять десятки тонн всякой всячины. Транспортные возможности были не из блестящих. Единственная лошадь, все достоинство которой заключалось в том, что она была самой северной лошадью в мире, наискосок по косогору с трудом вытаскивала грабарку с легкими ящиками. Мы ее поддерживали и самые тяжелые ящики таскали сами.

Существовала еще и узкоколейная дорога. На вагонетку накладывали доски. После длительных криков о готовности кто-то невидимый, за бугром, начинал крутить лебедку, натягивая трос, и подталкиваемая со всех сторон вагонетка медленно ползла в гору.

Наступил последний день. Корабль уходил в Архангельск. Прощание с моряками, последние рукопожатия, и со всеми предосторожностями в нашу стационарную шлюпку, как говорится из рук в руки, был передан самый ценный для меня груз — новый передатчик.

Знакомый стук брашпиля, выбиравшего якорь, — и корабль медленно начал двигаться, а затем удаляться, становясь все меньше и меньше. Прощальные гудки, несколько хлопков винтовочных выстрелов прозвучали неубедительно и одиноко. Еще несколько минут — и корабль скрылся за мысом. Вторая зимовка началась.

Августовский вечер был сереньким и холодным. Ватные штаны и куртки казались отнюдь не лишними. На восток широким раструбом уходил пролив Маточкин Шар. С его северного берега было отлично виден южный остров с высокими, покрытыми снегом горными вершинами, а левее, на горизонте, — Карское море.

Ветер стих. Море лениво дышало. Небольшая волна перекатывала и шуршала галькой. Мы вытащили шлюпку носом на берег и, устав от дневной работы, от прощальных треволнений, отправились ужинать. Ящик с передатчиком (это, конечно, было легкомыслием) остался в шлюпке. В обширной кают-компании за столом, покрытым клеенкой (где уж во время работ с грузами стелить скатерти), устроили трапезу.

Ужин подходил к концу. На столе появились кружки с чаем. Свет лампы стал меркнуть от табачного дыма. Наступил блаженный час отдыха. И вдруг эту мирную обстановку нарушил крик ворвавшегося повара:

— Шлюпку уносит!

Мы вскочили словно ошпаренные. В дверях образовалась пробка. Через минуту все одиннадцать стремительно мчались по камням вниз. Дело было дрянь. Пока ужинали, наступил прилив. Шлюпку стащило в воду, и, мирно покачиваясь, она направилась в сторону моря, отдалившись метров на двадцать от берега.

Единственная шлюпка! Приемник! Передатчик! Все рушилось. Все планы летели к черту...

Наука говорит, что механизм действий человека сложен: глаз видит, в мозгу начинает что-то шевелиться... Только после некоторой бюрократической проволоки мозг дает команду нервной системе — и человек начинает действовать.

Но иногда возникает и другой вариант, вариант-молния, когда человек действует инстинктивно, не теряя ни доли секунды. Тогда только глаз — и действие без каких-либо промежуточных инстанций. Глаз все видел, но шевелить мозгами было некогда. Да если бы мозги даже стали работать, все сложилось бы значительно хуже. Я бы не сделал того, что последовало дальше.

Сбегая вместе со всеми с косогора, ни о чем не думая, я на ходу сбросил ватник. Вот мы уже бежим по шуршащей гальке. Вода. Молниеносно сняв просторные, разношенные сапоги и роскошным жестом отбросив портянки, я прямо с хода бултыхнулся в воду.

Первое впечатление — ошеломляющее. Трудно о нем рассказать, это нужно испытать самому. Вероятно, такое испытываешь, упав в кипяток. Меня ошпарило холодом. Температура воды была около семи градусов. Я энергично поплыл к шлюпке — единственное, что оставалось делать. Ободдряющие крики с берега перемежались с бесплатными советами, на недостаток которых жаловаться не приходилось. Но мне было не до советов.

Сказать «было холодно» — значит ничего не сказать. Холод проникал буквально до мозга костей.

Вот и злополучная шлюпка. Залезать надо только с кормы, это и удобней и легче. Легче, но не легко. Ватные штаны намокли и стали пудовыми. С трудом переваливаюсь через борт. Вытащить весла дело одной минуты, и вот я уже подгребая к берегу.

Оваций не надо! Босиком по камням, да еще в пудовых штанах не очень-то побежишь. Орошая каменистый грунт острова потоками стекавшей с меня воды, степенным шагом я проществовал в дом.

Скуповатый начальник превзошел самого себя, выдав для обогрева бутылку коньяку. Тут же мне помогли и переодеться и выпить. Я был героем дня.

На следующий день началась работа, хорошо знакомая по предыдущей зимовке. За это время мало что изменилось. Как и за год до этого, стоял большой дом, два склада, маленькая банька на косогоре, магнитный павильон. Немного поодаль располагалось здание радиостанции.

Еще издавек на подходе бросались в глаза две огромные мачты. Такие мачты строились на заре развития радиосвязи. Три бревна почти в обхват, соединенных между собой длинными болтами, уходили на шестидесятиметровую высоту. Три яруса оттяжек из стальных тросов толщиной в руку, изоляторы величиной с детскую голову — все было сделано добротнo, фундаментально, но страшно громоздко.

Одну треть дома занимала радиорубка, две другие — машинное отделение. Кроме того, имелась пристройка, где находилась большая аккумуляторная батарея. Пятикиловаттный передатчик стоял посредине рубки. Передатчик был искровым, и, несмотря на пятикиловаттную мощность, дальность его действия простиралась на триста—четырееста километров, попросту говоря — хватало его лишь до Югорского Шара, не далее.

Пуск передатчика был целым событием. После звонка к механику в соседнем помещении начинался запуск двигателя. Оперирuя сжатым воздухом и ловко попадая в такт, механик должен был раскрутить и запустить двигатель. Иногда это сразу не удавалось. Воздух расходовался без толку, и двигатель не желал идти. Тогда объявлялся аврал: все бросали работу, спешили в машинное отделение, как мухи облепляли большой маховик и приводной ремень. Общими усилиями двигатель заставляли работать. Шурша и шлепая, скользил ремень, накаливалась контрольная лампа. Пропустив мимо ушей нелестные замечания, вспотевший механик благодарил за помощь.

Теперь наступал мой черед: осторожно выводился пусковой реостат и, взревев трубным звуком, как разъяренный слон или носорог, начинал работать пятикиловаттный умформер. Терпеливо и не торопясь предстояло вывести реостат. Поспешность могла привести к плачевным результатам.

Все это очень осложняло нашу работу, во многом делая ее неполноценной. Во время навигации одновременно несколько кораблей тщетно звали нас. Но, связанные по рукам и ногам ограниченными возможностями аппаратуры, мы не могли отвечать с необходимой быстротой. Приемник тоже не радовал — все же потрясающие эбонитовые плиты, увенчанные кристаллическим детектором.

Грохочущий двигатель, от которого мелкой дрожью трясся дом, визжащий умформер, огромные мачты и камушек с пружиной — полярная станция Маточкин Шар с громом и треском посылала в эфир радиоволны.

Пуск станции даже в лучшем случае занимал не менее пяти минут, и в результате этой кутерьмы перекрывалось, как уже сказано, расстояние не превышавшее четырехсот километров. Конечно, мы знали, что теоретически для радио нет границ, но, пока радисты соседних станций слушали нас на детекторных приемниках, границы не только практически существовали, но и проходили где-то совсем рядом. Такова была техника радиосвязи в те годы.

И вот рядом с этой заслуженной аппаратурой, сделавшей эпоху в радиосвязи, появилась новая. На столе разместился небольшой передатчик. Значительно превышая возможности старой аппаратуры, он требовал мощности в тридцать три раза меньшей. Пять киловатт — и сто пятьдесят ватт. Было над чем задуматься от такого сравнения. По соседству с эбонитовым сундуком-приемником поместился новый, изящный коротковолновый приемник.

Мои товарищи по зимовке не интересовались радиотехникой. Первое время я пытался было просвещать их, но вскоре перестал. Поэтому, когда все было установлено и проверено, я предпочел действовать в одиночестве.

Наступили минуты, мысленно пережитые уже много раз. Минуты, завершавшие многомесячные заботы, волнения, хлопоты, неприятные разговоры с людьми, которые на всякий случай говорили «нет». Все было позади.

Но каков будет результат? Еще никто не слушал здесь короткие волны. Еще никто не посылал их из Арктики.

Медленно поворачиваю ручки приемника, тщательно прослушивая диапазон. Скороговоркой бубнят правительственные станции. Вот легкая музыка из Голландии. Очень хорошо, но это не то, что надо. Нужно найти место, где, сгрудившись кучей, сидят любители.

Приемник работал отлично. Опасения, что эфир в Арктике особенный и короткие волны проходить не будут, развеялись мгновенно.

Как и следовало ожидать, на поиски радиолюбителей пришлось потратить некоторое время. Наконец энтузиасты найдены. После рабочего дня, наспех пообедав, провожаемые неодобрительными взглядами жен и домочадцев, но презрев все на свете, они устремляются к самодельным передатчикам и приемникам. Любители будут сидеть до глубокой ночи, слушать, звать, опять слушать. Они знают: такие же одержимые сидят во всех уголках земного шара. Место встречи для всех — мировой эфир, и встречи эти носят порою неожиданный характер. Особый спрос на экзотику. Хорошо, сидя дома, зацепить Огненную Землю, Тасманию или какой-либо коралловый остров.

Первая коротковолновая радиостанция в Арктике, несомненно, должна была стать для любителей объектом яростной охоты. Позывной станции пришлось изобретать самому. Пользоваться официальным позывным Маточкина Шара не представлялось возможным, так как коротковолновая установка была опытная и нигде не зарегистрированная. Решил для позывного взять буквы «ПГО» — полярная геофизическая обсерватория.

«Всем, всем, всем — я ПГО, кто меня слышит, отвечайте».

Все действовало отлично, станции слышны, оставалось лишь терпеливо ждать. Однако первый ответ пришел не сразу. Только после нескольких вызовов

я услышал свой позывной. Кто-то меня звал. Ошибки быть не могло, звали «ПГО», но слышно было отчаянно слабо.

От радости я так разволновался, что принял лишь половину позывного. По этому пойманному мною огрызку можно было понять, что это советский радиолюбитель. Увы, сколько я его ни звал теми двумя буквами, которые удалось принять, он больше не ответил. Экая досада! Первый блин получился комом.

И все-таки я чувствовал себя обязанным разыскать этого полуопознанного мною корреспондента. Тут уже дело не ограничивалось привычными радиолюбительскими интересами. Речь шла о самой первой радиосвязи на коротких волнах из Арктики. Нужно было приложить все усилия, чтобы разыскать этого первого корреспондента.

Послал радиogramму в редакцию радиожурнала. Изложив все происшедшее, попросил помочь в розысках. Через неделю пришел ответ. Редакция установила, что моим собеседником был бакинский радиолюбитель.

Ну что ж! Это было хорошим и воодушевляющим началом: Новая Земля — Баку!

По вечерам я «пропадал» в эфире, и вскоре появилась куча знакомых во всех странах Европы. При повторных связях мы встречались уже как старые друзья. Любителям интересно было работать с самой северной, по тем временам, станцией в мире. Спрос на меня был велик. Особых разговоров на отвлеченные темы вести не полагалось. Мы сообщали друг другу основные данные о слышимости, мощности передатчика и о своем местонахождении.

Все проведенные связи подробно записывались в тетрадь для Нижегородской радиолaborатории, и материал об условиях прохождения коротких волн в Арктике накапливался. Через полгода на коротких волнах заговорил остров Диксон. Радисты Диксона попросили послушать собранный ими самодельный любительский передатчик. Мощность его была всего лишь десять ватт.

Нашего полку прибыло!

Я горячо поздравил далеких друзей. Мы долго беседовали и восхищались нашими молниеносными ответами. Ни тут, ни там не надо было запускать огромные двигатели. Пуск станции требовал нескольких секунд. Были довольны мы, радисты, а в особенности механики. Теперь они могли спокойно отдыхать: мы обходились без них.

Регулярная радиосвязь с Диксоном на коротких волнах представляла особый интерес. И хотя это и не входило в наши прямые служебные обязанности, мы точно соблюдали нами же установленные сроки, неоднократно устанавливая связь с многими советскими коротковолновиками. Времени для этого хватало: полярная ночь длинная...

За время полярной ночи вокруг дома радиостанции образовался сугроб выше крыши. Между домом и сугробом — коридор, ходить по которому во время сильного ветра было на редкость неуютно. Бешено, как в аэродинамической трубе, здесь крутился снег. Несколько секунд, и карманы, лицо, валенки — все забивалось мельчайшим снегом. Но зато как хорошо в тихую, лунную ночь! В двух шагах от дверей начинаются крутые ступеньки, вырубленные в снегу после недавней пурги. После долгих часов, проведенных в накуренной радиорубке, хорошо подышать морозным воздухом. Берег полого спускается к проливу. От жилого дома видна только крыша и трубы. Далекие горы с сияющими от лунного света вершинами, черные провалы пропастей, мерцающее северное сияние и видимость на десятки километров — все это походило больше на декорацию шикарной оперной постановки, чем на всамделишную природу.

В эти сияющие дали ушли мои радиоволны. Вероятно, московский коротковолновик, с которым я только что разговаривал, звонит моей матери по домашнему телефону и передает мой привет.

Радиолюбитель в Париже долго допытывался, лежит ли у нас снег, холодно ли и чем мы занимаемся? Сейчас, видимо, вся семья парижанина слушает его рассказ о радиосвязи с самой северной в мире радиостанцией.

Прошли долгие месяцы полярной ночи, и настала весна. Мои донесения об установленных дальних связях посылались начальству в Архангельск и в Нижегородскую радиолaborаторию. Особой признательности и восторгов со стороны начальства не каждый раз дождешься. Не ожидал их и я, памятуя о настороженном, а подчас и просто недружелюбном отношении к нашей затее.

Мои донесения читались, обсуждались в Архангельске, и, конечно, там нашлись толковые, инициативные люди, которые построили самодельный коротковолновый передатчик. Радиограмма с просьбой прослушать работу новой станции и установить с нею связь была для меня лучшей наградой. Эта радиостанция стала моим вторым постоянным корреспондентом, и вся служебная переписка отныне, минуя излишнюю переработку на промежуточной станции Югорский Шар, через его голову шла непосредственно в Архангельск.

Значительное ускорение приема и передач, экономия горючего у нас и на Югорском Шаре были первыми ощутимыми результатами применения новейшей по тому времени техники. Так, сорок с лишним лет назад в Арктике появились короткие волны, и я горжусь тем, что имел к этому некоторое отношение.

(Окончание следует)



АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ

★

НОВЫЕ СТИХИ

ОДА ДУБУ

Свитезианские восходы.
Поблескивает изречение:
«Двойник-дуб. Памятник природы
республиканского значения».

Сюда вбегал Мицкевич с панною.
Она робела.
Над ними осыпался памятник,
как роспись лиственно и пламенно,—
куда Сикстинская капелла!

Он умолял: «Скорее спрячемся,
где дождь случайней и ночнее,
и я плечам твоим напрягшимся
придам всемирное значенье!»
Прилип к плечам сырым и плачущим
дубовый лист виолончельный.

Великие памятники Природы!
Априори:
екатерининские березы,
бракорегистрирующие рощи,
облморе,
и. о. лосося,
оса, желтая, как улочка Росси,
реставрируемые лоси.

Общесоюзный заяц!
Ты на глазах превращаешься в памятник,
историческую реликвию,
исчезаешь,
завязав уши, как узелок на дорогу великую.

И, как Рембрандты, живут по описи
35 волков Горьковской области.

Жемчужны тучи обложные,
спрессованные рулонами.

Люблю вас, липы областные,
и вас люблю, дубы районные.

Какого званья небосводы?
И что истоки?
История ли часть природы?
Природа ли кусок истории?

Мы — двойники. Мы агентура
двойная, будто ствол дубовый,
между природой и культурой,
политикою и любовью.

В лесах свисают совы матовые,
свидетельницы Батория,
как телефоны-автоматы
надведомственной категории.

Душа в смятении и панике,
когда осенне и ничейно
уходят на чужбину памятники
необъяснимого значенья!

ОСЕННИЙ НАБРОСОК

Что-то есть в наивном «газике»
под брезентовой навеской
от пропыленных Средней Азией
первых шлемов конармейских.

В византийских темных красках
вечереющего лета
«газик» вспыхнет и погаснет,
и чего-то нету, нету.

ДВЕ СЕКУНДЫ 20 ИЮНЯ 1970 ГОДА

Посвящается «АТЕ-36-70», четырехколесному другу
поэта Олжаса Сулейменова.

1

Олжас, сотрясенье — семечки!
Олжас, сотрясенье — семечки,
но сплевываешь себе в лицо,
когда «36-70»
летит через колесо!
(20 метров полета
и пара переворотов.)

Как: «100» при мгновенье запуска,
сто километров запросто.
Азия у руля.

Как шпоры, вонзились запонки
в красные рукава!

2

Кто: тени Плейбоя и Корана,
звезда волейбола и экрана,
печальнейшая из звезд.
Тараним!
Расплющен передний мост.
И мой гениальный мозг
впечатан в металл, как в воск.

Как над «Волгою» милицейской
горит волдырем фонарь,
так кумпол мой менестрельский
над крышей цельнолитейной
синим огнем мигал.
Из смерти, как из наперстка...

Выдергивая, как из наперстка
защемленного меня,
жизнь корчилась и упорствовала,
дышала ночными порами
вселенская пятерня.

Я — палец ваш безымянный
или указательный перст,
выдергиваете меня вы,
земля моя и поляны,
воющие окрест.

Звезда моя, ты разбилась?
Звезда моя, ты разбилась,
разбилась моя звезда.
Прогнозы твои не сбылись,
свистали твои вестя.
Знобило.
Как ноготь из-под зубила,
синяк чернел в пол-лица.

3

Где: в мраке, пропахшем кошмами,
в степи, за жилой чертой.
Когда: за секунду до космоса,
в секунде от жизни живой.

Бедная твоя мама...
Бедная твоя мама
бежала, руки ломала:
«Олжас, не седлай «АТЕ»,
сегодня звезды не те.
С озер не спугни селезня,
в костер не плескай бензин,
«АТЕ-36-70»
обидеться может, сын!»

(Потом проехала «Волга» скорой помощи,
 еще проехала «Волга» скорой помощи,
 позже
 не проехали из ОРУДа,
 от пруда
 подошли свидетели,
 причмокнули: «Ну, вы — деятели.
 Мы-то думали — метеорит».
 Ушли, галактику поматерив.
 Пролетели века
 в виде лебеда-чужака
 со спущенными крыльями, как вытянутая рука
 официанта с перекинутым серым полотенцем.
 Жить хотелось.
 По телику
 в ту ночь играли бразильцы
 (с ФРГ или с ЦСКА),
 их носилками выносили,—
 в замедленном дубле,
 вроде моего стиха,
 нога и щека
 опухли,
 потом прилетели испуги
 с пупырышками и в пухе.)

Уже наши души — голенькие.
 Уже наши души голенькие
 с крылами, как уши кроликов,
 порхая меж алкоголиков
 и утренних крестьян,
 читали 4 некролога
 в «Социалистик Казахстан»
 красивых, как иконостас...

А по траве приземистой
 эмалью ползла к тебе
 табличка «36-70».
 Срок жизни через тире

4

Враги наши купят свечку
 Враги наши купят свечку
 и вставят ее в зоб себе!
 Мы живы, Олжас. Мы вечно
 будем в седле!

У жизни есть вход и выход.
 Но мы через выход — вошли.
 И всем разъясним, кто выкатил
 испуганные шары:
 «Не с мессианской звезды мы,
 не из Пречистой Девы,
 не Марса к Земле десант —
 мы сами себя возвестили,
 разбили, родили из чрева
 «АТЕ-36-70»!

Мы дети «36-70»,
не сохнет кровь на губах,
из бешеного семени
родившиеся в свитерках.

С подачи крученые все мячи,
таких никто не берет.
Полетный круговорот!
А сотрясенье — семечки!
Вот только потом рвет.

5

Что это, что это показалось?
Что это? Что это? Показалось?
Олжас!
На облаке покачалось,
жалей, глядит на нас.
Лежала святым духом,
разодрана, как стручки,
железная мертвая сука.
Внутри живые щенки.

Горизонтальная Азия,
ленточное стекло,
беды мои перевязывала.
Ее ведь тоже трясло.
Сквозь яблоко, сводящее скулы,
сквозь утро, сквозь ткань листа
сейсмической арматурой
просвечивала Алма-Ата.
Летала между бетонами
тополевая телепатия,
ах, город антиказенный,
где можно лежать на газонах
и женщины шевелят тюльпанами.
И супермены из пельменной
зовут: «Отметим, Сулейменов!»

А на автодорожном сервисе,
меж ужаса и канистр
«АТЕ-36-70»
ржет, как абстракционизм.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Академик И. И. МИНЦ

★

БЕСЕДЫ С А. М. ГОРЬКИМ

(Крым. Тессели. Декабрь 1935 года)

Мне уже приходилось писать о происхождении этих записей¹. А. М. Горький был инициатором и одним из членов Главной редакции «Истории гражданской войны». Как ответственный секретарь Главной редакции, я часто бывал у Алексея Максимовича, нередко проводил многие недели в его доме, особенно на даче под Москвой и в Крыму, и мог наблюдать организацию его труда.

Рабочий день Горького был предельно насыщен и также предельно организован. Вставал он рано — часов в шесть или чуть позже — и к восьми утра выходил в столовую, завтракал с членами семьи. В 8 часов 30 минут он уходил к себе в кабинет, где работал до 13.30. Это были часы, которые он сам называл «мое время». Никого к нему не пускали, к телефону не звали. Как правило, в это время он работал над своими произведениями.

После обеда — скорее его можно назвать вторым завтраком — Горький отдыхал, но он никогда не ложился, а оставался за столом около часа. Для меня, впрочем, как и для всякого, кому посчастливилось оставаться у Горького, это были самые счастливые минуты: он курил и медленно, спокойно рассказывал о своей жизни, часто и помногу дополняя свою биографию, известную в литературе, о многочисленных встречах с литераторами и политическими деятелями, о своих литературных замыслах, для которых он просил подобрать ему материал.

Не записывать эти беседы было бы большой ошибкой.

Беда, однако, состояла в том, что Горький не любил, когда при нем записывали. А рассказов было так много и касались они столь разнообразных вопросов, что и с хорошей памятью трудно было их все запомнить.

Но тут, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло... Отдохнув какой-нибудь час за беседой, Горький уходил в сад, где занимался физическим трудом — собирал валежник для костра или колол выветрившийся известняк на щебенку. Принимали в этом участие все находившиеся в доме Горького, я же часто освобождался от работы из-за больной ноги и пользовался каждым случаем для записи бесед.

После вечернего чая, около пяти часов и до восьми (когда начинался обед), Горький отвечал своим многочисленным корреспондентам, читал рукописи, принимал посетителей. Если не было приемов после обеда, то Горький играл в карты до последних известий по радио. Нередко и в эти часы Горький опять рассказывал. Короткие беседы бывали и по утрам, перед тем как он уходил к себе работать. Утренние и вечерние беседы я записывал сразу после их окончания.

Привожу записи с 9 по 14 декабря в Крыму (Тессели), имеющие отношение в основном к Февральской революции 1917 года.

¹ «Литературная газета», 1 мая 1968 года. «В лаборатории А. М. Горького».

9.XII.35 г.

— Эх! Неловко говорить. Сколько раз мне в жизни приходилось наблюдать, что нет у людей чувства жизни. Всегда им хочется что-либо добавить от своей мудрости. Говорил и Леониду Андрееву по поводу его «Тьмы». Говорил и Куприну по поводу его «Морской болезни».

Вот и сейчас испортил Довженко сюжет в своем «Аэрограде»... Нет, картина очень хорошая, от нее остается сильное впечатление. Но сюжет, из которого выросла картина, по-своему передан... Как было в самом деле? Мне рассказывал начальник «Колымы» Берзин со своими ребятами. В Сибири жило двое охотников за «котами». Стреляли, ловили молодых тигрят и продавали Гагенбергу. Один нажил дом, скот; лошади появились у него, а у другого ничего. Все же дружили. Во время гражданской войны вместе партизанили, японцев били.

После нэпа разошлись: один, естественно, пошел направо, другой — налево. Первый связался с антисоветскими группами. Кулак ведь... Поймали, стали судить, приговорили к расстрелу. Но тут вмешался его друг и стал просить: уступите мне за мои заслуги. Помилуйте его... Ну, учли заслуги и помиловали кулака.

Прошло несколько лет. Подошла коллективизация. Кто-то из тайги стал бить колхозников. Узнали, что это помилованный кулак-охотник: обосновался где-то в тайге, создал отряд, построил с помощью японцев бетонные укрепления, обзавелся парой пушек.

Пришли колхозники к его другу и говорят: вот мы его из-за тебя помиловали, а он что выкидывает? Что теперь будешь делать? Отвечай за друга...

Собрал охотник отряд из бывших партизан, гольдов и двинулся в тайгу. Пришел и говорит другу: разошлись с советской властью, неумоги, принимай нас...

На радостях выпили, а ночью красные перевязали белых и доставили в колхоз.

Ладно, говорят колхозники, спасибо за работу, а друга-то мы расстреляем.

— Нет, уж дайте мне с ним поговорить.

Взял ружье и ушел с другом в тайгу. Скоро раздался выстрел, и охотник вернулся из тайги.

— Где же друг твой?

— Умер.

— Как?

— Да так. Поговорил с ним... Из нас двоих один должен умереть... Вот тебе ружье, стреляй в меня... А он мне и говорит: «Да где мне...» — «Ну, ладно, буду стрелять я». Так и кончили разговор...

Вот это показать. Враг не захотел стрелять, ибо почувствовал, что за спиной друга народ. Убьешь одного, а на его место станут миллионы. А я обречен, все равно пропаду.

Вот этой обреченности врагов народной власти не сумели показать...

10.XII.35 г.

Вечером продолжался разговор о бандитском движении, о корнях и причинах махновщины на Украине, антоновщины на Тамбовщине. Алексей Максимович спрашивал, что написано об этом, просил назвать книги.

— Негусто, — говорил он, выслушав мое сообщение, — негусто... Что же, мастера из цеха историков считают, что это прошлое и в будущем не повторится нигде... Да, верно: писатели не обошли этой темы... Но их влечет экзотика. Ведь вот как разрисовали Махно! Пожалуй, превратят его действительно в героя. Того и гляди уговорят выпустить о нем книгу в серии «Замечательных людей».

Немного подождя, Алексей Максимович продолжал:

— Вы, видно, сейчас подумали, что Горький опять сел на своего конька и заговорил о трудностях перестройки крестьянства... Ну, нет, это дело прошлое,

а ведь предстоит вот какую глыбу перевернуть...— Тут Горький указал на Азию, Африку и Южную Америку на большой карте, занимавшей часть стены...— Кроме нашего опыта по организации крестьянства, другого нет... Разве что империалисты переделают, но при этом добрую половину перебьют и покалечат... Встретятся и там знакомые нам колебания, шатания, контрреволюционные попытки. Надо изучать механизм этой борьбы, классовую расстановку, формы и методы привлечения на свою сторону...

Не думают же историки, что империалисты сами возьмутся за винтовки. Им нужны массы, и кроме как на кулаков, если говорить о массах, им не на кого рассчитывать. Надо будет сказать в ЦК, что историки напрасно считают, будто не следует изучать врага. Напротив, врага надо показывать в натуральную величину...

Дальше Алексей Максимович стал спрашивать о бандитском движении на Украине.

— Вы не знаете, кто такой Палий, руководитель бандитского налета на Украину в 1922 году?

— Не знаю, хотя наш корпус Червоного казачества разгромил его банду.

— Видите ли, ко мне на Капри приезжал некий Палий. Он работник «Прогресу». Рекомендовал мне его один из редакторов львовского «Наукового виступника». Гнатюк, кажется? Говорили, что он хорошо знает карпатских крестьян. Палий оказался до тошноты скучным человеком, всезнайкой. «Та не так», — то и дело говорил этот неумный человек, прерывая своего собеседника. Возможно, он подвизался среди петлюровцев.

Петлюру я впервые встретил у Грушевского, когда последний вернулся как будто из ссылки. Мы задумали украинский сборник и обратились к Грушевскому. На квартире у него мы застали четырех человек, в том числе Петлюру и, кажется, Голубовича. Впрочем, о последнем могу и ошибиться. Петлюра тоже неумный человек, все говорит невпопад. Неладный какой-то...

11.XII.35 г.

— Владимир Ильич называл — и правильно — Шульце-Геверница идеологом капиталистического общества, а Шульце говорил о Ленине как о величайшем уме человечества. В 1923 году он ко мне приходил из Фрейбурга. Тридцать два километра пешком. Все жаловался на тяжелую жизнь профессоров. Как вы думаете? Кто у кого позаимствовал некоторые взгляды? Гильфердинг у него? Гильфердинг писал, кажется, позже.

11.XII.35 г. 2 часа дня.

— Опять клад нашли. Заметьте, нигде нет такого обилия кладов, как в России. Есть даже несколько руководств по кладоискательству. Тому много причин: через Россию шли торговые пути. Через эти огромные ворота из Азии в Европу вторгались бесчисленные орды... Часто менялись властители. Население привыкло прятать и хранить добро...

Любопытно, что привычка хранить вещи осталась и в эпоху банков и кредита. В 1919 году мне приходилось во главе комиссии обследовать Лиговские склады Кокорева. Чего только там не было! Помню, однажды нашли кованый медью ларец, а в нем вещей, по специальной оценке, тысяч на триста.

Многие вещи пролежали десятки лет. В двух комнатах хранилась огромная венецианская люстра, видимо, по особому заказу. Ее не выдержал бы и Большой театр.

...В 1879 году во время турецкой войны судили трех интендантов — Гренера, Когана и Горовица. Первых двух сослали, а третьего посадили в тюрьму на год и три месяца, что ли? Александр III в 1883 году пересмотрел дело; говорят, Горовицу предложили даже титул барона, но он отказался и уехал под Полтаву. Вещи его пролежали в складе до 1920 года. Сколько денег за одно хранение уплачено!

Была такая баронесса Иксуль Варвара Ивановна. Дружила с министрами, помогала революционерам. Когда выслали Михайловского, она за него ходатайствовала. У этой баронессы был литературный салон. Собирались все «ские»: Мережковский, Минский, Готфрид Бульонский... Потом Розанов, Гиппиус. Как-то ей сказали, что по истории искусств у баронессы должно быть два рисунка Клодта. Где они?

— В складе, — ответила Варвара Ивановна.

Эта самая подруга Дурново после революции жила в Доме писателей — Блок, Ходасевич, Гумилев. Жила впроголодь. Ей часто говорили: ведь у вас вещи, продайте и живите.

— Нет уж, как-нибудь здесь перемучаюсь, а вот за границей поживу...

Представьте, ее выпустили не то в двадцать первом, не то в двадцать втором году. Ну и живет за границей. Что с ней — не знаю.

11 декабря. Вечером.

— Вы говорили мне, что в иностранной литературе отрицают не только роль, но и участие большевиков в Февральской революции 1917 года. Знаю, слышал. Больше других упражняются в сих делах американцы. Да откуда им знать-то... Мне пришлось быть в Америке во время первой революции, после неудачи декабрьского восстания. Ездил деньги собирать на революцию. Там, в Америке, не хотели знать партий и с удивлением слушали о внутрипартийной борьбе... Большевики, меньшевики да еще какие-то эсеры... Американцы всех зачислили по ведомству анархистов... Я писал об этом в своем отчете в ЦК партии... Видели его? Нет? Сейчас достану вам фотокопию. Давайте только послушаем последние известия...

12 декабря. Утром.

Алексей Максимович вручил мне фотокопии письма И. П. Ладыжникову, заведовавшему тогда издательством и книжным складом. Горький приложил к письму Ладыжникову свой отчет о работе в Америке и просил переслать его в ЦК большевиков на имя Никитича — это псевдоним Л. Б. Красина.

— Почитайте. Мне кажется, любопытный штрих нашей партийной работы. В Америке я застал представителей эсеров, в том числе Чайковского. Он выступал на митингах и ругал социал-демократов. Предложили мне работать вместе. Я отказался...

Не знаю, случайно ли, а быть может, с помощью эсеров, но через пару дней после разговора с ними газета «Иордль» поместила статью, в которой доказывала, что я, во-первых, двоеженец и, во-вторых, анархист... Поместили фотографии моей первой жены с детьми, брошенной мною на произвол судьбы и умирающей с голоду... Все кинулись от меня в сторону. Из трех отелей выгнали. В газетах появились статьи с требованием выслать меня...

Алексей Максимович заглянул в фотокопию своего отчета и продолжал:

— Ко мне явился опять Чайковский и спросил, не хочу ли я теперь работать с ними вместе. Я опять отказался. Но второе свидание с Чайковским подсказывало, что эсеры, пожалуй, участвовали в этой кампании клеветы...

Я создал свой комитет. Стал выступать на митингах. На первом же митинге собрали больше тысячи долларов. Выступал в Провиденсе, Бостоне, Филадельфии, разумеется, в Нью-Йорке... В отчете, как увидите, есть перечисление городов и дат. Комитет носил название «Друзья русского народа». В него входил профессор Гиддингс, автор социалистической книги, переведенной на русский язык, профессор Мартэн, социалист-фабианец, и прочие люди — до пятидесяти человек. Деньги пошли в мое личное распоряжение под мою расписку... Стал пересылать в Россию... Чайковский собрал тысяч восемь долларов, а после создания нового комитета решил убраться...

Алексей Максимович ушел к себе в кабинет работать, а я накинулся на его отчет. Письмо оказалось на редкость интересным. Оно нигде не публиковалось. Может быть, оно сохранилось в архиве. Резолюции опубликованы. Надо будет сообщить в ЦК о наличии фотоконии у меня, а это есть подлинный документ. (Теперь оба письма опубликованы в т. 28, М. 1954, стр. 415—419.)

Отчет А. М. Горького прежде всего дает представление о работе его в Америке. Очень много сочных характеристик об общем положении и об американских социалистах. «Здесь, знаете, до такой степени Америка, — писал Алексей Максимович, — что никто и ничем не стесняется. Даже здешние социал-демократы — народ очень строгий — того и гляди проглотят вместе с сапогами. Те же, которые получше — не американцы, — ничего не умеют делать». Далее Горький рассказывает в письме-отчете о взаимоотношениях с местными социалистами. «Сейчас все социалисты с Моррисом Хилквитом во главе, — пишет Горький, — требуют, чтобы я всюду выступал как социалист непременно!

Я спрашиваю их: а буржуа денег давать будут? Нет, говорят, не будут. «Так я не выступлю лучше». — «А мы вас в газетах наших ругать будем». — «Тогда буржуа еще больше мне дадут, ибо им ясно будет, что я не социалист, а жаждущий политической революции — и больше ничего. Ругань же вашу — терплю. То ли я терплю!»

Хохочут и говорят, что я становлюсь американцем».

Письмо Горького пополняет его биографию: тут указаны не только города, где он выступал на митингах, но и даты митингов и т. п.

Но самое сильное впечатление у меня осталось от письма, когда я читал о связях Горького с партией.

«В конце концов, — заканчивает он свой отчет, — я убежден, что достану много денег — вот главное.

А вас прошу — пожалуйста, извещайте вы меня о том, что делается в России! Просто беда, я как слепой! Некоторые ценные американцы отказались от участия в комитете только потому, что собирается какая-то Дума. Я им, чертям, должен изъяснять, что это не Дума, а — дрянь. А газеты мне присылают через час по чайной ложке! А журналов я не имею. Что делается в партии — не знаю».

Еще сильнее впечатление о связи Горького с партией я получил от письма И. П. Ладыжникову. Там говорится:

«А Р. П. напрасно обижается — сказать ему то, что я сказал, я имел право. А он — если он товарищ не на словах — должен был бы объяснить мне, в чем дело. Партийная дисциплина для всех одинакова. Если я подчиняюсь ей — почему же не подчиниться и Абрамову, хотя бы он был гений?»

Надо будет выяснить, кто такой Р. П. Судя по всему, он работал в издательстве с Ладыжниковым.

12 декабря. 2 часа 30 минут.

— Прочли отчет? Что скажете?

Я поделился своими впечатлениями и добавил: уж очень хорошо вы показали ханжество американцев, отравившее даже социалистов. Очи горе возводят, а руками по земле шарят...

— Да, моралисты они... Американцы против многих партий в России. И в политике у них — как на скачках: один из двух должен выиграть, и только. Вот так их двухпартийная система превращается по сути дела в однопартийную: хочешь не хочешь, а выбирай только одну из двух.

Эти моралисты не хотят знать и признавать партий в России: а вдруг и еще среди руководителей окажется двоеженец и анархист...

Алексей Максимович вынул из мундштука потухший окурочек, вставил новую папиросу. Я, как это часто повторялось, поднес горящую спичку. Мне нужны были обгоревшие спички, чтобы незаметно записать на спичечном коробке фамилии, даты.

Закурив, Алексей Максимович оперся щекой на левую руку, между пальцами которой дымилась папироса. Это была характерная для Горького поза. Таким он снят на фотографии, и таким он нарисован П. Д. Коринным.

— А вообще американцы,— говорил Алексей Максимович,— хотели революции в России. Она открывала им доступ к тамошним рынкам. Надеялись, что можно будет отодвинуть английских и французских соперников. Боялись, что Япония после победы над Россией продвинется в Сибирь...

Конечно, тогдашняя Америка не чета современной. Тогда американцы были должниками Европы, а после первой мировой войны очень разбогатели и превратились в мировых кредиторов. Все им должны деньги. Но и тогда они уже нацеливались на новую добычу...

Я вставил реплику:

— Вы в своем отчете просите ЦК выслать материал по Сибири...

— Вот именно. В Америке много писали, что Сибирь — без настоящего хозяина. Им она нужна была не столько как рынок, сколько чтобы не позволить Японии укрепиться... Да и Россию можно было ослабить на Дальнем Востоке... Тихий-то океан они считали своей вотчиной... Они бы охотно и Колумба превратили в американца...

Задумчиво поглядывая в окно и постукивая пальцами правой руки по столу, Алексей Максимович, не меняя позы, тихо, с остановками продолжал свой рассказ:

— Англосаксы давно зарились на Сибирь... Знаете ли вы, что Джон Милтон писал работу о Сибири? Я об этом узнал еще перед войной... Мне Анучин сообщил, что Крижанич жил и писал в Сибири. Я ему шутя ответил: может быть, в вашей бесподобной Сибири жили или писали о ней Данте или Милтон? Оказалось, что Милтон действительно еще в XVII веке написал «Краткую историю Московии и других менее известных стран, лежащих на восток от России, даже до Китая». Вот когда уже интересовались Сибирью! Любопытно, что Яков I, король Англии, утвердил план интервенции на север России, чтобы из «сострадания к русским», как он писал, оккупировать весь восток России... [Письмо А. М. Горького к В. И. Анучину от 27 июня (10 июля) 1912 года опубликовано в т. 29, М. 1955, стр. 247.]

— Вы хотели рассказать, почему теперь в США отрицают роль большевиков в Февральской революции,— напомнил я.

— Помню, знаю об этом... Сами американцы, по-моему, не знали и не понимали Февральской революции. У них были учителя: Керенский, Авксентьев... Окопалась в Америке целая куча меньшевиков — Далин, Абрамович и другие «гоц-либер-даны»... У меня в «Климе Самгине» И. Дронов называет их «скромными учениками немецких ортодоксов предательства...». Куда там скромные! Перещеголяли немцев. Все эти деятели потерпели крах и вымещали свою злобу на истории: без счета лгут о большевиках — не было, мол, их в революции, не видели их... А как же видеть-то? Через форточку, что ли? Это был их единственный плацдарм для наблюдения со стороны за революцией...

Лгут, запоздалые мстители...

...Я сейчас как раз добрался до февраля в «Климе Самгине». Очень хорошо помню... Видел всех этих «форточных революционеров». Встречал на разных собраниях... Особенно часто у Леонида Андреева. Этот совсем свихнулся. Ораторствовал в своей столовой, куда созывал гостей, благо продукты доставал... Все твердил, что из жизни выход один — в смерть...

Леонид Андреев сам меня просил привести ему большевиков. Приходили. Говорили мало, но ясно. У них одних было понимание, что делать... Были на собраниях и многие из «либер-гоцов». Они тускнели и теряли красноречие после жестких, прямых замечаний большевиков. Как же они могут говорить теперь, что большевиков не было в революции? Большевики их били и до революции, да как...

Пойду к Самгину... Скажите, могли бы вы узнать у физиологов, что чувствует человек, когда стреляет себе в рот? Что происходит с его головой? Дергается, что ли? Хочу заставить Самгина покончить с собой таким способом...

— Надо бы спросить у Алексея Дмитриевича Сперанского, — посоветовал я.

— Умница он. Люблю его слушать... Спрашивал я его, но не понял ответа...

Он поначалу отделялся шуточкой: еще-де не пробовал... А потом стал говорить не столько как физиолог, сколько как психолог... Хорошо бы посоветоваться с хирургом...

12 декабря. Вечером.

Играли в карты. Как обычно, сыграли двадцать партий, но почему-то быстро кончили. Помешивая ложечкой в стакане чая, Алексей Максимович опять заговорил о Февральской революции. Видимо, он об этом пишет в «Климе Самгине». И просьбы его о материалах вертятся вокруг этой же проблемы, — я едва успеваю доставать книги.

— Были перед революцией собрания и у меня. Бесконечные разговоры, дискуссии, слухи... Многие из моих посетителей все больше считали себя «беспартийными» или, как иные предпочитали себя рекламировать, «внепартийные социалисты». Разговоры, как у обреченных... Чего-то ждут, а дела не делают. В словах ищут спасения... В общем, в этом хаосе мыслей, разговоров, надежд, высказываний казалось, будто все были единодушны: власть надо менять. Но как? Кадетские адвокаты высказывались за «революцию сверху» — удушить Николая II где-нибудь в темном закоулке, как это не раз делалось у Романовых... Другие, которых я видел потом в роли заправил Петербургского Совета, как Скобелев, говорили о народной революции... Но какой-то странной: она не должна трогать войну. Выходило: революция для продолжения войны... Как-то по-кадетски получалось... Вон и у меня Клим Иванович Самгин все философствовал, прислушивался к философским рассуждениям других, а потом поймал себя на мысли, что сам говорит и думает по-кадетски. Вон видите, как оно вышло: начали с Маркса, говорили о классовой чистоте, а на деле сползли к кадетам. Соглашение с буржуазией во Временном правительстве совсем не случайность...

Много было споров. Мои посетители все с ножом к горлу подступали к большевикам: «единодушные», «вместе», «всем народам»... А большевики высмеивали их: «Вместе согласны, но бить вместе, а не идти вместе... а то дойдете до первого переуллка, туда вы и юркнете...»

Приходили ребята с Выборгской стороны. Эти все больше говорили об оружии. Давал им денег, спрашивал: «Где доставать-то будете?» Смеялись в ответ: «Теперь война... Оружия много. Были бы деньги — и пулеметы найдутся...» Хорошие ребята. Были среди них и участники декабрьского восстания в Москве. Опытные. Урок усвоили... Я о них рассказал А. Шляпникову. Меня, признаться, удивило его замечание: «Оружие давать не следовало бы. Боюсь, какие-нибудь горячие головы подстрелят солдата, а царская сволочь это использует и натравит солдат на революционеров. Надо в армии работать, ее переводить на сторону революции...» Думаю все же, что выборгские ребята были правы, доставая оружие. Мы в Москве в декабре 1905 года тоже работали в армии мало, но все же добились нейтрализации гарнизона, а полицейских и жандармов били из своего оружия. Доставали... Работать в армии надо было — большевики всегда с самого появления партии работали в армии, — но и оружие следовало готовить... Помнится, после революции сам Шляпников признал, что рассуждал неправильно...

13 декабря. Утром.

Вручил Алексею Максимовичу выписки. У меня кончилась работа над первым томом «Истории гражданской войны», где написана была глава о Февральской революции. Сохранилось много выписок из архива и книг. Среди них несколько заметок из книги Суханова о революции 1917 года. Пересмотрев бегло выписки, Алексей Максимович сказал:

— Спасибо, почитаю... Суханова помню. Бывал у меня. Да потом встречались. Вот это и есть один из «философствующих революционеров». Прямо упивался своими философскими построениями... Суханов — щепка в революционном море: его волна вынесла на гребень, а он кричит, что оседлал волну... Но волна перекадилась через гребень и опрокинулась, увлекая щепку, а Суханов поднял вопль: не по праву валюсь, против схемы моей... Скучный... Всезнайка... Читал его, кажется, семь книг. Это как будто первая работа о 1917 году?

— Нет. Рожков еще в 1918 году выпустил книгу об Октябрьской революции, — ответил я.

— Это который Рожков? Что от большевиков перебежал к ликвидаторам?.. Как же так получается: кто революции не делал, а мешал ей, тот о ней стал писать... Негоже это... Надо, чтобы прежде всего писали те, кто делал революцию... Враги революции-то вон сколько наворотили о ней книги! Говорят, в Америке кто-то написал два тома о революции... Налаживайте работу над историей гражданской войны и садитесь за историю революции. Право же, мы вам поможем... Я поговорю в Центральном Комитете партии...

Пойду изучать ваши материалы. Авось подскажут мне, как кончить с Климом Самгиным...

13 декабря. 2 часа 30 минут.

— Станным образом устроена память у человека, — говорил Алексей Максимович, передавая мне мои выписки. — ...Как огонь в костре: поправишь веточку, а он вдруг вспыхнет и все охватит... Изучал ваши материалы — и в памяти вдруг засиял февраль 1917 года. Вьюжный был месяц... У вас тут выдержки из переписки Николая Романова с женой. В каждом письме указана температура — пять — восемь градусов мороза...

Любопытная переписка последнего царя с последней царицей. Жили как на другой планете... Приближается катастрофа.. Земля вздрагивает от внутренних судорог, а они уповают на Распутина... Плохо у нас использована переписка Романовых. Даже писатели, падкие на сенсацию, прошли мимо. Материалы лежат втуне... Ведь вот тоже тема: почему одни факты истории выпирают, кричат, а другие покрываются пеплом забвения. Какие условия выталкивают тот или иной материал, привлекают внимание?..

Прочитав выписку о выпячивании буржуазной литературой Распутина как причины всех зол, Горький говорил:

— Дался им тогда Распутин... Когда его убили, Николай покинул ставку и примчался в столицу. Что это? Революция? Какая там, к черту, революция! Это понимал даже Романов, несмотря на свой кругозор гвардейского полковника... Это какая-то «правая» революция... Все терялись в догадках. Дворцовый переворот? Но монарха не трогали. Предупреждение Николаю II? Но кругом столько предупреждений, что напоминало наступление революции девяносто пятого года... Скорее все-таки акт отчаяния: убрать Распутина, которого считали виновником упорства или, вернее, упрямства Николая II. Переполох был в обществе! Все потирали от удовольствия руки. А «внепартийные социалисты» даже поговаривали, что можно ждать манифеста об уступках, как это было в октябре 1905 года. Любопытно было наблюдать эту возню: бегают, шушукаются, оглядываются, посмеиваются и опять говорят, говорят... Любопытно, что на заводах этого не видно было, затаились. Рабочие как бы вошли в себя... И стачки какие-то пошли особые. Организованные, сплоченные, быстротечные...

Да, вьюжный был месяц февраль... Снегу много, ветру много, стачек много... все к вьюге. Особенно запомнились мне 10 и 14 февраля. Меньшевики все — и партийные и внефракционные, коих куда больше было, — звали к Государственной думе... А как же иначе по их вере: раз революция буржуазная, то Гучкову с Милюковым и руководить... Вы правы: замышлялось что-то вроде повторения

«кровавого воскресенья» 1905 года. По рукам ходила петиция с требованием созыва Государственной думы, указывали маршрут — к Таврическому дворцу. А вокруг дворца, как говорили мне свидетели, войск видимо-невидимо... Все переулки забиты. Могла быть кровавая баня...

А большевики звали отметить 10 февраля — годовщину суда над депутатами-большевиками, сосланными на каторгу в 1915 году. У большевиков со стачкой 10 февраля не вышло, не знаю почему... Вы говорите, что день выбрали неудачно — праздник, получка... Возможно. Но они быстро перестроились — в этом и сказалось руководство, была крепкая организация: предложили участвовать в стачке 14 февраля, но не идти к Думе, не поддерживать ее... Мне рассказывали, что к Таврическому дворцу пошло две-три сотни, а на Невский пробились десятки тысяч. Теперь-то ясно видно, что это была репетиция будущей революции. Но и тогда очень я обрадовался: есть организующая сила... Меня разубеждали, говорили, что я-де поверил ребятам с Выборгской стороны... Особенно петушился Керенский... Весь он вертлявый, как юла... На месте не стоял, мечется по комнате и, как юла, наткнувшись на стол или стул, отскакивал и продолжал вертеться... Но у меня перед глазами стояли знакомые картины: Москва перед декабрем пятого года...

14 декабря. Утром.

— Спасибо, — говорил Алексей Максимович, возвращая мне том Ленина, где опубликованы статьи о революции 1917 года. — Очень все ясно, точно, сжато написано... Конечно, все работы Ленина мы читали, едва они появлялись в печати... Напрасно на Западе говорят, что у нас фетишизируют Ленина, излишне много о нем пишут. Просто не хотят знать, какое место Ленин занимал в нашей жизни... Вот возьмите, например, этот же период революции 1917 года. Откройте вы любую газету — даже «Новое время» или московское «Русское слово», кадетскую «Речь». Я уже не говорю о меньшевиках и эсерах — там просто ежедневно грызли Ленина... Но и буржуазные газеты откликнулись на каждое выступление Ильича... Помню Ленина на Первом съезде Советов в июне в Петрограде. Дня три подряд все ораторы полемизировали с Лениным. Им даже невдомек, что они сами привлекали внимание народа к Ленину... Каждый думал: раз все критикуют Ленина, значит, он что-то знает, правду знает...

Оживившись — это бывало с ним, особенно когда заговаривал о Ленине, — Алексей Максимович говорил:

— Мне рассказывали, что после выступления Ленина на съезде по вопросу о земле в президиум поступило несколько сот записок от делегатов: почему вы против Ленина? разве нельзя принять его предложения?.. Я очень любил Ленина, даже когда он бранил меня: уж очень хорошо разъяснял ошибки, распутывал путаницу... Сознаюсь, что я иногда приходил к Ленину и нарочно заострял, усиливал свои сомнения... После разговора все становилось на свои места... Колебания или неясности как рукой снимал. Он как-то очень плотно мыслил, не оставлял никаких щелей, куда бы могло закрасться сомнение... Так и с его «Письмами из далека». Первое письмо я читал еще в марте 1917 года. Остальные только вчера прочитал — они были опубликованы, как вы говорите, только в 1924 году... Я тогда уже был, видимо, в Германии. Как-то пропустил... Своего приветствия Временному правительству и Исполкому Совета, за которое бранил меня Ленин, я не помню... Написано было по-русски, переведено на шведский, оттуда послано по-немецки в «Нойе Цюрихер цайтунг», а Ленин с чужого языка снова перевел... У меня это бывало...

Улыбнувшись, немного передохнув и снова приняв обычную позу, Алексей Максимович рассказывал:

— Своего приветствия, которое Ленин критикует, я не помню. Прошу вас, разыщите и посмотрите... Если там так написано — а оно, видимо, так и есть, — то Ленин правильно меня критикует...

Я показал Алексею Максимовичу, что Ленин еще 14 (27) марта 1917 года прочитал доклад в Цюрихском народном доме и опубликовал автореферат своего доклада «О задачах РСДРП в русской революции» в газете «Фольксрехт» 31 марта и 2 апреля 1917 года. Там говорилось: «Ленин напал также на социал-пацифистское воззвание Горького и выразил сожаление, что великий художник берется за политику, повторяя предрассудки мелкой буржуазии». На русском языке этот автореферат был опубликован впервые в 1929 году (см. В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 31, стр. 48, 75).

— Немецкие газеты, — сказал Горький, — я не читал, был тогда в России, в Питере. А вот в 1929 году пропустил. А жаль! Раз Ленин дважды об этом говорил, значит, считал важным предупредить против мелкобуржуазных предрассудков... Само обращение к Временному правительству просить мира явно неверно... Я тоже предавался общему телячьему восторгу в начале революции... Казалось, что все трудности позади... Это вот Ленин умел так далеко видеть. Убедительно критиковал... Хочу вам рассказать еще об одной истории, — продолжал Алексей Максимович. — Мне сообщил об этом Глеб Максимилианович Кржижановский. Было это в 1920 году, когда отмечали пятидесятилетний юбилей Ленина. Кржижановский пришел поздравить Ленина. Они вместе отбывали ссылку, были на «ты». Глеб Максимилианович, смущаясь, путая «вы» и «ты», кое-как выжал из себя несколько поздравительных слов. В ответ Ленин махнул рукой: «Это пустяки... А вы скажите, что самое неприятное вы сделали в своей жизни?» Кржижановский, зная принципиальность Ленина, стал перебирать свои «грехи»: «Может быть, вы имеете в виду мое примиренчество после раскола в партии на большевиков и меньшевиков?» — «Я долго не мог вам это простить, — ответил Ленин. — Но это старье быльем поросло...» — «Быть может, речь идет о моем отходе от партии в период реакции?» — продолжал Кржижановский.

Перебрав все свои «грехи» в прошлом, Кржижановский стал припоминать свои ошибки в советское время. Среди других он вспомнил свое предложение в Совнарком о мерах борьбы с топливным голодом. «Вы говорите о недавнем прожестерстве? Я разработал подробную инструкцию о ликвидации топливного кризиса, но оторванную от жизни... На этой инструкции вы положили резолюцию: «Мужик рубит, лошадь возит, а интеллигент плетет... инструкцию». Ленин расхохотался, но отрицательно покачал головой. Заставив Кржижановского буквально выворотить себя наизнанку, Ленин, продолжая смеяться, сказал: «Нет, самое худшее в жизни это то, что вам, как и мне, уже пятьдесят лет»...

— Узнаю Ильича, — говорил Горький, вытирая слезы, выступившие от смеха.

14 декабря. 2 часа 30 минут.

— Все перечитывал Ленина. Как будто вчера написано. Сразу все вспомнилось — и все в другом свете... На встречах у меня перед революцией или у Леонида Андреева помню море слов... Один другого хотел перещеголять все более пышными словесными построениями. Казалось, в этом безбрежном словоблудии хотели потопить свои сомнения, опасения, колебания... Был бы хороший сатирик, зло высмеял бы все это. Но не было. Разве Саша Черный? Вы давеча хорошо прочитали его стихотворение. «Обстановочца» — кажется, так оно звалось. Можно еще его напомнить?

Я начал читать:

Ревет сынок. Побит за двойку с плюсом,
Жена на локоны взяла последний рубль,
Супруг, убитый лавочной и флюсом,
Подсчитывает месячную убыль.
Кряхтят на счетах жалкие копейки:
Покупка зонтика и дров пробила брешь,
А розовый капот из бумазейки
Бросает в пот склонившуюся плешь.

Продолжая читать, я закончил последними строками:

А за стеной жиличка-белошвейка
Поет романс: «Пойми мою печаль».
Как не понять?! В столовой тараканы,
Оставя черствый хлеб, задумались слегка,
В буфете дребезжат сочувственно стаканы,
И сырость капает слезами с потолка.

— Вот именно, — грустно сказал Горький. — И сырость капает слезами с потолка... Саша Черный был талантливым писателем. Помните его стихотворение к столетию Гоголя? Никому не пришло в голову показать героев Гоголя в современной обстановке, а Саше Черному удалось.

...Чичиков в интендантстве...
Петрушка сдуру сделался поэтом
И что-то мажет в «Золотом руне»...
Манилов в Третьей думе заседает...

Здорово! Не правда ли? Он очень хорошо разоблачал мещанство, но как-то односторонне. Впечатление у меня осталось, что неустроившийся и не обеспечивший себе места в жизни мещанин зло критикует преуспевающего и сытого мещанина... Такова база анархистствующего писателя...

Побывал он в Германии и оттуда привез несколько очень хороших сатирических стихов. Особенно мне запомнилось «Ins Grüne» — «В зелень».

Набив закусками вощеную бумагу,
Повесивши на палки пиджаки,
Гигиеническим, упорно мерным шагом
Идут гулять дородные быки.
Идут за полной порцией природы:
До горной башни «с видом» и назад...

И заканчивается:

А на горе ждет двадцать бочек пива
И с колбасой и хлебом — пять подвод.

Хорошо передано! Помню, мне пришлось как-то летом заночевать в каком-то городишке южнее Берлина, скорее в селе. Как всегда у немцев, все важнейшие здания и отели помещались вокруг площади. Проснулся рано утром от шума. Выглянул в окно. На противоположной стороне площади под балконом собралось несколько десятков жителей. Это местный «ферейн» собрался приветствовать бургомистра перед вылазкой в лес. Бургомистр вышел на балкон, сказал несколько слов, а они в ответ «ура!». Затем по команде вскинули зонтики на плечо, как ружья, повернулись направо и... шагом марш! — как войсковая часть, продефилировали перед начальством... Да, сумел капитализм военизировать народ...

Встречи перед революцией чем-то напоминали мне стихотворения Саши Черного:

Три экстерна болтают руками,
А студент-оппонент
На диван завалился с ногами
И, сверкая цветными носками,
Говорит, говорит, говорит...

Впрочем, Саши Черного в Питере не было. Да в стихотворной форме и трудно было бы охарактеризовать обстановку. Стих слишком прямолинеен и точен. Им трудно охватить диалектику развития. Тут нужна проза, хорошо организованная, емкая, учитывающая всю сложность..

Саша Черный еще до войны остался за границей... Там он пробовал писать

в милюковских «Последних новостях»... Но мало. Видимо, ничего не выходило. Талант, оторванный от родной почвы, оскудевает... Жаль парня. Вот бы собрать и издать его стихи. Попробуйте, поговорите в издательстве. Полезное дело сделаете...

14 декабря. Вечером.

Играли в подкидного. Алексей Максимович очень сосредоточен, тщательно обдумывает ходы. Шутит над неудачами играющих. Недовольно сдвигает брови при ошибочном ходе. Игру закончили вовремя — девятнадцать раз. Попросив чаю, Горький продолжал рассказывать о февральских днях.

— Особенно запомнились мне события после 14 февраля. Правительство, видимо, сделало для себя вывод... По улицам гарцевали казаки. Полиция была усилена. Конные городовые на Невском... Общество продолжало говорить. Кадетствующие с удовольствием отмечали, что все улаживается. Разнотипные социалисты пророчили неудачу движения... А мои Выборгские посетители ходили со светящимися глазами и откровенно указывали на рост брожения у путиловцев, на заводах Выборгского района... После начала путиловской стачки весь ход событий шел навстречу революции... Никто из ребят Выборгских не утверждал, что эти стачки, именно эти стачки перерастут в восстание. Но я так живо помнил события в Москве накануне декабря 1905 года... Мне казалось, что февраль 1917 года очень напоминал Москву пятого года.

Но на деле это было не то же самое... Сознание выше — я судил по моим Выборгским посетителям... Видел рабочих. Сосредоточенны. Видимо, понимали, что возврата нет... а затем быстротечность событий... Через пару дней стачки стали уже превращаться в вооруженное восстание. Начали стрелять — и сильно — уже 25 февраля... На третий день после первой дружной массовой стачки 23 февраля...

Я выходил на улицы, хотя меня не пускали... Тут я сразу увидел всю разницу с пятым годом... Массы поднялись. Не дружинники, а массы. Баррикад не было... Да они и не нужны... Народ шел стеной. Любо было смотреть. Не прошибешь... Солдаты тонули в толпе. Полицию как будто смыло ветром... Говорили, что жандармы поднялись на крыши, где засели за пулеметами... Солдат окружали толпы. Солдаты не могли поднять ружья, люди висели на штыках... Особенно женщины... Вот о ком следует писать.

Видел пожары. Горел окружной суд... Я и тогда был убежден, что эти пожары — дело рук жандармов и провокаторов... Помню, я смотрел дела, выброшенные на улицы через окно охваченного огнем окружного суда... Документы явно полицейского содержания... Мы организовали сбор и охрану папок... Переслали потом в Таврический дворец.

15 декабря. Утром.

— Любопытное состояние. Человека отодрали, а он радуется... Я это по поводу ленинского четвертого письма «Писем из далека», где он критиковал меня за приветствие Временному правительству и Совету... — говорил Горький, перелистывая Ленина. — А какая, я бы сказал, всеобъемлющая критика! Пишется о моем «громадном художественном таланте, который принес и принесет много пользы всемирному пролетарскому движению», но «зачем же Горькому братья за политику?». И тут же вспомнил, что не раз упрекал меня за политические ошибки, а я извинялся: «Я знаю, что я плохой марксист. И потом, все мы, художники, немного невменяемые люди»... Что ни говори, а довод малоубедительный...

Нет, не дело писателей заниматься политикой. Меня в этом окончательно убедило письмо Ленина. Это два разных «ремесла» — писатель живописуи, а политик — занимайся устройством общества...

А смешивать два этих ремесла
Есть тьма искусников, я не из их числа.

И суть тут не в том, что нельзя браться не за свое дело, хотя и это не следует забывать... Вся суть в том, что писатель имеет дело с психологией и поступками одного человека. Он должен показать общее сквозь призму частного... Ну, а политику приходится считать на тысячи. Ленин даже говорил, что политика начинается там, где миллионы.

В истории много тому примеров. Томас Мор был лордом-канцлером, первым министром у Генриха VIII, а не признал реформации церкви и погиб на плахе. Подумайте! Человек весь устремлен в будущее, один из творцов утопического социализма, а не понял прогрессивного значения церковной реформации. Правда, английская реформация не то, что германская, она не только классовая, но сугубо узкоклассовая... А Гёте? Величайший гуманист, а никаких следов гуманизма не оставил в своей деятельности министра веймарского двора. Во всяком случае история не отметила их. Конечно, это не правило, не закон. Есть и исключения... Но, в общем, не следует писателям смешивать литературу с политикой или подменять одну другой...

— Нет, нет, вы меня не поняли... — спохватился Горький после моей реплики. — Я вовсе не проповедаю аполитизм, беспартийность... Какой же это писатель, если у него нет мировоззрения. А без политических взглядов нет мировоззрения. Я говорю, что политикой надо заниматься со знанием дела, а не только потому, что изволишь быть писателем и по одному этому позволяешь себе диктовать, претендовать на руководство и политическим устройством общества. Быть писателем — одного этого явно недостаточно, чтобы браться за политику, считать себя руководителем и устроителем, командовать обществом... Вот что я имею в виду... я о себе говорю. Боюсь, что неточно выразился, но Ленин именно в этом меня упрекал.



ПУБЛИЦИСТИКА

Академик Н. ФЕДОРЕНКО

★

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Научно-техническая революция. Этот термин, введенный сравнительно недавно известным английским философом Бертраном Расселом, с поистине революционной быстротой распространился по свету и стал общепризнанным. Он фигурирует в заголовках сотен, а может быть, даже тысяч книг и статей. Правда, люди по-разному его понимают. Ученые спорят о его содержании, причем их особое внимание привлекает вопрос о социальных последствиях научно-технической революции. Большинство же связывает, пожалуй, это понятие лишь с одной внешней его стороной — с достижениями в космосе, синхротронами и прочими чудесами нашего века.

Как всякая революция, научно-техническая революция, о которой идет речь, — понятие чрезвычайно многообразное, многостороннее. В статье будет затронута, как должно быть ясно из заголовка, лишь одна из многочисленных граней этого понятия. По убеждению автора, впрочем, важнейшая грань, определяющая все остальное.

Мир развивается со все большей быстротой. Не удержусь от соблазна напомнить уже знакомое — во всяком случае части читателей — образное сравнение, которое привел один швейцарский автор. Он попытался изобразить историю человечества в виде некоего марафонского бега, который проходил во все ускоряющемся темпе... Впрочем, чем пересказывать, предоставим слово самому автору.

Эйхельберг, этот известный швейцарский инженер и философ, пишет следующее:

«Полагают, что возраст человечества равен примерно 600 000 лет. Представим себе движение человечества в виде марафонского бега на 60 километров, который, где-то начинаясь, идет в направлении к центру одного из наших городов, как к финишу.

Большая часть 60-километрового расстояния пролегает по весьма трудному пути — через рощи и девственные леса, мы об этом ничего не знаем, ибо только в самом конце, на 58—59-м километре бега, мы находим наряду с первобытным орудием пещерные рисунки как первые признаки культуры и только на последнем километре пути появляется все больше признаков земледелия.

За двести метров до финиша дорога, покрытая каменными плитами, ведет мимо римских укреплений.

За сто метров наших бегунов обступают средневековые городские строения.

До финиша остается еще пятьдесят метров; там стоит человек, умными и понимающими глазами следящий за бегом, — это Леонардо да Винчи.

Осталось только десять метров! Они начинаются при свете факелов и скудном освещении масляных ламп.

Но при броске на последних пяти метрах происходит ошеломляющее чудо: свет заливают ночную дорогу, повозки без тяглового скота мчатся мимо, машины шумят в воздухе, и пораженный бегун ослеплен светом прожекторов фото- и телекорреспондентов...»

Отвлечемся от неизбежного, в сущности, вопроса: почему наши дни — это финиш бега? Нетрудно заметить, что бегун остается тем же бегуном, он сам не изменился за шестьсот тысяч лет, — это самый серьезный недостаток образа. В конце концов важны не только прожекторы вместо факелов, самолеты и даже ракеты, заменившие повозку, синхрофазотроны, пришедшие на смену, скажем, реторте средневекового алхимика. Стоит задуматься над тем, как все эти материальные изменения связаны с изменением самого человека, его духовного облика. Однако нарисованная Эйхельбергом картина красочно, выразительно показывает нарастание темпа нашей жизни. Скорость стала символом века, и это вполне оправдано. Ускорилось движение валов машин и механизмов. Ускорилось распространение знаний — достаточно сказать, что за последние полвека напечатано больше книг, чем за всю предыдущую историю книгопечатания. Ускорилось общение, обмен информацией между людьми — это сделали радио, телевидение, телефон, телеграф. Научно-технический прогресс распространяет сферу деятельности человека во всех направлениях: вверх — до космических далей, в глубь земли — подбираемся к таинственной ее мантии, в глубь вещества — открываем все новые и новые элементарные частицы, и, я бы сказал, вширь — захватываем все ранее не освоенные человеком части поверхности земли, включая огромные просторы мирового океана. Возрастают массовость, масштабы происходящих в нашей жизни процессов. Речь идет не только и не столько о существенном росте населения земли, что само по себе немало важный факт. Деятельность человечества приобретает все более грандиозный характер. Массовость производственных процессов, удешевляя продукцию, в то же время многообразно влияет на быт и культуру людей — иной раз мы радуемся этому влиянию, иной раз — и не без основания — страшимся его. Ученые уже волнуются за атмосферу земли, за чистоту морей, рек и озер, беспокоятся о судьбах земной природы.

Все это сопровождается колоссальным ростом потоков информации, самой разной — технической и технологической, экономической и политической, социальной и демографической. Все труднее ее упорядочить, все сложнее становится управлять процессами производства и общественной жизни.

Наверное, окинуть взором этот бесконечно многообразный мир информации во много раз труднее, чем попытаться представить себе какую-то единую картину мира вещей, которые нас окружают. Информация не только отражает сами эти вещи, но и их взаимосвязи — что уже сложнее, чем сами вещи.

В древности деятельность каждого отдельного производителя тоже порождала определенное количество информации: он знал, сколько забил животных при охоте, сколько ему примерно нужно воды в день; когда человек стал земледельцем, он знал, сколько ему нужно зерен, чтобы засеять пашню и получить достаточный урожай для семьи, он знал, сколько съедает каждый день каждый член его семьи, с возникновением товарного рынка он знал, сколько шкурок надо отдать за одного вола. Информация, которой он пользовался, все возрастала и усложнялась. Потребность организовать эту информацию возникла с развитием производства, развитием общественного разделения труда, а отсюда — с возникновением самого понятия «управление общественным трудом».

Необходимость управления, его постоянного совершенствования становится все более настоятельной с развитием человечества. Вначале управление распространялось на мельчайшие звенья общественного хозяйства (семья), затем на все более крупные — вплоть до гигантских капиталистических монополий, — а ныне, при социалистической плановой системе, возникает впервые в истории сознательное управление общественно-экономическим процессом в целом.

Для того, чтобы управлять обществом, необходимо упорядочить информацию, нужно направить ее таким образом, чтобы она указывала на цели, которые человек, общество для себя избирает, помогала их обосновать и достичь.

И тут возникает сразу вопрос: а каковы эти цели?

Что такое «нужно» для общества?

Экономисты давно установили (да, собственно, для того, чтобы это заметить, не надо быть экономистом), что интересы, желания отдельных людей в обществе далеко не всегда совпадают. Грубо говоря, один предпочитает конфеты, другой — печенье. Что

же нужно хозяйству, чтобы удовлетворить всех или по крайней мере большинство, если всех невозможно?

Наш социалистический строй отличается от предыдущих общественно-экономических формаций тем, что он способен ставить перед собой сознательно избираемые цели и организовывать их достижение. Основным экономическим законом социализма, который говорит о том, что целью социалистического производства является максимальное удовлетворение все возрастающих потребностей общества,— это реальная основа упорядочения информации. Мы только должны, конечно, знать, какие потребности надо считать общественными потребностями. Экономисты ищут количественные оценки этих потребностей, чтобы исходя из них строить всю хозяйственную деятельность. Иначе говоря, они ищут так называемый глобальный критерий оптимальности. Этот вопрос коренной в экономике, и на нем стоит, видимо, остановиться несколько подробнее.

Марксистская политекономия устанавливает качественную взаимосвязь и неразрывное единство общественного производства и потребления при социализме. Удовлетворение потребностей общества является целью социалистического производства. Их развитие и усложнение превращается поэтому в стимул развития экономического. В соответствии с этой целью, с этим стимулом общество ведет свое хозяйство, то есть прежде всего распределяет свои ресурсы, которые на каждом этапе развития экономики, естественно, ограничены. Без признания этой аксиомы (а некоторые экономисты до сих пор не принимают ее) задача составления плана для достижения любой цели лишена смысла. Именно здесь сосредоточивается соизмерение всех плановых решений, всех других решений по управлению общественным производством. Именно сравнение плановых решений, так сказать, примерка их к общему, глобальному критерию оптимальности и гарантирует, что мы идем правильно, в намеченном направлении.

Такое сопоставление ведется на каждом шагу. Когда в Госплане решают, включить ли в план производства на будущий год, скажем, выпуск автомобилей для населения, или велосипедов, или, допустим, зажигалок, то, очевидно, экономисты должны судить, что целесообразнее. В этом случае, как принято говорить, они должны пользоваться какой-то шкалой общественных предпочтений, выбирая, что полезнее с точки зрения членов общества, изучая и формируя на научных началах их спрос.

Это очень трудно, но в идеале мы должны были бы, очевидно, каждое решение оценивать с той точки зрения, насколько оно способствует максимальному удовлетворению общественных потребностей. Это означает, что потребительские блага при социализме должны сравниваться друг с другом по их общественной полезности. Представляется, что именно это и предвидел Энгельс, когда писал в работе «Анти-Дюринг», что в будущем обществе «план будет определяться в конечном счете взвешиванием и сопоставлением полезных эффектов различных предметов потребления друг с другом и с необходимыми для их производства количествами труда».

И лишь тогда появится возможность сопоставлять действительно объективно затраты и их результаты. А это означает возможность выявлять общественно-оправданные затраты на тот или иной продукт. Мне хотелось бы подчеркнуть значение понятия «общественно-оправданные затраты».

Вся система оценки производимой продукции строится сейчас по так называемому затратному принципу. Грубо говоря, чем больше затрачено средств на производство того или иного продукта, тем выше его цена. Значит, сопоставляются не полезные эффекты с необходимыми количествами труда, а затраты сами по себе. Отсюда абсурдная ситуация: больше затрат, больше (так полагают) и результат. Это наносит огромный ущерб экономике.

Нужно учесть, что, хотя все больше экономистов понимают необходимость качественного определения глобального, общего критерия оптимальности, той мерки, по которой мы могли бы практически оценивать целесообразность любых народнохозяйственных мероприятий, иначе говоря, соизмерять затраты на эти мероприятия с ожидаемыми или фактическими результатами,— этот вопрос пока далеко не решен. Очень уж часто мы бываем вынуждены лишь интуитивно представлять себе, что хуже, что лучше

в экономике. Но интуиция не всегда надежный советчик. Поэтому усилия многих экономистов направлены сейчас на выработку таких количественных показателей и методов их исчисления, которые помогли бы заменить интуицию в столь важном деле точным математическим расчетом. Выдвигается очень много различных предложений: считать критерием оптимальности рост национального дохода просто или национального дохода на душу населения, рост конечного продукта и так далее. Здесь, наверное, не место подвергать все точки зрения детальному критическому анализу. Но во многих случаях (в том числе и в нашем институте—Центральном экономико-математическом АН СССР) теперь уже исходят из общественных потребностей и степени их удовлетворения. Надо лишь оговориться, что неправильно было бы сводить удовлетворение общественных потребностей к выпуску только продуктов и других предметов потребления (такие взгляды еще бытуют),— нет, потребностями общества являются и защита его от внешних врагов, и обеспечение будущих поколений, и помощь дружественным странам. Видимо, все это надо включить в комплекс потребностей общества, степень удовлетворения которых определяет успешность его экономического развития.

Формулируя критерии оптимальности развития социалистической экономики, мы должны иметь в виду, что социалистическая формация воспитывает не общество «потребителей», а общество гармонически развитых людей, общество созидателей и творцов. Надо исходить также из известного ленинского положения, что целью социалистической экономики является обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества.

Практическое построение критерия оптимальности развития народного хозяйства (то есть того оселка, на котором можно было бы испытывать любое народнохозяйственное решение) совершенно необходимо. Без него мы не сможем ответить на простой вопрос — что такое хорошо и что такое плохо? — применительно к экономике.

Прежде всего критерий нужен для установления основных пропорций развития народного хозяйства:

- между накоплением и потреблением при распределении национального дохода;
- между личным и общественным потреблением (расходами);
- между текущим потреблением и непродуцированным накоплением;
- между фондом рабочего и свободного времени и т. д.

На практическое определение этих пропорций, конечно, влияют не только факторы экономические, но и важные условия внеэкономического характера — прежде всего политические цели и задачи. Трудно поэтому ожидать, что сам по себе экономический расчет способен дать ответ на все возникающие при этом вопросы. Но есть некоторые количественные границы, которые все же можно установить, независимо от тех или иных внеэкономических обстоятельств, и уж во всяком случае если в угоду им мы меняем то или иное решение, то можем точно определить, чем поступаемся при этом в экономическом отношении.

Тут уместно вспомнить, что Ленин называл политику концентрированным выражением экономики. И в конечном итоге всякое политическое решение есть решение экономическое, а всякое экономическое решение — политическое. Это можно отнести, например, к вопросам политики повышения жизненного уровня трудящихся. Как решаются подобные задачи?

Например, мы можем определить нижнюю границу планируемого уровня жизни населения, когда разрабатываем те или иные планы на определенный период. Ясно, что она не может быть меньшей, чем уровень жизни в настоящий момент, в момент составления плана (если только не ожидаются какие-нибудь чрезвычайные события). Но и этого недостаточно: мы можем учесть, что потребности населения постоянно растут вместе с ростом производства и изменением социально-экономических условий жизни общества. Значит, какой-то естественный рост уровня жизни, естественный рост производства, который лишь обеспечивает относительную стабильность благосостояния населения, мы можем учесть. Это и будет нижняя граница.

Верхняя граница, видимо, определится потенциальными возможностями производства средств потребления и услуг для населения. Но если бы перед народным хозяйством не стояло иных задач! Потенциальные возможности, естественно, не могут быть

реализованы, так как ресурсы экономики неизбежно приходится направлять на иные — кроме потребления — цели. Значит, истинные планы повышения жизненного уровня должны находиться где-то между верхней и нижней границами.

Потребности населения — социально-экономическая категория. Они формируются под влиянием целого комплекса объективных факторов, носят исторически изменчивый характер. Они усложняются, расширяются, дифференцируются с развитием производительных сил общества, техническим прогрессом, с развитием самого человека.

Есть разные подходы к определению будущих потребностей.

Один из них — так называемый нормативный (а может быть, точнее, нормативно-воспитательный) подход. В этом случае исходят из научно обоснованных (в меру нашего, на сегодня, понимания) физиологических, психологических и прочих особенностей человека, создают определенные нормы потребления тех или иных продуктов. Нормы закладываются в планы, и при этом определяется, за какое время может быть достигнуто насыщение потребностей по тому или иному предмету потребления. Проще всего задача решается в области пищевых товаров, для потребления которых выработаны достаточно обоснованные рациональные физиологические нормы питания, то есть нормы потребления. Они, конечно, не могут быть одинаковыми для всего населения, дифференцируясь по отдельным группам (например, профессиональным), учитывая климатические условия, национальные традиции и ряд иных факторов, но, в общем, здесь задача решается, как кажется, относительно просто.

Несколько сложнее обстоит дело с расчетами в области потребления непродовольственных товаров. Здесь, как правило, нормативный подход не дает обнадеживающих результатов. Не дают хороших результатов и попытки статистическим путем изучить спрос на те или иные товары и затем распространить полученные результаты на будущее время: во-первых, сами товары изменяются; чрезвычайно «запутывает» дело переменчивость моды и вкусов; возникают новые потребности и новые способы их удовлетворения, которые не всегда можно предугадать. Наконец, статистические подсчеты оказываются крайне ненадежными в условиях так называемого неудовлетворенного спроса, при котором фактическое потребление тех или иных товаров резко отличается от возможного.

Но главное не в этом. Главное в том, чтобы, как мы уже говорили, научиться сопоставлению благ по их общественной полезности. Если мы этому не научимся, то не сможем сознательно отдать предпочтение тому или иному плану, тому или иному хозяйственному решению перед другим вариантом, другим решением. Установление таких методов соизмерения общественных полезностей требует совместного труда специалистов многих профессий: экономистов, математиков, социологов, философов, медиков и многих других.

Советские экономисты немало размышляют о том, какая же категория должна рассматриваться в качестве первичной клеточки социалистической экономики. Не вдаваясь в существо чрезвычайно сложного вопроса, хотелось бы предположить, что, видимо, такой клеточкой, от которой можно было бы исходить в последовательном анализе социалистической экономики, является именно общественная полезность. К сожалению, долгие годы советские экономисты не занимались исследованием этой категории — в частности, вопросы анализа экономических закономерностей были преданы забвению. Больше того, экономистов, которые проявляли интерес к названной проблеме — дело прошлое, но еще не забытое, — на первых порах обвиняли в преклонении перед буржуазной политической экономией (поскольку она тоже занимается полезностью, но субъективной, а этого коренного различия некоторые критики не замечали). Не удивительно, что это сказалось и на практической стороне дела. Многие плановые работники привыкли и на сегодняшний день мыслить лишь категориями затрат, более или менее хорошо научились считать их, но теряются при попытках оценить результаты, поскольку методы исчисления общественной полезности пока не созданы.

Правда, некоторые экономисты считают, что способы измерения общественной полезности и не могут быть найдены, что вообще это не реальная, слишком абстрактная категория. Но не отказываться же от решения проблемы только потому, что она трудна! Необходимо работать, вести активные исследования.

Есть и вторая сторона проблемы. Мы все время говорили о критерии глобальном, общем. О едином критерии, который помогает решать вопрос: что нужно, что менее нужно для народного хозяйства, что хорошо и что плохо? Но хозяйство — сложная система, и довести этот единый критерий до каждого предприятия, звена, работника невозможно. Каждому отдельному заводу не может и не обязательно должно быть известно, сколько нужно стране того или иного вида продукции, ресурсы какого вида сырья более ограничены. Это забота планирующих органов. Но нужно сделать так, чтобы всей своей деятельностью предприятие способствовало достижению целей народного хозяйства. Следовательно, предприятие должно иметь свой собственный критерий (назовем его «локальный»). Этот критерий реализуется в системе плановых экономических показателей. Важно, разумеется, не просто согласовать критерии, но заинтересовать каждый коллектив в ориентации на свой локальный критерий, что в конце концов отразится на общих результатах народного хозяйства, на повышении жизненного уровня трудящихся.

Задача заключается в том, чтобы локальный критерий подчинить требованиям общего, глобального критерия. Именно этот вопрос, на мой взгляд, находится в центре современной хозяйственной реформы, и коротко формулируют его так: то, что выгодно, нужно обществу, должно быть выгодно и отдельной ячейке, отдельному члену общества. Это, кстати, диаметрально противоположно по смыслу крылатой фразе: «Что выгодно Форду, выгодно и Америке».

Отсюда — поиски критериев, лучших и наиболее действенных материальных и моральных стимулов развития производства, полностью согласованных с интересами государства в целом, — к этому вопросу мы еще вернемся.

Таким образом, теперь можно понять необходимость упорядочения, направленность упорядочения той информации, которая циркулирует в обществе и его динамически функционирующей экономике. В результате упорядочения может быть достигнуто повышение эффективности общественного производства, а значит, и его лучшее служение человеку.

По существу вся экономика сводится к выбору наилучшего варианта из множества возможных вариантов плановых и иных хозяйственных решений, или, как мы говорим, оптимального варианта. Но экономику следует рассматривать как часть более общей социально-экономической системы. Когда мы планируем производство и потребление, то должны одновременно предвидеть и связанные с этим социальные изменения, последствия. И, например, наши прогнозы на длительный период (вопрос, привлекающий сейчас широкое внимание) должны быть не столько экономическими, сколько социально-экономическими по своему существу.

Наконец надо учесть — что уже подчеркивалось вначале — большую динамичность экономической системы, то есть ее подвижность, быстроту ее развития. Каждый день меняется хозяйственная обстановка, что вынуждает очень быстро реагировать на изменение условий, не отставать от темпа развития. Например, когда появляется крупное научное открытие, приходится быстро переориентировать целые отрасли на изготовление необходимого оборудования, материалов, приходится изыскивать резервы, готовить и переподготавливать кадры.

Все это крайне осложняет переработку огромного количества информации. Все это ложится огромной нагрузкой на систему управления.

Эффективность системы управления, как и любой другой системы, прежде всего зависит от ее совершенства, от полноты ее соответствия достигнутому уровню развития производительных сил и, я бы сказал, соответствия дальнейшим задачам этого развития.

На всех этапах социалистического строительства партия и Советское правительство придавали и придают большое значение совершенствованию методов, форм и самой системы управления народным хозяйством, включая планирование, которое можно считать важнейшей составной частью системы управления. Научно-техническая революция накладывает свой отпечаток на современное решение проблем управления. Одно из ее отличий от так называемой первой промышленной революции заключается именно

в том, что она произвела и производит переворот не только в организации производства и технике, но также и в сфере хозяйственного управления.

Дело в том, что система управления представляет собой аппарат, собирающий, анализирующий, перерабатывающий прошлую и сегодняшнюю информацию для будущего и, естественно, принимающий решение. Иначе говоря, управление и есть собственно сбор и переработка информации, а принятое решение есть продукт этой переработки — новая информация, предназначенная для руководства в своем поведении всех тех, кого это решение касается. На наших глазах очень быстро, можно сказать взрывообразно, создается новая ветвь индустрии — индустрия управления — со своими задачами, методами, формами и со своей собственной технической базой. Она порождается человеком в век научно-технической революции, возникла и развивается для решения задач, поставленных научно-технической революцией. Получается, следовательно, взаимное воздействие: с одной стороны, научно-техническая революция предъявляет новые требования к управлению, крайне усложняя его; с другой стороны, она же создает материальную базу для решения этих задач, одним из ее проявлений является бурный научный и технический прогресс именно в области управления.

Современная индустрия управления базируется на новых открытиях фундаментальных и технических наук и новых достижениях техники, прежде всего электронно-вычислительной. Новые возможности, которые она открывает, позволяют эффективно решать задачи, возникающие в ходе управления экономикой, и преодолевать колоссальные трудности, о которых шла речь выше. Применение ЭВМ позволяет добиваться быстрой реакции при изменении условий, решать задачи, насчитывающие тысячи неизвестных. Что касается экономической науки, то она приобретает способность решать эти новые невероятно усложнившиеся задачи в результате использования достижений математики, вновь возникшей теории информации или кибернетики, а также благодаря созданию новой технической базы.

Сейчас уже трудно найти культурного человека, который не слышал бы выражения «экономико-математическая модель». Мне хотелось бы подчеркнуть, что перевод экономики на язык экономико-математических моделей — не прихоть ученых, а железная необходимость, потому что электронно-вычислительные машины, которым мы передаем экономические расчеты, иного языка не понимают. Они совершенно не способны воспринимать традиционный язык старых экономистов, изобилующий рецептами типа «несколько увеличить», «во много раз уменьшить» и т. д., или, как остроумно писал автор одного из учебников, рецептами типа «варить суп до готовности». Они требуют совершенно точной формулы, по которой можно было бы не гадать, а именно считать, решать экономические задачи.

Электронно-вычислительная машина стала одной из примет нашего времени. Сфера применения ЭВМ чрезвычайно расширяется, количество их исчисляется в некоторых странах десятками тысяч. В производство, монтаж и обслуживание ЭВМ вкладываются огромные суммы денег. При строительстве новых предприятий на вычислительную технику и обслуживающую ее аппаратуру тратится уже сейчас около 10 процентов капитальных вложений, причем доля эта быстро растет. Очевидно, насколько важно наиболее рационально использовать новую технику, получать от ее применения наилучшие результаты. Тем более это важно для нашей страны, где применение ЭВМ именно сейчас начинает переходить в стадию массового.

Здесь хотелось бы провести путь не очень точную, но помогающую понять проблему аналогию. Специалисты знают, что в настоящее время все большая доля средств, вкладываемых в энергетику, идет не на электростанции, а в сети, не в само производство, а в оборудование для передачи и использования электроэнергии. Такие процессы происходят и в эксплуатации ЭВМ. Интересны, например, данные, опубликованные в зарубежной печати, об изменении структуры издержек на вычислительные системы. В 1954 году на средства связи приходилось 0 процентов, в 1963 году — уже 10, а в 1971 на эти средства придется по прогнозу 15 процентов издержек. В то же время для центрального процессора (он составляет основу ЭВМ, а в быту и называется собственно вычислительной машиной) цифры меняются таким образом: 75, 50 и 25 процентов. Этому процессу особенно способствует разработка и внедрение так называемого мето-

да работы ЭВМ в режиме разделенного времени, когда одна и та же машина используется для решения одновременно нескольких задач, вводимых в нее через средства связи из разных пунктов (предприятий, фирм, ведомств). Тут аналогия с центральной электростанцией напрашивается снова. Видимо, было бы разумно направлять все большую часть вложений в средства передачи и практического использования информации, вырабатываемой электронно-вычислительными машинами. Практически приближается время, когда отдельным предприятиям будет так же невыгодно иметь собственную электронно-вычислительную машину (вычислительный центр), как сейчас свою электростанцию.

Стоимость выработки информации в результате технического прогресса быстро падает. По опубликованным данным, в США несколько лет назад час работы ЭВМ стоил несколько тысяч долларов, ныне — сто — двести долларов, а через десятилетие (по оценке) стоимость машино-часа снизится до одного-двух долларов. К тому же рост производительности ЭВМ позволяет многократно увеличивать объем вырабатываемой в течение часа информации. В конечном счете плата за работу ЭВМ может оказаться не большей, чем плата за электрическое освещение.

Видимо, и нам нужно, разрабатывая принципы применения электронно-вычислительных машин, думать о централизации, которая поможет более эффективно использовать дорогую технику. Уже сейчас назрела необходимость незамедлительно приступить (впоследствии мы все равно придем к этому, но чем позже, тем с большими потерями для народного хозяйства) к разработке единой Государственной сети вычислительных центров, которая должна связывать воедино все основные звенья народного хозяйства — в частности, связать местные автоматизированные системы управления между собой и с центром.

Нужно заметить, что в наших социалистических условиях особенно рациональна система работы ЭВМ в режиме разделенного времени, поскольку у нас нет ни коммерческой тайны, ни других разделяющих капиталистические фирмы преград.

Единая сеть вычислительных центров сделала бы для плановых и других производственных организаций доступной огромную массу статистической и другой экономической информации. Видимо, нужно уже сейчас думать о создании чего-то вроде банков информации, из которых при решении различных экономических задач каждая организация могла бы черпать необходимые сведения.

Сеть вычислительных центров должна стать настоящей технической базой разрабатываемой в настоящее время советскими экономистами системы оптимального функционирования экономики (СОФЭ). Создание такой системы — колоссальная, невиданная в истории задача, в сравнение с которой не идет ни один из осуществленных когда-либо человечеством проектов. Ее решение рассчитано не на один-два года. По революционизирующему значению для экономики, для общества в целом это можно, пожалуй, сопоставить с планом ГОЭЛРО. Социальные и экономические условия для выполнения такой задачи в нашей стране, несомненно, имеются.

Нужно только, конечно, оговориться, что никто не мыслит себе дела так, будто единая сеть вычислительных центров управления народным хозяйством будет походить на такого гигантского электронного спрута, который своими щупальцами дойдет до каждого мельчайшего звена народного хозяйства, станет вмешиваться в любые действия, планировать производство до каждого винтика. Попытка планировать таким образом народное хозяйство на основе одной колоссальной размерности экономико-математической модели заведомо обречена на провал. Специалисты нашего института однажды проделали любопытный расчет. Они вычислили количество операций, которые необходимо было бы произвести, чтобы составить такого рода детализированный оптимальный план только для двух тысяч объектов. Оказалось, что он потребовал бы от лучшей советской машины БЭСМ-6 — ни много ни мало — тридцати тысяч лет непрерывной работы.

Следовательно, единая информационная система страны должна быть построена более разумно, сложнее, или, как теперь принято говорить, по иерархическому принципу. Собственно, по иерархическому принципу строится все народное хозяйство — это выработано многовековым опытом человечества. Существуют математические и экономико-

математические методы, позволяющие гарантировать взаимную согласованность, наилучшее взаимодействие многочисленных звеньев иерархии сверху донизу и по горизонтали — между звеньями одного уровня. Эти методы детально разрабатываются, уточняются и экспериментально испытываются учеными экономико-математического направления.

Автоматизация управления, основанная на применении экономико-математических методов (а последние в свою очередь немислимы без использования электронно-вычислительной техники), должна постепенно охватывать все народное хозяйство. Уже сейчас выработаны, я бы сказал, основные типы автоматизации управления. Они все основаны на взаимодействии человека и вычислительной техники, то есть речь идет о человеко-машинной системе. Таким образом, при всем совершенстве ЭВМ, при всей сложности вычислений, окончательное право решения принципиальных вопросов остается за человеком. Техника же может служить лишь его помощником.

Каковы эти типы автоматизации управления?

На многих предприятиях страны создаются, испытываются, а кое-где введены в действие АСУ — автоматизированные системы управления производством. Это первый тип, низшее звено системы управления народным хозяйством.

Второй тип — отраслевые системы планирования и управления. В этой области также предпринимаются некоторые успешные шаги. В частности, удачно применяются разработанные советскими экономистами экономико-математические модели планирования развития и размещения отраслей производства и многие другие.

Третий тип — так называемая автоматизированная система плановых расчетов (АСПР), призванная внести серьезные улучшения в технику и методы планирования народного хозяйства в его главном штабе — Госплане, а также органах Госплана на местах. Нетрудно понять, что значение такой системы в условиях централизованного хозяйства особенно велико. Поэтому на разработке АСПР необходимо сосредоточить усилия значительной группы ведущих ученых-экономистов, практиков планирования и инженеров.

Создание и взаимная увязка всех этих звеньев в единую систему оптимального управления народным хозяйством требует согласованной работы многотысячных коллективов ученых, специалистов различных областей знания; требует и огромных затрат. Однако несомненно, и наука это доказывает со всей неопровержимостью, что все усилия, все затраты воздадутся сторицей благодаря резкому повышению эффективности общественного производства, ликвидации несбалансированности, которая еще довольно ощутимо сказывается, в частности, в области производства потребительских товаров, и главное — воздадутся ускорением темпов роста социалистической экономики и на этой основе повышением жизненного уровня населения страны.

Однако — и мне бы это хотелось специально подчеркнуть — было бы неправильно сводить решение задачи создания системы оптимального планирования и управления народным хозяйством к простой автоматизации существующей системы планирования и управления, если даже эта автоматизация основана на самых современных методах. Создание системы оптимального планирования и управления экономикой страны — комплексная проблема, требующая совершенствования системы планово-экономических показателей, экономического механизма функционирования народного хозяйства, концепции и методов народнохозяйственного планирования, правильного сочетания долгосрочных программ социально-экономического развития страны, пятилетних и текущих планов и т. д. Только в этом случае совершенствование технической базы планирования и управления, стержнем которой является электронная вычислительная техника, даст максимальный экономический эффект. Такое комплексное понимание системы оптимального планирования и управления экономикой страны должно стать основой всех наших мероприятий по улучшению планово-экономической работы в каждом звене народного хозяйства — от предприятия до Госплана страны.

Поэтому представляется необходимым возвести создание автоматизированной единой системы управления народным хозяйством в ранг важнейшей общегосударственной задачи, вести работы целеустремленно, по единому плану, рассчитанному на ряд лет.

У читателя может возникнуть вопрос: а не является ли все изложенное выше таким прожектерством? Действительно ли так могущественны математика и электроника в хозяйственном управлении? Такой вопрос тем более естествен, что на местах кое-где приходится сталкиваться с неудачами, в общем-то, понятными, если учесть новизну дела, с разочарованиями: вычислительный центр на заводе создали, систему управления автоматизировали, деньги вложили немалые, а результаты? Обнаружить их не удастся. Завод стал работать лучше? Так, может быть, и без автоматизированного управления это могло бы произойти?

Да, неудачи и разочарования бывают, но позвольте поэтому подробнее рассказать о положительном опыте.

Министерство химической промышленности составило обычными — или, как у нас говорят, традиционными — методами предварительный план развития производства пластмасс на 1971—1975 годы. Этот план на основе выделенного лимита капиталовложений определял, какие пластмассы, в каком количестве должна была производить отрасль. Разумеется, пластмассы нужны народному хозяйству не сами по себе: они используются при изготовлении машин, приборов, детских игрушек. Поэтому ценность или эффективность плана следовало определить по тому народнохозяйственному результату, который могло дать использование планируемого ассортимента пластических масс по всем возможным направлениям этого использования. Такой расчет был сделан. Он показал, что при реализации плана народное хозяйство получило бы экономический эффект, достигающий 1,6 миллиарда рублей.

Затем на тех же исходных материалах, правда несколько более детально разработанных, наш институт вместе с работниками того же министерства (с товарищами из Главхимпласта) решил ту же задачу иными, математическими методами. Был создан так называемый оптимизированный вариант плана. Оказалось, что при тех же капиталовложениях он позволяет увеличить суммарный эффект в народном хозяйстве почти до двух миллиардов рублей, то есть почти на 400 миллионов рублей. (Правда, когда были учтены дополнительные ограничения, число это уменьшилось до 260 миллионов рублей.)

Большой интерес представляет выполненное с несколькими отраслевыми институтами и соответствующим отделом Госплана СССР составление оптимального плана развития и размещения нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. Для решения этой задачи была разработана экономико-математическая модель, описывающая условия добычи и транспортировки нефти, производства и распределения нефтепродуктов. В результате были определены: объемы добычи нефти по отдельным районам и распределение ее между нефтеперерабатывающими заводами, размещение заводов и их мощности, объемы производства отдельных нефтепродуктов на заводах и распределение их между районами потребления. Заданные потребности народного хозяйства в нефтепродуктах этим планом удовлетворялись при минимуме приведенных затрат на добычу, переработку и транспортировку нефти и нефтепродуктов. При формулировке математической модели «нефтяной» задачи использовался специальный метод, разработанный сотрудниками ЦЭМИ, научно-исследовательских институтов нефти и нефтепереработки. Этот метод позволяет проводить на ЭВМ не только собственно решение задачи, но и подготовку основных исходных данных.

О сложности задачи дадут, надеюсь, представление следующие цифры: ЭВМ решила систему из 450 уравнений с числом переменных — 2900. Только исходных показателей было 19 тысяч! Столь большой объем числового материала потребовал специальной организации вычислительных работ и использования лучшей отечественной машины БЭСМ-6.

Важно, что удалось просчитать и сравнить целый ряд вариантов возможных планов развития и размещения нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. В результате экономия только по капитальным вложениям составила свыше 800 миллионов рублей.

И третий пример, может быть, наиболее интересный для читателей журнала. Известно, что несколько лет назад было принято решение о строительстве крупнейшего в стране завода легковых автомобилей. Сразу же, естественно, возник ряд серьезных

технических и хозяйственных проблем. Прежде всего следовало решить, где строить завод. Первоначально было выдвинуто более тридцати предложений: центральные, республиканские и областные организации рекомендовали самые разнообразные пункты строительства завода — Киев, Минск, Барнаул, Новосибирск, Кострому, Саратов. На основе материалов обследования промплощадок и учета важнейших экономических факторов (себестоимость продукции, удельные капиталовложения, транспортные расходы, наличие трудовых ресурсов) было признано целесообразным выделить для детального рассмотрения следующие перспективные пункты: Киев, Минск, Горький, Белгород, Тольятти, Ярославль. У каждого из них были большие преимущества. В такой ситуации особенно важны многовариантные расчеты, позволяющие объективно оценить разнообразные гипотезы и подходы, проектные проработки и организационные схемы. При исчислении затрат надо было учитывать расходы не только на создание промышленно-производственных объектов и выпуск автомобилей, но и на освоение территории, инженерные коммуникации, транспортные объекты, перемещение и подготовку кадров, снабжение предприятия сырьем и энергией, сбыт готовой продукции.

Центральный экономико-математический институт и Совет по изучению производительных сил при Госплане СССР провели такие расчеты. Для каждого из шести пунктов возможного размещения нового автомобильного комплекса произведено шестнадцать вариантов экономических расчетов, учитывающих различный подход к решению задачи. В числе этих вариантов рассматривались, например, альтернативы расчета по полным и приведенным затратам, со сборкой автомобилей на головном заводе и на специализированных сборочных заводах (в этом случае имелось в виду получить определенную экономию в транспортных расходах при доставке автомобилей потребителям) и другие; сопоставлялись различные гипотезы относительно сбыта автомашин в основных экономических районах; оценивались затраты на создание строительной и культурно-бытовое строительство.

Выполненные расчеты показали, что суммарные минимальные затраты достигаются при размещении комплекса автомобильных заводов в г. Тольятти; такой вывод подтвердился результатами всех шестнадцати вариантов расчета. По сравнению с Тольятти тот же автомобилестроительный комплекс обошелся бы дороже в Белгороде на 20 миллионов рублей, в Горьком — на 75 миллионов рублей, в Ярославле — 85 миллионов рублей, в Минске — 100 миллионов рублей, в Киеве — 115 миллионов рублей. Однозначность вывода и абсолютное значение величины экономии в затратах, исчисляемой десятками миллионов рублей, дают основание считать полученный вывод достаточно достоверным. Замечу, что без применения ЭВМ подобный расчет потребовал бы, наверное, нескольких лет.

Анализ полученных результатов позволяет сделать ряд очень важных выводов, которые используются и при решении других задач. Мы научились, например, конкретно определять, какой ущерб государству наносит недостаток того или иного дефицитного материала. А с другой стороны, какой народнохозяйственный эффект будет получен от каждой дополнительной единицы того или иного ресурса, направленной на развитие производства (это, кстати, относится не только к сырью, но к самым различным ресурсам, включая, скажем, земельные площади, капиталовложения, пресную воду, рабочую силу и т. д.).

Все это и подводит вплотную к принципу оценки ресурсов по их вкладу в достижение общей цели оптимизации, то есть по критерию народнохозяйственной оптимальности. По нашему мнению — мнению представителей экономико-математического направления, не разделяемому пока многими другими экономистами, — каждый ресурс должен оцениваться с точки зрения приносимого им дополнительного экономического эффекта. Иначе говоря, экономические решения на всех уровнях управления народного хозяйства должны основываться на сопоставлении дополнительных затрат на увеличение ресурсов с дополнительным эффектом, достигаемым благодаря такому увеличению.

В настоящее время применение подобных экономико-математических методов «узаконено» при решении плановых задач в семидесяти отраслях промышленности СССР. Это уже большое достижение, мы все можем им гордиться.

Но нельзя не видеть — и это показывают математические расчеты — известной ограниченности названных, как, впрочем, и всех неназванных, отраслевых задач. Отраслевая задача не дает, оказывается, полного ответа на вопрос о народнохозяйственной эффективности принимаемых решений — ответ ее правилен лишь для ресурсов (например, тех же капиталовложений), уже выделенных отрасли «сверху». Мы знаем, какой эффект в данной отрасли даст дополнение этих ресурсов, знаем, какой ущерб наносит их сокращение. Но как бы закрываем глаза на то, что ведь и для государства в целом такие ресурсы не безграничны. Взять, например, те же капиталовложения. Добавляя миллион рублей химической промышленности, мы подсчитываем, сколько можем дополнительно выпустить пластмасс, какой эффект даст их применение в народном хозяйстве, однако не учитываем при этом, что тот же миллион мы должны отобрать у другой отрасли, и не считаем ущерба, который там наносится изъятием ресурсов.

Поэтому, подчеркивая большую важность оптимизации решения отраслевых задач, всячески отработывая их и расширяя их применение в народном хозяйстве, мы постоянно должны иметь в виду, что подлинно оптимальное распределение ресурсов, как, впрочем, и решение других экономических задач (а к этому и сводится управление, выбор плановых и иных хозяйственных решений), можно получить только в едином народнохозяйственном плане, соизмеряющем в общем расчете все подобные «дополнения» и «изъятия» ресурсов, все «выгоды» и «ущербы» от этих операций.

Следовательно, накапливая опыт отраслевых расчетов, мы должны переходить к задачам общего планирования народного хозяйства. Только тогда, когда планирование народного хозяйства будет целиком переведено на экономико-математические оптимальные методы, можно ожидать действительно эффективного решения плановых задач на всех его уровнях, во всех звеньях.

Что же касается отраслевых задач, то опыт их решения, как видно, оказался очень эффективным. По осторожным оценкам, они позволяют экономить 10—15 процентов текущих и капитальных затрат, а в отдельных отраслях величина экономии достигает еще больших размеров. При соответствующей организационно-экономической подготовке и экспериментальной проверке их надо все более широко применять на практике. Видимо, пора вообще запретить решение подобных задач устаревшими методами — все необходимое для применения новых методов у нас есть.

Важной областью применения экономико-математических методов и электронной вычислительной техники является система материально-технического снабжения народного хозяйства, главная задача которой — установление рациональных хозяйственных связей между изготовителями и потребителями продукции производственно-технического назначения. Эти связи постоянно усложняются, поскольку увеличивается число предприятий, растет ассортимент продукции и повышается ее сложность.

Труднейшей проблемой (в организационном и в методологическом отношении) установления рациональных хозяйственных связей является согласование (увязка) ассортиментной потребности народного хозяйства с номенклатурной программой производства. Процесс согласования планов производства и снабжения обычно затягивается на многие месяцы и, как правило, не заканчивается до начала планируемого периода. Это, естественно, ведет к чрезмерным корректировкам номенклатурных планов предприятий, бесконечному перераспределению продукции, к большим нарушениям установленных хозяйственных связей. Радикальным путем коренного совершенствования системы материально-технического снабжения является предусмотренный XXIII съездом партии переход к оптовой торговле, которая будет служить надежным средством планового распределения продукции производственно-технического назначения и неразрывно связанной с ним рационализации хозяйственных производственных связей. Представляется целесообразным постепенно превратить Союзглавснаббты при Госснабе СССР в государственные организации оптовой торговли, имеющие собственные оборотные средства, располагающие разветвленной сетью контор, баз и складов и ведущие свою деятельность на основе полного хозрасчета. Эти организации, с одной стороны, стали бы заказчиками для промышленности (с материальной ответственностью), а с другой — поставщиками продукции для потребителей через свою склад-

скую сеть либо же организаторами прямых хозяйственных связей между предприятиями-поставщиками и предприятиями-потребителями (также на основе материальной ответственности и заинтересованности).

Эффективное использование экономико-математических методов и современной вычислительной техники в целях совершенствования материально-технического снабжения народного хозяйства достигается тогда, когда обеспечивается системный подход. Это означает переход от эпизодического решения отдельных, относительно частных задач к системе управления материально-техническим снабжением, основанной на применении экономико-математических методов и вычислительной техники во всех звеньях, во всех снабженческо-сбытовых органах. Такая система должна обеспечить нахождение оптимальных вариантов решения задач в процессе планирования материально-технического снабжения и в ходе осуществления планов. Ее принято называть автоматизированной системой управления (АСУ) процессами материально-технического снабжения.

Начало работ в этом направлении было положено в 1966 году, и уже сейчас автоматизированные системы управления создаются в четырех главных управлениях при Госнабе СССР (Союзглавметалл, Союзглавцветмет, Союзглавхим и Союзглавподшипник), в восьми главных и территориальных управлениях материально-технического снабжения (Украинском, Латвийском, Эстонском, Литовском, Московском городском, Приокском и других), на пяти крупных складах и базах.

В создании автоматизированных систем управления для различных органов материально-технического снабжения и сбыта принимают участие более шестидесяти научно-исследовательских, проектных и конструкторских организаций Госнаба СССР, Министерства приборостроения, систем управления и средств автоматизации, Министерства черной металлургии СССР, Академии наук СССР и других ведомств. При Госнабе СССР создан Главный вычислительный центр, оснащенный новейшей отечественной и зарубежной техникой.

На начальном этапе наибольшая эффективность использования вычислительной техники выявилась при решении транспортных задач. Здесь важно подчеркнуть: если на первом этапе решение задач ограничивалось только определением рациональных транспортных связей между поставщиками и потребителями и это уже позволяло экономить на транспортных расходах от 5 до 7 процентов средств, то дальнейшее углубление и совершенствование работы открывает более широкие возможности. Например, проведенные в конце прошлого года Центральным экономико-математическим институтом Академии наук СССР совместно с Научно-исследовательским институтом цементной промышленности расчеты по оптимизации перевозок цемента с учетом взаимозаменяемости видов цемента и специализации предприятий выявляют возможность сокращения средней дальности перевозок цемента на 70—80 км, что позволит сэкономить около 14 миллионов рублей в год.

В дальнейшем вычислительные центры и машиносчетные станции территориальных органов снабжения, соединенные каналами быстродействующей связи с Вычислительным центром Госнаба СССР, будут обрабатывать первичную информацию по единой методологии и передавать необходимые сводные данные в Вычислительный центр комитета.

В газетах и журналах написано уже очень много очерков, репортажей, статей об отдельных системах автоматизированного управления (АСУ), действующих на предприятиях. Широко известны, например, АСУ на Львовском заводе телевизоров, на заводах «Фрезер» и «Красный пролетарий» в Москве, на Воронежском заводе синтетического каучука и других. Это избавляет меня от необходимости подробно на них останавливаться. Мне хотелось бы здесь коснуться лишь основных, принципиальных вопросов.

Постараюсь рассмотреть их на одном примере, особенно близком нашему институту.

Центральный экономико-математический институт издавна сотрудничает, можно сказать, дружит с Главмосавтотрансом — одной из крупнейших транспортных организаций в стране. В его состав входит, в частности, Первый московский автокомбинат — известное предприятие, одно из тех, на которых проводились экономические экспери-

менты, предшествующие началу хозяйственной реформы (о результатах этого эксперимента подробно рассказывалось на сентябрьском (1965 года) Пленуме ЦК КПСС).

Надо сказать, что автомобильный транспорт был одной из первых отраслей народного хозяйства, где началось применение экономико-математических методов. В определенной степени это объясняется тем, что так называемая транспортная задача линейного программирования была одной из первых, доведенных до алгоритма, позволяющего решать ее на электронно-вычислительной машине. Именно на транспортировке были впервые испытаны методы оптимизации, которые в данном случае заключались в поиске возможностей перевозки заданного количества грузов из одних пунктов в другие по таким маршрутам, чтобы общее количество транспортной работы оказывалось наименьшим.

Оптимизация перевозок грузов широко применяется в настоящее время не только в Москве, но и в Киеве, Ленинграде и многих других городах страны. За счет этого, например, Главмосавтотранс повысил коэффициент использования грузовых автомобилей с 1964 по 1968 год с 0,557 до 0,578. Для непосвященных поясню: это означает, что если бы в 1968 году перевозки были организованы без применения экономико-математических методов и ЭВМ, то московские грузовые автомобили «накатали» бы на 28 миллионов больше порожних километров, чем на самом деле. Общая экономия средств за счет оптимизации перевозок в Москве составила около 5,5 миллиона рублей.

Казалось бы, все хорошо. Но именно экономия «тонно-километров» стала, как ни странно, серьезным препятствием для применения экономико-математических методов. Впрочем, не только в автотранспорте, но и на промышленных предприятиях попытки внедрения экономико-математических методов поставили нас лицом к лицу с недостатками действующей экономической системы. Это лучше всего показать на примере того же первого автокомбината.

Первые программы для решения транспортной задачи на ЭВМ были разработаны еще в конце пятидесятых годов. Примерно четыре-пять лет они практически не применялись: не удавалось найти охотников для такой пробы. Затем были сделаны попытки организовать применение этих программ, для чего, прямо скажем, потребовался серьезный административный нажим.

В чем же дело?

Я говорил, что смысл оптимизации перевозок в сокращении пробегов автомобилей (следовательно, затрат на бензин, зарплату, автопокрышки и т. п.) при условии перевозки в заданные места всего необходимого объема грузов. А коллектив и руководители автохозяйств, как и повсюду, поощрялись прежде всего за количество тонно-километров. Чем больше оказывался суммарный пробег машин в тонно-километрах, тем лучше было и для водителей, и для руководителей предприятия. ЭВМ же путала все карты: получалось так, что все грузы перевезены, все клиенты довольны, а комбинат... не выполнил план со всеми вытекающими отсюда моральными и материальными последствиями. Естественно, при таких условиях никто не был заинтересован в применении оптимизации перевозок.

Но вот когда организовали экономический эксперимент, дело круто изменилось. Новые условия, которые были установлены для автокомбината (самоокупаемость, расширение прав руководителей, сокращение числа плановых показателей и оценка результатов по полученной прибыли), побудили коллектив экономить каждый километр пробега, бороться с простоями и порожними рейсами. Вот тогда пригодились математические методы. В результате коэффициент использования пробега в 1965—1966 годах стал увеличиваться с невиданной быстротой — на 5—6 процентов в год. Это дало комбинату экономию в затратах почти на 600 тысяч рублей.

Однако в 1967 году эксперимент кончился, автокомбинат был переведен на общие (новые) условия планирования и экономического стимулирования, которые отличаются от прежних куда меньше, нежели отличались экспериментальные, так хорошо оправдавшиеся. Возвращенное планирование по достигнутому уровню, введение нескольких взаимно противоречивых показателей уменьшили заинтересованность коллектива в максимальном использовании резервов. Газеты критиковали этот фактический возврат к старому. В «Известиях», помнится, была помещена в одной из корреспонденций табли-

ца, показывавшая, как покатились вспять показатели работы комбината. Что касается использования пробега, то коэффициент, достигнутый с помощью экономико-математических методов, фактически замер на одном уровне.

Так что применение оптимальных экономико-математических методов (как, кстати, и вообще применение всего того нового, что дают производству современная наука и техника) уперлось в систему экономической заинтересованности. Без заинтересованности любые новшества могут только «внедряться», то есть вводиться с усилием, под административным нажимом. Опыт же показывает, что сегодня это далеко не самый эффективный путь. Говоря об автоматизации управления и прочих сложных вещах, мы должны помнить, что не добьемся эффекта, если не будем одновременно совершенствовать экономические условия хозяйствования, создавать должный экономический климат в народном хозяйстве, чтобы каждое его звено, каждый работник были заинтересованы в эффективном управлении и в эффективном применении новых научно-технических средств управления. Сейчас много говорят и пишут о системном подходе. Как видим, он необходим и при решении экономических задач: нельзя отделять вопрос о математике, о кибернетике, ЭВМ от более общего вопроса о совершенствовании экономических методов хозяйственного управления.

Экономисты хорошо это понимают. В экономической литературе, да и в массовой печати вот уже несколько лет происходят оживленные дискуссии по коренным вопросам экономической науки, экономической деятельности, совершенствования социалистической системы планового народного хозяйства. Если быть кратким, то сущность всех споров заключается в вопросе о сочетании централизованного планирования и самостоятельности отдельных хозяйственных звеньев. Главное состоит в том, чтобы самостоятельность хозяйственных звеньев была как бы настроена на одну ноту: на стремление к народнохозяйственному оптимуму. Вот это и есть выраженная современным языком идея демократического централизма в хозяйственном управлении. Огромное социалистическое народное хозяйство требует централизованного управления, или, как говорил В. И. Ленин, «единства воли, связывающего всю наличность трудящихся в один хозяйственный орган, работающий с правильностью часового механизма» (т. 36, стр. 157). Но вот вопрос: каким образом мы должны добиваться единства воли, о котором говорил Ленин? Недавно привелось прочитать предложения одного планового работника, который размышлял о том, как «обеспечить приоритет плановых заданий в случае, когда они расходятся с интересами предприятия». Думается, проблема в ином — в сочетании интересов!

Для действительно эффективного ведения хозяйства при его современных масштабах совсем недостаточно того, чтобы только руководящие органы управления производством были нацелены на достижение наиболее высоких результатов. Необходимо, чтобы к той же цели была направлена и свободная инициатива коллективов предприятий и других хозяйственных единиц (звеньев). Чем более совершенно централизованное планирование и управление, тем лучше условия для децентрализованного планирования и управления, то есть для расширения самостоятельности предприятий и других производственных коллективов в принятии хозяйственных решений. Но парадокса здесь нет: это диалектика. Централизация и расширение инициативы, самостоятельности предприятий — не противостоящие друг другу понятия (как это нередко трактуют), а, наоборот, взаимно дополняющие друг друга. И соединительным звеном выступают здесь экономические рычаги управления, экономические стимулы.

Учение В. И. Ленина о демократическом централизме, о хозяйственном расчете открывает путь к такому сочетанию.

Экономические рычаги сейчас привлекают всеобщее внимание, их роль существенно повышена в результате хозяйственной реформы. Смысл их коротко сводится к следующему. Можно «призывать» предприятие, можно ему приказывать выпускать оборудование высшего класса — на уровне мировых стандартов, — но все это было много раз испытано, и много раз мы убеждались, что одних уговоров и одних приказов недостаточно. Но давайте попробуем установить такие цены на оборудование, такие условия их пересмотра, чтобы предприятию было выгодно производить лучшее оборудование и невыгодно выпускать устаревшее, неэффективное. Мы увидим, что задача будет решена гораздо успешнее, нам не понадобится «внедрять» силой новую технику, предприятия

будут сами «рвать» ее из рук министерств и госпланов. Напомню: экономические рычаги включают систему ценообразования, оценки и платы за ресурсы, используемые в производстве, кредитную систему, формы и методы стимулирования и т. д. Пожалуй, центральным из названных рычагов экономического управления являются цены.

Дискуссии о принципах ценообразования разделяют советских экономистов на ряд направлений. Для нас особенно важно два обстоятельства. Во-первых, само использование экономико-математических методов немислимо без правильного построения цен, поскольку только они позволяют электронно-вычислительной машине соизмерять затраты и результаты, а отсюда — определять, в какой мере то или иное плановое решение способствует или препятствует росту того обобщающего показателя, который принят, как мы говорили, за критерий успешности развития экономики в целом или отдельной ее ячейки. Во-вторых, именно экономико-математические методы, как уже становится все более и более ясным, дают ключ к правильному решению проблемы ценообразования, именно математический анализ экономики позволяет найти такие способы исчисления цен, которые обеспечивают действительное слияние интересов отдельных коллективов с общенародными; точнее было бы сказать: влить интересы коллективов в русло общенародных интересов, то есть выполнить главную задачу совершенствования управления народным хозяйством.

Денежную оценку так или иначе получает вся масса продукции, совершающей экономический оборот в народном хозяйстве. Проблема ценообразования в конечном счете сводится к тому, какой реальный хозяйственный смысл придается этой оценке. По нашему мнению, цена единицы продукции должна отражать экономический результат, выигрыш, получаемый обществом от производства дополнительной единицы данного вида продукции. Если в условиях хозрасчета предприятие согласно приобрести новый станок по цене, в полтора раза превышающей цену старого оборудования, то у общества должна быть уверенность, что эффективность использования этой новой техники будет во всяком случае не меньше чем в полтора раза превосходить эффективность прежней машины. Отсюда следует, что если цена правильно отражает общественные результаты использования продукции в народном хозяйстве, то сопоставление цен с уровнем затрат на производство может служить надежным ориентиром в экономических расчетах. Только при этом условии мы можем объективно судить о преимуществах новой техники, о прогрессивности той или иной отрасли производства, об эффективности вовлечения в оборот тех или иных природных ресурсов, то есть объективно, уверенно принимать самые разнообразные экономические решения.

Если реальные затраты на продукцию выше ее денежной оценки (ее цены), то это сигнал о неблагоприятном положении на производстве. При обратной картине предприятие получает прибыль и может быстро расширять выпуск продукции.

Но если цена — это экономический измеритель общественной эффективности использования материальных ресурсов, то почему не должны иметь цену земельные угодья, запасы полезных ископаемых в недрах, водные и лесные богатства страны?

Теория оптимального функционирования социалистической экономики исходит из того, что подход ко всем видам перечисленных ресурсов должен быть методологически единообразным. Всякий элемент производственного процесса должен получить экономическую (денежную) оценку в соответствии с его ролью в повышении эффективности общественного труда. И если предприятие использует особенно эффективные производственные ресурсы (например, плодородные земли, новую технику и т. п.), оно должно платить обществу за предоставляемые возможности. Короче говоря, тот принцип, который применяется ныне в отношении производственных фондов (мы имеем в виду плату за производственные фонды, взимаемую с промышленных предприятий), должен быть распространен на все виды ресурсов.

Проблема экономической оценки природных ресурсов — один из важнейших предметов дискуссий в советской экономической науке. Необходимость такой оценки еще недавно отвергалась с порога, ныне же признается большинством экономистов. Не вызывает споров и цель этой оценки — поставить экономический заслон расточительному отношению к природным ресурсам, примеров которого можно, увы, привести слишком много. Но и здесь дело упирается в экономический отбор: мы должны знать предел

затрат, которые можно с общественных позиций обратить на борьбу с потерями этих ресурсов. Необходимо знать, какие максимальные затраты оправданы, например, на сбережение тонны нефти при ее добыче и транспортировке, на какие затраты целесообразно идти градостроителям ради сохранения гектара пашни для сельскохозяйственных нужд. Ведь хорошо известно, что при современном уровне технологии эксплуатации природных ресурсов в принципе возможно свести потери к практически ничтожной величине. Но все дело в том, что любое мероприятие, направленное к сбережению природных богатств, сопряжено с затратами, и эти затраты будут тем больше, чем крупнее масштабы сбережения. Следовательно, нужно определить максимальную величину общественно-оправданных затрат на сбережение природных богатств. Если такие величины выявить по каждому виду природных богатств и затем превратить в один из рычагов хозяйственного расчета (в форме рентных налоговых ставок и т. д.), то предприятиям, связанным с эксплуатацией природных богатств, станет хозрасчетно выгодным бережливое отношение к природным ресурсам, станут выгодны любые затраты на их сбережение, которые не больше централизованно определенного предела таких затрат.

Итак, «гвоздь» этой проблемы в современных условиях состоит в следующем: как определить максимальный уровень общественно оправданных затрат на сбережение каждого вида природных богатств.

Здесь с наибольшей полнотой проявляется расхождение между «традиционным» и оптимальным подходом к оценке ресурсов. Согласившись на само введение оценки, некоторые сторонники традиционного подхода настаивают на том, чтобы она определялась в соответствии с понесенными в прошлом затратами на их освоение. Например, землю предлагается оценивать по затратам на ее вовлечение в сельскохозяйственный оборот, полезные ископаемые — по затратам на их разведку. На поверхностный взгляд это разумно: разве неправомерно считать, что, прекращая сельскохозяйственное использование данного земельного участка, мы тем самым как бы теряем затраты, которые были понесены на его сельскохозяйственное освоение? Между тем такой подход к оценке природных ресурсов в корне ошибочен. Исключая из сельскохозяйственного оборота участок земли, сжигая в факелах газовое топливо, отправляя в отвал руду с не извлеченными из нее полезными компонентами, мы теряем отнюдь не средства, истраченные в прошлом на освоение этих ресурсов, а эффект, который мог бы быть получен, если бы на данной земле продолжалось возделывание пшеницы или кормов для скота, если бы газ, сожженный в факеле, был использован в качестве топлива или химического сырья. А этот эффект в силу ограниченности природных ресурсов намного превышает затраты на их выявление. Затраты на разведку, например, Шебелинского газового месторождения были сравнительно невелики. Но запасы этого месторождения неуклонно истощаются, а шансы на открытие новой Шебелинки со столь же малыми затратами и так же выгодно размещенной по отношению к потребителям топлива практически равны нулю. Поэтому сбережение каждого кубометра шебелинского газа эквивалентно для общества не затратам на его разведку и добычу, а затратам на добычу 1,5 тонны донецкого угля, которым придется заменить газ. Таков эффект сбережения шебелинского газа — он примерно в десять раз больше затрат на этот газ. Из этого следует, что оценка природных богатств, при традиционном подходе к проблеме, будет стимулировать отнюдь не бережливую, а расточительную их эксплуатацию. Подлинно бережливое отношение к природным ресурсам станет хозрасчетной необходимостью для предприятий лишь при оценке этих ресурсов по величине приносимого ими народнохозяйственного эффекта — так, как требует концепция оптимальности.

Научно обоснованное управление техническим прогрессом, выявление наиболее эффективных вариантов развития производства немислимо без единообразного соизмерения различных компонентов производственного потенциала народного хозяйства. Как можно правильно решать вопрос о строительстве гидроэлектростанции, если электроэнергия, цемент, металл имеют денежную оценку, а затопляемые земельные угодья бесплатны? Как можно всерьез говорить о внедрении новой техники, если материальные и трудовые ресурсы страны оцениваются по разным экономическим принципам? Последний вопрос имеет необычайно важное значение с точки зрения обоснования направлений технического прогресса. Дело в том, что экономическая оценка материальных ре-

сурсов — сырья, топлива, оборудования — сейчас определяется с учетом полных затрат на воспроизводство этих ресурсов, а также их дефицитности и других факторов, влияющих на народнохозяйственную эффективность соответствующих материальных ресурсов.

Иначе обстоит ныне дело с экономической оценкой трудовых ресурсов. В качестве таковой выступает практически лишь заработная плата трудящихся. Между тем величина заработной платы в социалистическом обществе не отражает (и не должна отражать) затрат на воспроизводство трудовых ресурсов (подготовка кадров), а также дефицитности тех или иных профессий, категорий рабочей силы. В результате материальные и трудовые ресурсы оказываются в неравноправном положении при их экономическом соизмерении: народнохозяйственная оценка трудовых ресурсов занижается по сравнению с экономической оценкой материальных ресурсов, в том числе и по сравнению с оценкой машин и оборудования. Это искажает пропорции использования живого и овеществленного труда и в конечном счете тормозит технический прогресс в народном хозяйстве, искусственно преуменьшая эффективность замещения живого труда овеществленным.

Вот почему выдвигается предложение: ввести особую экономическую оценку трудовых ресурсов наряду с заработной платой в составе калькуляций затрат на производство всех видов продукции в народном хозяйстве. Экономическая оценка трудовых ресурсов должна строиться на тех же принципах, что и оценка материальных ресурсов, — она должна учитывать полные затраты на воспроизводство соответствующих категорий рабочей силы через систему подготовки кадров, а также экономическую конъюнктуру в сфере использования трудовых ресурсов: дефицитность и народнохозяйственную значимость отдельных видов рабочей силы в данном плановом периоде в отраслевом и территориальном разрезе, возможности использования высвобождаемых категорий трудящихся на других участках народного хозяйства и т. д. Учет экономической оценки трудовых ресурсов в планово-проектных расчетах и в текущей хозяйственной деятельности социалистических предприятий в конечном счете будет способствовать более быстрому и эффективному внедрению новой техники в народное хозяйство.

Поделись мыслями еще об одном кардинальном вопросе современной экономики — о так называемом нормативе эффективности капиталовложений.

В современную эпоху небывало быстрого развития науки и техники происходит лавинообразное нарастание количества технических новшеств, предлагаемых народному хозяйству многочисленной армией ученых, инженеров, техников и передовых рабочих — изобретателей и рационализаторов. Непрерывно множится число новых конструкторских разработок, технологических процессов, оригинальных проектных решений. Однако практическая их реализация требует больших единовременных затрат общественных средств — капитальных вложений. Если бы фонд капитальных вложений, которым располагает социалистическое общество, был не ограничен, то не существовало бы проблемы экономического обоснования путем технического прогресса: можно было бы немедленно внедрять любое техническое достижение, приносящее хоть какой-то экономический эффект, не оглядываясь на требуемые для этого затраты. Однако фонд капитальных вложений в каждом плановом периоде ограничен, и поэтому приходится заботиться об их рациональном, наиболее эффективном использовании, то есть экономически обосновывать целесообразность любой затраты общественных средств на внедрение технических новшеств. Именно этой цели и служит норматив сравнительной эффективности капиталовложений — важнейший инструмент планомерного управления техническим прогрессом в социалистической экономике. Норматив эффективности показывает, какова должна быть в данном плановом периоде минимально допустимая отдача от капиталовложений, расходуемых на реализацию технических новшеств. Совершенно очевидно, что величиной этой мы ставим предел: если затраты окупятся не позднее, чем за такой-то срок, мы их принимаем. В обратном случае — отказываемся.

И вот здесь возникает главное расхождение: считать ли этот срок единым либо дифференцированным, то есть, скажем, одной отрасли давать средства «либеральнее», другой более «жестко». Сейчас Госпланом принято и поддерживается именно последнее, причем мотивируется это заботой о техническом прогрессе более «важных» отраслей: мол, не следует жалеть средств, даже если они окупаются за более долгий срок.

Мы же считаем, что норматив эффективности должен быть одинаков для всех отраслей и районов, предъявляющих «спрос» на капиталовложения для целей освоения новой техники. И здесь все участки народного хозяйства должны находиться в равноправном положении: если, например, в производстве пластмасс можно получить на рубль вложений в новую технику большую экономию, чем в черной металлургии, то эти вложения должны быть в первую очередь сделаны именно в производство пластиков, хотя по своей «важности» эта отрасль не может соперничать с черной металлургией. Дело-то в том, что масштабы производства металла и пластиков будут предопределяться в народнохозяйственном плане, исходя из глобального критерия, то есть в соответствии с мерой удовлетворения общественных потребностей, и это само собой укажет «важность» тех или иных отраслей. Именно при одинаковой «требовательности» ко всем отраслям в отношении эффективного расходования капиталовложений на новую технику мы сможем добиться наиболее правильных соотношений в развитии отдельных отраслей. Ведь преимущественное развитие металлургии может и должно обеспечиваться за счет экономии средств, получаемых не только в этой, но и в других отраслях, в том числе и в производстве пластиков. Чем больше будет экономия, полученная по народному хозяйству в целом, тем шире будут наши возможности ускорения развития ключевых отраслей. Для получения же максимальной экономии необходим именно единый норматив эффективности капиталовложений.

Подведем итог. Представители экономико-математического направления ставят в повестку дня и теоретически обосновывают системы управления социалистическим плановым хозяйством — системы оптимального функционирования социалистической экономики. Задача колоссальная, задача трудная. Но она выполнима, она по плечу нам, потому что именно социалистический строй открывает принципиальные возможности для создания системы оптимального функционирования народного хозяйства целой страны. Это важное преимущество социализма.

Можно заметить, что нынешняя реформа явилась существенным этапом к решению тех задач, о которых говорится в этой статье. Принцип оценки ресурсов — хотя он и не проведен полностью — все же нашел отражение в системе платы за фонды. Несколько улучшились условия, создалась известная заинтересованность в применении экономико-математических методов и ЭВМ в управлении производством и т. д.

Возникает, очевидно, вопрос о централизованном руководстве процессом перехода к оптимальной системе функционирования экономики. Ясно и то, что все большее применение современных методов управления потребует серьезной переподготовки наших хозяйственных кадров, подготовки молодых кадров, способных понимать возможности и практически использовать современные методы управления, кибернетику, электронно-вычислительную технику. Старые знания, старые навыки тут будут недостаточны.

Пока переподготовка кадров только начинается. Несколько лет назад при пяти вузах были созданы факультеты, которые проводят большую работу в этом направлении. Совсем недавно принято решение об организации Института управления, который призван готовить кадры высшей квалификации. В ряде вузов возникли отделения, кафедры и факультеты экономической кибернетики. Однако все это, прямо скажем, — капля в море по сравнению с теми задачами, которые стоят перед нами. Выпуск всех этих учебных центров составит едва ли несколько сотен специалистов в год. Опыт стран, где применение электронной техники в управлении производством уже приняло массовый характер (например, США), показывает, что нужны сотни тысяч специалистов разного профиля: по экономической кибернетике, исследованию операций, системному анализу, программированию и т. д.

Но, пожалуй, главное сегодня в следующем.

Когда размышляешь над теми проблемами, которые перечислены, и над многими другими, здесь не рассмотренными, приходит на память замечательное высказывание В. И. Ленина: «...кто берется за частные вопросы без предварительного решения общих, тот неминуемо будет на каждом шагу бессознательно для себя «наткаться» на эти общие вопросы. А наткаться слепо на них в каждом частном случае значит обречь свою политику на худшие шатания и беспринципность» (т. 15, стр. 368). Это значит,

что все те вопросы, которые волнуют сегодня наших экономистов, необходимо решать на общей, единой, серьезно разработанной теоретической основе.

Происходящая сейчас научно-техническая революция проявляется и в том развитии, которое приобрела экономическая наука. Можно уже с уверенностью говорить, что наука о планировании и управлении вступает в новый этап своего развития, все в большей мере превращаясь из науки описательной в науку точную. Предпосылками такого качественного перехода являются, с одной стороны, достижения самой экономической науки, с другой — прогресс математики, кибернетики и электроники.

Теоретическую основу для решения назревших экономических вопросов дает новая ветвь экономической теории планирования и управления, базирующаяся на прочном фундаменте политической экономии социализма, — теория оптимального функционирования социалистической экономики. Почему я говорю о том, что она новая, и что в ней, собственно, нового?

Прежде всего в ней новое то, что она не ограничивается качественным анализом экономических явлений. Пользуясь математическим аппаратом, эта теория органически сочетает качественный и количественный анализ (что и является важнейшим признаком всякой «точной» науки), что совершенно необходимо для реального использования теории в практике социалистического строительства. Теория оптимального функционирования социалистической экономики позволяет в едином, взаимосвязанном комплексе, исходя из марксистских методологических позиций, решать вопросы совершенствования управления народным хозяйством, приближать их к тем требованиям, которые выдвигаются научно-технической революцией. Само развитие научно-технической революции пойдет быстрее, когда мы овладеем совершенными методами управления экономикой, когда мы сумеем точнее направить усилия, интересы всех трудящихся в единое русло.



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

Е. ГНЕДИН

★

УТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ И ОБРЕТЕННЫЕ НАДЕЖДЫ

(Проблемы молодежного движения на Западе)

Вращается весь мир вокруг человека,
Ужель один недвижим будет он?

Пушкин.

«КТО ОНИ ТАКИЕ?»

В крупнейшем кинотеатре Москвы шел американский документальный фильм «Сыновья и дочери» — в основном любительские съемки митингов в университете в Бэркли и съемки похода студентов в ноябре 1965 года к призывному пункту в Окленде в знак протеста против войны во Вьетнаме. Большинство зрителей внимательно следило за кадрами, иллюстрирующими газетные сообщения об антивоенной борьбе студенчества в США. Все же, когда на экране появились шеренги небрежно и разно одетых демонстрантов, замелькали силуэты ораторов на грузовых машинах, связанных, пробегающих вдоль колонн демонстрантов, — по рядам зрителей пробежал недоуменный шепот: «Кто они такие?» Сидевшая рядом со мной молодая женщина, с виду то ли учительница, то ли научный работник, спросила соседа: «Они что, уклоняются от призыва в армию?» — хотя среди демонстрантов было немало девушек. А когда демонстранты оказались лицом к лицу с цепью вооруженных полицейских и, следуя призыву своих организаторов не поддаваться провокации, заняли традиционные позиции участников пассивного сопротивления, в зале какие-то парни засмеялись: «Боятся идти дальше!» Между тем задача этой шумевшей мужественной студенческой демонстрации заключалась в том, чтобы привлечь внимание страны к протесту молодежи против империалистической авантюры, и эта задача была достигнута.

Недоуменные замечания отдельных зрителей во время демонстрации фильма «Сыновья и дочери» можно отчасти объяснить тем, что фильм отражал уже пройденный этап студенческого движения в США. Но несомненно и другое: по газетным сообщениям трудно составить себе наглядное представление о характере и облике студенческих выступлений на Западе (не только в США). Слишком часто с упоминаниями о бунтующей молодежи Западе ассоциируются такие образы, как длинноволосые битники, молодые бездельники и наркоманы, расположившиеся на площадях больших городов, хиппи, протягивающие прохожим цветы. Между тем молодежное движение на Западе — общественное явление большого масштаба.

Определенные черты и явные мотивы, присущие общественной активности студенчества в каждой из капиталистических стран, представляют большой интерес, но они не могут сами по себе служить исчерпывающим объяснением этих событий. К началу семидесятых годов стало совершенно ясно, что имеются общие важные предпосылки и длительно действующие причины, в силу которых общественно-политическая

активность большой части студенчества стала новым и существенным явлением в жизни всех современных высокоразвитых капиталистических стран. «Существование массового политического движения в университетах, очевидно, будет постоянным и новым аспектом революционного процесса на капиталистическом Западе»¹, — констатировал заместитель генерального секретаря ИКП Энрико Берлингуэр, выступая в качестве докладчика на конференции по проблемам высшей школы, созванной Итальянской коммунистической партией в ноябре 1969 года.

Говоря о новизне и большой общественной роли студенческих демонстраций, забастовок и протестов, мы, конечно, не дали ответа на вопрос «кто они такие?». На такой вопрос легко ответить, когда речь идет о группе демонстрантов или участников митинга; в ряде случаев можно сказать уверенно, что это прогрессивная, мыслящая и свободолобивая молодежь, возмущенная лицемерием и авантюризмом империалистических политиков, произволом властей и судей, которые приговаривают к тюремному заключению молодых людей лишь за то, что они выразили свое несогласие с политикой правительства, за то, что они протестовали против войны во Вьетнаме, устроили демонстрацию по поводу съезда демократической партии в Чикаго или протестовали против агрессии в Камбодже.

Если же поставить вопрос «кто они такие?» в общей форме, то на него невозможно дать однозначный ответ. Студенчество в западных странах по составу очень неоднородно; столь же неоднородны и политические оттенки его движения — от ультра-левого до крайне реакционного. Но это многообразие ничуть не уменьшает значения событий.

В свое время Ленин, подчеркивая значение студенческого движения в России, указывал на то, что в студенчестве имеется «...шесть политических групп: реакционеры, равнодушные, академисты, либералы, социалисты-революционеры и социал-демократы»². Конечно, не следует уподоблять положение, существовавшее в России в начале века, условиям, сложившимся в западных капиталистических странах во второй половине XX столетия.

Однако, исходя из высказываний Ленина, можно наметить методологию анализа современного студенческого движения в буржуазных странах. В этой связи я хотел бы высказать два основных соображения: во-первых, учитывая социальное расслоение среди студенчества крупной буржуазной страны, нельзя распространять на всю массу черты (реакционные или прогрессивные), присущие каким-либо отдельным группировкам; во-вторых, надо иметь в виду, что студенчество является самой отзывчивой частью интеллигенции.

Я уже касался этой темы в статье «Масштабы и характеры»³, которая завершилась указанием на важность начинавшихся тогда студенческих выступлений. Теперь, в свете дальнейших событий, есть возможность развить и конкретизировать намеченные ранее соображения, а также их методологическую предпосылку.

Общие соображения можно подкрепить статистическими данными. С каждым годом растет удельный вес учащейся молодежи в обществе. По некоторым расчетам, касающимся основных капиталистических стран, к концу семидесятых годов половина молодежи в возрасте от восемнадцати лет до двадцати одного года будет обучаться в высшей школе. По данным ЮНЕСКО, число студентов в капиталистическом мире удваивается каждые пять лет. Для характеристики тенденции развития за предыдущий период приведем некоторые данные по США.

В Соединенных Штатах между 1930-ми и 1940 годами среднее число студентов составляло несколько сот тысяч. В настоящее время — 7,5 миллиона студентов. В США поступали в университет из тысячи человек в возрасте восемнадцати лет: в 1910 году — 6,7 процента, в 1939 году — 18 процентов, в 1961 году — 38 процентов, в 1970 году — около 50 процентов (в возрасте от восемнадцати лет до двадцати одного года). По данным, опубликованным в органе компартии США, до 30 процентов американского

¹ «Rinascita», 28.XI.1969.

² В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 7, стр. 343.

³ «Новый мир», № 10, 1968.

студенчества — выходцы из рабочих семей. Аналогичные сведения можно было бы привести и по другим крупнокапиталистическим странам.

Есть достаточно оснований видеть в студенчестве общественную прослойку, отражающую развитие классовых интересов и группировок во всем обществе данной крупнокапиталистической страны. Из этого мы исходим, и под таким углом зрения следует оценивать различные стороны движения и декларации самой молодежи, в какие бы формы они ни облекались.

Разумеется, огромное значение имеет общая динамика движения, эволюция в настроении и общественной позиции определенных слоев молодежи, отдельные этапы этой эволюции: пассивность в пятидесятых годах, подъем и энтузиазм в шестидесятых, а в начале семидесятых годов — острые конфликты в условиях размежевания общественных и политических сил¹.

ОТ ПАССИВНОСТИ К МЯТЕЖУ

Если бы задача сводилась к тому, чтобы исследовать нынешнее студенческое движение в одной определенной стране, то, конечно, надо было бы осветить исторические корни изучаемого явления. Тогда, говоря, например, о Франции, следовало бы раскрыть связь нынешних бунтарских настроений с традиционным французским анархо-синдикализмом. У молодежи Западной Германии заметен рост интереса к деятельности и революционному наследию Карла Либкнехта и Розы Люксембург. У студенческого движения в США и в его идеологии сказывается переключка с утопизмом Беллами, с радикальными реформами его последователей, с движением, которое в 1934 году вдохновил и возглавил Эптон Синклер («план ЭПИК»). О плодотворности подобных изысканий свидетельствует хотя бы работа В. Л. Малькова, опубликованная в книге «Историческая наука и некоторые проблемы современности»².

Но нет ни возможности, ни прямой необходимости углубляться в историю общественного движения отдельных стран, если в освещении событий исходить из того, что современное движение студенчества — новая знаменательная черта в общественной жизни всех современных крупнокапиталистических стран. Правда, между студенческим движением в ФРГ или США, во Франции, Италии или Англии есть существенные различия, но в основном они выражаются не столько в его предпосылках и содержании требований и целей, сколько в формах и длительности отдельных акций. Большое значение имеет и различие в характере первоначальных стимулов, поведших к дальнейшему довольно синхронному, во всяком случае сходному, развитию событий.

Мятежное студенчество не сразу оказалось на первом плане общественной жизни западных стран. Должны были произойти глубокие сдвиги в общественных настроениях учащейся молодежи. Ни в одной западноевропейской стране, равно как и в Соединенных Штатах, не наблюдалось прямолинейное возрастание общественной активности студенчества. Наоборот, можно с определенностью констатировать, что к началу шестидесятых годов обнаружился перелом от пассивности к бунту.

Для иллюстрации этой мысли сопоставлю вкратце выводы из двух опросов американского студенчества.

В январе 1969 года респектабельный журнал «Форчун», часто апеллирующий к деловым кругам и рекламирующий успехи молодых менеджеров, посвятил специальный номер обследованию настроений учащихся в сорока колледжах. Суть выводов сводилась к следующему: две пятых опрошенных студентов заявили, что отвергают стремление «делать деньги», половина этой части студенчества отказалась голосовать за какого-

¹ Для порядка отмечу, что здесь, как и в других местах этой статьи, говоря о смене позиций студенчества, таких, например, как пассивность, бунт и др., я, естественно, не имею в виду ту часть молодежи, которая примыкает к ВФДМ и МСС, ибо она всегда в той или иной мере действовала активно.

² В. Л. Мальков, «К сравнительно-историческому изучению радикальных социальных движений в США» (сб. «Историческая наука и некоторые проблемы современности». «Наука». М. 1969).

либо кандидата в президенты от господствующих двух партий; при этом оппозиционно настроенные молодые люди подчеркнули, что не общество отвергает их, а они отвергают общество, в котором живут.

Какие бы поправки ни нужно было бы внести в методологию анкеты «Форчун», есть все основания считать, что она дает некоторое представление о доминирующих настроениях учащейся молодежи США к концу шестидесятых годов. Вернемся теперь к концу пятидесятых годов. В 1956 году аналогичную анкету организовал журнал «Нейшн». Тогда выводы свелись к констатации «полнейшей пассивности студенчества». Из ответов на анкету выяснилось, что «преподаватели приучены к осторожности», а студенты «заботятся о своей безопасности в полном понимании, что плата за нее — конформизм».

Результаты этого обследования подробно прокомментированы в книге Д. Ньюфилда «Пророческое поколение». Книга вышла с предисловием известного советским читателям прогрессивного американского деятеля Майкла Харрингтона. Название книги само по себе указывает на происшедшие перемены: в пятидесятых годах, по мнению автора, распространенным понятием было «молчащее или отсутствующее поколение», теперь речь зашла о «пророческом», если не мятежном, поколении. Ньюфилд был активным участником студенческих выступлений в шестидесятых годах, он не только восторженно описывает, но и тщательно анализирует общественный подъем в американских университетах, колледжах. Наряду с этим он приводит иллюстрации полнейшей пассивности учащихся еще в конце пятидесятых годов.

В колледже, в котором учился сам Ньюфилд, вплоть до 1959 года ни разу не было случая, чтобы учащиеся задавали рискованные вопросы, оспаривали чей-либо авторитет. Четыре года подряд настроение учащихся выражал иронический заголовок в студенческой газете от 1956 года: «Приспособиться или умереть!» Американские социологи сетовали на то, что большая часть молодежи озабочена лишь одним — как получше устроиться в несправедливом обществе. Об этом же рассказывает Ньюфилд; так, например, чтобы получить стипендию, студенты безропотно подписывали клятву лояльности, которую через пару лет отвергло большинство студентов, а позднее многие из них, как известно, решились и на то, чтобы сжечь повестки о явке на призывные участки. Еще в конце пятидесятых годов студенты колледжа беспрекословно соглашались на ограничение их личной свободы, когда администрация ввела новые строгости в общежитиях, а через два года именно режим в студенческих городках стал поводом для бунта.

Преподаватель английского языка Стенли Кауниц констатировал в конце пятидесятых годов, что в аудитории колледжа редко можно услышать либеральную или спорную мысль. В том же колледже один из учащихся с горькой иронией предложил выразить благодарность организатору травли интеллигенции сенатору Маккарти за то, что «он дал нашему поколению ценный урок — надо держать язык за зубами».

Начиная с 1962 года в крупнейшем Калифорнийском университете происходят бурные выступления студентов, остро поставивших коренные вопросы американской жизни. Между тем в 1959 году ректор этого университета Кларк Керр заявил: «Предприниматели полюбят это поколение. У них не будет повода для недовольства молодежью. Она не будет проявлять склонность к каким-либо мятежам».

Нет оснований считать ректора Калифорнийского университета человеком ограниченным или ненаблюдательным. Заблуждения серьезного деятеля американской высшей школы — свидетельство того, что в настроениях студенчества произошел перелом, а в некоторых случаях настоящий взрыв.

В Западной Германии можно с не меньшей определенностью, чем в США, обнаружить глубокие различия между «скептическим», «тихим» поколением, как писали социологи в конце пятидесятых годов, и бунтарями шестидесятых годов.

Во всех странах Западной Европы первые крупные выступления студенчества застали врасплох большинство политических деятелей и публицистов различных направлений. Во Франции некоторые из них оказались настолько непроницательными, что объявили студенческие демонстрации и митинги марта — апреля 1968 года результатом «вредной деятельности» «мельчайших группочек», да еще спровоцированных «иностранцами». В частности, председатель муниципального совета Парижа Калданэ заявил:

«Недопустимо, чтобы кучки агитаторов, некоторые из которых скандальным образом злоупотребляют гостеприимством Франции, позволяли себе совершать в городе акты насилия».

Акты насилия и даже хулиганские выходки анархистских элементов действительно происходили в уличных столкновениях с полицией, но какими тенденциозными и ограниченными бюрократами были те, кто только на этом фиксировал внимание и сводил к проискам «мельчайших группочек» многотысячные митинги в Нантере или Сорбонне, массовые демонстрации и уличные бои в самом Париже — необычайный энтузиазм большинства парижских студентов! То были события большого общественного значения. «Студенческий май, университетский май 1968 года — это великая дата в истории страны»¹ — такова оценка, данная уже в 1969 году органом Французской коммунистической партии.

Очевидно, что резкий сдвиг, кое-где даже взрыв, мог произойти, потому что «взрывчатый материал» накапливался не один год, происходили подспудные процессы в массе молодежи, разворачивались какие-то существенные процессы в обществе, которые способствовали созреванию недовольства в студенческой среде, побуждали ее критически отозваться на негативные явления в университете и в государстве. В этом надо разобраться прежде всего, чтобы представить себе в правильном свете не только предпосылки уже происшедших бурных событий, но и значение проблем, стоящих в высокоразвитых капиталистических странах перед студенчеством в нынешней политической обстановке, на новом этапе научно-технического переворота. Останавливая внимание на истоках студенческих мятежей, я стремлюсь тем самым бросить свет на перспективы.

К сожалению, предпосылки и характер пассивности значительной части западной молодежи в пятидесятых годах скудно освещались в нашей литературе. И трудно сейчас восполнить этот пробел, да еще в статье, посвященной другому периоду. Подчеркну лишь, что речь идет тут не о всеобъемлющем однозначном явлении. Процесс этот протекал по-разному в различных слоях студенчества, представляющих разные классы общества. Соответственно и сдвиги принимали несходные формы. Общественная активность различных социальных группировок пошла по различным путям. Активность и гражданский подъем начинались от разных исходных точек — от политической пассивности, либо от равнодушия к недостаткам системы образования, либо от неверия в силы собственные или своего класса.

Вот несколько иллюстраций, характеризующих эти процессы в среде рабочей молодежи Франции, взятые из содержательного исследования Г. Г. Дилигенского «Рабочий на капиталистическом предприятии». Автор приходит к выводу, что социологический анализ дает возможность достоверно обрисовать «чувство социальной обреченности, сознание бесперспективности собственного жизненного пути», которые «присущи... наиболее обездоленной группе рабочей молодежи. Такие настроения постепенно вытравляют у многих из них способность строить планы на будущее...». Это неумение «проецировать себя в будущее» является, по наблюдениям психологов, характерной частью психического склада молодых рабочих, не получающих профессионального образования. Но когда молодой рабочий овладел профессией, нередко оказывается, что «диплом или квалификация, о которых он вчера мечтал, сегодня дают ему право лишь на скучный нетворческий труд». Эти обстоятельства лишь «обостряют его духовную жажду, толкают его к новым и новым поискам морального удовлетворения... Его возмущение, не находя до поры до времени выхода вовне, накапливается как «горючий материал», готовый вспыхнуть от первой случайной искры». На более высокой ступени, в сфере социальной психологии квалифицированных рабочих — теперь среди них есть немало молодежи, — наблюдаются различия между рабочими технически передовых отраслей и «кризисных» отраслей: рабочие электронной промышленности проявляют, например, повышенный интерес к научно-техническим проблемам и их влиянию на рабочий процесс, а рабочие обувной или текстильной промышленности сосредоточивают свое внимание прежде всего на наболевших социально-экономических вопросах. Но наиболее

¹ «Cahiers du communisme», № 11, 1969.

определенную классово окрашенную оценку противоречий в обществе дают именно рабочие крупных предприятий, которые ближе, чем другие категории рабочих, соприкасаются и с современной техникой, и со всевластием монополии¹.

Итак, даже внутри самого рабочего класса наблюдаются существенные различия между возможными предпосылками как общественной пассивности, так и общественного подъема. Но рабочий класс в отличие от других классов способен проявить необычайную солидарность во время массовых боевых выступлений. Недаром все группы рабочей молодежи Франции участвовали во всеобщей стачке в 1968 году, да и позднее.

В других слоях общества существует еще большая и явственная раздробленность в интересах и течениях среди молодежи. Фактор материальной нужды уже не обязательно фигурирует среди причин апатии или, наоборот, активности. Впрочем, в литературе о студенческом движении имеются свидетельства и того, что студенты, происходящие из различных слоев трудящихся, живя на ограниченную стипендию или поддержку родителей, уподобляются по своему положению рабочим, во всяком случае чувствуют себя обездоленными в «обществе изобилия». С другой стороны, безусловно есть общие черты между критической позицией квалифицированных рабочих на современном крупном предприятии капиталистической корпорации, и критическими настроениями студентов, да и вообще инженерно-технической интеллигенции². Таковы одни из предпосылок того, что студенчество, как особенно отзывчивая часть интеллигенции, отражает развитие течений во всем обществе.

Молодежь, принадлежащая к среднему сословию, также порой не способна или не имеет возможности «проецировать себя в будущее». Укажу здесь лишь на две группы причин этого явления. Перед лицом всевластия аппарата буржуазного государства и монополий юноши и девушки, вступая в жизнь, сомневаются или просто не верят, что человек может быть «кузнецом своего счастья». Другой чрезвычайно важный фактор — реакция на международное положение.

В разгар холодной войны пятидесятых годов и маккартистского террора в США среди студентов преобладала пассивность. Ослабление холодной войны, на мой взгляд, явно усилило внутрисполитическую активность и молодежи средних слоев. Такова еще одна иллюстрация широкого прогрессивного значения политики мирного сосуществования...

Знаменательная общая черта мятежных настроений молодежи — недовольство общественными условиями или личной судьбой — порой приобретает формы недовольства старшим поколением. Происходит подмена понятий: конфликт с обществом воспринимается как конфликт со старшим поколением. Такая мистификация широко распространена в буржуазной, социологической литературе о молодежном движении. Отмечая это, вовсе не следует начисто игнорировать возможность споров и разногласий между молодежью и старшим поколением в буржуазном обществе.

Я здесь не касаюсь характера внутрисемейных разногласий, так как, анализируя отношения человека, вступающего в жизнь, и молодежи в целом с капиталистическим обществом, правомерно рассматривать кризис традиционных семейных связей лишь как фон описываемых конфликтов, поскольку семья в наше время уже перестала быть основной средой, где формируется характер и определяются взгляды на жизнь молодого поколения. Как правило, воспитание — дело средней и высшей школ. Современная организация отдыха также уводит за пределы родительского дома. Семья давно перестала быть первичной производственной ячейкой общества; люди объединены в крупные профессиональные и производственные коллективы. Поэтому важно отметить, что в эпоху массового образования наряду с ослаблением семейных связей по-новому дает себя знать чувство принадлежности к огромному студенческому коллективу. Членов этого коллектива связывают и общие бытовые интересы, так как большая его часть живет ряд лет в студенческих городках; автор доклада, представленного «Европейскому

¹ См. Г. Г. Дилгенский. Рабочий на капиталистическом предприятии. «Наука». М. 1969, стр. 62—63, 76—78, 97, 130.

² Сближение позиций квалифицированных рабочих и инженерно-технической интеллигенции — самостоятельная важная тема, которой посвящена обильная литература.

совету» в Брюсселе, констатировал: «Когда 10 или 20 тысяч юношей и девушек в возрасте до двадцати пяти лет живут совместно вне городов в изолированных от общества университетских кампусах, то внутри такой области создаются свои, особые шкалы ценностей и потребностей».

Но самое главное — то, что членов студенческого коллектива объединяет совместное участие в современном учебном процессе, охватывающем и производственную практику, студентов объединило общее недовольство недостатками организации высшей школы, ее отставанием от современных требований, студенты солидарны в протесте против подчинения дела образования корыстным интересам правящих классов общества.

Впрочем, американские битники, которые в период общей пассивности молодежи демонстрировали свою отчужденность от общества и высшей школы, да и стайки юношей и девушек, которые теперь бродят по площадям и дорогам, сторонясь активной борьбы, демонстрируя свой аскетизм либо заявляя себя приверженцами «сексуальной революции», — все они тоже большей частью не порвали связи с молодежной средой. Уход в антисоциальную «субкультуру», наслаждение жизнью или, наоборот, прозябание, а то и самоуничтожение наркотиками — эти формы аполитического протеста все же остаются вызовом капиталистическому обществу, хотя и без прямой попытки его изменить. Правда, озорные парижские студенты заявили, что они соединяют секс с политикой: популярный в Сорбонне лозунг гласил: «Если я силен в революционной борьбе, я силен и в любви!»

Было выдвинуто множество таких вызывающе сформулированных лозунгов. Они могли быть не только выражением охватившего молодежь личного и общественного подъема, но и воплощением ложной позиции. «Лозунг вместо программы!» — один из самых небезопасных. Ведь активные действия, исходящие из одних голых лозунгов, не только оказываются в конце концов неэффективными — они становятся и вредными. Более того, попытки поднять молодежь с помощью одних только хлестких лозунгов, без четкой программы, могли иметь и чисто провокационный характер.

При стихийном переходе от пассивности к бунту появились и призывы, представлявшие нечто среднее между набором лозунгов и программой. Вот, например, заявленное одной из групп французских мятежных студентов, которое иллюстрирует и мистификацию понятий — подмену недовольства общественным устройством обвинениями по адресу старшего поколения:

«Мы хотим жить, но прежде всего мы не желаем ваших готовых ответов, заранее подготовленных ответов, заранее содержащихся в вопросах, как жест палача содержится в жесте убийцы... Мы сами найдем ответы, потому что вы не дадите ответа за нас... Это вы организуете экономическую жизнь, а миллионы людей умирают от голода, это вы нас обучаете, и вы же нас упрекаете за то, что мы ничего не понимаем, вы находите, что нас слишком много, но ведь это вы нас произвели на свет...»

Так звучал манифест, сформулированный нантерскими студентами в марте 1968 года; он выражал настроение тех студентов, которые были во власти бунтарской стихии. Через год в относительно спокойной обстановке «Юманите» опубликовала результаты анкеты среди рабочей молодежи; опрос производили четыреста внештатных сотрудников, в обработке материалов участвовали пятнадцать журналистов-коммунистов¹. И здесь звучали прямые жалобы на непонимание со стороны старших. Так, например, девушка из сектора услуг сказала: «Все несправедливо к молодежи — и старшие в семье, и хозяева, и мастера».

Но тем не менее рабочая молодежь живо откликнулась на вопросы, сформулированные с классовых позиций. Молодые рабочие авиазавода сообщили, что после мая 1968 года они вступили в профсоюз, примыкающий к Всеобщей конфедерации труда, критиковали раскол в профсоюзном движении: «Хозяин у нас один — зачем же несколько профсоюзов в одном месте?» Другой рабочий заявил: «Я спрашиваю себя, можно ли ограничиваться профсоюзными спорами. Я полагаю, чтобы дело пошло лучше, надо менять режим». В целом подавляющее большинство опрошенных (84,2 процента) заявило о своем отрицательном отношении к существующему строю.

¹ "Humanité", 6.V.1969; 10.V.1969.

Одной из самых болезненных тем оказалась проблема информации. Так, восемнадцатилетний телеграфист сказал: «Юноши не в состоянии действовать. Они не информированы. Им не помогают». «Юманите» писала по этому поводу 6 мая 1969 года: «Информация всеми опрошенными воспринимается как право, ее неполнота или неудовлетворительность оценивается как ущемление справедливости. Разве это не превосходный ответ молодежи тем, кто хочет ее оглуплять и таким образом поработить?»

Организаторы анкеты, подводя итоги, констатировали: «Нас поразило, с каким постоянством всюду, куда мы приходили... выдвигались требования достоверной информации. И еще поразительнее, что это требование выдвигалось, как только мы затрагивали тему справедливости, словно самым нетерпимым последствием той несправедливой обстановки, в которой живет молодежь Франции, является дезинформация, которую ей навязывают»¹.

Результаты опроса рабочей молодежи, опубликованные в органе Французской коммунистической партии, наглядно свидетельствуют, что недовольство старшим поколением связано с общественной активностью молодежи, со стремлением освободиться от произвола государства и неизбежно ведет к постановке вопроса о собственности, а это в современных условиях означает прежде всего антимонополистическую борьбу.

Стремлением к справедливости проникнуты все социальные требования юношества. Это отчетливо обнаружилось и при опросе рабочей молодежи Франции, и не менее ярко выражено в выступлениях прогрессивного студенчества ряда стран.

Как же эта молодежь сама определяет свое отношение к современному буржуазному обществу и как объясняет свои намерения и взгляды?

Познакомимся с некоторыми документами. Позволю себе устроить подобие «визитинки»: не укажу сразу, к какой стране относится каждый из приводимых документов, — тогда переключка и различие между ними будет нагляднее. Ведь «все, что приводит людей в движение, должно пройти через их голову; но какой вид принимает оно в этой голове, в очень большой мере зависит от обстоятельств»².

Документ № 1. «Наша общественная жизнь во все большей мере превращается в моральный вакуум, походит на царство случая, а случайная ситуация является результатом непредвиденных столкновений отдельных лиц и групп, одержимых погоней за успехом... Почему человек работает, как раб, чтобы обеспечить себя и свою семью всеми доступными ему предметами потребления, но почему он в то же время остается безразличным к необходимости позаботиться о многих неотъемлемых ценностях жизни, например, о хороших школах, хороших больницах, хороших городах, а этого можно достигнуть только действуя солидарно...» Надо «апеллировать к идеалам тех новых групп населения, которые приобретают все большее значение в нашем обществе: инженеры, представители интеллигенции, ученые, учителя и учащиеся, служащие, жители новых городов-спутников, молодые рабочие во всех отраслях».

Документ № 2. «Мы боремся не только за право дольше учиться и свободнее выражать свое мнение... Суть дела в борьбе за уничтожение господства олигархии, за реализацию демократических свобод во всех секторах общества». «Мы выступаем также против тех, кто тем или иным способом предает конституцию, даже ссылаясь на нее. Свобода университета — проблема, выходящая за рамки университета. Поэтому студенты считают необходимым сотрудничество со всеми демократическими организациями общества...»

Документ № 3. Борьба начата — «во имя свободы, против бюрократических организаций, лишаящих человека ответственности... против тех ученых или технических руководителей, которые овладели знаниями, чтобы увеличить свою власть... против псевдоморалистов, мирящихся с несправедливостью капитала, с насилием государства, со склерозом идей... против средств массовой коммуникации, которые ни с кем не контактируют, против профессионалов от политики...».

Документ № 4. «Мы обвиняем общество, а также лиц, возглавляющих структуру государства, делового мира и науки, в том, что у них нет никакой иной цели, кроме

¹ "Humanité", 6.V.1969; 10.V.1969.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 21, стр. 308.

сохранения существующего положения... Общество извратило все свои благородные традиции. Конституция гарантирует свободу слова и собраний, но самое скромное несогласие систематически, а иногда грубо подавляется. Предполагается, что наше общество демократическое и представительное, но политический аппарат занимает исключительно безответственную позицию по отношению к воле народа... «Наше старшее поколение связано по работе с одной средой, а по месту жительства — с другой и, таким образом, не принадлежит ни к одной общности. Наше старшее поколение заполняет свою жизнь материальными благами и забыло о духовных ценностях; они клянутся в верности идеалам и мирятся с окружающим их лицемерием. Они боятся перемен и потеряли контроль над своим образом жизни».

Документ № 5. «Не знаю, способствует ли применение силы установлению или ослаблению справедливости. Но знаю, что сила может быть направлена против несправедливости... Ничего не остается, кроме борьбы, а там увидим. По крайней мере не надо быть жертвой. Стать жертвой всегда успеешь... Если бы постепенно стало возможным обсуждать политические вопросы, не испытывая страха! Между тем это в ведении тех, кто постоянно старается доказать, что все идет хорошо, стремится этим покрывать дела других, тех, кто находится у власти; а эти люди, прикрываясь громкими словами, решают проблемы власти с помощью интриг и обмана. Наши политические деятели... чаще всего отмечены посредственностью и убожеством и не отличаются умом и душевным благородством... Они боятся, что их поступки будут осуждены, и подыскивают оправдания... На деле они ничего не хотят менять... Власть — смысл их существования, патент на право существования... Так они и умрут, не сумев понять, что власть — это такая же служба, как и всякая другая».

«...все чаще поражает утилитаризм моего отца и его умственная ограниченность, в которой он сам не повинен. Он убежден, что может существовать или существует чудесный механизм, с помощью которого сила, вторгаясь в человеческие отношения, автоматически становится источником справедливости. Вся наша современная социальная система пронизана верой в такой механизм: сила и деньги...»

Документ № 1 — манифест английских молодых социалистов, опубликованный в октябре 1960 года¹.

Документ № 2 — резолюция немецких студентов на митинге в западноберлинском университете в 1966 году².

Документ № 3 — заявление французских молодых католиков, опубликованное в газете «Монд» в мае 1968 года³.

Документ № 4 — обобщение результатов опроса американских студентов в 1969 году⁴.

Документ № 5 — выдержки из обзора писем молодых итальянцев в возрасте от пятнадцати до двадцати лет, опубликованные в феврале 1970 года⁵.

Первое письмо в этом обзоре — молодого рабочего. Он там говорит о себе: «Я рабочий завода Фиат, оцениваю существующую систему, исходя из своего положения — рабочего. Я работаю уже два с половиной года после окончания профшколы. Я участвовал во всех происходивших за это время стачках и сам организовал некоторые из них».

Нет сомнений, что этот молодой итальянский рабочий, участник стачек, ищущий справедливости, говорит то, что думает он сам и думают его товарищи, а рассуждают они примерно так же, как молодые рабочие, опрошенные французскими журналистами; и те и другие не знакомы с заявлениями американских студентов, столь сходных с их ответами на анкету, а американские студенты не читали резолюции, принятой на одном из митингов в западноберлинском университете. Короче, все эти заявления иллюстриру-

¹ Socialist Commentary, 1960.

² Цит. по "Temps Modernes", № 265, 1968.

³ "Le Monde", 29.V.1968.

⁴ "Fortune", Jan., 1969.

⁵ "Azione Sociale", № 5. 1.II.1970.

ют позицию самой молодежи; они подтверждают сходство в постановке ею проблем в разных странах. Очевидно, студенческие протесты и мятежи отражают кризисные процессы, сходно протекающие в странах, достигших примерно одинаковой стадии государственно-монополистического капитализма.

Отобранные мною (среди многих других) документы выражают более или менее уравновешенные настроения западной молодежи; молодые английские социалисты высказывались не столь нигилистически, как, например, авторы английского журнала «Нью лефт ревью»; резолюция западногерманских студентов была принята до бунтарских выступлений «внепарламентской оппозиции»; французские молодые католики далеки от «экстремизма»; итальянские письма выражают самую начальную реакцию на капиталистическую действительность. Таким образом, мы получили представление не только о стимулах протеста в недавнем прошлом, но и о настроениях тех юношей и девушек, которые сейчас, уже в эти годы, вступая в жизнь, могут повторить заявление американских студентов: мы сознаем, что не общество отвергает нас, а что мы отвергаем общество.

Чрезвычайно интересно, что такое отрицательное отношение к современному капиталистическому обществу, обусловленное чаще всего не чисто экономическими, а общесоциальными факторами, мотивируется порою доводами, относящимися к сфере этики. Нравственное негодование, оскорбленное чувство справедливости стимулируют выступления, осуждающие «моральный вакуум», забвение «духовных ценностей», «псевдоморализм», ханжество, прикрывающее измену демократии и конституции, слепую веру во всеспасительный механизм капиталистического государства. Именно в этом заключается та внутренняя работа, которая, незаметно и для опытных наблюдателей, подготовила переход студенческой молодежи от пассивности к мятежу. Таков «взрывчатый материал», накапливающийся и в настоящее время.

Психологическую атмосферу, в которой нарастает недовольство западной молодежи современным буржуазным обществом, любопытно сопоставить с характеристикой разлада между поколениями на раннем этапе развития этого общества, данной Герценом в опубликованных сто лет назад статьях «Концы и начала». В условиях «мещанской цивилизации», как выражался Герцен, была «искажена органическая преемственность поколений», нарушены «естественные отношения» между дедом — «стариком девяностых годов, фанатиком, фантастом, идеалистом» и его сыном, «который старше его осторожностью, благоразумием, разочарованием», и внуком, который мечтает о том, чтобы «выгодно использовать свое положение»¹. Теперь, когда «мещанская цивилизация» щеголяет тем, что она превратилась в «общество изобилия», в «потребительское общество», порою наблюдается обратное соотношение в буржуазной и мелкобуржуазной среде: «дед» проникнут сформировавшимся в условиях послевоенного бума или «экономического чуда» стремлением выгодно использовать конъюнктуру и свое положение в системе государственно-монополистического капитализма, сыновья — они же отцы бунтующих студентов — проявляют в усложнившейся и неустойчивой обстановке осторожность, «благоразумие», верней — цинизм, а внуки выступают в роли бунтарей, «фанатиков, фантастов, идеалистов!» (Сами студенты дают повод для подобной характеристики: так, стены Сорбонны, университета в Париже, были испещрены надписями, главными: «Фантазию к власти!» или «Мечта — это действительность!»)

Ныне мятежных юношей осуждают за фанатизм и фантастичность прежде всего те, кто желает сохранить в неизменности капиталистические порядки. Но и в демократическом лагере высказываются веские критические соображения относительно утопизма лозунгов и требований молодежного движения. Эти черты иногда связывают с неуравновешенностью «переходного возраста», с тем, что этот период затянулся у нынешнего молодого поколения, наблюдается разрыв между его физическим и духовным развитием. Конечно, в студенческих мятежах играет немалую роль то обстоятельство, что молодежь проявляет повышенную впечатлительность и реактивность, сталкиваясь с «безумным, безумным миром». Но не это главное — главное в новых социальных про-

¹ А. И. Герцен. Собрание сочинений, 1958, т. 7, стр. 488.

цессах, ведущих к активности молодежи, в частности к протесту личности и «малых групп» против пороков буржуазного общества и государства. Эти новые факторы связаны с тем воздействием, которое оказывает на обострение социальных конфликтов формирование бюрократической, иерархической структуры современного капиталистического государства и крупномасштабных организаций, в первую очередь всемогущих монополий. Юноша, еще не приступивший к профессиональной деятельности, еще не испытавший на себе экономического гнет, став студентом, уже ощущает давление бюрократической или технократической машины. Развернувшееся за последние годы студенческое движение можно считать непосредственной иллюстрацией столкновения личности с «левиафаном», о чем в общей форме говорилось в моих статьях этого цикла.

Самый ход общественной жизни последних лет показал, что когда личность сталкивается с деспотическим государством, то «презрение созревает гневом, а зрелость гнева есть мятеж». Надобно, однако, разобраться, какие факторы способствуют и какие препятствуют тому, чтобы антикапиталистический мятеж имел положительные результаты, а движение протеста влилось в общее русло социальных конфликтов и политической борьбы.

ОТ ПРОТЕСТА К СОПРОТИВЛЕНИЮ

Лозунг «от протеста к сопротивлению» был выдвинут американским студенчеством между 1967 и 1969 годами и поддержан американскими коммунистами. Этой формуле можно придать более общее значение, она характеризует тот путь, который проходит по настоящее время студенческое движение во всех странах Запада. Это сложный путь с зигзагами и поворотами; в некоторых случаях наблюдается остановка в пути, колонны движутся далеко не равномерно, тем более что на важных перекрестках возникают конфликты и даже бои. Разумеется, эволюция студенческого движения в отдельных странах отличается своими особенностями, которые определяются историческими предпосылками и современным политическим положением той или иной страны.

Во Франции и Италии толчок движению был дан непосредственно кризисом высшей школы, но движение быстро вышло за ее рамки; в США главным источником первых выступлений были острые вопросы, волновавшие всю страну (война во Вьетнаме и гражданские права негров), но вскоре борьба развернулась и в стенах университетов; в ФРГ важной чертой университетских волнений и действий «внепарламентской оппозиции» явилась постановка коренного вопроса об ответственности за прошлое и ликвидации его пережитков как в высшей школе, так и во всем обществе.

Для понимания своеобразной (по сравнению с другими странами) роли студенческого движения в ФРГ надо указать, что оно не только бросило вызов влиятельным реакционным реваншистским силам, но вступило в конфликт с устоявшейся и косной системой представлений и политических нравов послевоенного западногерманского общества. Уничтожающую характеристику этого общества дал и такой чуждый марксизму философ, как Карл Ясперс, в своей книге «Куда движется ФРГ?». Он писал ее в то время, когда рычаги правления находились в руках партии ХДС, тесно связанной с всемогущими монополиями. Ясперс констатировал, что в ФРГ «прокладывается путь к авторитарному господству, а затем к диктатуре. Вследствие всего этого политическое мышление как населения, так и правящих кругов парализуется... Внутри страны правительство превратилось в бюрократическую администрацию. Бюрократы же не могут осуществлять политику или изменить ее». Анализируя этот процесс, Ясперс (он выразил тревогу широких кругов интеллигенции) указал на усилия реакции не допустить, чтобы были сделаны всесторонние выводы из раскрытия преступной сущности фашизма и его идеологии: «Слишком много людей (часть из них знала все происходившее тогда, а часть несет за него прямую ответственность) хотели бы скрыть события тех лет от соотечественников, бывших в то время в юном возрасте или вообще еще не родившихся. Они не хотят признать, что нацистское государство было преступным, ибо боятся выводов. Они хотят невозможного — «покончить с прошлым», поскольку стре-

мятся уклониться от того, что нужно делать сейчас. Чтобы иметь возможность жить так, как хочется, предпочитают ложь и делают ее основой существования»¹.

Против такого состояния умов и общественных нравов и выступили те юные соотечественники маститого философа, которые хотят покончить с прошлым и отвергают ложь как основу существования. Внепарламентская оппозиция, писал французский журнал «Ган модерн», — это первое выступление в ФРГ против системы в целом. (Тут следует внести поправку: отнюдь не первое — коммунистическая партия последовательно выступает именно против системы в целом.) В течение ряда лет, продолжал французский журнал, пресса и школа требовали единства в борьбе против «коммунистической угрозы» и ради восстановления мощи страны; в обществе дисциплинированном и корпоративном, где господствовал «антикоммунистический конформизм», левая оппозиция клеймилась как «беспочвенная интеллигенция», как проявление козней извне, прежде всего из ГДР.

Сопротивление этой системе запретов, штампованных обвинений и авторитарности лежало в основе студенческих мятежей в ФРГ. Символично, что первый привлекший всеобщее внимание крупный конфликт в западноберлинском университете произошел из-за того, что ректор не позволил устроить в большой аудитории университета митинг в очередную годовщину разгрома гитлеризма. Таким образом, на первой же стадии студенческой борьбы конфликт развернулся сразу вокруг двух узловых проблем: осуждение и преодоление фашистского прошлого и борьба против современных антидемократических реакционных методов управления. Такое сочетание проблем и в дальнейшем типично для прогрессивного западногерманского студенчества; так, выступления против реваншизма происходили параллельно с борьбой против чрезвычайных законов; конфликты с консервативной филистерской профессурой (в Западном Берлине) сопровождалась конфликтом с западноберлинским сенатом, с правительственным аппаратом в Бонне и с реваншистской прессой монополии Шпрингера. При этом все выступления были пронизаны критикой бюрократических форм деятельности аппарата государства и монополистических объединений. Я не стану приводить примеров, остановлюсь на этой стороне подробнее, говоря о Франции и США.

По ходу студенческих выступлений в ФРГ сказалась авантюристическая деятельность чисто сектантских групп самого различного толка. Любопытно, что, принимая в 1969 году в Ганновере свой очередной «статут», экстремисты противопоставили демократической программе прогрессивного студенчества лозунг: «За дисциплину и авторитет!»²; в условиях ФРГ это означало, что они фактически поддержали именно тот лозунг, который в угрожающей форме выдвигает шпрингеровская пресса и такие империалистические деятели, как Штраус, стремящиеся под прикрытием фраз об укреплении «дисциплины и авторитета» задуть движение прогрессивной молодежи. Западногерманские сектанты одновременно выступают с грубыми выпадами против Германской коммунистической партии и ГДР, клеймят «антиавторитаризм и ревизионизм» как «две стороны одной медали» и т. п.

Развитие событий в Западной Германии показало, что роль молодежного движения отнюдь не ограничивается деятельностью студенческих организаций. Большой интерес представляет влияние свободолобивой молодежи на атмосферу общественной жизни. Это обнаружилось на выборах в бундестаг осенью 1969 года. Приведу выдержку из репортажа в журнале «Шпигель». Автор, побывавший на предвыборных собраниях, писал: «Веяние революционного духа проникло в самые дальние углы Федеративной Республики, от побережья Северного моря до Баварского леса. Не совершая крупных революционных поступков, юноши, еще не имеющие избирательных прав, влияют на ход избирательной кампании». В горняцком городе Бохум-Хевель «бесстрашные и неуклюжие сыновья социал-демократов взошли на трибуну и обвинили председателя фракции в неискренности и фразерстве».

В другом репортаже об избирательной кампании в ФРГ, опубликованном во французском журнале «Нувель обсерватор», приведены, в частности, следующие слова

¹ Карл Ясперс. Куда движется ФРГ? «Международные отношения». М. 1969, стр. 45, 205—206.

² "Spiegel", 8.IX.1969.

рядовых членов социал-демократической партии: «Нам пришлось дожидаться появления нового поколения для того, чтобы создавать новую Германию. Теперь мы его дождались, во всяком случае его облик уже вырисовывается. Оно обладает большой политической зрелостью, проявляет меньше истерического антикоммунизма, более широко мыслит, у него больше юного задора, здравого смысла и, пожалуй, больше юмора... Во время «диких» забастовок впервые в Германии были заметны веселые плакаты... не штампы. Это уже наблюдалось во время студенческих демонстраций, но проникновение этой формы действия в рабочую среду — совершенно новый факт, неожиданный для нас».

Эти голоса рядовых западногерманских социал-демократов подкрепляют общее положение, сформулированное Председателем Германской коммунистической партии Куртом Бахманом. Говоря о том, что западногерманское рабочее движение сталкивается с новыми явлениями, он, в частности, заметил, что новые общественно-политические проблемы «вытекают из социальной и политической динамики конфликта между монополистическим господством, с одной стороны, и социальными и демократическими устремлениями рабочего класса, молодежи, интеллигенции (включая прежде всего студентов), а также крестьянства и средних слоев,— с другой стороны»¹.

Новая динамика конфликта, участником которого стала молодежь, интеллигенция и «прежде всего студенчество», имеет своим следствием не только активизацию левых сил, но и контрнаступление реакции. Можно сказать, что после выборов в бундестаг в 1969 году в центре внимания внутривнутриполитической жизни ФРГ стоят вопросы, связанные с борьбой за среднее сословие, интеллигенцию и молодежь. Реваншисты и неофашисты ведут злостную кампанию против радикальной молодежи. Мобилизация сил происходит и в виде усиления полицейских репрессий, и в форме партийных маневров, от перестройки молодежных организаций ХДС до создания во всей Западной Германии ячеек сторонников Штрауса и вплоть до создания специальных фондов борьбы. В один из таких фондов внесли деньги крупнейшие монополии ФРГ.

Поскольку движение молодежи стало важной проблемой внутривнутриполитической борьбы, эта тема становится и предметом правительственной политики. В то время как Кизингер вслед за Штраусом обзывал мятежную молодежь бранными словами («воющие дервиши»), социал-демократический канцлер Брандт сразу же взял другой тон. В правительственной декларации при вступлении на свой пост 28 октября 1969 года он заявил: «Мы обращаемся к поколению, выросшему в мирные годы и свободному от бремени, лежащего на старшем поколении». Брандт объявил о предстоящем снижении возрастного избирательного ценза — с двадцати одного года до восемнадцати лет для избирателей и с двадцати пяти до двадцати одного года для кандидатов в депутаты.

(Кстати сказать, в Англии уже ранее был понижен избирательный возраст с двадцати одного года до восемнадцати лет, да и вообще лейбористское правительство всячески заигрывало с молодежью, но место мне не позволяет говорить подробно также и об английском студенчестве.)

Связь движения студенческой молодежи с острыми вопросами внутренней политики четко обнаружилась в Италии во время затянувшегося в начале 1970 года правительственного кризиса. Когда реакция старалась создать напряженное положение в стране, то фашистские вылазки против коммунистической партии и рабочих организаций сочетались с фашистскими провокациями в университетах. Так, в конце февраля неофашисты при попустительстве ректората и полиции подготовили в Римском университете митинг под знаменами со свастикой, но этот слет фашистов на юридическом факультете был сорван, а в большой химической аудитории состоялась мощная демонстрация прогрессивного студенчества при поддержке части профессоров и преподавателей. Коммунисты участвовали в этой акции, и «Унита» выступила с резкой критикой попыток ректората обвинить студенчество в «левом экстремизме». Ярким выражением солидар-

¹ «Правда», 28 марта 1970 года.

ности студенчества с рабочим движением Италии явился состоявшийся в те же дни огромный митинг, посвященный одновременно и поддержке демократических организаций во всей стране, и защите студенчества от провокаций неофашистов.

Руководство Итальянской коммунистической партии придает большое значение не только политическому аспекту общественного подъема среди студенчества, но и проблемам, его непосредственно интересующим, в первую очередь перестройке высшей школы. «Унита» еще осенью 1969 года предсказала, что, несмотря на организационный кризис студенческого движения, к началу 1970 года скажется его новый подъем. В предвидении этого подъема Итальянская коммунистическая партия и Коммунистическая федерация молодежи создали в ноябре 1969 года специальную конференцию по вопросам высшей школы. На этой конференции обсуждался ряд проектов, причем Энрико Берлингуэр констатировал, что впервые предложения по реформе высшей школы, исходящие от рабочих организаций, перестали быть «решением, привносимым извне», а опираются на внушительные потенциальные силы внутри университета, в студенческой среде и среди преподавателей.

Естественно, еще шире были поставлены молодежные проблемы на созванной компартией IV конференции рабочей молодежи в феврале 1970 года. Выступая перед рабочей молодежью, член руководства ИКП Инграо указал, что «свежие идеи молодежи» помогают разрушать всяческие формы лени, консерватизма, бюрократии, в классовых и социальных боях растет роль молодежи и возглавить молодежное движение должны итальянские комсомольцы.

С каждым поворотом событий в Италии яснее обнаруживаются связи между рабочим движением и активизацией студенчества, которая отражает одновременно и кризис высшей школы, и сдвиги в различных слоях итальянского общества.

* * *

Во Франции студенческие мятежи быстро влились в общее русло социальных боев, охвативших всю страну. Студенчество Франции как бы прошло «ускоренный курс» политической борьбы и за три месяца (апрель, май, июнь) 1968 года проделало путь от внутриуниверситетского бунта к столкновению с системой в целом. Решающую роль сыграло то, что в это время рабочее движение, базируясь на своих предыдущих успехах, достигло небывалого размаха.

Затем в студенческом движении наступил организационный, да и идейный разлад, после чего с новой силой вспыхнули волнения, особенно к концу 1969 и к началу 1970 года. Некоторые вехи: ноябрь 1969 года — забастовка медиков, декабрь — волнения на старших курсах лицеев, январь 1970 года — волнения на факультетах иностранных языков, февраль — в университете Дофин, близ Парижа, пятидневная стачка студентов, февраль—март — крупное столкновение и грубое вмешательство полиции в Нантере.

Говоря о Франции, особенно трудно провести четкую грань между переходом от пассивности (после окончания войны в Алжире) к мятежу и переходом от протестов к сопротивлению. С самого начала движения стихийно, часто в несовершенной форме, передовое студенчество ставило коренные проблемы развития науки, общества и государства на нынешней стадии государственно-монополистического капитализма.

Оно остро формулирует не только проблемы морали или справедливости, но и социально-экономические вопросы (из чего, конечно, не следует, что это делается с полной компетентностью). Радикально настроенные студенты атаковали голлистское государство, полагая, что французское общество и государственный аппарат есть «воплощение современного бюрократизированного капитализма». В бюрократизированном обществе, утверждали они, с его пирамидальной, иерархической структурой часть аппарата выполняет функции подавления и властвования, а другая — технические функции организаторов производства. Бюрократизация общества усиливает значение традиционных проблем: кто управляет Францией и с помощью каких средств?.. Из такой оценки следовал тот вывод, что основная структура французского общества, при которой определенные группы принимают решения и осуществляют контроль, ведет, с одной стороны, к растущему подчинению всех секторов общества государствен-

ной власти, а с другой — открывает перед революционным движением возможность, выступая против централизованной власти, поставить под вопрос организацию всего общества.

Атакуя современное капиталистическое государство, радикальные студенты ошибочно сводят социальные противоречия между трудящимися и капиталистическими монополиями исключительно к конфликту с государством, правда к весьма существенному и злободневному конфликту. Во всяком случае, когда знакомишься с этими концепциями парижских студентов, становится яснее, почему первые бурные события разыгрались (не только в Париже) на гуманитарных факультетах, в частности на кафедре социологии в Нантере; не в силу простого стечения обстоятельств и не по наущению извне студенты, обычно недовольные устарелыми формами преподавания, именно на семинаре по наиболее современной гуманитарной дисциплине дали выход своему возмущению.

В студенческой брошюре «Почему социология?», распространенной в марте 1968 года, этот конфликт с буржуазными социологами был непосредственно обоснован общей оценкой роли социологии в современном капиталистическом государстве. Взбунтовавшиеся студенты доказывали (в этом случае, конечно, опираясь на соответствующую литературу), что переход от академической социологии — служанки философии — к современной социологической дисциплине, претендующей на самостоятельность и научность, на деле означает, что социология стала служанкой государства, а эта эволюция «корреспондирует» переходу от капитализма свободной конкуренции к «организованному капитализму». В качестве доказательства студенты ссылались на то, что в США назначение социологических исследований часто сводится к тому, чтобы принудить рабочего приспособиться к новым условиям организации производства, или к тому, чтобы обосновать существующую избирательную систему; авторы брошюры ссылались и на то, что планы Пентагона, направляемые против так называемой «подрывной деятельности» в Латинской Америке, маскируются как «социологический проект».

Нельзя отрицать, что исходные позиции авторов студенческой брошюры заслуживают внимания. Заметим, однако, что они, с одной стороны, оперируют ложным представлением об «организованном капитализме», а с другой стороны — сами вступили на путь неорганизованного анархического бунта.

Конечно, французские мятежные студенты не руководились исключительно общими соображениями и критикой общества в целом. Важную роль сыграло недовольство положением в самой высшей школе. Тому есть множество доказательств. Сошлюсь на студенческую брошюру, вышедшую в 1966 году в Страсбурге, но распространившуюся в Париже и оказавшую там влияние. У брошюры весьма витиеватое название: «О бедственном положении студентов, рассматриваемом с точки зрения экономической, политической, психологической, сексуальной, интеллектуальной, и некоторых средствах устранения недостатков». Ход мыслей юных авторов был примерно следующий. Студент в период своих занятий в университете проходит стаж приобщения к пассивности, готовится для своей окончательной жизненной роли в рамках всеобщей пассивности. В прошлом либеральный буржуазный университет приобщал привилегированное меньшинство к культуре и этим открывал перед ним возможность оставаться в составе правящего класса. Теперь университеты превратились в фабрику массового изготовления людей малообразованных, неспособных мыслить, но достаточно отшлифованных, чтобы удовлетворять потребностям экономической системы капиталистического высокоиндустриализованного общества. Авторы страсбургской брошюры критиковали и правые и ультралевые группы, которые, по их словам, не способны подняться до уровня новой революционной критики, основанной на марксизме.

Студентам, издавшим брошюру нелегально, пришлось предстать перед судом; в обвинительном акте говорилось, что авторы брошюры «проявляют надменную и неправомерную претензию на то, чтобы давать окончательную унижительно несправедливую оценку своим коллегам, преподавателям, богу, религии, духовенству и политическим системам во всем мире». Поистине перлы реакционного красноречия!

Надо сказать, что стремление реакционеров просто-напросто наложить запрет на критику любых понятий, относительно которых, по их мнению, установлена раз и на

всегда «полная ясность», — старания грубо заткнуть рот мыслящей молодежи стали уже общим явлением и в Западной Европе и в США; речи Штрауса в ФРГ удивительно сходны с заявлениями главы ФБР Эдгара Гувера и вице-президента США Агню; с мотивировкой обвинительного заключения в страсбургском суде от 1966 года сходны сделанные уже в начале 1970 года заявления французского министра внутренних дел Раймонда Марселена, когда он потребовал предать суду руководителей студенческих «антиреспубликанских выступлений» и организовал в Париже полицейские акции против распространения левых изданий.

Непосредственным поводом для кампаний против студенчества во Франции в начале 1970 года явились отвратительные выходки и провокации как со стороны «ультраправых», точнее фашистов (группа «Запад»), так и со стороны «ультралевых». Прогрессивные силы в высшей школе как бы оказались между двух огней: провокационные элементы (порой вооруженные) наносят и моральный и материальный ущерб как студентам, так и преподавателям, а власти и полиция в свою очередь обрушивают удары по прогрессивному большинству, хотя репрессии и обосновываются необходимостью пресечь отдельные акты насилия.

Сложилась подлинно драматическая ситуация; как это обычно бывает, драматизм общественных конфликтов воплощается в судьбах отдельных людей. Таковы эпизоды в деятельности Рикера, декана литературного факультета в Нантере. Рикер пользуется заслуженной репутацией прогрессивного демократического деятеля высшей школы. Он не скрывал своего сочувствия ряду студенческих требований, хотя и не выступал с определенными политическими декларациями. Став деканом, он установил деловые отношения со студенческими организациями, стремился в личном контакте выяснить настроения студентов, найти с ними общий язык и нормализовать отношения в университете. Между тем в начале 1970 года на Рикера в коридоре напали хулиганы, которые действовали совершенно как пекинские хунвэйбины. В создавшейся угрожающей обстановке Рикер вынужден был обратиться к помощи полиции. Это было нелегкое решение для человека, неизменно возражавшего против применения административных мер в высшей школе. Правда, в эти дни даже вожаки крайне «левых» студенческих организаций осудили нападение на либерального декана, он не оказался в изоляции от студенчества.

Когда представители журнала «Нувель обсерватер», беря интервью у Рикера, в своих вопросах явно исходили из предположения, что Рикер обрушится на студенчество, обнаружит свое раздражение и враждебность к молодежи, Рикер твердо заявил о неизменности своей позиции, о том, что он продолжит контакты со студенчеством, в частности путем посещения студенческого кафе-клуба, а это после нападения на него требовало и большого самообладания, и даже личного мужества. Рикер рассчитывал на поддержку и благоразумие как университетской общественности, так и государственного аппарата. В отношении последнего его ожидания не оправдались. Рикер смог совладать со своими личными чувствами оскорбленного человека, сохранил достоинство и благоразумие, но ему не удалось побудить бюрократические инстанции действовать благоразумно. В середине марта Рикер подал в отставку с поста декана и обвинил правительство в том, что оно «стремится возложить на университетскую администрацию ответственность за свои собственные попытки решить путем применения силы те проблемы, которые государство оказалось неспособным решить с помощью чисто политических средств».

Таков финал личной драмы, отражающей драматическое развитие событий во французской высшей школе. Комментируя отставку Рикера и указав на справедливость его слов, «Юманите» отметила, что ими не исчерпывается характеристика положения. Суть в том, что правительство хочет ликвидировать достижения, явившиеся результатом борьбы, начатой в 1968 году, стремится дисквалифицировать университет, обвинить профессоров и студентов в неспособности к самоуправлению и навязать высшей школе систему административного управления, для чего и используются ссылки на выходки хулиганствующих элементов.

Через несколько дней, 21 марта 1970 года, «Юманите» развила и уточнила позицию коммунистической партии. Она предупреждала о необходимости избежать запад-

ни, подстроенной правительством интеллигенции и рабочим. Вопреки различным толкованиям, писала газета, коммунисты не могут и не намерены самостоятельно решать возникшие проблемы. Коммунисты — важная сила в университете и еще большая сила в стране. Но условием изменения сложившейся ситуации остается самый широкий союз всех демократических сил.

Провокации фашистских групп, с одной стороны, и угроза правительственных репрессий — с другой, совпали с борьбой вокруг новых проектов реформы высшей школы. Однако реформы, основанные на технократических идеях, не могут ликвидировать кризис, по поводу которого в начале года «Монд» писала, что им задета половина населения и что все течения согласны с тем, что школа и университет стали «ареной серьезных идеологических битв».

* * *

В Соединенных Штатах, пожалуй, в еще большей мере, чем в Западной Европе, университеты и студенческие городки стали ареной идеологических битв, оказывающих серьезное влияние на внутривнутриполитическое положение в стране. Поэтому, казалось, было бы естественно, если бы мы, рисуя картину событий, мысленно перенеслись из старинных аудиторий французских университетов в современные аудитории университетов американских. Однако реальное развитие движения требует прежде взглянуть к тому, что происходило в кварталах бедноты, на пустынных улицах городов южных штатов или во время антивоенных демонстраций, подобных той, с описания которой началась статья. В США внутриуниверситетским конфликтам предшествовала самоотверженная деятельность передовых представителей молодежи на гражданском поприще. Пылкое стремление к справедливости и политическая активность, когда протесты перерастали в сопротивление,— эти черты движения американского прогрессивного студенчества зародились и развивались в первую очередь на почве общественной деятельности в негритянских гетто и в глухих сельских районах; эта деятельность не только у советского исследователя может вызвать ассоциации с русским народничеством, с «хождением в народ». Сами участники движения, американцы, читали о русских народниках и ссылаются на их опыт в своих литературных выступлениях.

Первым конфликтам внутри колледжей в крупных урбанистических центрах предшествовала знаменитая демонстрация юных студентов в захолустном Гринсборо в 1960 году, когда они отказались покинуть кафе, где их как негров не пожелали обслуживать. Об этой смелой демонстрации четырех юношей против расизма широко оповестили газеты и радио, она вызвала внимание всей страны и положила начало применению новых методов в борьбе против сегрегации.

Когда в середине шестидесятых годов происходили бурные митинги в университете в Бэркли, студенческая масса восторженно приветствовала Боба Периса, преподавателя математики, начавшего общественную деятельность в жилищных организациях Гарлема, а потом совершившего легендарные подвиги, когда он в обстановке расового террора поднял негритянское население на борьбу за гражданские права. Когда же Боб Перис стал одним из лидеров университетского движения, в хижинах негритянских издольщиков на Юге его портрет висел рядом с портретом Линкольна.

Существенную связь между борьбой молодежи за социальную справедливость в стране и за демократизацию высшей школы многократно подчеркивали сами участники движения. Так, один из организаторов студенческого движения в масштабе всей страны, Марио Савио, объехавший в середине шестидесятых годов ряд университетов (вместе с молодой деятельницей компартии Беттиной Аптекер), выступая в 1964 году на митинге «Движения за свободное слово», говорил о том, что борьба в Миссисипи за гражданские права и борьба в университете за свободу слова — это «две битвы за одну и ту же цель». Это борьба за одни и те же права: за право граждан участвовать в жизни общества и за должное применение законов,— это борьба против одного и того же врага. «В Миссисипи,— говорил студенческий лидер,— правит деспотическое всемогущее меньшинство, которое с помощью организованного насилия угнетает огромное, фактически бессильное большинство, а в Калифорнии привилегированное меньшинство

использует университетскую бюрократию для подавления студенческого массового движения. Респектабельная бюрократия — маска для финансовой плутократии; самый опасный противник — безличная бюрократия»¹.

Такие же взгляды выразил в более обобщенной форме председатель организации «Студенты — за демократическое общество» Поль Поттер на двадцатитысячном митинге в 1965 году: «Если народ нашей страны хочет покончить с войной во Вьетнаме и изменить общественные институты, к ней приведшие, то он должен вызвать к жизни крупное общественное движение... Под этим я понимаю не петиции и письма с протестом и не молчаливую поддержку оппозиционных конгрессменов; я имею в виду деятельность таких людей, которые хотят перестроить свою жизнь, изменить общественную систему, подойти к делу серьезно. Под общественным движением я понимаю усилия, достаточно мощные для того, чтобы побудить страну понять, что наши проблемы надо решать не во Вьетнаме или в Китае, не в Бразилии, не в космосе либо на дне океана, а здесь, в Соединенных Штатах»².

Призывы или декларации прогрессивных студенческих деятелей представляют собой далеко не совершенные политические документы, да и не всегда в них имеются четкие и безошибочные формулировки. Речь идет о многозначительных и содержательных документах, знакомство с которыми дает возможность понять настроения и взгляды молодежи, побудившие ее значительную часть самым активным образом из года в год участвовать в массовом движении против империалистической внешней политики и репрессий внутри страны.

В исходных позициях мятежного студенчества содержались предпосылки для дальнейшей эволюции от нравственного протеста к политическому сопротивлению. Большое влияние на этот процесс оказала реакционная политика государственной власти и монополий. Ярким примером того, как террор и расовое мракобесие стимулировали радикализацию молодежного движения, может служить история «Студенческого координационного комитета ненасильственных действий». Не вдаваясь в подробности, укажу на некоторые этапы эволюции этой организации.

Первоначально возникшие в колледжах группы молодых негров, в основном выходцев из среднего сословия, развернули в южных штатах агитацию за гражданские права, ссылаясь при этом главным образом на декларацию о правах человека и даже на Ветхий завет; потом участники разросшегося движения убедились, что их противниками являются не только южные расисты, но и северные корпорации, в частности владеющие предприятиями на Юге. Еще через некоторое время сторонники ненасильственных действий убедились в тщетности своих надежд на то, что «Америка устыдится произвола на Юге» и будто бы «готова удовлетворить вековые требования негров о равенстве прав». Возникли лозунги самоопределения негритянского населения, новой «общинности» и т. п. На борцов за гражданские права обрушилась новая волна полицейского и судебного террора. Студенты, примыкавшие к «Студенческому координационному комитету ненасильственных действий», разделявшие горести издольщиков на Юге и мытарства жителей гетто на Севере, усомнились в эффективности легальных методов борьбы; оказавшись лицом к лицу с лицемерным и жестоким государством монополий, бывшие сторонники ненасильственных действий стали поддерживать лозунги и тактику «черных пантер», столкнувшись при этом с разнузданным террором полиции.

Я схематично обрисовал эволюцию одной из студенческих организаций в США, так как то, что произошло с негритянскими участниками ненасильственных действий, может произойти — и отчасти происходит — с некоторыми другими студенческими группировками. Формируется так называемая «Новая «новая левая».

Такой прогноз высказывается представителями прямо противоположных политических лагерей. Так, Беттина Аптекер, сама участница молодежной борьбы и деятель Коммунистической партии США, еще в 1969 году констатировала, что, вопреки ошибочным предсказаниям, выступления студенчества «подняли движение на более высокий

¹ P. Jacob, S. Landou. The new radicals. New York. 1966, p. 230.

² Newfield. A prophetic minority, New York, 1966, p. 29.

политический и идеологический уровень и преобразили политическую атмосферу в Америке»¹.

С другой стороны, уже в мае 1970 года Джемс Рестон указал в «Нью-Йорк таймс» на то, что «молодые люди — противники Никсона» постепенно убеждаются, что более существенных успехов они могут достигнуть не посредством протестов и походов, а благодаря систематической организационной работе. Тогда же газета «Нью-Йорк пост» констатировала, что после расстрелов в Кенте и расширения войны в Индокитае создан «единый фронт умеренных и радикалов, профессоров и студентов».

Правда, отношения между студенчеством и преподавательским составом имеют столь же многообразный характер, как и внутри обеих этих групп. И в этом случае надо применить тот же методологический подход, о котором говорилось вначале. В американской литературе представлены самые различные взгляды относительно роли и позиции преподавательского состава университетов и колледжей в связи со студенческими мятежами. Здесь можно лишь констатировать, что возмущение внешней и внутренней политикой правительственных органов и травлей прогрессивных элементов, в частности при участии вице-президента Спиро Агню, стимулировало сближение между прогрессивной частью преподавателей и передовым студенчеством. С другой стороны, обострился конфликт между противниками правительственной политики и властями, в особенности по вопросу о реформе высшей школы.

Намерения и ожидания властей, пожалуй, довольно точно выразил в январе 1970 года журнал «Юнайтед стейтс энд уорлд рипорт». Констатируя, что шестидесятые годы — самое бурное десятилетие в истории высшей школы США, и пытаясь сделать прогноз на семидесятые годы, журнал утверждал, что студенты получают право голоса, но не право контроля в университетах; и следует надеяться, что студенческая «агитация» не будет сосредоточена на войне во Вьетнаме и, может быть, студенчество несколько успокоится, хотя «акты насилия со стороны студентов не исключены». Завершается этот неоправдавшийся прогноз суждением, которое очень сходно с тем, что писала о Франции газета «Монд»; журнал цитирует рассуждения профессора Мичиганского университета Гарольда Гранта насчет того, что на каждом этапе истории страны определенный социальный институт или сфера объединяет силы остальных социальных институтов; когда-то такое значение имела армия, потом церковь, затем экономика, «сейчас на первом плане система образования... колледжи перестали быть обособленными учреждениями; отныне с ними связано все общество»².

Не стоит подвергать разбору сомнительные исторические аналогии между ролью армии, церкви и высшей школы. Бесспорно одно: во всех высокоразвитых капиталистических странах высшая школа стала ареной борьбы политических и социальных сил. Повсюду стоят в порядке дня реформы университетов. Нет сомнения, что студенческие мятежи дали толчок постановке вопроса о перестройке высшего образования. Таким образом движение молодежи на Западе являлось и следствием кризиса высшей школы, и исходным моментом в его дальнейшем углублении. Я могу лишь указать на современное значение этой проблемы; ее анализ, связанный с более общими проблемами, выходит за рамки статьи, всецело посвященной самому молодежному движению. Здесь же необходимо подвести некоторые итоги бурному десятилетию в жизни западной молодежи и тем самым наметить вопросы, на которые даст ответ наступающее десятилетие.

ИЛЛЮЗИИ, ПРОБЛЕМЫ, НАДЕЖДЫ

Если люди находятся во власти иллюзий, то, очевидно, они не потеряли надежды, если же иллюзии рассеиваются, то может быть потеряна и надежда, но и при отсутствии иллюзий возникают новые проблемы или обнаруживается, что старые проблемы

¹ "Political Affairs", № 4, 1969.

² "United States News and World Report", 12.I.1970.

остались нерешенными: но как только сознается значение нерешенных вопросов, вновь возникают надежды, на этот раз, быть может, более обоснованные, не порождающие иллюзий, но зато побуждающие к продуманным действиям.

Таковы мысли, возникающие под впечатлением сложной эволюции, проделанной прогрессивной молодежью на Западе, под впечатлением красочной смены иллюзий, надежд и разнообразных усилий решить наболевшие общественные проблемы. Есть ответ на вопрос, содержащийся в эпитафии, взятом мною из последнего пушкинского стихотворения к годовщине лица. Да, и мир находится в движении, и человек не остается недвижим. Естественно, особой мобильностью отличается молодое поколение, находящееся в процессе роста, исполненное сил и обуреваемое жаждой личной и социальной справедливости.

Между тем современное молодое поколение живет в такую пору, когда ход истории необыкновенно убыстряется, в эпоху перехода от капитализма к социализму, когда весь мир пришел в движение, когда юноши и девушки, вступая в жизнь, сталкиваются с такими мировыми проблемами, о которых предыдущие поколения вообще не ведали.

Несколько лет назад группа крупных общественных деятелей США, в том числе и нынешний лауреат премии за укрепление мира между народами Л. Полинг, издала «Манифест о тройной революции». Они привлекали внимание правительств и общества к значению и последствиям следующих факторов: научно-техническая революция (прежде всего внедрение кибернетики, автоматизации), революция в правах человека (освобождение угнетенных народов) и революция в средствах войны (угроза ядерной катастрофы и как альтернатива — невозможность третьей мировой войны). Современная молодежь оказалась лицом к лицу с влиянием на ее существование и на будущее целого поколения проводимой в интересах монополий всеобъемлющей автоматизации промышленной деятельности; молодежь отозвалась на бедствия огромной части человечества, борющейся за подлинную свободу и достойное существование; молодежь сама хочет бороться за предотвращение гибели человечества в результате ядерной войны.

В такую эпоху мыслящий и нравственный человек не может оставаться недвижим.

Если с проблемами, касающимися всего человечества, сочетать внутривластные проблемы, играющие такую осязаемую роль, то лишний раз станет очевидным, каково значение и в чем сила современного молодежного движения на Западе. Его слабость, а порой своеобразие связаны с тем, что многие группы студенчества оказались во власти иллюзий, и в частности представления, что можно спрятаться от узловых вопросов современности, а то и вовсе обособиться от общества.

Среди тех, кто себя противопоставляет обществу, имеются и антисоциальные элементы, вовлеченные в безыдейный, бессмысленный бунт или просто ставшие на преступный путь. Эту среду, естественно, ни в коем случае не следует идентифицировать ни с общественно активной частью студенчества, ни с его пассивной частью, например, с хиппи; это неточный и условный термин, получивший, правда, широкое хождение. Когда я здесь говорю о хиппи, я имею в виду те группы молодежи, которые ведут пассивно-созерцательный образ жизни.

В детстве и юности часто пленяет образ античного философа Диогена, не пожелавшего получать от всемогущего Александра Македонского какие-либо блага и лишь просившего не заслонять лучи солнца. (Кстати, Диоген был тогда не старцем, а молодым философом.) Теперь по улицам западных городов бродят, можно сказать, массами неприхотливые «диогены», отказывающиеся от благ и привилегий несправедливого и властного государства.

Но порой хиппи и сами становятся участниками активных выступлений, целыми группами прерывают свое бессодержательное времяпрепровождение и примыкают к студенческой демонстрации. Конечно, неизбежен и обратный процесс: отход части студентов от борьбы. Вообще же в молодежном движении на Западе, несомненно, наблюдается «смена культур». Некоторые поля зарастают бурьяном, а на других история собирает обильный урожай.

Переходя от оценки иллюзий общественно пассивных масс молодежи к иллюзиям и надеждам активной ее части, следует сказать несколько слов о современной роли единичных актов борьбы. Современность опровергает старый тезис о «бесплодности единичного добра». Оно вовсе не бесплодно. Опыт студенческого движения, прежде всего в Соединенных Штатах, показал, что проявления великодушной помощи обездоленным, а тем более мужественные подвиги могут вызвать широкую общественную реакцию.

Отдельные мужественные поступки или единичные акции небольших групп могут во второй половине XX века иметь гораздо больший общественный резонанс, нежели это бывало в прошлом. Для этого имеется ряд предпосылок. Одна из них — современный уровень цивилизации в развитых странах, обеспечивающий гласность, с которой правящие клики монополий лишь порой и на некоторый срок могут справляться с помощью крайних фашистских методов управления. В современном капиталистическом обществе по каналам массовой коммуникации население всей страны получает сведения о событиях и деяниях, которые в прошлом оставались известными лишь узкому кругу людей, непосредственно причастных к чьей-либо деятельности или к совершенно смелому поступку. Теперь, став всеобщим достоянием, подобные события уже превращаются в составной элемент того общественного движения, которому современные прогрессивные политические организации, и прежде всего рабочего класса, в состоянии придать надлежащее направление и размах.

Такова обстановка, в которой возникают и исчезают иллюзии молодежи, зарождаются новые надежды, формируется более продуманное отношение к миру. Постоянное поступательное движение и смена отдельных групп, постепенное созревание их участников — неотъемлемая черта студенческой молодежи, которая представляет разные слои общества, а действует в такое время, когда передовые организации трудящихся возглавляют антимонополистический фронт.

И как раз в этих условиях вливаются в широкий поток или ответвляются от него самые разнообразные течения. Известно, что в составе студенческого движения имеются организации и группы крайне левого толка вплоть до анархистов. Некоторые из них играют провокационную роль, другие находятся во власти иллюзий, порожденных и собственными заблуждениями, и влиянием литературы, апеллирующей к эмоциям неопытной молодежи. Документы, цитированные мною, дают представление об атмосфере, в которой наряду со здоровой эволюцией возможно и отклонение от верного пути. Убеждаясь в непомерном влиянии капиталистических монополий и их аппарата, сталкиваясь со всевластием государственной бюрократии, молодые люди могут подпасть под влияние крайних бунтарских идей, в частности анархизма в его различных формах.

Однако не следует забывать, что, несмотря на заблуждения, многие юноши и девушки, попавшие под влияние ошибочных идей, находятся все же во власти благородных иллюзий, которые могут смениться более глубокими раздумьями над проблемами и методами борьбы за благо человечества и привести к трезвым решениям.

Как я уже говорил, надо избегать огульных оценок и следует подходить дифференцированно к участникам студенческой борьбы и вообще к тому общественному явлению, которое получило во Франции общее наименование — «гошизм». По этому поводу член политбюро ФКП Ги Бесс заметил в интервью, опубликованном в «Литературной газете» 22 апреля 1970 года: «Мы отнюдь не считаем всех так называемых «новых левых» (гошистов) нашими врагами. Напротив, по нашему глубокому убеждению, большинство среди них — потенциальные союзники рабочего класса».

Замечу кстати, что я умышленно не пользовался таким термином, как «новая левая». Это понятие более широкое, чем гошизм, оно охватывает идеологию групп, не принадлежащих к молодежи. А я на студенческом движении всецело сосредоточил внимание в этой статье. Вот тут и требуется сугубо дифференцированный подход, умение отличать искренние и светлые порывы юношества от декламации и интриг неискренних догматиков и политиканов.

В разгар первой мировой войны, в декабре 1916 года, Ленин, оценивая позицию журнала «Интернационал молодежи», писал: «Разумеется, теоретической ясности и твер-

дости в органе молодежи еще нет, а может быть, и никогда не будет именно потому, что это — орган кипящей, бурлящей, ищущей молодежи». Далее Ленин говорил: «Таким людям надо всячески помогать, относясь как можно терпеливее к их ошибкам, стараясь исправлять их постепенно и путем преимущественно убеждения, а не борьбы». Но, прибавил Ленин, «льстить молодежи мы не должны»¹.

Заявления, рассуждения и поступки студенчества не отличаются полной теоретической ясностью и твердостью, но этим не исключается рост и созревание участников движения. Оно изживает иллюзии, обретает новые надежды и движется вперед к участию в решении важнейших проблем современности. Ведь прогрессивное студенчество Запада — это кипящая, бурлящая, ищущая молодежь!

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 30, стр. 226.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

К 100-летию со дня рождения И. А. Бунина

В. Н. МУРОМЦЕВА-БУНИНА

★

БУНИН И ЧЕХОВ

Вера Николаевна Муромцева-Бунина (1881—1961) сопутствовала Ивану Алексеевичу Бунину в течение целых сорока шести лет: она была не только его женой и другом, но фактически и его литературным помощником.

Вера Николаевна была разносторонне образованным человеком, свободно владела несколькими иностранными языками, глубоко интересовалась литературой и искусством, занималась переводами.

Душой и сердцем она жила заботами мужа, помогала ему и в жизни и в работе, делила с ним заграничные странствия — на Средний Восток, на Цейлон, в Италию.

Делила Вера Николаевна с Буниным и все тяготы эмигрантского бытия, когда жизнь текла, в сущности, без мечты и надежды.

За границей Вера Николаевна жила очень деятельной жизнью, много общалась и переписывалась с писателями, художниками и композиторами (особенно с С. В. Рахманиновым) и систематически вела дневник, который в случае опубликования станет безусловно интересным литературным документом.

Ей принадлежит книга «Жизнь Бунина» (Париж, 1958), являющаяся пока единственным подлинным и незаменимым сводом художественно обработанных сведений, показывающих (до 1907 года) жизнь и творчество замечательного писателя во всем их разнообразии, во всей их глубине и сложности.

Книгу обогащают впервые опубликованные в ней философские записки Бунина, касающиеся, в частности, революции 1905 года в Одессе.

Широко показан в книге полтавский период жизни Бунина, его корреспондентская работа в харьковской и киевской газетах. «Томы три-четыре могло бы прибавиться к его томам», — заключает по этому поводу Вера Николаевна.

Немало внимания уделяет Вера Николаевна и работе Бунина в «Орловском вестнике» (начало девяностых годов).

Становление Бунина как поэта и писателя тоже нашло более или менее подробное отражение в книге, как нашел отражение в ней острейший интерес молодого Бунина к литературному миру.

С особенным вниманием останавливается Вера Николаевна на отношении Бунина к Л. Н. Толстому, которому он с юности поклонялся как величайшему писателю (чуть ли не стал даже одно время «толстовцем» в жизни), и на дружбе Бунина с Чеховым. Чехова он восхищенно любил, и Антон Павлович отвечал ему нежной привязанностью, ценя и его расцветающий талант, и его изящное остроумие, и его теплую, добрую душу. «Кто его не знал до конца, тот и предсказать не может, на какую нежность была способна его душа», — замечает Вера Николаевна, доказывая это в своем повествовании рядом характерных примеров.

Точность сведений и фактов, их обилие и многообразие, беспристрастность в описовке людей, многосторонняя характеристика Бунина — писателя и человека — таковы отличительные черты книги В. Н. Буниной.

Здесь печатается глава из книги, посвященная взаимоотношениям И. А. Бунина и А. П. Чехова.

Публикация, предисловие и примечания Н. П. СМЕРНОВА.

1

Марья Павловна Чехова¹, собираясь на рождественские каникулы с матерью в Ялту, пригласила Ивана Алексеевича, когда он зашел к ней, погостить у них на праздниках.

— Мы не так будем одиноки на святках без Антоши,—говорила она: Чехов провёл ту зиму в Ницце.

Ивана Алексеевича прельстило это приглашение: зимой в Крыму он не бывал и пожить в уютном гостеприимном доме ему, бездомному, было по душе.

Вслед за Марьей Павловной и Евгенией Яковлевной² он приехал в Аутку. И сразу почувствовал себя хорошо: по утрам в погожие дни солнце заливало его комнату; хозяйки были заботливыми, мастерицами в кулинарном искусстве, умели создавать подходящую для писателя обстановку.

Антон Павлович, как это выяснилось после опубликования его писем, был доволен, что Бунин гостит у них, и жалел о своем отсутствии.

Евгения Яковлевна полюбила гостя и закармливала его, а с Марьей Павловной у Ивана Алексеевича возникла дружба.

Они ездили в Учан-Су, Гурзуф, Су-ук-Су. Марья Павловна рассказывала о юности и молодости брата, о его неистощимом веселье и всяких забавных выдумках, о Левитане, которого она талантливо копировала, подражая его шепелявости,— он, например, вместо Маша произносил Мафа,— о его болезненной нервности, психической неустойчивости. Повела и о том, что «ради Антоши» она отказалась выйти замуж:

— Когда я сообщила ему о сделанном мне предложении, то по лицу его поняла — хотя он и поздравил меня,—как это было ему тяжело... и я решила посвятить ему жизнь.

Рассказывала и об увлечениях Антона Павловича, иногда действительных, иногда воображаемых. Он был очень скрытен и о своих сердечных делах никому вообще не говорил.

Занята была Марья Павловна и продажей имения Кучукоя Перфильевой.

Вскоре по приезде в Ялту Марья Павловна в письме к брату привела только что сочиненные строки Бунина:

Позабывши снег и вьюгу,
Я помчался прямо к югу,
Здесь ужасно холодно,
Целый день мы топим печки,
Глядим с Буниным в окно
И гуляем, как овечки.

Последняя строчка ей не понравилась, она нашла ее «глупой». А Иван Алексеевич утверждал, что она самая лучшая...

В такой спокойной обстановке, полной забот о нем, Иван Алексеевич еще никогда не жил. И несмотря на свою семейную драму, боль, которую он, впрочем, скрывал, за едой бывал оживлен и остроумен, чем особенно пленил Евгению Яковлевну.

По утрам и днем, когда он сидел дома, он начал приводить в порядок свои заметки о путешествии с Куровским³, а потом засел за рассказ «Сосны», который и окончил после отъезда Марьи Павловны (12 января). Она просила его не оставлять «машины» до возвращения Антона Павловича.

После ее отъезда стало еще тише и спокойнее, и Иван Алексеевич быстро закончил свой рассказ. Он, как я упоминала, всегда писал о северной зиме, когда жил на юге; вероятно, в другой обстановке в его воображении все возникало ярче, мелочи отпадали, оставалось только главное, типичное.

За 1901 год написано восемь рассказов.

На творчество Бунина путешествия действовали всегда очень плодотворно. Писать же он должен был в спокойной обстановке, в простой, но удобной для него комнате. Он всегда утверждал, что знает, в какой комнате он может писать, а в какой нет.

С Евгенией Яковлевной он жил душа в душу. В свободные от занятия и прогулок часы или за столом он расспрашивал ее об Антоне Павловиче, о его детстве, ранней юности, и она со счастливым лицом радостно предавалась воспоминаниям.

Запись Ивана Алексеевича: «Зима 1901 г., я все еще жил у Чеховой». Моя запись: «Зима 1901 г., я у Чеховой. Су-ук-Су...

Крым, зима 1901 г., на даче Чехова.

Чайки, как картонные, как яичная скорлупа, как поплавки, возле клонящейся лодки. Пена, как шампанское.

Провалы в облаках — там какая-то дивная неземная страна. Скалы известково-серые, как птичий помет. Бакланы. Су-ук-Су. Кучукой. Шум внизу, солнечное поле в море, собака пустынно лает. Море серо-лиловое, зеркальное, очень высоко поднимающееся. Крупа, находят облака».

31 января в Москве первое представление «Трех сестер». Марья Павловна обещала прислать телеграмму к Синани, в книжный магазин. Евгения Яковлевна волновалась. Арсений, чеховский слуга, был послан вниз, в Ялту. Собрались кое-кто из друзей, зная об обещанной телеграмме, на дачу Чехова: начальница ялтинской женской гимназии Варвара Константиновна Харкевич, Середины и еще кто-то. Когда раздался телефонный звонок и Иван Алексеевич подбежал и взял трубку, то услышал радостный, задыхающийся голос Арсения: «Успех агромадный»... Эту фразу Иван Алексеевич часто повторял при подходящих случаях.

В середине февраля вернулся домой из Италии Антон Павлович. Накануне его приезда Иван Алексеевич переехал в гостиницу «Ялта». Провел тяжкую ночь — в соседнем номере лежала покойница. Чехов подтрунивал над ним за его страх перед мертвыми...

Он требовал, чтобы Иван Алексеевич бывал у них с утра ежедневно, и они иногда с прихода Ивана Алексеевича до тех пор, пока позовут их в столовую, оставались в кабинете, просматривая газеты, журналы, приходившие в большом количестве со всех концов России. Иногда они часами молчали, а бывало, Чехов раздражался смехом, прочтя что-нибудь забавное в провинциальной прессе, и они бранили рецензентов, критиков за полное непонимание того, о чем они писали. Нередко Чехов укорял своего младшего собрата за малописание, за то, что он относится к литературе, как дилетант... но об этом уже рассказывал сам Иван Алексеевич в книге «О Чехове»⁴.

Антон Павлович в то время почти всегда держал корректуру своих произведений. Когда он уставал, то иной раз Иван Алексеевич брал какой-нибудь из прежних, иногда даже полузабытых автором рассказов с подписью «Чехонте» и начинал читать. И как заразительно смеялся Чехов!.. Особенно смеялся он, когда слушал «Ворону», восхищаясь, как Бунин изображал пьяных,— много он с детства на них насмотрелся. Однажды после чтения рассказа «Гусев», который высоко ценил Иван Алексеевич, чего и не скрыл от Чехова, тот, помолчавши, неожиданно сообщил ему, что он женится.

Ивану Алексеевичу не нужно было спрашивать — на ком? Он был дружен и с Ольгой Леонардовной, но все же не думал, что их увлечение кончится браком.

Он всегда утверждал, что для Чехова брак был смертельной опасностью, «хуже Сахалина»... Понимал и драму Марьи Павловны: как ни верти, а хозяйкой станет Ольга Леонардовна, особенно если она бросит театр. А если не бросит, то какое одиночество и какую тоску будет чувствовать он, когда она будет жить в Москве, а он в Ялте, где у него очень мало близких и друзей. Но, понятно, Иван Алексеевич ему ничего не сказал, а Чехов стал шутить, что немки тщательней умываются, любят порядок и детей лучше воспитывают...

Вероятно, сам Антон Павлович понимал все не хуже Ивана Алексеевича, но, судя по письмам Книппер, она настаивала на браке. Чехов был увлечен ею, соединяло их то, что она играла в его пьесах, она как бы являлась связью его с Художественным театром, который хотя и боготворил его, но все же пьесы его понимал не по-чеховски, а по-своему, что всегда раздражало автора.

В феврале погода в Ялте была мягкая, приятная. Приехал из Петербурга Мирюлюбов⁵. У Чехова толпились гости, от которых он страдал. Приятен ему был только Иван Алексеевич — в письме к Ольге Леонардовне он пишет:

«Здесь Бунин, который, к счастью, бывает у меня каждый день».

Они рассказывали друг другу о своей жизни, но все же не были до конца откры-

венны. Я уже писала, что Иван Алексеевич понимал дух Чехова. Ведь для туберкулезных больных настроение, или, как теперь говорят, мораль, играет большую роль. И при нем Антон Павлович почти всегда был весел, оживлен, любил над ним подшучивать. Он любил вместе с ним выдумывать всякие забавные истории. Это, конечно, возбуждало и младшего писателя, он становился неистощим на выдумки, поэтому-то Антон Павлович и писал, что Бунин, «к счастью, бывает каждый день...».

Чехов в это время как раз занимался изданием своих сочинений у Маркса⁶. Многие рассказы он переделывал, чуть ли не писал заново — до того они ему не нравились. Но Маркс требовал, чтобы все напечатанное было предоставлено ему.

В конце февраля Иван Алексеевич должен был покинуть Ялту, о чем Чехов с большим огорчением сообщил невесте.

2

Ранней весной 1901 года синод отлучил Толстого от церкви. Для Ивана Алексеевича, как и для всей той России, которая почитала великого писателя, это было большим потрясением.

В письме от 24 марта Чехов выражает сожаление, что Бунин уехал, и спрашивает, когда они увидятся. Сообщает, что весной он будет в Москве и остановится в гостинице «Дрезден».

В конце марта Иван Алексеевич приехал в Одессу. В письме он запросил Чехова, не согласится ли Антон Павлович позировать скульптору Эдварсу, его приятелю, талантливому человеку. Чехов попросил отложить сеансы до осени, так как он в апреле уезжает из Ялты.

Ивана Алексеевича из Одессы потянуло опять в Ялту — несмотря на дружбу с художниками, ему всякий раз там (в Одессе.— Н. С.) было очень тяжело. Были и осложнения у него со свиданиями с сыном. И он написал Антону Павловичу, что, может быть, на страстной он опять попадет в Крым.

Чехов обрадовался и ответил, что будет его ждать.

На страстной Иван Алексеевич приплыл в Ялту, куда приехала и Марья Павловна, и совершенно неожиданно с нею прибыла и Ольга Леонардовна. Антон Павлович был оживлен, весел и, несмотря на то, что у Чеховых гостила Книппер, продолжал настаивать, чтобы Иван Алексеевич бывал у них с утра до позднего вечера, и когда тот отказывался, то никаких отговорок не принимал.

Куприн жил тоже в Ялте, он снял комнатку в Аутке и часто бывал в гостеприимном доме Чеховых.

Иван Алексеевич привел Куприна к Елпатьевским. Они недавно отстроили высоко над Ялтой свою белую дачу.

Елпатьевский⁷, по словам дочери, всегда относился к Бунину с любовью. Ему нравились его рассказы, особенно «На край света» и «Тарантелла» (теперь озаглавленная «Учитель»). И Иван Алексеевич, когда бывал в Ялте, поднимался к ним [...].

Вот запись Ивана Алексеевича о пасхальном визите к В. К. Харкевич:

«Весной 1901 г. мы с Куприным были в Ялте (Куприн жил возле Чехова в Аутке.— М.-Б.). Ходили в гости и к начальнице ялтинской женской гимназии Варваре Константиновне Харкевич, восторженной даме, обожательнице писателей. На пасхе мы (с Куприным.— М.-Б.) пришли к ней и не застали дома. Пошли в столовую к пасхальному столу и, веселясь, стали пить и закусывать».

Куприн сказал: «Давай напишем и оставим ей на столе стихи»,— и стали, хохоча, сочинять, а я написал:

В столовой у Варвары Константиновны
Накрыт был стол отменно длинный,
Была тут ветчина, индейка, сыр, сардинки —
И вдруг ни крошки, ни соринки:
Все думали, что это крокодил,
А это Бунин в гости приходил.

Написал он на скатерти, а хозяйка потом вышила эти строки. У Чеховых долго смеялись их выходке.

Ольге Леонардовне нужно было вернуться в театр в начале пасхальной недели, и она уехала в Москву; уехал и Куприн, а Бунин оставался еще некоторое время.

14 апреля они — Марья Павловна, Антон Павлович и Иван Алексеевич — отправились завтракать в Су-ук-Су. Там при гостинице был ресторан с большим залом, выходящим на море, с гостиницами в мягких удобных креслах. Во время завтраков и обедов играли итальянцы, иногда исполнявшие неаполитанские песни. Владелицей этого курорта была красавица Березина, вдова инженера.

Завтрак прошел оживленно. Чехов был весел, все были в самом лучшем расположении духа. Когда пришло время расплачиваться, Иван Алексеевич вынул кошелек, Антон Павлович удержал его руку, сказав, что дома он представит ему счет. Вернувшись, он с лукавым видом что-то долго писал и считал на бумажке, потом протянул ее Ивану Алексеевичу со словами:

— Вот, господин Букишон, извольте заплатить.

Иван Алексеевич прочел:

Счет господину Букишону

1 переднее место у извозчика	5 р.
5 бычков ала фам о натюр	1 р. 50 к.
1½ бут. вина экстра сек	2 р. 25 к.
4 рюмки водки	1 р. 20 к.
1 филей	2 р.
2 шашлыка из барашка	2 р.
2 барашка	2 р.
Салат тирбушон	1 р.
Кофей	2 р.
Прочее	11 р.
<hr/>	
Итого	27 р. 75 к.

20 апреля Чехов пишет Ивану Алексеевичу укоризненное письмо по поводу того, что он сосватал его со «Скорпионом»⁸...

«Зачем вы ввели меня в эту компанию, милый Иван Алексеевич? Зачем? Зачем?»

В мае Чехов через академика А. Ф. Кони⁹ хлопочет, посылая книгу стихов Бунина в академию на «пушкинскую премию» (если не ошибаюсь, это были «Листопад», сборник стихов и перевод «Гайаваты» Лонгфелло).

Летом Иван Алексеевич, узнав, что Чехов на кумысе, из Огневки пишет ему, а ответное письмо получает от 30 июня; в нем Чехов просит поздравить его с законным браком, но письмо адресовать уже в Ялту. Из этого письма узнаем, что Иван Алексеевич в скором времени едет в Одессу. Чехов пишет: «Не забывайте, что от Одессы до Ялты рукой подать, приехать нетрудно». Это письмо он и подписал «Аутский мещанин»...

Ивана Алексеевича тянуло в Одессу к сыну, и некоторые думали, что, может быть, если бы Анна Николаевна не была так непримирима, то они бы сошлись и наладили свою жизнь. (В будущем она станет жалеть о своей непримиримости и объяснять ее влиянием мачехи.) Но мне кажется, едва ли им удалась бы совместная жизнь: уж очень разные у них были и натуры и характеры. Да и могла ли она побороть, будучи такой молодой и неопытной, свою гордость, свое самолюбие: когда дело шло относительно обстановки для писания, ей приходилось бы всегда уступать. Насколько я знаю, Иван Алексеевич два года после разрыва надеялся на примирение. Перестал же он этому верить, махнул рукой только в 1902 году.

Незадолго до своей кончины Иван Алексеевич мне передал, что один раз Антон Павлович очень деликатно коснулся этой стороны его жизни, указав, что сын будет очень страдать от разрыва родителей. Рассказывая мне это, Иван Алексеевич, улынувшись, заметил: «Это влияние Авиловой¹⁰, как я теперь понимаю,— она говорила Чехову: «Ведь непременно должны быть жертвы... Прежде всего — дети. Надо думать о жертвах, а не о себе».

Но Чехов не имел представления об Анне Николаевне, не знал он по-настоящему и той жизни, которая велась у Цакни и которую Анна Николаевна не хотела бросать, не знал он до конца и характера Ивана Алексеевича, человека очень необычного, сложного, не умеющего приспособляться, могшего писать только в созданных им самим условиях.

В августе Бунин написал Чехову из Одессы и задал Антону Павловичу ряд вопросов. Чехов ему отвечает, что после 1 сентября он остается вдвоем с Евгенией Яковлевной. Просит художника Нилуса¹¹, которому хотелось написать портрет, отложить сеансы до весны, так как он очень занят, а потом скоро уедет в Москву. Намерению же Ивана Алексеевича приехать он очень обрадовался. «Буду (с первого сентября) день и ночь сидеть на пристани и ожидать парохода с Вами... Не обманите, голубчик... Поживем в Ялте, а потом вместе в Москву поедем, буде пожелаете...»

В этот период своей жизни он никому писем таких не писал.

4 сентября Иван Алексеевич на пароходе едет в Ялту. 8-го обедает на аутской даче с каким-то прокурором. И опять ежедневно бывает у Чехова. Сначала Антон Павлович чувствовал себя больным, но 9 сентября в письме к жене он сообщает: «Теперь я здоров. Ходит ко мне каждый день Бунин».

В это время жил в Ялте актер Орленев¹², которого Иван Алексеевич увидел в первый раз и нашел его талантливым, но очень нервным человеком.

Собрался было Чехов перед отъездом в Москву позавтракать с Иваном Алексеевичем в Гурзуфе, но поездку пришлось отменить: Чехов получил приглашение к Льву Николаевичу Толстому в Гаспру.

В этот день Иван Алексеевич отправился к Елпатьевским в Массандру, где познакомился с Николаем Карловичем Кульманом¹³, который ему понравился своими живыми глазами, веселостью и остроумием, хотя он и оказался победителем какой-то Веры Ивановны, за которой они оба ухаживали, пробуя вино в подвалах Удельного ведомства, заведовал которым некий Качалов.

По возвращении в Ялту Иван Алексеевич тотчас поспешил к Чехову, чтобы узнать о его посещении Толстого, и с большим интересом слушал, что рассказывал тот, всячески восхищаясь Львом Николаевичем. Чехов признавался, что боится его. И опять говорили о глазах Анны, «которые она сама видит, как они светятся в темноте», и как это написал Толстой,— словом, весь вечер был посвящен Льву Николаевичу. И за ужином Антон Павлович еще усерднее подкладывал на тарелку своему любимому гостю и сам немного больше ел и меньше ходил по столовой.

Это случилось за три дня до отъезда Ивана Алексеевича в Москву. Он тогда спешно уехал из Ялты на тройке в Симферополь, где поймал курьерский поезд.

Не знаю точно, в каком году Иван Алексеевич встретил Рахманинова в Ялте, но знаю только, что эта встреча произошла до 1902 года. Я думаю, осенью 1901 года, когда Ивана Алексеевича познакомили с Сергеем Васильевичем на каком-то ужине в гостинице «Россия». Знаю одно — в те времена Рахманинов еще не был женат.

За ужином они оказались рядом и сразу же разговорились. Оказалось, что у них одинаковое мнение относительно того, что в те времена начали называть «декадентством». За ужином они пили «абрау дюрсо», затем встали из-за стола и пошли на террасу. Сошли в сад и за разговором не заметили, как очутились на молу. Сели на канаты и от нелюбимого ими декадентства перешли к любимым поэтам. И так они тогда увлеклись беседой, вспоминая стихи, что не заметили, как прошла ночь. Иван Алексеевич, говоря о ней, определил ее как беседу, которая могла быть во времена романтические, во времена Герцена, Станкевича, Тургенева.

Я думаю, что тогда Рахманинов приехал в Ялту с Шаляпиным, которому он сопровождал.

Однажды в Жуан ле Пен, за завтраком у Марка Александровича Алданова¹⁴, Сергей Васильевич в присутствии Ивана Алексеевича, Галины Николаевны Кузнецовой¹⁵, Татьяны Сергеевны (младшей дочери Рахманинова), Леонида Федоровича Зурова¹⁶ и меня рассказал, как Чехов однажды после концерта заметил ему:

— Из вас выйдет большой музыкант.

— Почему вы так думаете? — спросил Сергей Васильевич.

— Я смотрел все время на ваше лицо за роялем.

В Москве Бунин часто заезжал к Чеховым на Спиридоновку, в дом Бойцова, в двух шагах от Большого Вознесения. Они сняли флигель во дворе, квартира была уютная, Чехову она нравилась, но дамы находили, что она тесна.

А Куприн в это время переехал в Петербург. Стал близким сотрудником в «Мире божьем» — его очень оценила издательница Александра Аркадьевна Давыдова, в доме которой он стал частым гостем [...].

В конце октября Чехов, покинув Москву, уехал в Ялту. Но и после его отъезда Иван Алексеевич часто бывал в его семье, с которой он сходил все больше.

В те дни в Москве много говорили о новой пьесе Немировича-Данченко «В мечтах». Книппер играла в ней роль очень шикарной дамы, и ей нужно было заказать туалеты у лучшей портнихи. Роль красавицы была отдана Андреевой¹⁷, и действительно она в ней была изумительно хороша. Кантату для этой пьесы написал Гречанинов¹⁸. Шла речь и о новых постановках: «Михаил Крамер», «Дикая утка». Радовались успеху «Одиноких» и тому, что в театре строят планы о переезде в новое помещение, ибо в Каретном ряду много неудобств, уже тесно.

В начале ноября Горький с семьей должен был из Нижнего Новгорода переехать в Крым. Он хотел провести день в Москве, повидаться с друзьями, поговорить о делах «Знания» с Пятницким¹⁹ (нарочно приехавшим для этого из Петербурга) и с переводчиком Шольцем, который тоже ждал Горького в Москве.

Поезд пришел утром, но власти Горькому не разрешили провести день в Москве, семье же позволили поехать в город. Екатерина Павловна²⁰ сразу кинулась к Телешовым²¹ и сообщила о запрещении, потом направилась к Пятницкому, где застала Шольца. Телешов известил Андреева²², Бунина, и они все поехали на Курский вокзал, но там узнали, что вагон с Горьким отправлен в Подольск, где он и пробудет до вечернего севастопольского поезда, в котором и поедет его семья. Тогда все приехавшие встречать Горького на вокзал с первым же поездом отправились к нему в Подольск.

Об этом подробно рассказывает Н. Д. Телешов в своей книге «Записки писателя».

Иван Алексеевич потом вспоминал немца-переводчика Шольца, как он «выпучивал глаза на самородков», то есть на Горького и Шалапина... В Подольске местная полиция не знала, что ей делать.

Шалапин уже был на подольской платформе, когда писатели туда приехали, и тут они впервые с ним познакомились.

Часа три друзья пробыли в Подольске. Пили шампанское. Севастопольский поезд остановился буквально на минуту, чтобы принять единственного пассажира — Горького, и быстро двинулся дальше.

После этого провожающие вернулись в Москву. Иван Алексеевич бросился к Чеховым, там застал Куприна, который очень жалел, что не провожал Горького.

Иван Алексеевич объяснял эту меру со стороны московских властей тем, что они испугались манифестации студентов и курсисток на Курском вокзале. И под первым впечатлением живо представил, какие были в Подольске у всех лица и кто что говорил.

Чеховы решили переменить квартиру. Начались поиски, остановились на квартире в доме Фирсановой-Ганецкой, где были знаменитые на всю Москву Сандуновские бани, и вскоре туда переехали. Иван Алексеевич побывал у них на новоселье. Квартира была просторная, но находилась на третьем этаже, без лифта.

В это время в газете «Курьер», в номере 3185, была напечатана статья Глаголя²³ о стихах Бунина, где критик, сам будучи художником, сравнивает Бунина с Левитаном. «Бунин в области стиха такой же художник, каким является «поэт русского пейзажа» Левитан — в живописи». Тогда Ольга Леонардовна в письме к мужу находила, что «перехвалил Глаголь»... Думаю, что теперь она переменяла свое мнение. В этом же письме она сообщает, что «в субботу Букишон читает о Беклине в Кружке. Маша пойдет, а я занята».

Никогда я ничего не слыхала об этом докладе.

Московская беспорядочная жизнь сказывалась на Иване Алексеевиче: вид был скверный, он чувствовал себя очень утомленным, стал подумывать о деревне, но ему хотелось посмотреть «Детей Ванюшина»²⁴. Премьера была назначена на 14 декабря 1901 года, и пьеса прошла с большим успехом.

Побывав на премьере в театре Корша, он отправился к Пушешниковым²⁵ в Васильевское, где и пробыл все святки.

3

В январе 1902 года Иван Алексеевич поселился на Арбате, в меблированных комнатах «Столица». Это было в двух шагах от Староконюшенного переуллка, где жил Юлий Алексеевич²⁶.

Ежедневно в пятом часу, когда кончается прием в редакции, у Юлия Алексеевича в двухэтажном флигеле, в глубине просторного двора, за большим особняком с садом доктора Михайлова, издателя журнала «Вестник воспитания», в нижнем этаже, происходит чаепитие. Младший брат во время своего пребывания в Москве не пропускает этих сборищ, куда почти ежедневно приходили журналист Николай Алексеевич Скворцов (покончивший жизнь самоубийством в Киеве в 1918 или 1919 году), милый, горячий, умный человек, всем сердцем преданный Юлию Алексеевичу, и другие приятели из «Русских ведомостей», а когда племянники Пушешниковы стали учиться в Москве, то и они были неизменными гостями. И тут начиналось большое оживление, смех, шутки и рассказы младшего Бунина о том, где он был накануне или в этот день. Затем возникали споры о литературе. Юлий Алексеевич старался уговорить своего брата, нападавшего то на одно, то на другое произведение, уже шумящее, и попутно представлявшего в лицах своих друзей и недругов, да так, что все помиралось со смеху. Обсуждались у Юлия Алексеевича и текущие политические события.

В середине января Иван Алексеевич получил от Чехова новогоднее поздравление со всякими шутивными пожеланиями. Спрашивает, писал ли он о «Соснах»? (Бунин послал ему отгиск этого рассказа). «Сосны» — это очень ново, очень свежо и очень хорошо, только слишком компактно, вроде сгущенного бульона.

«Осенью» ему не понравилось, о чем он и пишет жене в ответ на ее сообщение, что она вслух читала этот рассказ Марье Павловне и художнице Дроздовой и что ей рассказ понравился: «с сильным настроением...». Начали они после этого читать «В цирке» Куприна, но «стало скучно», и она пошла писать письмо мужу. На это Чехов ей возражает: «Осенью» Бунин сделано несвободной рукой, во всяком случае купринское «В цирке» гораздо выше. «В цирке» — это свободная, наивная, талантливая вещь, притом написана знающим человеком... ну да бог с ними! Что это мы о литературе заговорили?» Мнение Чехова об этих рассказах Иван Алексеевич знал, но не знал, по какому поводу оно было высказано...

Примечания

¹ Чехова М. П. (1863—1957) — сестра А. П. Чехова, бессменный директор Дома-музея Чехова в Ялте; автор двух книг: «Письма к брату А. П. Чехову» (М. 1954) и «Из далекого прошлого» (М. 1960), содержащих ценнейший материал для биографии А. П. Чехова.

² Чехова Е. Я. (1835—1919) — мать писателя.

³ Куровской В. П. (1869—1915) — художник из плеяды «Южнорусских художников», хранитель одесского музея; покончил жизнь самоубийством; образ его Бунин запечатлел в стихотворении «Памяти друга», датированном 12 августа 1916 года.

⁴ Книга Бунина о Чехове, изданная в Нью-Йорке в 1955 году, имеет подзаголовок «Незаконченные рукописи» и представляет собой собранные воедино воспоминания Бунина о Чехове и ряд необработанных материалов, которые Бунин собирал в последние годы жизни. Это были последние литературные работы Бунина.

⁵ Миролубов В. С. (1860—1939) — журналист, редактор-издатель ежемесячного «Журнала для всех».

⁶ Маркс А. Ф. (1838—1904) — книгоиздатель, организатор еженедельника «Нива», «бесплатным приложением» к которому давались собрания сочинений русских (и некоторых западных) классиков. Договор с Марксом оказался кабальным для Чехова.

⁷ Елпатьевский С. Я. (1854—1933) — автор книги «Воспоминания за 50 лет» («Прибой». Л. 1929).

⁸ «Скорпион» — одно из «модернистских» издательств в Москве, существовавшее на средства богатого купца Полякова; в числе изданий «Скорпиона» был альманах «Северные цветы», в котором Чехов по просьбе Бунина напечатал однажды рассказ («Ночью»), о чем потом очень сожалел. Бунин вскоре тоже «почел за благо удалиться из этого литературного лабаза» («Из записей». Собрание сочинений. М. 1967, т. IX, стр. 299).

⁹ Кони А. Ф. (1844—1927) — либеральный судебный деятель, публицист и мемуарист, автор обширных воспоминаний «На жизненном пути».

¹⁰ Авилова Л. А. (1864—1943) — писательница, автор многочисленных повестей и рассказов, печатавшихся в дореволюционных «толстых» журналах; ее воспоминания о Чехове опубликованы посмертно в сборнике «А. П. Чехов в воспоминаниях современников» (М. 1947). Ознакомившись с этими воспоминаниями, Бунин, в частности, писал: «Воспоминания Авиловой, написанные с большим блеском, волнением, редкой талантливостью и необыкновенным тактом, были для меня открытием. Прочтя ее воспоминания, я и на Чехова взглянул иначе, кое-что по-новому мне в нем приоткрылось...» (книга «О Чехове»).

¹¹ Нилус П. А. (1869—1943) — многолетний друг Бунина, художник, автор известного портрета Чехова, литератор; сборник его рассказов был издан Московским книгоиздательством писателей.

¹² Орленев-Орлов П. Н. (1868—1932) — народный артист РСФСР.

¹³ Кульман Н. К. (1871—1949) — литератор, умерший в эмиграции.

¹⁴ Алданов М. А. (1889—1957) — русский писатель, эмигрант, автор исторических романов и повестей преимущественно из быта XVIII—XIX веков и многочисленных эссе.

¹⁵ Кузнецова Г. Н. (р. 1900) — близкая Бунину поэтесса и писательница, автор книги «Грасский дневник» (Нью-Йорк. 1967, 315 стр.), содержащей ряд ценных сведений о Буине — писателе и человеке.

¹⁶ Зуров Л. Ф. (р. 1902) — писатель, близкий семье Бунина, хранитель его литературного наследия.

¹⁷ Андреева М. Ф. (1868—1953) — артистка МХАТа (с 1898 по 1905 год), жена А. М. Горького.

¹⁸ Гречанинов А. Т. (1864—1956) — русский композитор.

¹⁹ Пятницкий К. П. (1864—1938) — директор-распорядитель издательства «Знание», руководимого А. М. Горьким.

²⁰ Пешкова Е. П. (1876—1965) — жена А. М. Горького, общественная деятельница.

²¹ Телешов Н. Д. (1867—1957) — русский писатель, друг Бунина, один из редакторов литературно-художественных сборников «Слово», выходивших в 1912—1918 годах и объединявших лучших тогдашних писателей-реалистов.

²² Андреев Л. Н. (1871—1919) — известный русский писатель.

²³ Сергей Глаголь — псевдоним художника С. С. Голоушева (1855—1920), этим псевдонимом он подписывал свои литературно-критические статьи.

²⁴ «Дети Ванюшина» — пьеса драматурга С. А. Найденова-Алексеева (1868—1922).

²⁵ Пушешниковы — семья троюродной сестры И. А. Бунина; один из членов этой семьи — Н. А. Пушешников (1892—1939), переводчик Голсуорси, Д. Лондона, Тагора и Киплинга, был особенно близок Бунину, выполняя до отъезда Бунина за границу роль его «литературного секретаря».

²⁶ Бунин Ю. А. (1857—1921) — старший брат Ивана Алексеевича, литературно-общественный деятель, народник, с 1897 года — редактор журнала «Вестник воспитания».



Академик А. АЛЕКСАНДРОВ

★

РАЗ УЖ ЗАГОВОРИЛИ О НАУКЕ...

Наука в своем бурном развитии все сильнее и глубже воздействует на нашу жизнь своими материальными последствиями и идейными влияниями. Она все в большей степени становится важнейшим элементом общей культуры, расширяя и углубляя наше видение мира и самих себя. Не мудрено, что широкий интерес вызывают не только результаты и выводы науки, но и сама наука в ее общем значении, сущности и путях развития, в ее отношении к этике, к искусству. Понимание всего этого нужно нам, чтобы лучше осознать тот процесс растущего влияния науки, который мы переживаем, тем более если мы сами в нем участвуем. Поэтому не удивительно, что обо всем этом, а не только о конкретных достижениях науки пишут в журналах. Пишут по-разному.

Взгляды на науку встречаются, понятно, разные. Одно, казалось бы, должно быть в них общим — это соблюдение требования научной этики: следовать истине, а не искажать бесспорные факты в угоду своим мнениям. Однако среди сочинений о науке встречаются такие, которые странным образом нарушают это требование. К ним относятся статьи члена-корреспондента Академии наук СССР М. Волькенштейна «Наука людей» в № 11 «Нового мира» за 1969 год, кандидата физико-математических наук Ю. Шрейдера «Наука — источник знаний и суеверий» в том же журнале в № 10 за 1969 год и, наконец, В. Шевченко «Похищение Европы» в журнале «Знание — сила» в № 1 за 1970 год. Каждая из этих статей толкует об общих очень важных вопросах,

касающихся науки. Поэтому кажется тем более необходимым взглянуть в эти статьи. Это оказывается очень интересным.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ

Так как о науке пишут по-разному, то нужно, пожалуй, начать с того, чтобы договориться, что мы должны понимать под наукой. Обратимся за этим, например, к Большой Советской Энциклопедии. Там дается определение: «Наука — исторически сложившаяся и непрерывно развивающаяся на основе общественной практики система знаний о природе, обществе и мышлении, об объективных законах их развития... Исходя из фактов действительности, наука дает правильное объяснение их происхождения и развития, раскрывает существенные связи явлений...»

Простая констатация факта тоже является, конечно, знанием, как, например, утверждение, что «Волга впадает в Каспийское море». Но научное знание касается не отдельных фактов, а какой-либо их совокупности, когда факты берутся в их взаимной связи, как, скажем, в научном описании исторических событий, или с известной степенью обобщения, как в физике, химии или социологии. От систематического, обобщенного описания фактов наука восходит к открытию их законов, к выяснению их причин, к их объяснению посредством тех или иных теоретических представлений. Точная наука начинается с установления точных законов, как, например, законы движения

планет в астрономии или общие законы движения в механике.

Однако не всякое объяснение или теоретическое представление является научным. В науке существенны ее методы и критерии получения и проверки знаний, установления законов и построения теорий. Основным и последним критерием служит практика, так же как методы получения научных знаний — прежде всего научный эксперимент — представляют собою только развитие и специализированные формы той же практики. Метод, как говорил Гегель, не внешняя форма, а душа содержания. Именно научный метод отличает науку от псевдонауки вроде алхимии с ее фантастическими, выходящими за пределы всякой практической проверки представлениями. Хотя, с другой стороны, алхимики накопили довольно обширные знания и не без успеха пользовались химическим экспериментом.

В общем, наука есть система знаний и основанных на них теоретических представлений, развиваемых соответствующими методами. Она — человеческое дело, форма человеческой деятельности, состоящая в искании, открытии и утверждении истины. Истина же — истинность знания — есть не что иное, как его соответствие действительности, устанавливаемое в деятельности человека, в его практике.

Характеризуя в общих чертах развитие науки, М. Волькенштейн пишет:

«Наука, построенная на точном опыте, на точном рассуждении, существует каких-нибудь четыреста лет. В предшествующие эпохи развитие научных знаний шло значительно медленнее и не характеризовалось единым строгим методом. Одновременно возникали гениальные прозрения в области математики (не требовавшей эксперимента) и фантастические домыслы в области физики и тем более химии и биологии. Между тем человеческая культура в истинном смысле слова (как творческое познание мира и овладение его силами) существует тысячелетия».

Итак, утверждается, во-первых, что точная наука существует всего «каких-нибудь четыреста лет». Однако широко известно, что «Начала» Эвклида, содержащие изложения элементарной геометрии в виде строгой математической теории, были написаны в III веке до нашей эры. При этом логическая строгость, выработанная греческими

математиками, была превзойдена лишь во второй половине XIX века. Еще до Эвклида греки получили множество точных математических результатов, и известно, что в V веке до н. э. «Начала» геометрии были написаны греческим ученым Гиппократом Хиосским. Таким образом, математика как наука, построенная на точном рассуждении, насчитывает никак не четыреста, а примерно две тысячи четыреста лет!

Что же касается точного естествознания, то можно, например, вспомнить, что еще в III веке до н. э. Архимед развил начала статики и открыл закон, известный теперь каждому школьнику, что примерно в то же время Эратосфен довольно точно определил размеры Земли и что астрономические познания греков были суммированы в системе Птолемея (II век н. э.), давшей весьма точное описание движения планет, Луны, Солнца по отношению к Земле.

Всем известно, что период в истории Западной Европы, протекавший около четырехсот лет назад, называется эпохой Возрождения. Как ни условно и недостаточно точно это название, а оно выражает тот известный факт, что в то время в Европе возрождалось культурное наследие античности, осваивалась, в частности, точная греческая наука. Западная Европа заимствовала ее наследие из Византии и у арабов. Кроме того, от тех же арабов Европа заимствовала достижения индийских, среднеазиатских и самих арабских ученых.

Но и этого мало. Сама греческая наука имела источник в науке Древнего Египта и Вавилонии, где были заложены начала астрономии и математики. Геометрия возникла в Египте как эмпирическая наука, как первая часть точного естествознания (дедуктивной она стала лишь у греков). В ней были установлены точные, хотя и простейшие, законы, например, зависимость площади треугольника от его основания и высоты. До нас дошло из Египта сводное сочинение по арифметике и геометрии, написанное примерно в XVII веке до н. э., и оно, несомненно, имело предысторию.

Таким образом, наука, построенная на достаточно точном, хотя и элементарном опыте, на достаточно точном, хотя и простом, с нынешней точки зрения, рассуждении, существует не «каких-нибудь четыреста лет», а по крайней мере около четырех тысяч лет, то есть в десять раз больше! Конечно, точность опытов и рассуждений, на которых

постепенно строилась наука, развилась и усовершенствовалась. Но наука зародилась в глубочайшей древности, и ее развитие шло через ряд исторических эпох, у разных народов переходя от одного из них к другому.

Обратимся ко второму утверждению приведенного выше абзаца. В нем М. Волькенштейн говорит, что в эпохи, предшествовавшие XVI веку, развитие науки, во-первых, «шло значительно медленнее» и, во-вторых, «не характеризовалось единым строгим методом». Что касается первого утверждения, то оно, в общем, верно, но все же лишь отчасти. Едва ли можно сказать, что развитие науки в Европе XVI—XVII веков шло значительно быстрее, чем в Греции, когда на протяжении такого же периода в двести лет были заложены начала биологии, механики, физики, математической географии, минералогии, значительно развилась астрономия, а математика обогатилась многими результатами и получила строгую форму, представленную в Эвклидовых «Началах». Тогда же Аристарх Самосский выдвинул мысль, что не Солнце вращается вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца. Это было за тысячу восемьсот лет до Коперника, так что и тут М. Волькенштейн ошибается, утверждая, что Коперник был здесь первым.

Что же касается утверждения, будто в ту эпоху развитие науки «не характеризовалось единым строгим методом», то оно совершенно непонятно. Если иметь в виду метод точных наук, то он был достаточно строгим и единым в Греции. Труды Эвклида, Птолемея, Архимеда и других демонстрируют это совершенно неопровержимо. Если же говорить о методе науки вообще, то, с одной стороны, единство его определяется только очень общими чертами, как объективность, доказательность, систематичность, выяснение связей и др. С другой стороны, методы разных наук, например математики и зоологии, чрезвычайно различны и в настоящее время. Поэтому рассмотренное утверждение насчет единого строгого метода, как его ни поверни, неверно.

От этого утверждения М. Волькенштейн переходит к следующему. Хотя, мол, за четыреста лет до нашего времени единого строгого метода в науке не было, но были «гениальные прозрения в области математики...». Однако изображать, например, «Начала» Эвклида как результат одного «гениального прозрения» нельзя. Такой ги-

гантский для своего времени обобщающий научный труд мог явиться и фактически явился итогом громадной работы предшественников Эвклида и его самого, работы, следовавшей строгим методам математики, вырабатывавшимся в процессе этой работы.

Во-вторых, М. Волькенштейн говорит, что «возникали... фантастические домыслы в области физики и тем более химии и биологии». Конечно, в античной науке были разные домыслы, но среди них были и такие, как атомы Демокрита. А главное, кроме домыслов, были такие точные результаты физики, как тот же закон Архимеда. Что же касается биологии, то не кто иной, как Аристотель исследовал анатомию животных и внес в биологию не меньше, чем удалось кому-нибудь другому до Дарвина. А если у него был домысел о жизненной силе, то и в XX веке были биологи-виталисты, которые придерживались подобного домысла. Полезно понять, что оценка представлений как «фантастических домыслов» относительна и исторична. Флогистон, теплород и эфир тоже можно считать фантастическими домыслами, как, несомненно, фантастическими домыслами оказались орбиты, по которым вращались электроны в модели атома Бора. И не покажутся ли нашим потомкам фантастическими домыслами некоторые современные теории? Без фантазии и ее домыслов наука не развивалась и не развивается.

Представление о греческой науке как итоге «прозрений» и «домыслов» навеяно, быть может, анекдотом об Архимеде. Будто тот выскочил из ванны с криком: «Эврика!», когда прозрел, что тело в воде теряет в весе столько, сколько весит вытесненная им вода. Каковое прозрение было «домыслом» о том, что называют теперь законом Архимеда. Не исключено, что Архимед в самом деле выскочил из ванны от радости открытия. Но вообще-то Архимед не только прозревал лежа в ванне. Его исключительные для своего времени достижения, которые сравнивают с достижениями Ньютона, были результатом не одних домыслов и прозрений, но гигантской работы строгой логической мысли, соединенной с точными наблюдениями и опытом. В частности, закон Архимеда был сформулирован им в точной форме и применен на практике. Его дошедшие до нас труды написаны в строго научном стиле, мало отличающемся от стиля

современных работ, не перегруженных формулами.

Обратимся к следующему абзацу статьи М. Волькенштейна. Он говорит, что «произведения подлинного искусства всегда сохраняют свое эстетическое значение», как, например, голова Нефертити, но «древнеегипетская наука сегодня не имеет никакого значения, кроме исторического». Однако египтяне открыли, например, что площадь треугольника равна половине произведения основания на высоту, и этот их результат полностью сохраняет свое значение. Всякий, даже небольшой научный результат сохраняется, так как выражает хотя бы частицу абсолютной, объективной истины. Кроме результатов, сохраняются, хотя бы в разном и преобразованном виде, также методы науки, как, например, приемы математического доказательства, выработанные греками. Я сам геометр и в своих работах по общей теории поверхностей развивал методы, содержащиеся у Эвклида. Поэтому для меня наука древних — не тема для отвлеченных разговоров об истории науки, а основание живого научного творчества.

Вопрос о подлинном развитии науки очень важен, так как связан с пониманием культуры в ее целостности и историческом развитии. Он касается нас самих как наследников, продолжателей и преобразователей прошлого, как тех, кто заимствует и использует в своей практической и научной деятельности результаты трудов древних египтян, греков, индийцев и т. д., кто должен поэтому понимать свою историческую связь с человечеством и не должен самодовольно приписывать европейской культуре нового времени тех заслуг, которые в действительности не принадлежат ей.

Если считать, что наука в собственном смысле возникла всего четыреста лет назад, то, значит, она возникла только вместе с капитализмом (первая буржуазная революция происходила в Нидерландах как раз около четырехсот лет назад). Такой взгляд может завести слишком далеко в понимании подлинного места науки в культуре и истории человечества. Однако начало науки теряется в седой древности. Плодами науки древних мы пользуемся до сих пор, и открытые ими истины представляют непреходящие, пусть даже элементарные, ценности человеческой культуры, проникая во всю нашу жизнь. Они служат одной из тех основ, на которых росли и развиваются последующие

достижения науки и техники, и искусство тоже не обходится без них. Все это не вопрос мнений и взглядов, которые могут быть спорными. Речь идет прежде всего о достоверных фактах, как труды Эвклида и Архимеда или египетские математические папирусы, которые каждый может прочесть в переводе.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТОЙ ЖЕ ИСТОРИИ

К сожалению, М. Волькенштейн не одинок в своих взглядах на историю науки. С ним перекликается В. Шевченко, автор «Похищения Европы». Приведу на выдержку два примера.

Первый пример. В. Шевченко заявляет, что в настоящее время «активизируется забытая с XVII века астрономия». И это при том, что после XVII века были открыты планеты Нептун и Плутон, не считая массы астероидов; были впервые определены расстояния до звезд, их размеры, массы, скорости движения, состав и температура их поверхностей; на Солнце был открыт гелий, который только потом был обнаружен на Земле; было установлено, что спиральные туманности — это отдаленные гигантские звездные системы (галактики), были определены расстояния до многих из них, и было установлено, что они разбегаются — Вселенная расширяется! Эти последние открытия, сделанные лет сорок тому назад, совершили переворот в представлениях о Вселенной, сравнимый с самой коперниканской революцией. Таково было триумфальное движение астрономии, «забытой с XVII века».

Второй пример. В. Шевченко пишет: «Творцы нынешней науки переоценили этическую силу знания» — и в подтверждение приводит слова Паскаля: «Будем же учиться хорошо мыслить — вот основной принцип морали». Но одно дело — знание, другое дело — мышление. Много знать — не значит еще хорошо мыслить. Автор смешивает простые русские слова «знать» и «мыслить».

Однако посмотрим, о чем, собственно, пишет В. Шевченко. Заглавие его статьи — «Похищение Европы» — отражает ту его мысль, что развитие науки совершило в XVII веке «похищение Европы из семьи традиционных культур, замкнутых в прочные рамки религий». При этом утверждает, что до XVII века наука не существо-

вала, в XVI—XVII веках лишь «зародилось то, что мы называем сегодня наукой». Надо ли вновь повторять, что в общепринятом понимании наука существовала и до XVII века. Мы достаточно уже ссылались на факты, чтобы стоило что-нибудь добавлять к этому.

Что касается «традиционных культур, замкнутых в прочные рамки религий», то, поскольку наука «зародилась» в XVII веке, в эти культуры включается, по-видимому, все бывшее до того времени. Так что выходит, будто из прочных рамок религий не вышли ни Демокрит, ни Аристотель, ни Эвклид, ни Архимед.

Далее В. Шевченко уверяет, например, будто ученые Востока не пошли в математике дальше греков. На самом же деле они пошли гораздо дальше в алгебре. Индийцы выработали понятие об отрицательных и иррациональных числах, а, например, узбекский ученый Джамшид ибн-Масуд аль-Каши изобрел десятичные дроби и открыл «бином Ньютона» за сто с лишним лет до того, как эти результаты были получены в Европе.

Если же говорить о господстве религии, то в Западной Европе оно не кончилось в XVII веке. Ньютон верил в бога и на склоне лет занимался толкованием Апокалипсиса. Биология окончательно преодолела идею о божественном творении только в учении Дарвина. Так что преодоление религии происходило не вдруг, как внезапное «похищение Европы». Но сама наука вышла за рамки религии уже в Древнем Египте. «Царскому писцу» рекомендовали обращаться за решением задач не к богам, а к математике. Как написано, например, в одном папирусе: «Необходимо сделать укрепление в 730 локтей длины и 55 локтей ширины... Все полагаются на тебя и говорят: «Ты — опытный писец, так реши же это быстро для нас...» Не допусти, чтобы о тебе сказали: «Есть также и такие вещи, которых ты не знаешь». Словом, овладевай наукой».

Развивая свою мысль, будто наука зародилась только в XVII веке, наш автор пишет, что тут она «перешла сознательно к совершенно новому способу аргументации — к доказательству через эксперимент». Однако представление о скачках науки, когда вся она вдруг переходит к чему-то совершенно новому, мягко говоря, преувеличено. Суть доказательства экспериментом

состоит попросту в том, чтобы попробовать, как оно «есть на самом деле». Экспериментальный метод складывался постепенно из обычной практики, и им пользовались уже древние ученые и даже алхимики. Например, Аристотель пытается экспериментально решить вопрос, весит воздух или нет. В XVII веке доказательство экспериментом вытеснило натурфилософские соображения в основном из физики, но в других науках это произошло лишь позже.

Но В. Шевченко говорит не только о скачке XVII века, когда наука якобы возникла. Он провидит не менее решительный переворот. Существовали, напоминает он, правила придворного этикета, да устарели. Так и этикет науки, найденный в XVII веке, видимо, уже устарел. Научный способ мышления «был выработан, отработал 300 лет и уже изработался. Его, наверное, сменит другой». Поэтому нужны «безумные идеи» и ученые — «не каменщики, а архитекторы».

Все это, конечно, очень здорово, вроде как «долгой изработавшееся научное мышление», «долгой этикеты дворов и науки». Современная эпоха действительно чревата существенными преобразованиями науки. Но не путем отказа от «изработавшегося» научного мышления и «устаревшего этикета науки».

Прежде всего что такое «этикет науки»? Если понимать его не только как броское словосочетание, а всерьез, то он сводится в первую очередь к следующим простым требованиям:

1. Ищи истину и не затмевай своего сознания предвзятыми мнениями, авторитетами и личными соображениями.
2. Доказывай, а не только утверждай. Доказательство — в практике, наблюдении, опыте, эксперименте и в логическом выводе.
3. То, что доказано, принимай и не искажай, а отстаивай.
4. Но не будь фанатиком. Будь готов пересмотреть свое даже основанное на доказательстве убеждение, если того требуют новые аргументы из того же арсенала средств доказательства.
- К этому полезно добавить еще один принцип научного этикета:
5. Истина утверждается доказательством, а не силой, не приказом, не внушением, ничем, что подавляет критическую способность того, кому доказывают.

Наука невозможна без строжайшего соблюдения указанных норм ее этикета. Будут расширяться знания, совершенствоваться методы. Но всегда человек будет действовать в материальном мире, и потому критерий истины всегда будет в этом его материальном взаимодействии с остальным миром. То есть в практике. Научный эксперимент — не более как специализированная ее форма. Когда люди дойдут до чтения мыслей — приставил какой-нибудь субнейтринный аппарат к голове приятеля и сомысли с ним, — это тоже будет практикой. Ничего большего в конце концов и нет в научном этикете, как делать выводы из практики и принимать их.

Принципы науки, научной этики не произошли от экономического интереса буржуазии, как уверяет В. Шевченко. Они складывались еще в Египте и были осознаны в Греции. В конечном счете они выражают сумму всей практики и познания человечества. Если же согласиться с утверждением, что принципы науки в виде научного этикета были выработаны под воздействием буржуазного экономического интереса, и счесть правомерным сопоставление с этикетом придворным, то отсюда недалеко до мысли, что наука — это лишь порождение капитализма. А отсюда — вывод: если долой капитализм, то долой и науку. Она «изработалась», «устарела». Даешь совершенно новую науку без устаревшего этикета.

Что же касается разговора В. Шевченко о том, что теперь нужны ученые-архитекторы, а не каменщики, так ведь наука вообще не могла развиваться без архитекторов. В них всегда была надобность, как, впрочем, и в «каменщиках». То же с «безумными идеями».

Выражение «безумная» или «сумасшедшая» теория пошло среди физиков, как говорят, от Бора. Оно выражает ту важную мысль, что теоретическое осмысление открывающихся нам принципиально новых физических явлений требует, вернее всего, существенно новых идей, могущих представляться как будто безумными. Уже квантовая механика перевернула такие основные представления, как понятие о самом по себе существующем в определенном состоянии объекте (электроне, атоме и др.). Тем более есть основания думать, что дальнейшие открытия повлекут не менее «безумные теории».

Но, например, еще шестьдесят пять лет назад Эйнштейн выдвинул идею об относительности времени. События, одновременные в одной системе отсчета, могут быть не одновременными в другой. Это могло казаться и до сих пор кажется иным «нелепым», «противоречащим материализму». Не была ли «безумной» идея самого Бора квантовать орбиты электронов вопреки механике и электродинамике? Но еще большими безумцами были Коперник и его предтеча — Аристарх Самосский. Ведь каждому видно, что Солнце движется по небу. Поэтому истинным безумием было утверждать, будто Земля вертится вокруг оси и вокруг Солнца. Столь же «безумной» была мысль о шарообразности Земли. Безумие ее доказывалось в свое время нелепым рисунком с изображением стоящих вниз головой антиподов. Геометрия Лобачевского была столь «безумной», что почти никто из математиков не мог принять ее. Признание пришло лишь через сорок лет после выступления Лобачевского с его идеями.

Всякий принципиальный шаг науки представляется «безумным» с точки зрения установившихся представлений. На то он и принципиальный, преобразующий науку. Но всякий такой шаг — это шаг науки, подготовленный предшествующим ее развитием. Наука развивается диалектично. Усваивая прошлое, она преобразует его. Она «отрицает» его, но с удержанием положительно. И именно величайший из революционеров — Ленин — настаивал на необходимости полностью усваивать положительный опыт прошлого. Ленин был диалектиком. Метафизики же либо держатся за традиции, данные представления, за привычные методы, либо призывают и пытаются низвергнуть все это, отбросить научное мышление, научный этикет наподобие придворного. Как писал в двадцатых годах один поэт:

Во имя нашего завтра сожжем Рафаэля,
Разрушим музеи, растопчем искусства
цветы!

Может быть, и не стоило бы говорить о статье В. Шевченко столь подробно, если бы она не появилась в интересном журнале «Знание — сила» тиражом в полмиллиона и если бы не возникло опасения, что читатель, недостаточно осведомленный о науке и ее подлинном развитии, может поверить, будто и в самом деле наука впервые зародилась только в XVII веке, и прочее в таком духе.

В статье «Похищение Европы» есть ссылка на Ньютона, который сказал, что его основной труд представляет «философию, состоящую из доказываемых утверждений и согласную с природой». Но за требованием «согласия с природой», говорит В. Шевченко, стоят экономические интересы буржуазии.

Вспомним, однако, что еще Герон, Архимед и другие использовали силы природы в изобретаемых ими машинах и формировали законы в согласии с природой. Гиппократ старался открыть тайны болезней. Аристотель, вскрывая трупы животных, стремился понять скрытые силы живого организма. Вся материалистическая греческая философия от Фалеса до Демокрита и Эпикура стремилась проникнуть в тайны природы.

Из этих фактов следует, во-первых, тот вывод, что согласие с природой и открытие ее тайн и сил не было побуждено только развитием капитализма. Все это было и раньше. Капитализм только энергично толкал развитие этих принципов. Второй вывод состоит в том, что вовсе не один экономический интерес побуждает развитие науки. Марксизм не в том, чтобы за всем видеть просто экономический интерес, как это изображают пошлые буржуа и их теоретики. Марксизм требует понимания зависимости целей, интересов, взглядов, поведения людей от материальных условий их жизни. От них зависят и сами экономические интересы. У дикаря нет, например, экономического интереса в морской торговле. Марксизм подчеркивает значение исторического подхода ко всем явлениям жизни общества, ибо жизнь — это и есть история. Наконец марксизм обращает внимание на то, что зависимость сознания от бытия вовсе не проста, что области духовной культуры обладают также своими внутренними закономерностями и сами воздействуют на материальную жизнь общества. Трудно найти тот экономический интерес, который побудил греческих ученых создать строгую систему геометрии. Почему до этого не дошли в других рабовладельческих обществах? Какие причины обусловили то, что наука не развилась в Риме так же, как в Греции? Ответ не в ссылке на экономический интерес, а в понимании всего комплекса общественных условий Рима в отличие от Греции. Капитализм обнажил экономический интерес, но даже в капита-

листическом обществе развитие науки не детерминируется просто экономическими интересами.

Внутренняя закономерность развития науки состоит прежде всего в том, что ученые решают те проблемы, до которых дошла наука. Перепрыгнуть через необходимые этапы она не может. Материальные условия жизни, экономические интересы побуждают или, напротив, замедляют развитие науки, выдвигают перед нею те или иные задачи. Но решение их становится возможным лишь тогда, когда наука достигает соответствующего уровня развития. Более того, наиболее важные достижения современной техники выросли из научных исследований, преследовавших чисто познавательные, а не практические цели.

Английский физик Максвелл обобщил законы электромагнетизма, экспериментально установленные его предшественником Фарадеем, и выразил их в виде уравнений, называемых с тех пор уравнениями Максвелла. Из этих уравнений он чисто математически вывел волновое уравнение, придя таким образом к понятию об электромагнитных волнах. Но только двадцать лет спустя немецкий физик Герц обнаружил электромагнитные волны, вызываемые электрическим разрядом. А еще через несколько лет русский инженер Попов применил эти волны для передачи информации и тем положил начало радиотехнике со всеми ее современными достижениями и громадным ее значением. Однако зародыш этого великого завоевания техники лежал на конце того пёра, каким Максвелл выписывал волновое уравнение. Причем Максвелл и не мечтал, чтобы его чисто теоретический вывод привел к таким громадным последствиям. Так же Резерфорд, открыв, что атом имеет ядро, и позже разбив ядро атома азота, не предполагал, какие технические последствия произрастут из зерна его открытия. Так же те, кто, анализируя основания математики, занимался математической логикой, не думали, что она станет теоретической основой электронно-вычислительной техники.

Ученый ищет ближайшее — то, к чему подошла наука. Крупный ученый из ближайшего ищет фундаментальное. Таким фундаментальным были законы электромагнетизма, строение атома, основания математики. Вместе с тем опыт истории учит, что рано или поздно фундаментальные открытия ведут к фундаментальным практическим ре-

зультатам. Как уравнения Максвелла привели к радиотехнике, открытия Резерфорда — к ядерной энергетике, математическая логика — к вычислительным машинам.

В общем итоге «Похищение Европы» В. Шевченко совершенно несерьезно.

В самых общих чертах развитие науки представляется следующим образом. Математика зародилась как эмпирическая наука, вероятно, не менее чем 4 тысячи лет назад, а потом греки превратили ее в ту дедуктивную науку, какой она является с тех пор. В Греции же получила развитие, также зародившаяся в глубочайшей древности, астрономия, возникла как точная наука глава механики — статика и гидростатика, зародились научная медицина, биология, описательная минералогия, география (не только описательная, но математическая, с картографией и измерением размеров Земли), история и филология с первыми попытками исторической критики, критического изучения текстов, грамматика и логика. Таким образом, если говорить о зарождении науки в целом, то его следует относить не к XVII веку, а к Древней Греции. Тогда же наука зарождалась в Индии и Китае.

В средние века наука развивалась в Азии, в арабских странах. В частности, индийские ученые внесли важнейший вклад в математику. Они создали принятую теперь повсеместно систему обозначения чисел и выработали понятия об отрицательных и иррациональных числах. Их достижения развивали дальше среднеазиатские, персидские и арабские ученые, от которых они перешли в Европу. Этим объясняется, например, название «арабские цифры». Хотя вернее называть их индийскими, так как сами арабы заимствовали их у индийцев. Стоит отметить, что само слово «алгебра» происходит от арабского «аль-джебр» в заглавии труда выдающегося хорезмийского ученого IV века Махоммеда ибн-Мусы аль-Хорезми, а «алгоритм» — от его прозвания аль-Хорезми.

Существенное развитие науки в Западной Европе пошло с XVI века. В математике, механике, астрономии и физике Европа принципиально превзошла своих предшественников уже в XVII столетии прежде всего созданием точной науки о движении (механическом) и соответствующих математических методов. Это и изображается М. Волькенштейном и В. Шевченко так, будто вообще наука только тогда и возникла. На

самом же деле она продолжала предшествующее развитие, а кроме того, другие ее области существенно поднялись над прежним уровнем позже. Химия стала точной лишь к концу XVIII века; верное представление в геологии сложилось в первой половине XIX века; биология поднялась в теоретических представлениях от натурфилософских домыслов к научной теории в середине XIX века, особенно с учением Дарвина; тогда же получили существенное развитие гуманитарные науки. Но еще в настоящее время складывается новая наука — гносеология, наука о познании, переходящая от общепhilosophических его теорий к его детальному научному исследованию.

Таким образом, наука, зародившись в глубокой древности, развивалась с тех пор, претерпевая существенные преобразования и охватывая все новые и новые области, как это было во времена греков, в XVII веке для механики, в XVIII веке для химии, в XIX веке для биологии и обществоведения и как это еще теперь происходит для гносеологии. Поэтому вся история от Египта до наших дней должна рассматриваться как период становления науки от младенчества в Египте к отрочеству в Греции, к юности XVII века, к возмужанию, данному ей Марксом, Дарвином, Максвеллом, Менделеевым и другими ее архитекторами за последние сто лет. Теперь наконец она складывается в целостную систему знаний о природе, об обществе и человеке, включая самое человеческое познание, так что уже ничто в мире, до чего люди вообще смогли добраться, не остается вне ее ведения, вне стремления человека во всем доискаться до объективной истины.

О НАУКЕ ВООБЩЕ И ЕЕ ОТНОШЕНИИ К ЭТИКЕ

М. Волькенштейн различает в своей статье «науку-познание» и «науку-творчество». Под последней разумеется совершаемое учеными творчество науки. А о «науке-познании» говорится как о «совокупности фактов и закономерностей, свойственных Природе». «Наука как совокупность установленных законов природы сама по себе бесстрашна, бесчеловечна, не имеет отношения ни к этике, ни к эстетике. В этом аспекте наука существует независимо от ученых, от людей».

Однако совокупность фактов и закономерностей, свойственных Природе,— это не наука, а сама объективная реальность. Она «бесстрашна, бесчеловечна», существует независимо от людей, как существуют звезды в туманности Андромеды или существовали когда-либо на Земле динозавры. Но наука не есть совокупность самих этих фактов и закономерностей, а отражение их человеком. Это различие объективной реальности, существующей независимо от сознания людей, и отражения ее в сознании являются исходным пунктом научной философии, самой науки. Поэтому утверждение, будто наука в каком бы то ни было аспекте «существует независимо от людей», совершенно непонятно¹.

Можно сказать, допустим, что «наукопознание существует в книгах». Но книги имеют смысл, содержат науку, являются научными книгами только потому, что есть люди, которые могут их читать. Без людей, вне общества книга уже не книга, а просто скрепленные листы бумаги с какими-то последовательностями пятен.

Отражение природы в познании — не пассивное копирование, а процесс абстракций, формирования понятий, законов, выдвижения гипотез, построения теорий. Процесс творческий. Поэтому разделение «наукпознания», науки как системы знаний и «науки-творчества» не может быть проведено совершенно точно. В свое время была создана физиками теория эфира, но от нее пришлось отказаться. Она входила в «наукпознание» в том смысле, что давала объяснение объективных фактов и закономерностей и вместе с тем принадлежала «наукетворчеству», так как содержала существенный момент творческой выдумки. Так всякая теория отражает природу, содержит элементы объективной истины, но вместе с тем содержит и элементы творческой фантазии, дополняющей достоверные данные о природе своими представлениями. Даже Эвклидова геометрия как теория реального пространства содержит элементы домысла: оказалось, она отражает свойство пространства не совсем точно.

Понятно, в таком сложном явлении, как наука, мы должны различать разные его

стороны, и в частности «науку-знание» — систему знаний как продукт научной деятельности, и «науку-творчество» как саму эту деятельность. Но вместе с тем нужно понимать связь этих сторон науки, понимать, в частности, что знания существуют не сами по себе, а в деятельности живых людей, не только ученых, но и тех, кто вообще усваивает научные знания. Поэтому знания не могут не входить в целостную деятельность общества, как и одного человека, не могут не составлять элемента содержания его личности, не могут вовсе не иметь отношения к другим формам общественного сознания и сознания личности как этические или эстетические его элементы. Поэтому утверждение, будто наука-знание «бесчеловечна, не имеет отношения ни к этике, ни к эстетике», ошибочно.

Впрочем, М. Волькенштейн сам же и опровергает это свое утверждение, когда пишет, что «широкое распространение научных знаний имеет глубокий гуманистический смысл, освобождая человечество от слепой веры и предрассудков, побуждая его сознательно восставать против произвола и насилия». Вот это верно! Но тогда как же можно говорить о «бесчеловечности» науки познания, если таков эффект распространения научных знаний?

С тех же позиций обсуждает М. Волькенштейн вопрос об отношении науки и нравственности. Он пишет:

«Несколько лет назад на страницах «Литературной газеты» шла дискуссия о связи между наукой и этикой. А. Н. Несмеянов считал, что наука не имеет никакого отношения к нравственности, А. Д. Александров отстаивал противоположный тезис. Этот спор был лишен рациональной основы, так как его участники употребляли слово «наука» в разных смыслах. Несмеянов говорил о науке-познании, о науке — совокупности фактов и закономерностей, свойственных Природе, а его оппоненты скорее имели в виду науку-творчество. Конечно, структурная формула бензола, как реальный факт Природы, не нравственна и не безнравственна... Однако творческая деятельность ученого... связана с множеством этических проблем. В свою очередь этика, прежде всего этика социалистического общества, отвергающего религию, нуждается в научном обосновании».

Эти высказывания заслуживают обсуждения не только ввиду важности пробле-

¹ Оно не выдерживает критики с точки зрения любой философии. Идеалист, отрицающий существование самой объективной реальности независимо от человека, тем более отрицает такое существование науки.

мы отношения науки и нравственности, но и по причине содержащихся в них путаницы и неточностей. Первая состоит в том, что М. Волькенштейн не учитывает характера самого вопроса, на который отвечали в «Литературной газете» Несмеянов, я и другие товарищи. Вопрос же стоял так: «Наука и нравственность. Каково отношение роста знаний и моральных фактов?» То есть сама постановка вопроса выделяла именно роль научных знаний — «науки-познания».

Соответственно я и говорил прежде всего о значении научных знаний для нравственности, а вовсе не о «науке-творчестве». И так как в постановке вопроса говорилось о науке вообще, а не об одном естествознании, то и говорил я прежде всего о значении для нравственности знаний о развитии общества, о значении марксистской теории. В дополнение было указано, что сам «дух науки», научный подход к действительности, имеет нравственное значение. Дух науки — в искании истины, и едва ли нужно долго доказывать, что искание истины и безусловное уважение к ней составляет неотъемлемое условие подлинной нравственности.

Нравственное значение распространения научных знаний подчеркнуто самим М. Волькенштейном, когда он говорит, что оно «имеет глубокий гуманистический смысл». В конце приведенного выше отрывка он пишет, что «этика нуждается в научном обосновании». В чем же может быть это обоснование, как не в научных знаниях и научном методе? И как же тогда можно утверждать, что спор об отношении науки и нравственности был «лишен рациональной основы»?

Относительно высказываний А. Н. Несмеянова М. Волькенштейн пишет, что тот имел в виду «науку-познание», и поясняет это на примере формулы бензола, которая, «как реальный факт Природы, не нравственна и не безнравственна». Но в этом пояснении нет ничего, кроме трюизма. Факт может быть нравственным или безнравственным только в отношении к человеку, к обществу. Неверно утверждать, будто А. Н. Несмеянов имел в виду факты природы, а не науку. Он явно говорил о науке, сопоставляя науку в нашем и буржуазном обществе, имея, однако, в виду только естественнонаучные знания. При таком сужении понятия «наука» выраженная А. Н. Несмеяновым точка зрения имеет основания, хотя и не

является вполне правильной¹. Главная же его ошибка, как мне представляется, состояла в том, что на основе своего ограниченного рассмотрения он сформулировал общий вывод, будто наука вообще не имеет отношения к нравственности. А это явно неверно, если вспомнить об исторической нравственной роли научного социализма и о духе искания истины, составляющего сущность науки.

Итак, мы видим, что заявление М. Волькенштейна, будто спор на страницах «Литературной газеты» был «лишен рациональной основы», неверно и опирается на искажение точек зрения участников этого спора. На этом стоит остановиться. «Рациональный» значит «разумный», так что утверждение М. Волькенштейна, если раскрыть его смысл на быденном языке, сводится к следующему. Спор, о котором идет речь, не имел разумного основания: участники его просто не понимали, о чем говорят, один говорил про Фому, другой — про Ерему. И этот убийственный вывод опирается на то, что одному приписывается смешение науки о природе с самими фактами природы, то есть нечто неразумное, а о другом утверждается, будто он говорил вовсе не о том, о чем говорил на самом деле. Ну просто здорово! Хотя и не очень оригинально по стилю, так как подобный стиль суждений встречается в литературе. Но в отношении вопросов науки и нравственности он выглядит все же несколько странным.

На этом мы расстанемся со статьей М. Волькенштейна и вернемся к тем требованиям «этикета науки», о которых уже шла речь выше.

Стремление считаться с фактами, а не с предвзятыми мнениями составляет первое требование и науки, и подлинной нравственности. Ибо, не считаясь с фактами, касающимися другого человека, а подставляя на их место свои предвзятые мнения и ложные рассуждения, очень легко прийти к неверным, несправедливым выводам и нарушить этим нравственное отношение к человеку. Таково нравственное значение объективности — первого требования научной этики.

¹ В частности, естествознание, открывая человеку его подлинное место в природе и опровергая религиозные вымыслы, тем самым уже способствует нравственному развитию.

Точно так же второе требование научной этики — доказательность — важно не только в науке. Бездоказательное, порочащее утверждение о человеке называется клеветой. Правый суд всегда ищет доказательства в фактах, а не опирается на мнения. Бездоказательная слепая вера всегда служила помрачению людей и использовалась угнетателями и демагогами в их целях.

Дальше следует требование принимать доказанное и не извращать его, а отстаивать. В этом заключается простое нравственное требование уважать правду и не лгать. Человечность может заставить солгать, как лжет врач, уверяя больного раком, что тот болен совсем другой болезнью. Но во всяком случае ложь должна иметь серьезные основания.

Наконец, научная этика предупреждает против фанатизма, требует от человека критичности и готовности пересмотреть свои убеждения, если к тому побуждают аргументы фактов и логики. Это требование очень важно в общенравственном плане. Фанатизм всегда становился источником зла, вплоть до самых диких жестокостей. Человек, теряющий критичность, не внемлющий фактам и логике, всегда становится опасным. Уверившись, будто он знает, в чем правда, он попирает подлинную правду, начинает творить совсем не то, что действительно нужно людям, и так совершает зло. Самоуверенность и упрямство никогда не считались высокими моральными качествами.

Стало быть, наука с ее нормами научной этики имеет к нравственности самое прямое отношение. И оно очень важно. Те же, кто отрицает связь науки с нравственностью, либо не замечают, что научная этика включается в мораль, либо еще хуже — вовсе не придают ей общенравственного значения, а потому не уважают истину и легко извращают ее в угоду своим мнениям.

Наука и нравственность едины в своем уважении к факту и правде, в требовании объективности. Они так же едины в своем назначении и в своей цели. Ибо назначение и цель их — благо человека, развитие человеческой жизни во всем богатстве ее человеческого содержания. Но в реальной истории они нередко расходятся и извращаются, когда наука становится орудием зла, а классовые, националистические, эгоистиче-

ские интересы порождают формы морали, освящающие зло и прямую бесчеловечность.

Как истина, наука утверждается только в движении от менее совершенного к более совершенному знанию, так и нравственность утверждается в движении ко все большему добру, ко все большему и высокому развитию человеческой жизни. Взаимосвязь науки и нравственности может быть верно понята только в этом движении, в котором познание истины порождает новые цели и средства их достижения, так же как нравственные цели требуют и побуждают познание истины.

АПРИОРНЫЕ МНЕНИЯ

Обратимся теперь к статье Ю. Шрейдера «Наука — источник знаний и суеверий» и посмотрим, как он обходится с фактами. Ю. Шрейдер сообщает в статье, что занимается кибернетикой с 1949 года. Математика же, как ничто другое, требует точности.

Ю. Шрейдер пишет: «До сих пор даже не удалось доказать, что система аксиом, лежащая в основе математики, внутренне непротиворечива». Однако такой системы аксиом нет и даже быть не может. И Ю. Шрейдер должен это знать, так как сам же ссылается на теорему Геделя, согласно которой даже арифметика, а не то чтобы вся математика, не может быть полностью до конца аксиоматизирована. Точно так же и по другой теореме Геделя совершенно строгое и окончательное доказательство непротиворечивости аксиом арифметики представляет вообще неразрешимую задачу. Оно есть процесс, в принципе бесконечный.

Возьмем абзац, где Ю. Шрейдер говорит о создателе теории множеств Канторе. Тут опять ошибочное утверждение: «Именно Г. Кантор первый строго показал, что бесконечное множество может иметь «столько же элементов, сколько его часть».

На самом же деле это было известно еще задолго до Кантора. [В теории же Кантора всякое бесконечное множество не только может иметь столько же элементов, сколько его часть (не всякая, конечно): это свойство, соответственно точно сформулированное, принимается за определение бесконечного множества! И это Ю. Шрейдер, как математик, мог бы знать.]

Еще Ю. Шрейдер утверждает, будто интерес Кантора к бесконечным множествам возник из размышлений о святой троице. Однако из работ Кантора известно, что на самом деле его занятие бесконечными множествами было побуждено его математическими исследованиями.

Далее Ю. Шрейдер неверно пишет о Менделе, неверно характеризует известного философа Беркли, неверно излагает соотношение неопределенностей Гейзенберга, утверждает, будто в кибернетике «мы видим отголоски старинных теологических споров», хотя эти споры не имеют к ней никакого реального отношения; рассматривая типы научных утверждений, он подробно говорит об аксиомах, теоремах и гипотезах, но вовсе забывает об основном виде научных утверждений — о законах...

В том же духе Ю. Шрейдер настойчиво сопоставляет науку с церковью. Так, он пишет: «Слова «наука утверждает, что...» играют в наше время ту же роль, что в средние века «церковь утверждает, что...». Однако на самом деле роль тех и других слов совершенно различна: первые возвещают знание, вторые служили распространению заблуждений и даже явно направлялись против истины (хотя и бывают исключения в обоих случаях). Кроме того, слова «церковь утверждает» содержали угрозу: за несогласие с церковью жестоко преследовали. Но за несогласие с наукой не преследуют. Если были и есть преследования в связи с наукой, то вовсе не за «неверие в науку», а наоборот — за верность науке, за неверие в догматы, противные науке. Говоря об одинаковой роли слов «наука утверждает» и «церковь утверждает», Ю. Шрейдер имеет в виду, что выводы науки принимаются в широкой публике на веру и наука оказывается «источником суеверий». Но на том же уровне сравнения можно сказать, например: «Публичные лекции играют теперь ту же роль, что в средние века публичные казни». Тогда ходили на казни, а теперь ходят на лекции.

Развивая сопоставление науки с церковью, Ю. Шрейдер пишет: «Существуют догматы религиозные. Например, положение о непогрешимости римского папы, когда он говорит *ex cathedra* (то есть провозглашает положения, касающиеся основ вероучения), утвержденное Ватиканским собором в 1870 году, есть догмат, который принимают католики... В основах методоло-

гии науки тоже имеются свои догматы — положения, в которые ученый верит, но для которых ему и в голову не приходит искать доказательства. Прежде всего таким догматом является объективность существования мира и закономерностей, которым мир подчиняется...»

Убеждение в объективном существовании мира есть основа материалистического мировоззрения, и называть его догматом, подобным догмату папской непогрешимости, означает, собственно, насмешку над материализмом. Но мы не имеем в виду спорить по мировоззренческим вопросам. По поводу догматов Ю. Шрейдеру уже отвечал Г. Галл в № 1 «Нового мира» за 1970 год. Мы хотим только обратить внимание на то, как и в данном случае Ю. Шрейдер обходится с бесспорными фактами.

Его утверждение, будто «догмат науки» об объективном существовании мира — это «положение, в которое ученый верит, но для которого ему и в голову не приходит искать доказательств», фактически неверно. Все ученые, придерживающиеся диалектического материализма или близких ему взглядов, видят доказательство объективности мира в практике и в развитии науки¹. Идеалисты могут не соглашаться с их аргументами. Но мы говорим не об этом, а просто обращаем внимание на тот факт, что есть масса ученых, которым приходило в голову искать доказательства объективного существования мира. Поэтому для них это вовсе не догмат слепой веры. И странно, что Ю. Шрейдер как будто не знает этого.

Но даже если называть убеждение в объективном существовании мира догматом, то между ним и догматом непогрешимости папы есть та бросающаяся в глаза фактическая разница, что последний принят по произволу Ватиканского собора в 1870 году, тогда как первый признается издревле всеми людьми (кроме немногих солипсистов, действующих, однако, на практике, как все остальные). Таким образом, здесь, как и в сопоставлении утверждений науки и церкви, Ю. Шрейдер просто смешивает совершенно разные вещи.

В том же духе, как с термином «догмат», поступает он со словом «верить», нарочито

¹ Пример — Ф. Энгельс, который писал в «Анти-Дюринге», что «...материальность мира доказывается... долгим и трудным развитием естествознания».

смешивая разные его смыслы и навязывая ученым веру: «ученый верит», «математик верит», «вера в науку», «верить алгоритму», «у ученого появляется слепая вера во всемогущество, в полноту научного знания»...

Однако, во-первых, слова «вера», «верить» имеют существенно разные оттенки смысла. В одном случае они обозначают слепую веру, как в изречение средневекового служителя церкви Тертуллиана: «Верую, ибо нелепо». В другом — они выражают твердое, основанное на опыте убеждение, как в словах: «Я верю, что завтра взойдет солнце».

Во-вторых, ученые вообще не говорят о вере в вопросах науки, разве что в виде очень редкого исключения. Для ученого нелепо звучали бы слова: «Я верю в теорему Пифагора» или «Я верю в сохранение энергии». Ученый говорит, что убежден в правильности теоремы, или закона, или теории, поскольку они доказаны или обоснованы. Он говорит, что принимает такую-то гипотезу или аксиому. Но слово «вера» совершенно чуждо языку науки.

Тем более нелепо говорить о «слепой вере» ученых во «всемогущество и полноту научного знания». Всякий современный ученый убежден, что никакое научное знание не является полным, что оно будет со временем дополнено, развито, изменено. Всемогущество науки принимается учеными лишь как отсутствие принципиальных границ научного познания, так же как «полнота научного познания» понимается только как возможность достижения все более и более полного знания. И это не слепая вера ученого, а убеждение, основанное на опыте развития науки. Ю. Шрейдер решительно отвергает это убеждение, и вся его статья направлена на то, чтобы подорвать его. Что же, это дело убеждения, а не факта. Но представлять указанное убеждение как «слепую веру», наподобие веры в религиозные догматы, — значит совершенно извращать фактическое отношение ученых к своим взглядам. Здоровый скептицизм, готовность подвергнуть сомнению любое убеждение и потребовать для него новых доказательств составляет неотъемлемую черту духовной установки каждого подлинного ученого. Поэтому-то слово «вера» и чуждо языку науки. О чем Ю. Шрейдер, вероятно, знает, так как трудно предположить, чтобы он вращался в таком особом научном кругу, где говорят о вере в теоремы и т. п.

Обращаясь к вопросам морали, Ю. Шрейдер заявляет, что «основные принципы, лежащие в основе этики, следовало бы полагать априорными». «Априорный» означает независимый от опыта. Известно, однако, что принципы этики, нормы, морали вырабатываются людьми на основе их общественного опыта. Это убедительно доказывают чрезвычайные различия нравственных норм у разных народов. Так, например, у эскимосов считалось нравственным убивать стариков. Старик сам мог просить, чтобы ему помогли умереть, и считалось нравственным долгом помочь ему в этом. У тех же эскимосов совершенно отсутствовало само понятие о краже. Любой, кому нужно было, мог взять каяк или гарпун соседа, и если он даже сломал его на охоте, никто не думал привлекать его к ответу. Те же эскимосы никак не могли понять, как в английской экспедиции Пэрри есть командиры и подчиненные, а военные моряки представлялись им просто убийцами. Война лежала за пределами их нравственных понятий.

Все эти нравственные понятия эскимосов, совершенно отличные от принятых в Европе, имели основание в их образе жизни, в их общественном практическом опыте. Например, они были вынуждены убивать стариков потому, что в суровых условиях их жизни поддержание жизни немощных стариков если было возможным, то лишь ценой усилий, которые могли грозить существованию их небольшого общества.

Таким образом, заявление, что принципы этики «следовало бы считать априорными», совершенно неверно, так как противоречит достоверным фактам. Шрейдер и сам упоминает о различии моральных понятий у разных народов.

В том же духе априорных суждений Ю. Шрейдер пишет: «Жить в мире точных наук по-своему очень привлекательно и легко. В отличие от обыкновенной жизни здесь есть очень ясная шкала ценностей. Но простота этой шкалы легко переходит... в отгораживание от остального мира... потерю человеческой ответственности. Есть что-то очень инфантильное в этом стремлении во что бы то ни стало иметь очень простую шкалу ценностей...» Если взять эти суждения в отношении к реальной действительности, то они означают, попросту говоря, что людям, занимающимся точными науками, приписывается особая легкость потери ответственности и моральная инфантильность. Поэто-

му попробуем сверить эти суждения Ю. Шрейдера с фактами.

Величайшими представителями точных наук в России были Лобачевский, Менделеев, Лебедев (физик). Лобачевский девятнадцать лет был ректором Казанского университета и показал себя передовым энергичным деятелем. В многогранной деятельности Менделеева укажем лишь то, что он ушел с поста профессора Петербургского университета из протеста против отказа министра просвещения принять от него петицию студентов. Лебедев ушел из Московского университета, протестуя против реакционной политики.

После революции советскую физику создавали А. Ф. Иоффе и Д. С. Рождественский. Последнему вместе с его сотрудниками мы обязаны созданием оптической промышленности. Деятельность и роль А. Ф. Иоффе достаточно известны. Вспомним еще таких физиков, как И. В. Курчатов, П. Л. Капица, И. Е. Тамм, Л. А. Арцимович, и многих других, которые также не отгородились от остального мира и выполняли ответственнейшую работу, жертвуя ради нее своими научными интересами. Физики и математики вели наиболее активную борьбу против извращений науки и попыток «разгромить» современные научные теории.

Это не случайно. Точные науки воспитывают в человеке строгое отношение к тому, что считается доказательством, и, соответственно, твердое признание того, что доказано. Они воспитывают, стало быть, строгое и уважительное отношение к истине, не допускающее никакого приспособленчества в отношении нее. «Невероятность» открытий и теорий современной физики воспитывает также непредвзятость и свободу мысли. Поэтому серьезное занятие точными науками неизбежно вызывает в человеке соответствующие нравственные качества, как уважение к истине и стремление отстаивать ее, как недопущение ее извращения, то есть лжи, как непредвзятость и сознание ответственности за выдвигаемые аргументы и утверждения.

Вспомним еще таких физиков, как Жолио-Кюри, Эйнштейн, Бор; известно, что они сделали, осуществляя свое сознание ответственности¹. К ним можно присоединить не-

мало других имен. Именно ученые — представители точных наук влияли на правительство США, побуждая его идти на переговоры с СССР по ограничению испытаний ядерного оружия. А обращаясь к истории, я назову трех математиков времен французской революции — Монжа, Карно, Менье. Монж — основатель двух геометрических дисциплин, дифференциальной и начертательной геометрии, — был в 1792—1793 годах морским министром, организатором снабжения армии боеприпасами. Карно, входя в Комитет общественного спасения, стал организатором республиканской армии, и современники называли его «организатором победы». Менье, чье имя носит одна из основных теорем теории поверхностей, был генералом республики и погиб смертельно раненный в сражении.

Конечно, не все математики и физики обладали таким чувством ответственности и совершали такие дела, как, скажем, Жолио-Кюри. Но во всяком случае факты показывают, что приписывать представителям точных наук особую легкость потери ответственности и моральный инфантилизм нет оснований.

Большая или меньшая распространенность моральной безответственности зависит от общественных условий. Не вдаваясь в рассмотрение этой зависимости, отметим две общие причины (также, конечно, зависящие от общественных условий). Одна из них состоит в профессионализме вообще, когда профессия отделяется от остальной жизни человека. Рабочий, отлично трудящийся на заводе, может быть дурным семьянином, добросовестный служащий — подхалимом, поэт, сочиняющий недурные стихи, может быть безответственным в любви. Так и ученый, ответственный в вопросах науки, может быть безответственным в других делах. Это раздвоение раскрыто еще Пушкиным: «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон», то «меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он».

Вторая причина заключается в той самой вере и «априорности» морали, которые прокламирует Ю. Шрейдер. Человек, утвердившийся в своей вере и «априорных» принципах, не способен смотреть на жизнь объективно, не вдумывается, а верит, не разбирается в фактах, а априорно утверждает. Так он теряет настоящую ответственность. Именно вера свидетельствует об инфантиль-

¹ В частности, Бор с опасностью для жизни бежал из оккупированной Дании, чтобы оказать влияние на решения, связанные с атомной бомбой.

ности, как у ребенка, не способного критически осмысливать жизненный опыт.

В качестве априорного принципа, который должен лежать в основе этики, Ю. Шрейдер требует «твердо осознать... что ценность человеческой личности, и в частности человеческой жизни, бесконечна и не подлежит изменению. Это,— продолжает он,— по крайней мере достаточно традиционная точка зрения в нашей европейской культуре, чтобы с ней считаться». Однако на самом деле традиционная в европейской культуре точка зрения на вопрос о ценности личности, о возможности сравнения ценностей разных личностей совсем другая. В этой культуре достаточно традиционны такие измерительные оценки, как «великая личность», «мелкая личность», «это ничтожество не стоит вашего мизинца»... Лермонтов бросил тем, кто травил Пушкина:

И вы не смаете всей вашей черной
кровью
Поэта праведную крову!

Так он соизмерил их ценность с ценностью Пушкина. И нельзя сказать, чтобы Лермонтов не представлял европейскую культуру. В этой культуре никак не является традиционным считать бесконечно ценными личности преступников — в особенности такие личности, как, скажем, Геринг¹. Словом, независимо от отношения к априорному принципу Шрейдера, приходится констатировать, что его ссылка на «традиционную точку зрения в нашей европейской культуре» неосновательна и приписывает этой культуре совершенно противное ей признание бесконечной ценности любой личности — Дантеса или Пушкина, Гитлера или Ганди.

Ю. Шрейдер взялся обсуждать серьезный и трудный вопрос о ценности личности, о тяжелом нравственном выборе, когда, может быть, приходится жертвовать одним человеком ради другого, одними людьми ради других. Но обсуждать такие вопросы на уровне «априорных», то есть не опирающихся на опыт жизни, выдуманных прин-

ципов и безапелляционных неверных утверждений нельзя. Все-таки речь идет не о чем попало, а о нравственных проблемах, о людях...

В том же духе Ю. Шрейдер полемизирует с врачом и писателем Н. М. Амосовым и возражает, в частности, против его утверждения, что медицина не угрожает обществу... «Да,— пишет он,— пока не угрожает. Если не считать опытов над людьми в гитлеровских лагерях, исследований по бактериологическому оружию, некоторых случаев жестокого обращения с больными,— пока еще не угрожает». Однако независимо от того, видим мы угрозу в развитии медицины или нет, ссылка Ю. Шрейдера на исследования по бактериологическому оружию совершенно неправомерна, потому что эти исследования относятся не к медицине, а к прикладной бактериологии. Ссылка же на некоторые случаи жестокого обращения с больными также свидетельствует об угрозах медицины, как, скажем, ссылка на отдельные случаи жестокого обращения с учащимися свидетельствовала бы об угрозах просвещения. Таким путем легко доказать, что все угрожает людям. Например, подушка: ею можно задушить, как задушили Павла I. А гитлеровцы уж сумели воспользоваться разными средствами в своих целях, так что в их руках становилось опасным все что угодно — и книги, так как служили средством распространения нацистских идей, и школы, так как служили нацистскому воспитанию, и т. д. Словом, аргументы Ю. Шрейдера по поводу «угроз медицины» противны фактам и логике. Угроза не в медицине, а в тех людях, в тех общественных условиях, которые могут обратить во зло даже медицину.

Так, взглядыывая в статью Ю. Шрейдера, мы обнаруживаем, что в ней нет почти ни одного вопроса, который бы не обсуждался либо с грубейшими фактическими ошибками, вроде разговора о несуществующей системе аксиом, лежащей в основаниях математики, либо с путаницей понятий и передержками, как в разговорах о догматах церкви и науки, об априорных принципах этики или об угрозах медицины. Перечень его ошибок можно было бы еще продолжить.

При этом Ю. Шрейдер не скупится на поучения и пишет, в частности: «Есть нечто, стоящее над любым личным, коллегиальным или машинным мнением,— глубокая ответ-

¹ Можно еще напомнить о христианстве с его делением людей на праведников и грешников, «избранных» и «неизбранных» («ибо много званых, но мало избранных» и т. п.), напомнить образ весов, на которых взвешивается достоинство человека: его грехи и добрые дела.

ственность человека перед истиной». Но какова глубина ответственности перед истиной самого Ю. Шрейдера, мы смогли убедиться в достаточной степени. Эта «глубина» состоит в настойчивом и безапелляционном искажении истины даже тогда, когда речь идет о простых фактах. Поэтому призыв к ответственности перед истиной в устах Ю. Шрейдера «не звучит». И так же не звучат все его общие разговоры о науке, этике и просвещении. Потому что не может быть серьезного разговора о чем бы то ни было, когда пренебрегают фактами, путают и извращают их.

О ЧЕМ, СОБСТВЕННО, РЕЧЬ

В разговорах о науке, разбором которых пришлось здесь заняться, нас интересовала фактическая сторона. Допустим, можно еще спорить: способствовало развитие наук очищению нравов или нет? Но нельзя спорить о том, существовала наука во времена Эвклида и Архимеда или она зародилась лишь каких-нибудь триста — четыреста лет назад; нельзя спорить, было или не было таких ученых, которым приходило в голову искать доказательство объективного существования мира. Словом, нельзя спорить о достоверных фактах. Их нужно принять и не путать, не искажать. Тем паче когда речь идет о таком важнейшем и серьезном предмете, как наука.

Верность фактам нужна, конечно, не только в суждениях о науке. Вопрос касается проблемы более широкой, чем наука: речь идет о верности фактам, о верности истине вообще, касается ли она науки или чего бы то ни было другого. Хотя этот общий вопрос теснейшим образом связан с наукой, так как она по самому своему существу направлена на поиск, открытие и утверждение истины. Там, где не считаются с фактами, не утверждают истины, там нет никакой науки. Соответственно научная этика, научная установка нравственности состоит в том, чтобы искать истину, руководствоваться ею, уважать ее и не извращать. Для тех же, кто отрицает этическое значение науки с присущим ей исканием истины, истина сама по себе не имеет морального значения. Поэтому они извращают ее с такой легкостью.

Научная же этика говорит: не распространяй лжи. Независимо от того, будь

то ложь о Менделе, о науке или о чем другом.

Говорят еще: «Ну, допустим, надо уважать правду. Но ведь от одной правды, от одного знания ничего не станется. Поэтому не знание важно, а нравственность. И еще не всякое знание есть добро».

Конечно, от самого по себе знания ничего не происходит, пока им хоть как-то не руководствуются. Но знание — всегда добро в том смысле, что позволяет лучше ориентироваться в действительности, вернее, совершать нравственный выбор и осуществлять намерения человека. Знание — необходимое условие реальной свободы. Поэтому отказ от знания, постанковка пределов науке налагает оковы на свободу человека, на его возможности сознательного нравственного выбора.

Поэтому ложь не просто противна истине. Тот, кто лжет, не дает человеку верно ориентироваться в действительности. Когда лгут ему, считая, что он не поймет, его ставят ниже себя. Стало быть, ложь выражает вражду, недоверие, неуважение к человеку, в лучшем случае — снисхождение к его слабости.

С незапамятных времен среди людей боролись и борются правда и ложь: просвещение, стремящееся осветить людям светом знания и понимания окружающий мир, их собственное место в мире и их самих, и обскурантизм, или, говоря по-русски, затемнительство, мракобесие, старающееся затуманить сознание людей, затемнить правду, закрыть людям понимание мира и их собственного бытия. На первой стороне всегда была наука. На второй — борьба против науки, слепая вера, фанатизм. Соккрытие и извращение правды всегда служило средством угнетения.

Лучшие люди в меру своего понимания всегда стремились к правде, старались раскрыть ее людям. Даже если то была тяжелая правда. Толстой писал в конце рассказа «Севастополь в мае»:

«Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его, который всегда был, есть и будет прекрасным, — правда».

Ганди во вступлении к своей исповеди «Моя жизнь» писал о своем стремлении к истине: «Я смотрю на свои искания как ученый». «Пусть мне доступна лишь относи-

тельная истина. Эта относительная истина должна быть моим маяком».

Допустим, Толстой и Ганди во многом ошибались, как тем более ошибался во многом, например, Достоевский. Но вообразить себе, чтобы Толстой, Ганди, Достоевский или Чехов могли распространять неправду, когда знали, что это неправда,— такое лежит за пределами всякого воображения.

Маркс и Ленин стремились к истине о человеческой жизни, открывая ее на уровне глубокой науки. Они раскрывали эту истину людям, чтобы объяснить им их собственное положение, возможности и задачи, поднять их на исторические свершения. Они никогда не скрывали перед людьми правды и боролись против ее искажения.

Правда нужна людям, как воздух. Прежде всего об общественной действительности,

о реальных возможностях и путях ее преобразования. Им нужна наука, а не пророческие обещания, не посуды демагогов, не априорные принципы, ни тем более ложь. Им нужно просветленное сознание, а не туман веры. Ленин говорил молодежи, что коммунизму нужно учиться, «чтобы коммунизм не был у вас чем-то таким, что вами только заучено, а был бы тем, что вами самими продумано, был бы теми выводами, которые являются неизбежными с точки зрения современного образования».

Особенно, казалось бы, должны помнить обо всем этом те, кто занимается наукой, кто, стало быть, профессионально призван искать истину и утверждать ее среди людей, к чьим словам как представителей науки люди относятся с тем большим доверием.

Новосибирск.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

НАУКА О ЛИТЕРАТУРЕ СЕГОДНЯ

Б. СУЧКОВ,

член-корреспондент Академии наук СССР

★

НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

В литературной среде бытует давняя и — будем справедливы — дурная привычка недооценивать нашу науку о литературе. О ее состоянии нередко выносятся довольно безапелляционные, но весьма мало обоснованные суждения как о такой отрасли общественных наук, которая развивается недостаточно энергично и не очень плодотворно. Но факты говорят о другом: растет читательский интерес к трудам литературоведов, порой даже, казалось бы, весьма специальным, посвященным, скажем, проблемам византийской или средневековой русской литературе, к тем книгам, в которых дается свежее прочтение и оригинальный марксистский анализ произведений и творчества русских и мировых классиков. Работы, посвященные современному литературному процессу как у нас, так и за рубежом, не залеживаются на книжных полках, и не только потому, что читателя интересует заключенная в них информация, но и оттого, что он находит в них пищу уму, смелости концепций, обоснованность оценок, помогающих ему разбираться в крайне сложной духовной жизни современности.

Весьма вырос авторитет советского литературоведения за рубежом, что вынуждены скрепя сердце признавать даже недружественно настроенные к русской и советской литературе «специалисты», у которых все меньше остается возможностей для разного рода псевдонаучных домыслов и пропагандистских инсинуаций, поскольку советское литературоведение противопоставляет им неотразимую логику фактов и убедитель-

ность своих методологических принципов. На международных встречах, симпозиумах и конгрессах советские литературоведы уверенно и успешно отстаивают положения, выработанные нашей наукой о литературе, подвергая обоснованной критике концепции, выросшие или на феноменологической почве, или на бесплодном формализме «новой критики», или на всевозможных разновидностях психологизма.

Несомненно, творческие успехи литературоведения являются частью успехов общественных наук, продуктивному развитию которых способствует деловая обстановка, сложившаяся в последние годы в нашей идеологической жизни, после известных Пленумов ЦК и XXIII съезда партии, решительно покончивших со всеми видами волюнтаризма и субъективизма при решении народнохозяйственных и идеологических вопросов, имеющих решающее значение для нашей страны и всего дела социализма.

Пожалуй, одним из наиболее важных достижений советской науки о литературе последних лет является создание авторитетной теории реализма — этого ведущего художественного направления мирового искусства. Советское литературоведение подвергло аргументированной критике концепцию «реализма—антиреализма», сводившей развитие всего искусства к борьбе этих двух враждебных принципов художественного творчества. Эволюция искусства в свете этой концепции выглядела мертвенно-антиномичной и метафизичной, ибо и «реализм» и его антипод рассматривались как

извечные свойства искусства. Подход к реализму как историческому явлению, возникшему в эпоху Возрождения, вдохнул жизнь в историю искусства и литературы, позволил раскрыть подлинную диалектику художественного мышления и дал возможность выработать не только верное понимание взаимоотношений реализма с другими творческими методами, но и найти объективные критерии для эстетических ценностей, возникших не на реалистической основе.

Современная теория реализма, опираясь на известное определение реалистического искусства, данное в свое время Энгельсом, подчеркивает как ведущую, определяющую черту реализма социальный анализ (включающий в себя как составной элемент анализ психологический). Согласно современным взглядам, социальный анализ составляет основу типизации характеров и обстоятельств, что является органическим свойством реализма и другим творческим методам не присуще. Признавая реализм исторической категорией, современная его теория видит в социалистическом реализме качественно новое эстетическое образование, а не простое соединение социалистического мировоззрения с критическим реализмом, как полагают сторонники устаревших взглядов. Не считает современная теория реализма, что социалистический реализм, природа которого определяется осознанным историзмом художественного мышления, возник вследствие кризиса критического реализма в XX веке. Подобная точка зрения не подкрепляется фактами, крайне упрощает подлинный процесс развития мировой литературы и игнорирует эволюцию критического реализма в наши дни.

Современная теория реализма не сводит его художественные принципы только к изображению жизни в формах самой жизни, справедливо усматривая в подобном сведении нежелательную нормативность. Реализм использует все средства художественной выразительности, в том числе и условные, если они способствуют постижению мира и человека и не толкают художественное мышление на отказ от познания действительности.

Существование научной теории реализма, выработанной советским литературоведением, позволило ему с честью выдержать борьбу с разнохарактерными попытками разрушить эстетику реализма вообще, социалистического в особенности, и в первую

очередь с концепциями Гароди и Фишера, скатившихся ныне к самому низкопробному антисоветизму. Не случайно этих ренегатов восхваляет такой заматерелый профессиональный антикоммунист, как Иньяцио Силоне (см. газету «Ди цайт» от 8 мая 1970 года).

Столь же важное значение имеет и начавшаяся полемика с взглядами на искусство как мифотворчество, извращающими объективную роль искусства в современной общественной жизни и идейной борьбе. Советскому литературоведению, первым начавшему полемику с упомянутым выше комплексом взглядов и теорий, предстоит довести борьбу с ними до конца, до полного их разгрома.

Чрезвычайно важная задача, стоящая перед советской наукой о литературе,— это дальнейшее углубление и развитие теории социалистического реализма и в первую очередь исследование многообразия форм и способов художественного обобщения, свойственных ему как творческому методу. Обычно многообразие литературы социалистического реализма объясняют обилием творческих индивидуальностей писателей, в ней работающих. Не отрицая громадной роли творческой индивидуальности художника в литературном процессе, следует, однако, признать, что подобного рода объяснение истоков многообразия искусства социалистического реализма страдает теоретической беспомощностью и явным упрощением сути проблемы. Нельзя признать удовлетворительной и попытку примирить несовершенство подобных взглядов с живой творческой практикой путем удвоения творческих методов нашего искусства, то есть декларированием существования в нем метода «социалистического романтизма». Эта попытка ничему не помогает и обнаруживает недоверие к художественным возможностям социалистического реализма и реалистической изобразительности.

Если предполагать (как это делают, порой даже неосознанно, некоторые исследователи), что реализм зиждется лишь на одном виде обобщения действительности, повторяя ее формы, то анализ не укладывающихся в эту догму произведений ставит такого исследователя в трудное положение: слишком многое в мировом искусстве оказывается выведенным за пределы реализма.

Дерзкая образность Маяковского и Есенина вынуждает, однако, ревнителей внеш-

него жизнеподобия молчаливо признавать, что изобразительность социалистического реализма богаче их схемы. Но оба великих поэта уже принадлежат истории — это облегчает примирение с их интенсивной метафоричностью. Что касается современности, то свыкаться с обостренной метафоричностью труднее, а между тем она — правомочное средство выразительности и социалистического реализма.

Поэтому крайне необходимо сейчас раскрыть действительные эстетические богатства и возможности социалистического реализма как в его генеральном аспекте, так и в национальных его проявлениях. Сделать это тем более нужно, что социалистический реализм — развивающееся эстетическое образование и в нем происходит поиск новых средств художественной выразительности, отвечающих особенностям и запросам современного этапа развития истории, общественного сознания, культуры.

Если искусство современного буржуазного общества все решительнее подчиняется законам товарного производства и смена школ и направлений в нем во многом объясняется колебаниями рынка и моды, то изменения в социалистическом реализме протекают иначе. Он развивается на бесклассовой основе и поэтому активнее выявляет генетические свойства самого искусства, и они наряду с национальными традициями и индивидуальными особенностями художественной манеры писателя являются теми элементами, которые обуславливают многообразие нашей литературы. Излишне говорить, что бесклассовая основа нашего искусства есть основа его социалистической идейности.

Мы привыкли при изучении советской литературы в первую очередь рассматривать вопрос о характере отражения литературой общественной жизни. И ныне этот принцип ни в коей мере не может быть ослаблен в нашей науке, но вместе с тем следует активизировать исследование советской литературы как самостоятельной эстетической системы. Это потребность времени, ибо пришла пора рассмотреть советскую литературу как самостоятельное типологическое явление на фоне мировой литературы.

Подобного рода рассмотрение позволит еще полнее осветить объективный вклад, который внесла советская многонациональная литература в художественное развитие человечества, яснее увидеть силу и гумани-

стическую ценность идей, которыми вдохновляются советские писатели, и шире показать преобразующее значение революционных идеалов, оплодотворяющих советскую литературу.

Мировая литература в наше время испытывает заметные трудности в своем развитии. Огромное давление оказывает на нее так называемая «массовая культура», навязывая ей собственные вкусы и представления, которые фактически оказываются вкусами и представлениями, распространяемыми истеблишментом через многочисленные принадлежащие ему средства массовой коммуникации — «масс медиа». Секс, насилие, жестокость, расовые и националистические предрассудки, зоологический антикоммунизм — все это отравляет духовную атмосферу, в которой работают зарубежные литераторы. Ложный революционаризм, псевдореволюционное отрицание культурных ценностей, распространенность охранительных и откровенно реакционных настроений оказывают разрушительное воздействие на сознание интеллигенции, нередко загоняя ее в духовные тупики. Нельзя сбрасывать со счета и планомерную идеологическую войну с идеями коммунизма, которую ведут и подогревают империалистические круги. Эти и подобные явления пронизывают повседневную жизнь буржуазного общества. Поэтому изучение состояния современной мировой литературы, на наш взгляд, ныне невозможно без исследования современной культуры в широком смысле этого понятия, без учета данных социальной психологии и социологии. Многие особенности современного литературного процесса в высокоразвитых странах, настроения и эмоции, которые находят отражение в художественных произведениях, даже структурные изменения в их образной системе становятся труднообъяснимыми и не очень понятными, если не учитывать процессов, идущих в сфере культуры.

Тем не менее и в условиях «индустриального» или «неокапиталистического» общества продолжают существовать борющиеся за свое выживание демократическое искусство и литература; в странах «третьего мира» идет становление и утверждение самостоятельной культуры и литературы. Безусловно, сопоставление итогов развития всех этих духовных образований с опытом советской литературы будет интересным и поучительным.

Советская литература многонациональна. Это важнейшее ее отличительное качество. Каждая национальная литература со своими традициями и завоеваниями вливается в мощное движение братских литератур, взаимодействуя с ними и оказывая на них определенное воздействие. Исключительно важное, первостепенное значение в современных условиях приобретает интернационалистский подход к проблемам изучения советской литературы, усиление ее интернационалистского пафоса. В наше время, когда углубляется социалистическая интеграция, замыкание искусства в национальных квартирах обрекает его на провинциализм и крайне затрудняет его развитие.

Важные и актуальные задачи стоят и перед исследователями русской литературы. Идеи и образы, возникнув однажды, живут долго и умирают медленно и неохотно. До сих пор мы ощущаем тлетворный аромат болезненных цветов поэзии, взращенных в начале века в декадентских салонах и журналах. В отношении к культурному наследию необходимо соблюдать строгий историзм, памятуя слова Ленина о том, что есть наследие, от которого мы отказываемся. Помнить это необходимо и тем искателям «истоков», которые, отправляясь в путешествие по истории на поиски живой воды, набирают в свои канистры и ведра воду мертвую.

Прошедшая недавно в «Вопросах литературы» дискуссия о славянофильстве показала, что наше литературоведение, в общем, верно ориентируется в историко-литературном процессе. Однако эта дискуссия обнаружила также наличие большого количества белых пятен на карте российской словесности. Недостаточная изученность ряда периодов развития русской общественной мысли, философии, литературы порождает неверные, односторонние, а порой просто дилетантские суждения о них.

Активное изучение наследия революционных демократов в сороковых и в начале пятидесятых годов имело тот недостаток, что путь от их наследия к ленинизму излишне выпрямлялся, исчезал идеологический фон, на котором действовали русские просветители. А он был достаточно богат и сложен. В годы первой революционной ситуации и за ней последовавшие в русской общественной мысли формировались не только теории, которые предшествовали научному социализму, но складывались

взгляды, впоследствии легшие в основу идеологии социалистов-революционеров, анархистов, кадетов, анархо-синдикалистов и т. д. Мысль Ленина о том, что Россия выстрадала марксизм, должна исключать упрощенный подход к идейной жизни прошлого века. Не всех противников самодержавия следует рассматривать как революционных демократов, иначе возникнет путаница. Вот пример: недавно вышла книга о второстепенных деятелях шестидесятых годов, которая благодаря свежести материала для многих современных читателей, возможно, стала своего рода откровением. Читаем в ней: «Особенностью позиции Благосветлова было то, что, сохраняя последовательный революционный демократизм в отношении принципов самодержавия и крепостничества, он разделял просветительские утопии европейских социалистов о возможностях классового мира в ассоциациях, где, перевоспитанные силой знания, эксплуататоры превратятся в руководителей народного труда»¹. Так, с некоторыми оговорками. Благосветлов причисляется к последовательным революционным демократам. Но дотошному читателю попадает в руки другая книга, и он узнает следующее: «И Благосветлов был настоящим разбогатевшим буржуа,— не «буржуем», как обозвал Г. И. Успенский русского разжиревшего и грубого кулака, а именно буржуа по французскому образцу. Благосветлов был слишком образованный человек, чтобы стать «буржуем». И далее: «Благосветлов был именно хозяин-буржуа, и его грубость, запальчивость и деспотизм в отношениях к сотрудникам, к рабочим типографии, к фактору и метранпажу Королькову, который прожил у Благосветлова более пятнадцати лет и умер у него почти в типографии,— все это было не барством, а настоящей буржуазностью и нередко низкого сорта». И наконец: «Но особенность буржуазности в том и заключается, что она может проповедовать политическое братство и свободу и при них, и ни в чем не изменяя им, отлично устраивать свои дела». Кому же принадлежат эти мудрые слова? Николаю Васильевичу Шелгунову (см. его сочинения, т. 2, СПб, 1895, стр. 738, 739).

Где же истина? — спросит дотошный читатель, и придется признать, что прав старый

¹ Феликс Кузнецов. Публицисты 1860-х годов. Круг «Русского слова». «Молодая гвардия». М. 1969, стр. 112.

шестидесятник, ибо развитие капитализма в России сводилось не к одному строительству железных дорог, но и к формированию мелкобуржуазного радикализма, который не следует смешивать с революционным демократизмом. Мелкобуржуазный радикализм порождал не только вульгарных критиков-упростителей вроде Варфоломея Зайцева, но и такие зловещие и опасные фигуры, как Нечаев, воинствующих догматиков, как Ткачев и его последователи. Спорные положения книги Ф. Кузнецова есть следствие неразработанности истории русской общественной мысли от пореформенного периода до возникновения научного социализма в России. Но есть гораздо более серьезные отступления от историзма научного исследования, приводящие к плачевным результатам.

В журнале «Звезда» Б. Бурсов опубликовал роман-исследование «Личность Достоевского». Оставляя за собой право вернуться к этому гибриду после того, как работа Б. Бурсова полностью увидит свет, считаю необходимым сказать по поводу нее несколько слов, поскольку «Литературная газета» уже начала о ней полемику.

Сочинение Б. Бурсова написано в гипербиографическом духе, с некритическим и тенденциозным отношением к высказываниям мемуаристов, с толкованием этих высказываний в пользу собственной точки зрения и узко по материалу, несмотря на провозглашенную автором широту и бестрепетность подхода к объекту исследования. В нем (то есть в сочинении) нет главного фактора, определившего особенности личности великого писателя, нет живой и противоречивой истории, сформировавшей многие свойства Достоевского-человека. Сам же подход к личности писателя недвусмыслен: «Склонность к преступлению — неперменный признак героев Достоевского. (Каких? Макара Девушкина, Неточки, Кроткой, Мышкина, мужика Марая, Зосимы и т. д.? — Б. С.) Всю жизнь сам он переступал черту. Так же ведут себя и его герои. Естественно, он толкал их дальше того предела, который переступал сам. По-

тому что всякий подобный опыт опасен, и он не мог подвергнуть себя той же опасности, что и героя: одного героя можно было, даже необходимо было заменить другим, себя же заменить некем(!)»¹. Выходит, не будь полиции, Достоевский рубил бы топором старушек или резал ножом гордых красавиц.

Постулируя таким образом преступность природы Достоевского (заезженный тезис буржуазного литературоведения), его мнимое «двойничество» (мысль, принадлежащая А. Скабичевскому), Б. Бурсов начинает подозревать за Достоевским преступления, совершенные его героями, в частности злодеяние Ставрогина — насилие над ребенком, — повторяя сплетни и наветы, возводившиеся на писателя его недругами, в том числе и такой завистливой и мстительной личностью, как Страхов. Для чего это делается? Во имя «полноты и объективности» исследования или ради низкопробной сенсационности?

Марксистский историзм предполагает всесторонность анализа, и ученый вправе пользоваться всеми сведениями, ничего не скрывая и не пряча от читателя. Но его долг состоит в том, чтобы отделить факты от лжи и клеветы, что необходимо делать во всех случаях, и особенно в тех, когда речь идет о великих национальных ценностях. Этого также требует достоинство и моральная ответственность исследователя. Вот о чем крепко надо было бы задуматься кандидату филологических наук В. Акимову, прежде чем браться за писание похвального слова сочинению Б. Бурсова (см. «Литературную газету» № 34). Но подобного рода отступления от историзма исследования, к счастью, редкое явление у нас.

Советские литературоведение и критика сознают свою ответственность перед социалистической культурой и сделают все, что в их силах, для решения сложнейших идеологических задач, возникающих перед ними. Наша наука располагает для этого достаточными силами и знаниями.

¹ «Звезда», № 12, 1969, стр. 137.

Ю. КУЗЬМЕНКО

★

ЧЕЛОВЕК ТВОРЯЩИЙ

СТАТЬЯ ВТОРАЯ

Проблема положительного героя — одна из ключевых проблем советского литературоведения. Трудно назвать время, когда наша печать не пыталась бы определить характерные черты героя современной литературы, дать свое толкование его эволюции.

Можно заметить, что спор о герое возобновлялся часто, что называется, с нуля, без учета уже сказанного. Можно посетовать на слишком малый «коэффициент полезного действия» ряда дискуссий. И все же обсуждение проблемы героя в последние годы не стояло на месте. Перечитывая сегодня выступления литературоведов, писателей, критиков, начиная, скажем, с предсъездовской дискуссии 1954 года, обнаруживаешь явственное движение вперед — и не столько в прямых результатах споров, сколько в подходе к этой проблеме, в постановке вопросов, в методологии критического исследования.

В самом деле, в какой плоскости рассматривалась проблема героя в канун съезда и на самом съезде? Как понималась тогда «идеальность» героя, вокруг которой ломались критические копы?

Логика одной стороны в этом споре сводилась к тому, что «образ просто хорошего человека», которому, так сказать, ничто человеческое не чуждо, не способен удовлетворить стремления читателей к идеалу. Герой, обладающий какой-либо отрицательной чертой, полагали некоторые критики, не может быть положительным, не может служить образцом для подражания. А раз так,

то надо отказаться от «оживления» образа положительного героя за счет каких-то колебаний, сомнений, слабостей, надо решительно взять курс на героя, безупречного во всех отношениях. «Мы считаем себя вправе, — говорилось в одном из выступлений, — ждать от писателей создания подлинно положительных литературных образов, героев без всяких изъянов, ибо в них, героях без изъянов, выражается дух времени»¹.

Мы знаем, однако, что «дух времени» — применительно к литературе — выражался прежде всего в активизации ее исследовательского пафоса, в преодолении всех и всяческих догматических представлений, которые мешали художественному постижению современной действительности. В конкретных условиях середины пятидесятых годов сторонники идеального героя звали писателей назад, к худшим образцам производственного романа. И понятно, почему эта концепция была отвергнута подавляющим большинством участников дискуссии. Идти в жизнь, видеть ее реальные достижения, трудности и проблемы, раскрывать образ советского человека во всей его многогранности, искать в характере современника то, что делает его носителем передовых тенденций времени, — так формулировались во многих выступлениях первоочередные задачи современной литературы.

Обратим, однако, внимание на примечательное обстоятельство: и противники, и сторонники концепции идеального героя фактически сходились на том, что мерой

¹ «Литературная газета», 24 августа 1954 года.

идеальности героя является наличие или отсутствие «недостатков», «изъянов» в его поведении и характере. Спор со схематизмом по существу велся еще на его собственной территории. И это, конечно, не было частным заблуждением каких-то отдельных писателей или критиков. В этом сказывался общий уровень эстетических представлений, в этом находили выражение особенности того этапа теоретического осмысления новых задач литературного развития.

Прошло десять лет, и в нашей печати (журнал «Октябрь», «Литературная газета») вновь разгорелась дискуссия о проблеме идеального героя. Опять, как и в 1954 году, одни литераторы видели в этой концепции путь к повышению воспитательной роли литературы, а другие — угрозу ее схематизации. И все же эта дискуссия не была буквальным повторением прежней. Шаг вперед — и шаг немалый — заключался в том, что речь шла уже не об ангельской безупречности героя, а о его масштабе, о степени воплощения в нем эстетического идеала, новое состояло в преодолении весьма упрощенных, «житейских» представлений о сути художественного идеала.

Чем же определяется достижение литературой этой правильно понятой идеальности? С чем связано возвышение героя современной литературы до уровня и масштаба положительного героя советской художественной классики? Участники дискуссии подошли к этим вопросам — но только подошли, не сумев найти пути к их действительному разрешению. И это опять-таки, на мой взгляд, определялось общим уровнем исследовательской методологии. Уже понимая, что речь идет о масштабе героя, о его типе, а не о наличии каких-то «изъянов», критика, как правило, еще оказывалась не в состоянии проникнуть в сложное соотношение литературного героя и социального характера, формируемого условиями реальной действительности. Проблема героя рассматривалась в отрыве от конкретно-исторических условий, определяющих развитие художественного творчества, суждения критиков о причинах известных изменений в облике положительного героя не выходили за пределы самой литературы.

Мне думается, есть основания говорить о новом этапе в обсуждении проблемы литературного героя, начавшемся во второй по-

ловине шестидесятых годов. При всей неоднородности критической методологии, осязаемой и сегодня, бросается в глаза стремление критики преодолеть теоретический барьер, отделявший проблемы собственно литературные от проблем формирования человека в реальной действительности, отрешиться от критического субъективизма, писать о литературе и литературном герое конкретно-исторически, в тесной связи с изменениями в материальной и духовной жизни общества.

Вспоминается попытка такого исследования проблемы героя, предпринятая Ф. Левиным. Он писал, что создание образа положительного героя — дело не только хотения и умения писателей: здесь многое определяется и условиями реальной действительности. В частности, по мнению критика, литература сможет успешнее раскрывать образ рабочего человека — творца и хозяина жизни, когда будут решены некоторые важнейшие экономические проблемы. О сложной социальной обусловленности художественных явлений говорили многие участники дискуссий о теме рабочего класса в литературе, состоявшихся в последние годы. Отмечалось, например, что советская художественная классика отразила особый, во многом неповторимый момент общественного развития, и естественно, что «литературный герой нашего времени будет качественно другим». Зависимость типа героя от характера времени отметил в одной из своих статей Н. Джусойты. В отдельные моменты, писал он, «историческая необходимость вызывает к жизни немислимые в иной ситуации подвиги человеческого духа», для писателя «резко сокращается дистанция между действительным и идеальным» — в другое же время, в условиях мирного созидания, литература подчиняет все свои средства задачам художественного исследования действительности, становится «наукой о том, как людям жить». Еще один пример из многих возможных — размышления о герое В. Сурганова. Определенные различия между советской художественной классикой и современной литературой, по его мнению, совсем не означают, что мы имеем дело с чем-то вроде оскудения литературных талантов или даже духовным оскудением человека наших дней. «Просто у нас на глазах разворачиваются специфические процессы общественного, а значит, и литера-

турного развития, которые со всей неизбежностью накладывают свою печать на облик и характер наших новых книжных знакомцев»¹.

Названные статьи и выступления критиков, очевидно, нуждаются в каких-то уточнениях, в чем-то оказываются спорными. Но плодотворность отражающейся в них методологической тенденции представляется мне несомненной. Сущность этой тенденции — все более последовательное применение к самому злободневному, сегодняшнему материалу испытанных положений марксистско-ленинской эстетики о социальной обусловленности литературного процесса, стремление видеть современную литературу такой, какова она есть, — без затушевания ее противоречий и слабостей, но и без раздражительного ее третиования, связанного с непониманием объективной природы новых художественных явлений.

Принципы социологического анализа художественного творчества, о которых идет речь, разумеется, не новы. Но их «открытие» и использование критикой применительно к современной советской литературе потребовало, как мы видели, немало времени. И дело здесь не только во всегдашней сложности теоретического осмысления новейших, еще не до конца определившихся художественных явлений. Отмеченные только что изменения в методологии критики — одно из проявлений неизмеримо более широкого процесса: эволюции общественного сознания в пятидесятые—шестидесятые годы, все более глубокого осознания закономерностей и противоречий современного этапа общественного развития.

Современная советская литература со всеми ее неповторимыми особенностями, плюсами и минусами — отражение сегодняшней общественной реальности. Образ положительного героя сегодня, как и прежде, так или иначе передает характерные черты современника, является конкретным воплощением эстетического идеала. Это аксиомы. Но как именно осуществляется это взаимодействие литературы и жизни? Почему ведущий герой литературы оказывается таким, а не иным? Что здесь определяется позицией художника, своеобразием его творческой индивидуальности и что — условиями времени, особенностями данного «состояния мира»?

В статье, опубликованной в прошлом номере журнала, я пытался найти подход к этим вопросам, сопоставляя пьесу М. Горького «Мещане» с произведениями Л. Толстого, А. Чехова, Л. Андреева. Мы видели, что на рубеже XIX и XX веков в литературе наметилась отчетливая тенденция к смене ведущего положительного героя. Так же, как в середине минувшего столетия «лишний человек» русской литературы уступил свое место «мыслящему работнику», «сознательно-героическим натурам» Тургенева, Некрасова, Чернышевского, так теперь «духовно живой человек» Толстого и Чехова сменился горьковским «героем с идеалом». Близкие по своей внутренней сущности, эти герои тем не менее отличались друг от друга разным качеством своей «идеальности». Те или иные особенности «высшего идеала», какой только мог русский художник вызвать из современной ему действительности, в конечном счете были связаны с условиями формирования социального характера — областью применения его сил, степенью его влияния на мир, сущностью преодолеваемых им препятствий.

Анализ горьковской пьесы в ее живых связях с другими произведениями позволил еще раз сделать вывод о глубоких социально-исторических основах эстетического новаторства литературы социалистического реализма. В ней нашли новое продолжение, казалось бы, давно исчерпанные качества художественной культуры минувших эпох: эпическое сознание, героический характер, освещение действительности с точки зрения интересов и целей всего общества, прямое утверждение идеала.

Можно полагать, что в широкой исторической перспективе именно этими качествами определяется магистральное направление развития нового искусства. И все же говорить об особенностях нашей литературы только в таком, «глобальном» масштабе, разумеется, было бы недостаточно. Общие тенденции прокладывают себе дорогу через разного рода отклонения и сложности, реальный путь советской литературы и ее героя пролегает, если воспользоваться давним сравнением, отнюдь не по прямому и гладкому проспекту.

В данной статье я хотел бы проследить некоторые вехи этого сложного пути — конечно, отдавая себе отчет и в заведомой

¹ «Литературная газета», 13 декабря 1967 года.

неполноте избранного здесь общего, типологического подхода к литературе, и в возможной спорности ряда положений.

2

Советская литературная классика использовала все доступные ей художественные средства, чтобы справиться с выпавшей на ее долю труднейшей новаторской задачей «запечатлеть рождение еще неслыханного мира» (Л. Леонов), «написать историю нового человека в новой среде» (А. Толстой). Это, как уже сказано, литература ярко выраженного эпического, монументального реализма. Движение жизни передается здесь как стремительное развитие общества от капитализма к социализму, как бурный процесс исторического творчества масс. Это литература прямого утверждения действительности как практического воплощения эстетического идеала. Это литература «разлома», линия которого проходит через мир в целом, государства, классы, семьи и отдельные души. Это литература ярчайшего исторического оптимизма, возвышенного романтического пафоса, рожденного небывалым подъемом освободительной социальной борьбы, ускорением общественного развития, мироощущением человека, почувствовавшего себя «инструктором истории».

Заметное место занимает в советской художественной классике человек, обретающий имя, находящийся себя в вихре революции, горячем напряжении стройки, грозном гуле войны. В своем облике, в направленности своего развития этот герой несет в себе трепетный отблеск эстетического идеала. Но в полную силу светит этот идеал в человеке уже сложившемся, нашедшем свою дорогу, берущем на себя ответственность за все происходящее. С ним связан прежде всего вклад советской литературы, советского искусства в мировую культуру.

«Герой с идеалом» новой исторической эпохи — это эпический герой, «самостоятельный, крепкий и цельный героический характер» (Гегель). Он находится в неразрывном единстве с миром, который воспринимается им как арена для приложения его творческих сил. Его отличает глубокая последовательность во всех чувствах, мыслях и действиях, предельная собранность вокруг огромной общечеловеческой цели.

Вступая на историческую арену, этот герой независимо от его положения и ранга действительно, как говорит Гегель, «берет на себя бремя всего действия». В одних случаях он действует в составе организованного коллектива, в других оказывается один на один с препятствиями — но всегда его поступки определяются не чем-то посторонним, навязанным ему извне, а его собственным убеждением в правоте своего дела, его собственным пониманием справедливости, его личной, глубоко выношенной страстью.

Герой-повествователь «Мятежа» Д. Фурманова, идя в логово мятежников, чувствует за собой великую и непреодолимую историческую силу. Но в данный момент ему одному надо справиться с враждебной толпой. Он один представляет здесь новую власть, один говорит от имени будущего страны и будущего этого разворошенного революцией солнечного края.

«Поднялся я, встал в рост, окинул взором взволнованную рябь голов, проскочил по ближним лицам, — чужие они, злые, злоевающие... Как ее взять в руки, мятежную толпу? Как из этого официального доклада построить агитационную речь, которая нам послужила бы службой?»

Дальше следует знаменитый монолог писателя-коммуниста, обращенный и к самому себе, и к товарищам по борьбе, и к далеким потомкам, которым, может быть, доведется оказаться в такой же ситуации. И с первой до последней строки («Если быть концу — значит, надо его взять таким, как лучше нельзя. Погибая под кулаками и прикладами, помирай агитационно!») перед нами монолог эпического героя, который погибает или остается в живых, но продолжает быть верным себе во всем, который в любых, даже самых трудных, обстоятельствах не отступает ни на шаг с дороги, ведущей его к цели.

Перед Глебом Чумаловым в «Цементе» Ф. Гладкова не враги, с которыми в годы гражданской войны много раз сводила его судьба. Его окружают свои. Но завод, поражающий своей тишиной, и люди, которых коснулась самая страшная из разрух, «разруха души», — это тоже неподатливая, злая стихия. И возникает почти тот же вопрос, что и в фурмановском «Мятеже»: как взять ее в руки, эту толпу? Как заставить людей, поглощенных своими ко-

вами и зажигалками, сделать невозможное — поднять завод, вдохнуть жизнь в эти полуразрушенные цеха и машины?

Никто не приказывает Глебу Чумалову браться за эту непосильную задачу. И все же такой приказ есть: это его страсть, его воля, его выношенная в сражениях мечта. Они и ведут Глеба до того самого момента, когда он видит на склоне горы уже не толпу, а ликующий рабочий коллектив.

Много лет отделяет подвиг Глеба Чумалова от июня 1941 года. Но опять возникла ситуация, когда можно было только «бить героизмом», опять герой советской литературы оказался перед невысказанно трудной исторической задачей. Это и Тарас из «Непокоренных» Б. Горбатова, испивший горькую чашу оккупации. И Олег Кошевой, нашедший в себе самом — в своей натуре, в своем воспитанном новым строем характере — все нужное для беззаветной борьбы. И тот танкист из «Гибели командарма» Г. Николаевой, который готов был богатырски расправить крылья, но смог сделать единственно для него возможное — «умереть агитационно».

Величайшая целеустремленность эпического героя, поглощенность его одним делом, одной решающей жизненной задачей подчас оцениваются в критике задним числом как «односторонность». Но это не всегда справедливо. Мы должны учитывать и особенности исторического момента, требующего от человека предельного напряжения всех его сил, и эстетическую природу героического характера, отличие которого состоит именно в «беспощадной твердости», способности «всецело вкладывать себя в одну цель». Ригоризм литературных героев того времени несет в себе образ огненной поры, по-своему строившей характеры и человеческие души.

Когда-то, на заре века, горьковский машинист Нил мечтал устроить жизнь поновому. Он понимал, насколько трудной является эта задача, предвидел, что для ее решения понадобятся все его силы и способности. Нил оказался прав — все творческие силы и способности человека, даже те, о которых он и не подозревал, были обнаружены, мобилизованы, приведены в действие, когда настала пора решительной борьбы за практическое утверждение идеалов нового строя. И прежде всего эти силы потребовались там, где, по известному леонов-

скому образу, «дорога на океан» шла через крутые исторические перевалы, где активность и самоотверженность каждого могла оказаться решающей в судьбах мира и социализма, в движении человечества к его подлинно высокому будущему.

3

Разговор о герое советской прозы будет неполным, если мы обойдем сложный путь его развития в послевоенные годы. Это тем более необходимо, что в нашей критике до сих пор не редкость столкновение прямо противоположных, взаимно исключающих друг друга точек зрения: отношения к этой поре как своего рода восьмилетнему прочерку в истории литературы — и утверждений, что, собственно говоря, никаких издержек художественного развития вовсе и не было.

Гигантская буря только что пронеслась над миром, оставив после себя дымящиеся развалины городов и стран, напитанные кровью и металлом поля, десятки миллионов могил. Величайшая из драм, какие знала до той поры история, подошла к своему финалу: был повержен германский рейх, рухнули некогда всесильные колониальные империи, сделало еще один огромный шаг вперед начатое в 1917 году дело социального освобождения народов.

Правы авторы обзорной статьи в третьем томе «Истории русской советской литературы»: не было для советских писателей после 9 мая 1945 года более важного дела, чем творческое осмысление, художественное освоение духовного и эмоционального опыта минувшей военной страды. «И подобно тому как в 20-е годы становление метода, поиски героя, формирование нравственно-эстетического идеала шло в основном на материале революции и гражданской войны, в послевоенное десятилетие крупнейших успехов советские писатели достигли в произведениях о Великой Отечественной войне»¹.

Вслед за этим общим выводом историки литературы обращаются к конкретным художественным явлениям, называют многие имена. А. Фадеев, Б. Полевой, Э. Казакевич, П. Павленко, И. Эренбург, О. Гончар, А. Бек, М. Бубеннов, В. Некрасов, В. Па-

¹ «История русской советской литературы», в четырех томах, т. III, «Наука». М. 1968, стр. 92.

нова, Н. Бирюков, В. Гроссман, В. Ажаев, А. Твардовский, К. Симонов, С. Гудзенко, Я. Смеляков, М. Алигер, С. Кирсанов, М. Луконин, А. Недогонов, Н. Заболоцкий, а вместе с книгами более или менее отдаленной исторической тематики — К. Федин, Б. Горбатов, Ф. Гладков, С. Злобин, Т. Семушкин, Л. Никулин, Ю. Герман... Произведений, написанных этими писателями в 1946—1953 годах, можно здесь не называть — они переиздаются, покупаются, записываются в библиотечные формуляры читателей. Если подумать, их не так уж мало для семи-восьми лет писательской работы.

С высоты нашего времени в ряде книг той поры о войне, разумеется, можно увидеть те или иные недостатки: в одних случаях известную заданность, в других — неполноту, в третьих — отпечаток ложной монументальности. Однако факт остается фактом: работа писателей в послевоенные годы над произведениями о войне — плодотворная, нужная, сохранившая все свое значение работа. Отличные книги, посвященные этой теме позднее, никак не отменяют ценности человеческих и художественных документов той поры, когда залпы орудий еще звенели в ушах, когда писатели только-только сменили шинели на штатские костюмы.

Меня, однако, интересует здесь другая линия послевоенной литературы — книги конца сороковых—начала пятидесятых годов о современности. Мне представляется очень важным понять, в чем заключалась слабость произведений этих лет, посвященных производственным конфликтам, почему тем же самым писателям-прозаикам, которые подчас создавали заметные произведения о недавнем прошлом, так упорно «не давалась» современность.

Очень доброжелательно настроенные к этому периоду авторы упоминавшегося уже обзорного очерка, ставящие себе прямой целью упомянуть все более или менее значительные произведения, приходят в конечном счете к тому, что русский читатель смог сохранить на своей книжной полке, пожалуй, лишь два романа этих лет на темы современности: «Жатву» Г. Николаевой (с оговоркой, что интерес в этом произведении представляет главным образом его нравственно-психологическая линия) и «Журбины» В. Кочетова. Сразу же за этим горестным итогом следует тем не менее

оптимистический вывод, что «теория бесконфликтности не подорвала и тогда коренных принципов социалистического реализма — верности жизненной правде, изображения действительности в революционном развитии» и что принципиальное завоевание советской литературы (раскрытие «богатства личности через ее трудовую деятельность, отношение к труду, эстетику труда») «поднялось на новую ступень в послевоенные годы...»¹.

А вот это уже кажется весьма неубедительным. В этом надо разобраться.

Как известно, понятие производственного романа было выдвинуто критикой в тридцатые годы, когда одна за другой появлялись такие книги, как «Гидроцентральный» М. Шагинян, «Соть» Л. Леонова, «Время, вперед!» В. Катаева, «День второй» И. Эренбурга, «Большой конвейер» Я. Ильина и другие. Это понятие первоначально не имело оценочного значения: оно лишь помогло критике в тематической классификации произведений. Позднее, в середине пятидесятых годов, термин «производственный роман» получил в критическом обиходе устойчивый отрицательный смысл. С ним связывалось все, что преодолевалось в это время писателями, подчас в острой полемике со своими собственными книгами — облегченность отображения жизни, заданность выводов, схематизм характеров, стандартность ситуаций и конфликтов. понадобилось немало времени, чтобы понять сущность романов подобного типа, отделить производственную тему от сопровождавших ее наслоений.

Бедой послевоенного производственного романа было ослабление или даже исчезновение реалистической мотивировки конфликтов и характеров, неумение писателей показать истинные социально-психологические причины борьбы нового и старого на производстве. Консерватизм противников нового рассматривался как самопроизвольная «болезнь» сознания либо как порождение самой «натуры» отдельных работников. Отсюда и непоправимый урон, наносимый образу борца за новое. Он воюет с картонными противниками, заведомо обреченными на поражение, он действует в условном мире, где нет никаких объективных обстоятельств, с которыми он был бы не в состоянии незамедлительно справиться.

¹ «История русской советской литературы», в четырех томах, т. III, стр. 129, 119.

Чем же объясняется возникновение самих этих упрощенных представлений?

«Буйно взвихренная действительность» предшествующей поры уложилась в определенный образ жизни миллионов людей, определенную систему отношений, которая, разумеется, представляла собой далеко не однородное образование. Величайшие завоевания социализма — основа этих отношений — переплетались с тем, что было связано с неизбежной исторической ограниченностью первой фазы нового строя. На новое, действительно небывалое в условиях жизни накладывались явления, вызванные атмосферой культа И. В. Сталина. Эта противоречивость общественного бытия сказывалась на формировании новых поколений советских людей, находила отражение в противоречивости и социальном многообразии характеров, настроений, поступков, взглядов.

В области послевоенного производства все заметнее начинали сказываться явления, связанные с ослаблением материального стимулирования, значительным сокращением сферы действия хозяйственного расчета. Неизбежные в то время, когда неотложные экономические задачи приходилось решать любой ценой, эти меры в новых условиях стали обнаруживать себя в качестве тормозящего момента. Возникли своего рода «антистимулы»: заинтересованность коллективов предприятий в возможно более длительном выпуске уже освоенных видов продукции, в увеличении основных фондов, росте численности работников. Снизилась заинтересованность крестьянства в развитии общественного хозяйства. Необходимость ограничить отрицательные последствия подобных тенденций вынуждала делать еще более жесткой централизацию управления промышленностью и сельским хозяйством, усиливать контроль, уменьшать оперативную самостоятельность коллективов. Таким образом, на этом этапе общественного развития появились противоречия, возникшие уже на почве нового, социалистического строя, в том числе и известные противоречия между производительными силами и производственными отношениями. Дальнейшее развитие общества было связано с осознанием этой сложной общественной реальности, с устранением возникших противоречий — задачами, которые, как известно, удается решить далеко не сразу.

Теоретическая мысль этих лет не могла не считаться с тем, что прежние представления о характере и движущих силах общественного развития, выработанные в период острой классовой борьбы внутри страны, уже далеко не во всем отвечают современным условиям. Однако первые попытки теоретического осмысления новых закономерностей и особенностей социалистического строительства, как мы знаем, очень часто оказывались неудачными.

Неумение увидеть новые противоречия социалистического общества при явном исчезновении старых толкало иных теоретиков на путь предельного «облегчения» диалектики общественного развития. Появлялись работы, в которых закон единства и борьбы противоположностей объявлялся принадлежностью лишь предыстории человеческого общества, а диалектика коммунистического строя именовалась диалектикой гармонии. По мнению целого ряда философов, основной закономерностью развития социализма и коммунизма стало «полное соответствие производственных отношений состоянию производительных сил», полное совпадение личных и общественных интересов тружеников. Что же касается фактов бюрократизма, косности, рутинности, недисциплинированности, нерадивого отношения к социалистической собственности и т. д., то все эти явления объяснялись лишь «отставанием сознания людей от их фактического экономического положения». Естественно, что и борьба с пережитками прошлого мыслилась такими теоретиками лишь в плане, так сказать, идеальном — в плане общественного воздействия на сознание носителей этих пережитков. Объективные причины подобных явлений, в частности значение материальных условий для возникновения тех или иных нежелательных тенденций в экономической жизни, еще не находили отражения в научных исследованиях. Критика и самокритика считались поэтому единственными универсальными средствами решения общественных проблем.

По мнению авторов академической «Истории русской советской литературы», основная слабость произведений послевоенных лет на темы современности заключается в том, что в них отсутствует «философско-эстетическая концепция времени»¹. К сожалению, это не так. Концепция обще-

¹ «История русской советской литературы», т. III, стр. 125.

ственного развития в «производственном романе» определенно существовала, как раз и ставя его перед очень тяжким испытанием.

Конфликт вокруг какого-либо технического новшества, борьба новаторов и консерваторов как раз и должны были, по замыслу авторов этих книг, иллюстрировать новые закономерности развития советского общества, связанные с преодолением пережитков капитализма в сознании людей. Эти пережитки, с точки зрения писателя, имеют духовную, идеальную природу. Их первоисточник не в условиях жизни, не в конкретных производственных отношениях, а в людях и только в людях, отрицательные качества которых вновь и вновь самозагораются в недрах человеческого духа. При этом авторское понимание того, где кроется причина действий людей, тормозящих технический прогресс,— не просто неверная теория, которая накладывается извне на изображение, сопровождает воссоздаваемую художником объективную картину действительности. Эта концепция активна. Она ведет за собой героев, управляет сюжетом, определяет эволюцию характеров, завязку и развязку конфликтов.

Глеб Чумалов, стоявший перед руинами завода, не думал о расценках, нормативах, материальных и денежных фондах, обеспечивающих развитие производства. Их попросту еще не было. Он думал о невероятном напряжении, необходимом для того, чтобы остались позади «разруха, кавардак, свалка, голод», он думал о единственном выходе — «бить героизмом». Параграфы бухгалтерских инструкций мало что значили и для строителей Комсомольска-на-Амуре, столкнувшихся с бездорожьем, холодом, цингой, нехваткой всего и вся, и для рабочих эвакуированных на восток заводов, начинавших выпускать военную продукцию через считанные недели после прибытия на новое место. Совсем в другом положении был в конце сороковых годов директор прозаически (хотя, увы, не совсем нормально) работающего завода металлоконструкций Семен Данилович Бабченко («Металлисты» А. Былинова), когда его главный технолог положил на стол проект коренной ломки технологического процесса. Он не может, не имеет права «переворачивать завод» по образу и подобию своего нова-

торски мыслящего подчиненного, не приняв во внимание бесчисленного множества обстоятельств, определяющих порядок работы современного предприятия.

Начиная от «Цемент» Ф. Гладкова и кончая «Танкером «Дербент» Ю. Крымова, не говоря уже о произведениях на темы колхозного строительства, арена труда являла собой в литературе арену острой классовой борьбы. Социальная мотивировка характера и поведения отрицательного героя не представляла для писателя принципиальных трудностей. «Натура» этого героя была явно сформирована либо прямо там, в недрах свергнутого, но еще крайне близкого по времени эксплуататорского мира, либо теми общественными факторами, которые преодолевались теперь в напряженной классовой борьбе.

Иной оказалась ситуация в послевоенных произведениях, раскрывающих тему труда. Писатель не мог теперь в каждом противнике рационализаторского предложения видеть классового врага. Вместе с тем герои, вышедшие на сцену, за малыми исключениями никак не могли приобрести свои консервативные и прочие отрицательные наклонности в стародавние времена. Значит? Значит, это болезнь, болезнь духа, которая «засасывает человека, как болото, подчас и незаметно для него» («Первое дерзание» В. Очеретина). Значит, самый верный путь к решению всех проблем технического прогресса — общественное воздействие на отсталых или заблуждающихся работников.

Нетрудно понять, что эта смена социальных мотивировок мотивировками абстрактно-психологическими влекла за собой самые серьезные последствия. Роман, внешне во всем подобный вышедшим ранее, но лишенный своей сердцевины, потерял именно то, что давало ему жизнь.

Таким образом, «производственный роман» о современности послевоенных лет отразил состояние общественного сознания в период, когда прежние мотивировки и представления перестали отвечать истинному положению дел, а новые еще не сложились. Роман подобного типа не дал советской литературе сколько-нибудь заметных художественных ценностей. Однако было бы упрощением списывать его в чистый убыток. Несомненно преемственная связь этого романа с произведениями, раскрывшими трудовой

подвиг народа в годы социалистического строительства. И так же бесспорно то, что именно в недрах этого романа в середине пятидесятых годов начался сложный процесс обновления художественных мотивировок, переосмысления упрощенных теоретических формул, воссоздания подлинного единства характера и обстоятельств.

Присмотримся с этой целью к прозе пятидесятых годов, представляющей для нашей темы особый интерес. И смею уверить: это еще далеко не исторический материал, подведомственный академическому литературоведению. В книгах, о которых спорили десять — пятнадцать лет назад, содержится богатейший идейно-эстетический материал, имеющий прямое отношение к сегодняшним проблемам и поискам нашей литературы.

4

Январь 1950-го — декабрь 1953-го. Такая дата стоит под одним из самых значительных произведений послевоенной литературы — «Русским лесом» Леонида Леонова.

«Русский лес» — роман о сравнительно недавнем прошлом. Поля Вихрова появляется на московском вокзале со своими тревогами и надеждами, со своими узелками, баулами, с чайником, крышка которого по дороге к троллейбусу звонко выбалтывала все провинциальные новости, в самый канун войны. Последние страницы романа повествуют о встрече Вихрова в его лесном краю со святым для него говорливым родником в сорок втором году. Однако необычайно щедрый в этой книге на отступления Л. Леонов протянул множество нитей от краткого «сюжетного» времени в далекое прошлое, сделал сквозную связь времен одним из ведущих своих эстетических принципов. И разумеется, в романе незримо присутствует еще один временной план: духовные и литературные проблемы, волновавшие художника в годы создания книги.

Вопрос о природе отрицательных сил, занимавший в те годы героев «производственного романа», возникает в «Русском лесе» в парадоксально вывернутой, обратной ситуации. Поля Вихрова сидит рядом с Грацианским в бомбоубежище во время воздушного налета и пытается разобраться в том, что же движет ее отцом — противником, как она думает, использования лесных ресурсов для нужд народного хозяйства. «Только одного не могла понять: откуда ж и у нас берутся такие люди, да еще в

наше время, когда весь народ безраздельно отдает себя созидательному труду,— прочла она словно из газетной передовой». И мелькает у нее страшная мысль: уж не кроется ли за этим враждебный умысел? Грацианский моментально улавливает ее не высказанную до конца тревогу. «Вы полагаете, что Вихров сеет свои вредные идейки... не совсем спроста?» Нет, размышляет он, «сопротивление людей этого класса давно сломлено... я бы сказал, оно погребено в бетоне социалистической стройки. Конечно, в плохих романах еще попадают загадочные фигуры с потайными фонарями, хранящие в зубной пломбе похищенную схему городской канализации, без чего в наше время трудно бывает повернуть громоздкий и дидактический сюжет, но... судя по критическим обзорам, это и в литературе становится запрещенным приемом». «Нет, тут действуют другие, ржавые пружинки отжившего общества,— говорит он дальше,— скажем, застарелая обида бездарности, уязвленное самолюбие неудачника, а иногда поганая надежонка заработать на лево полтинник, недополученный от Советской власти...» Что же касается Вихрова, то он, конечно, не относится к разряду бездарностей. «У Вихрова его научные выверты — скорее проявление болезни, чем сознательно направленной воли».

Впрочем, Грацианский не был бы Грацианским, если бы ограничился этими суждениями. Свое опровержение подозрений Поли он закончил брошенным вскользь замечанием о неких денежных ассигнациях, которые получал Вихров в далекие студенческие годы от безымянного благодетеля. Уж не оттуда ли идет его упрямое стремление оградить русский лес от размаха социалистического строительства?

Лукавство приема состоит в том, что автор как бы не берет на себя ручательства за справедливость этих аргументов. И в то же время система художественных зеркал явственным образом обращает на самого Грацианского все упомянутые им «ржавые пружинки отжившего общества» — и застарелую обиду бездарности, и уязвленное самолюбие неудачника, и надежонку заработать лишний полтинник вместе с весьма необходимой ему известностью. Все ведь именно так и было в «крайне обостренном, временами даже бурном соприкосновении» Грацианского с жизненным путем его науч-

ного оппонента, теоретика-лесоведа Ивана Матвеевича Вихрова.

«Бурное соприкосновение» Грацианского и Вихрова разворачивается в совершенно конкретных социально-исторических обстоятельствах. В неимоверном напряжении сил страна вырывалась из вековечной отсталости, рыла котлованы электростанций, создавала целлюлозные и прочие комбинаты, подобные тому, который возводил Увадьев в леоновском Сотьстрое. Стремительно отступала, уходила в небытие таежная, дремучая Русь, словно в дни творенья приобретали свой новый облик вода и земная твердь, незримые человеческие отношения и конкретные предметы материальной среды. И точно так же из этой социальной «праматерии» начинали формироваться противоречия и проблемы, которые были неразличимыми или оставались несущественными еще вчера. Противоречие между сегодняшней нуждой, требующей лесного и всякого прочего сырья поближе и любой ценой, и нуждой завтрашней, заставляющей думать о природных ресурсах для грядущих поколений. Противоречие между безоглядной широтой порыва, отвергающего любые «пределы» в экономике, технике, строительстве, природопользовании, и реальным наличием этих пределов, диктуемых той же экономической необходимостью, глубочайшей взаимосвязью природных явлений, фактической ограниченностью воды и леса, зверя и рыбы. Противоречие между теми, кто стремился к иному, более высокому уровню культуры хозяйствования, и теми, кто оказывался заинтересованным в возможно более длительном существовании разного рода экономических временок, кто, в частности, «вынужденные перерубы великой стройки» возводил, по словам из леоновского романа, «в ранг постоянно действующего закона».

Александр Яковлевич Грацианский шумно, в духе времени, выступил с рецензией на книгу своего давнего приятеля — и очень удачно обратил на себя внимание не только в среде знатоков лесного дела. «В те годы многие считали похвалу за развратительный либерализм, а отрицание хорошего во имя желаемого лучшего — за педагогическую мудрость. Неожиданный успех окрылил рецензента, дотоле прозябавшего в неизвестности...» «Так взошла над русским лесом странная, двойная звезда, где палящий жар одной уравновешивался смиряющим холо-

дом другой: Вихров и Грацианский, одинаково признанные за выдающихся деятелей в этой области».

Неустанно бичуя в рецензиях вихровскую расчетливость в лесопользовании, Грацианский лично действовал на своем критическом поприще чрезвычайно осмотрительно. Даже самая убийственная его статья конца тридцатых годов не привела вопреки ожиданиям к каким-либо оргвыводам — больше того, Грацианский исподволь нащупывал возможность для некоторого примирения. Причина этого заключалась «в повышенной, почти сейсмографической чуткости Грацианского ко всем колебаниям и политическим изменениям в окружающей обстановке». Грацианский «считал себя специалистом по корню зла, покамест только лесного. Остальное он перепоручал своим мальчикам с незначительным научным стажем, примкнувшим к нему ради убыстрения житейских радостей. Это и были так называемые вертодокси ввиду их исключительно гибкой ортодоксальности на все четыре стороны света».

С пронизательностью большого художника Леонид Леонов затронул образом Грацианского новое и сложное общественное явление, вывел на сцену социальный характер, концентрирующий в себе многие противоречия времени. И в романе есть все или почти все, чтобы раскрыть социальные истоки этого характера самым обыкновенным и естественным способом, без участия лесной мохнатой «блазны» или иной нечистой силы. Как самим Грацианским, так и примыкающими к нему юными вертодоксами движут, как мы видели, определенные побуждения материального и духовного порядка, в первую очередь заинтересованность в «убыстрении» многообразных житейских радостей.

Однако влияние тогдашних представлений о природе отрицательных явлений была такова, что даже Л. Леонов счел невозможным ограничиться только «посюсторонними» художественными мотивировками. На созданный художником вполне реальный, земной образ вертодокса лесоводческой науки вдруг начала ложиться «неизъяснимая колдовская рябь», над подбритым для пушего благородства лбом Александра Яковлевича возникло традиционное украшение прищельца «оттуда». Все большую роль в мотивировке характера Грацианско-

го стала приобретать его давняя встреча с жандармским подполковником Чандвечким — великим психологом, звавшим его «в главные демоны». Как видим, и в «Русском лесе» не обошлось без «запрещенного приема» — появления «загадочной фигуры с потайным фонарем», помогающей «провернуть громоздкий сюжет».

Первым обратил внимание на эту противоречивость романа Марк Щеглов. Перечитывая его известную статью о «Русском лесе», испытываешь желание кое с чем поспорить, внести некоторые уточнения, но поразительно, что уже тогда, в 1954 году, талантливый и чуткий критик увидел некоторую искусственность превращения Грацианского в некоего современного Франца Моора, героя зла, демона разрушения. Уже тогда М. Щеглов привлек внимание читателей к реальным социально-психологическим истокам «грацианщины» — ложной ортодоксии, мещанского миметизма.

«Не жандармы сделали Грацианского таким, какой он есть,— справедливо писал критик,— а ряд общественных условий, создавших пореволюционную поросль старого мещанства...» Удалось ли художнику до конца исследовать затронутое им явление? «Нет, найдя подлинные черты этого Грацианского, высказав о нем немалую правду, Л. Леонов непонятно почему выразил великолепно верный социально-психологический конфликт через необязательную полудетективную интригу, своеобразно захватывающую читателя, но несомненно поверхностную. А это имеет очень серьезное последствие для романа»¹.

«Непонятно почему...» — писал Щеглов, отмечая таинственные напластования в характере Грацианского. Увидеть их природу в то время действительно было еще невозможно. Теперь причины художественной непоследовательности в этом романе Л. Леонова обнаружались с достаточной определенностью. Как уже было сказано, эти причины заключались не столько в нем самом, сколько в общих для писателей и чрезвычайно распространенных в ту пору упрощенных представлениях о сущности и происхождении отрицательных явлений. Преодолеть эти представления, подойти к новым, более глубоким мотивировкам конф-

ликтов и характеров литература могла лишь постепенно, шаг за шагом преодолевая свои недавние заблуждения.

Заслуживают самого пристального анализа изменения, происходившие тогда же, в середине пятидесятых годов, в книгах о современности. Одна из таких книг, несущих в себе признаки переходного времени,— роман Даниила Гранина «Искатели». Старое и новое в художественных мотивировках, в раскрытии характеров и конфликтов переплетается здесь самым причудливым образом.

Вспомним, в чем суть истории, о которой поведал нам Гранин.

Андрей Лобанов, защитив диссертацию, должен был заняться преподавательской деятельностью. Но он «заболел» идеей принципиально нового локатора, прибора для обнаружения повреждений в электрических кабелях,— идеей даже не своей собственной, а вычитанной в одном из журналов. И Андрей, не посчитавшись ни с чем, в том числе с надеждами своего научного руководителя Одинцова, добился вскоре перевода на производство — начальником лаборатории ленинградской Энергосистемы. Там он попал под начало к своему однокашнику по институту Виктору Потапенко. Дома у Виктора, где друзья отмечают свою встречу, между ними происходит любопытный разговор.

«— ...У меня есть идея насчет приборчика, ну, а его можно разработать только у вас...

— Ты, брат, наивен, не знаешь ты железных законов производства...

— А что мне производство! Я не собираюсь заниматься вашим производством.

— Однако! — Виктор иронически улыбнулся.— Позвольте, товарищ утопист, спустить вас на землю. Знаешь, чем тебе придется заниматься? Пробился где-то кабель — изволь выяснить, почему, отчего... Ремонтируй приборы. Содержи в порядке аппаратуру. Испытывай изоляторы, да поживее, а то начальник техотдела, то есть я, тебе холку намылит. Ругайся со снабженцами, заполняй сводки да отчеты. Вот тебе наша наука!..

— Я пришел к вам делать свой прибор. И от всей вашей административной возни буду отпихиваться всеми силами. А то — ты прав, Виктор,— засосет ваша текучка, и пропал...

¹ М. Щеглов. Литературно-критические статьи. «Советский писатель». М. 1965, стр. 310—313.

— Боюсь, ничего у тебя не выйдет. Мне, когда я пытался, вроде тебя, на науке выдвинуться, приходилось сидеть ночами.

— Не выйдет — уйду, — сказал Андрей. — Во всяком случае, попробую заниматься наукой днем.

— Где, у нас? — с сожалением еще раз спросил Виктор.

— Да, у вас...

Роман Гранина — художественный эксперимент, призванный разрешить этот спор. Избранная писателем острая ситуация, по его замыслу, должна оказаться проверкой на прочность и характера Лобанова, и упомянутых Виктором Потапенко «железных законов производства». Автор стремится выяснить, действительно ли столь несовместимы между собой производственная текучка и научное творчество, ему надо разобраться в том, какие силы и как определяют собой научно-технический прогресс.

И вот Андрей в лаборатории. Похоже было, что Виктор Потапенко оказался прав: в будничной суете производства в самом деле было не до высоких научных материй.

«Никогда раньше Андрей не сталкивался с экономикой. Теперь на каждом шагу он упирался в какие-то неведомые статьи расходов. Ему приходилось иметь дело с фондами на зарплату, с лимитами по труду, с нормами — и все это наваливалось, связывало по рукам и ногам, и, не умея разбраться во всех этих тонкостях, он был беспомощен».

Первое же знакомство с инженерами, работающими в лаборатории, показало Андрею, что от их былой инженерной квалификации «остались запыленные, заржавленные обломки». «От того, что я позабыл тензорное исчисление, — заявил Лобанову желчный Кривицкий, — ремонт самописцев не задерживался и не задержится ни на один день. Это исчисление нужно мне для ремонта, как компас машинисту паровоза». Борисов, секретарь партбюро лаборатории, признался: «Завертело среди этой окрошки из мелких делишек, и не успел оглянуться — прошел год, другой... Не к чему было институт кончать, хватило бы и техникума... Нас с вами учили: бытие определяет сознание. Вот вы и оглянитесь на бытие».

На первых порах Лобанову казалось, что надо разогнать едва ли не всю лаборато-

рию. Теперь же Андрей в самом деле оказался вынужденным «оглянуться на бытие». И он пришел к выводу: раз так — значит, надо изменить бытие.

Власти начальника лаборатории было достаточно для того, чтобы пересадить инженеров в отдельную комнату и переоборудовать под свой «кабинет» тихий чулан. Дальше все было сложнее. Категорический отказ отремонтировать приборы сделал врагом Лобанова заместителя Потапенко Кирилла Васильевича Долгина (в просторечии КВД — «куда ветер дует»), который использовал лабораторию для разного рода взаимных услуг в отношениях управления Энергосистемы со станциями. Больше того, вскоре стали открыто роптать рабочисдельщики в самой лаборатории. Они били на то, что «Лобанов, отказываясь от ремонта, лишает ребят возможности заработать».

Попытка пересмотреть все содержание деятельности лаборатории вызвала столкновение Лобанова с Виктором Потапенко. Ему в самом деле пришлось «намылить холку» своему однокашнику по институту, а ныне подчиненному за пренебрежение к неотложным нуждам производства, хотя Потапенко, разумеется, сочувствовал благородным намерениям Лобанова и понимал его обиду: «Наверное, приготовил для меня футлярчик с надписью: «рутинер», и я в этот футлярчик не укладываюсь. Так, что ли, признавайся?»

Потапенко в самом деле отнюдь не типовой консерватор, знакомый читателям по другим произведениям. Он обладает способностями организатора, здраво мыслит, не лишен великодушия. Слабости Потапенко, как водится, — прямое продолжение его достоинств. Его мало-помалу делает иным слишком полное приспособление к существующим «законам производства», включающим в себя стихию материально-технического снабжения, сложную систему отношений производственных низов и министерских верхов. Его подводит излишнее честолюбие, заставляющее окончательно оставить науку и избрать для выдвигания чисто административную стезю.

Лобанов не в силах опровергнуть многие суждения Потапенко, за которыми стоит житейская практика. Но сдаваться он пока не желает. Спор вокруг задач коллектива лаборатории переносится в более высокую инстанцию.

С планом Лобанова познакомился главный инженер Энергосистемы. В этом плане «было и создание мощного экспериментального цеха... и новые штаты, и пересмотр тематики, и ремонт помещения, и обеспечение консультантами, и новая аппаратура», и заветная цель — «лаборатория должна стать научным центром Энергосистемы, толкать ее вперед, внедрять автоматизацию на станциях». «...Необходимо отрезвить этого фантаста, выбить у него из головы мальчишеский идеализм», — думает главный, слушая Лобанова. И говорит ему то же, что и все другие:

«Мы на земле живем. На земле... Откуда я вам высижу деньги, людей?»

На грешной земле, к сожалению, происходят и другие вещи, с которыми можно соглашаться или не соглашаться, но которые являются реальным фактом. Выяснилось, что идея Лобанова столкнулась с интересами признанного авторитета в области электротехники профессора Тонкова, приборами которого пользуются на линиях электропередач вот уже не один десяток лет, и Тонков не собирается уступить свое место безвестному юнцу.

С учетом всех этих обстоятельств кажется весьма обоснованным предсказание того же скептика Кривицкого.

«Андрей Николаевич — романтик! — Кривицкий сделал страшное лицо и продолжал шепотом: — Нис-про-вер-га-тель! Не улыбайтесь, есть такая симпатично-безнадежная категория. Ну-с, и, обладая подобной точкой опоры, он будет переворачивать мир, невзирая на технику безопасности. Начнет с того, что перессорится с начальством. Затем возможны два варианта: либо смирится, либо плюнет и уйдет, оставив нас у разбитого корыта».

Как видим, в отличие от «производственных романов» предшествующих лет «Искатели» вводят читателя в реальный мир человеческих отношений, заставляют понять меру трудностей, стоящих на пути положительного героя. Здесь намечены характеры (Потапенко, Долгин, профессор Тонков), связанные с определенными жизненными обстоятельствами, готовые действовать по логике вещей, а не в силу «отставания сознания от экономического положения». Но этот новый подход романисту удастся сохранять лишь до поры до времени. С какого-то момента «Искатели» все круче сворачивают на испытанную, проторенную мно-

гимину дорогу разрешения производственных конфликтов.

Д. Гранин не согласен с Кривицким, ставящим Лобанова перед неумолимым «или—или». «Существовал, должен же быть какой-то еще неизведанный путь, где скрещивались манящая радость познания и деловитая требовательная жизнь производства», — размышлял писатель вместе с одним из героев. И он ищет для Лобанова этот путь, этот идеальный «третий вариант». Ищет во многом волонтаристски, вмешиваясь в естественное развитие событий, подыгрывая Лобанову, отводя от него самые трудные удары судьбы.

Как Лобанов одолел неожиданно возникшее перед ним препятствие — экономику? Очень просто: он сел за справочник, с дотошностью представителя точных наук изучил начала бухгалтерского дела. Как ему удалось ликвидировать начавшийся конфликт с рабочими? Опять-таки самым несложным образом: с помощью лекции.

Ну, а как быть с главным инженером Энергосистемы? Одолеть его, конечно, нетрудно — надо лишь заинтересовать новаторской идеей. Промучившись несколько часов над тетрадкой Лобанова, Дмитрий Алексеевич «из читателя превратился в соратника». Понятно, что теперь козни Потапенко и Долгина были Лобанову нипочем. А их фигуры, довольно отчетливые вначале, претерпевают в ходе репрессивных авторских акций весьма сложные трансформации. С одной стороны, Потапенко мельчает, становится заурядным интриганом, ставящим целью вырвать у «главного» его кресло. В то же время Потапенко вырастает до значения важнейшей помехи на пути нового, оттесняя на задний план всякие там объективные причины. Приближающийся крах Потапенко и в личной и в служебной сфере открывал все шлюзы на пути новаторства, являлся разрешением всех проблем.

Совсем, что называется, под занавес без помощи автора происходит еще один крах — на этот раз крах признанного авторитета электротехнической науки профессора Тонкова. Еще более почтенный ученый высказывает с трибуны свое мнение о том, почему деятели, подобные Тонкову, изо всех сил противятся новому.

«— Почему?.. Престиж свой боятся утратить! Появился конкурент — дави его, уничтожай любыми средствами! Подобные

люди рады уничтожить всякий талант, который может как-то соперничать с ними.— Он стукнул палкой.— Вот мы и увидели их голенькими».

На примере «Искателей» легко проследить, как в прозе пятидесятых годов рождалось то новое, что теснило, прорывало изнутри жесткую схему производственного романа, но еще перемежалось с этой схемой, соединялось с ней неровными швами. Писатели все более уверенно раскрывали завязку конфликта, обнаруживали живую логику характеров — и останавливались на полдороге, не решались следовать этой логике до конца.

Смена в литературе прежних представлений о сущности борьбы нового и старого в условиях современного советского общества иными, более глубокими, точнее отвечающими действительности, оказалась процессом трудным, по-своему драматическим. Об этом свидетельствует, в частности, творческая история незавершенного романа А. Фадеева «Черная металлургия»¹.

С начала пятидесятых годов А. Фадеев вынашивал замысел «архисовременного», по его словам, романа, который должен был стать главным делом его жизни, художественным «сцеплением» самых задушевных его чувств и мыслей. Жизнь — творчество, жизнь — борьба, жизнь — горнило формирования нового человека. Такой рисовалась ему картина современности в монументальном эпическом романе, показывающем крупным планом производство и быт, столицу и окраины страны, рабочий класс, командиров производства, крестьянство, интеллигенцию. Здесь А. Фадеев хотел органически связать бесконечно малые величины художественного анализа и всеохватную широту философских обобщений, сплавить воедино публицистику и лирику, передать свое эмоциональное отношение к рабочему классу, к социалистической нове, художественно воплотить известное еще горьковскому Нилу счастье ковать жизнь, строить новую действительность, согретую высшими человеческими идеалами.

«Черная металлургия! — писал в набросках к роману А. Фадеев.— Человек о р г а н и з у е т огненную стихию. Жаркое пламя в печах, в которых переплавляется, п е р е-

д е л ы в а е т с я шихта — сырье, каким человек его получает от природы... «Черная металлургия» — роман о великой переплавке, переделке, перевоспитании самого человека, превращении его из человека, каким он вышел из эксплуататорского общества,— и даже в современных молодых поколениях еще наследует черты этого общества,— превращение его в человека коммунистического общества».

Для «драматической увязки» всего этого обширнейшего материала писателю нужен был соответствующий ему по общественной значимости центральный конфликт — основа сюжетной архитектоники произведения. Этот конфликт должен был нести в себе самую главную идею романа — идею творческого преобразования жизни, должен был помочь «высветить» характеры, определить их место в общем художественном здании. И понятно, почему Фадеева увлекла мысль сделать таким стержневым конфликтом борьбу за внедрение нового, электрометаллургического метода производства стали. Печать писала о нем как о завтрашнем дне металлургии, делающем ненужным традиционный доменный процесс. Больше того, было принято специальное постановление, в котором новый метод рассматривался как огромное завоевание науки и практики.

Не будем забывать, однако, что А. Фадеев задумывал свою книгу в годы, когда борьба нового и старого в области экономики понималась как преодоление «недопонимания» консерваторов, когда природа этого консерватизма сводилась к разного рода чисто психологическим аномалиям. Именно в этой плоскости и должна была развернуться борьба инженера Романова и его единомышленников за внедрение новаторского металлургического процесса. «Основной конфликт в вопросах технического прогресса,— писал в своих набросках Фадеев,— лучше всего развернуть на проблемах и делах Романова. Министерство не поняло. Ученый, Громадин, тоже не понял сначала. Оппозиция в научных кругах». «Особенность этого конфликта в том, что в общем вполне прогрессивные люди, немало сделавшие нового в области металлургии, не в силах понять открытия, несущего «революцию» в привычном производстве».

Автор «Разгрома» и «Молодой гвардии» был тем не менее слишком «социальным» романистом, чтобы ограничиться тем объ-

¹ См. об этом в книге: В. Озеров. Александр Фадеев. «Советский писатель». М. 1970.

яснением конфликта, которое давалось в ряде произведений того времени о металлургах. Он никак не мог сделать основой движения этического романа только преодоление естественного, «природного» консерватизма, связанного с влиянием возраста, с инерцией привычки. И так же, как в «Русском лесе» для реалистической мотивировки поведения Грацианского Л. Леонов считал необходимым обратиться к тени полковника Чандвецкого, А. Фадеев включил в план «Черной металлургии» еще одну сюжетную линию. Подходят к концу запасы руд, на которых работает металлургический комбинат, возникает проблема его дальнейшего обеспечения. А вредители скрыли данные, свидетельствующие о наличии поблизости крупных залежей первосортной руды. Разоблачение этих врагов должно было открыть перед коллективом комбината новые перспективы.

Замысел писателя приобретал все более стройные очертания. Накапливались тетрадки с подготовительными материалами, появились первые наброски отдельных сцен. «...Задержки в работе у меня нет почти никакой», — сообщал Фадеев И. Тевосяну в 1952 году. Уже на будущий год он рассчитывал опубликовать первую часть романа. И, возможно, «Черная металлургия» была бы написана, если бы не те общественные процессы, которые обнажили уязвимость эстетической конструкции романа, заставили по-новому взглянуть на существо его главной драматической коллизии. До самой трагической кончины писателя в 1956 году продолжался трудный, порой мучительный процесс переосмысления первоначального замысла.

«...Роман мой, — сообщал Фадеев уже в 1953 году, — нуждается в очень кардинальных переделках. То, что было задумано и сочинено и уже начало писаться в 1951—1952 годах, оказалось во многих своих гранях устаревшим и даже неверным в наши дни». Отпала история с умышленным занижением запасов железных руд, которая несла на себе важную идейную и социальную нагрузку. «Те, кого объявляли тогда врагами... оказались просто оклеветанными». Обнаружилась техническая и экономическая несостоятельность идеи ликвидации доменного процесса. «В борьбе за некоторые технические открытия, называвшиеся тогда «революцией в металлургии», оказались

правыми не «новаторы» (ибо это были раздутые лженоваторы), а «рутинеры» (ибо они оказались просто честными и знающими людьми). Это не сняло самой темы борьбы за технический прогресс, — наоборот, она стала еще более животрепещущей, — но надо менять объект». «Теперь, — продолжал Фадеев, — для части положительных героев моих «нет работы», и приходится «переключать» их на борьбу... с бюрократической косностью. По-новому стоит вопрос о технической учебе у Запада, чтобы «догнать и перегнать»; по-новому выглядит роль иностранных специалистов в огляде историческом на первую пятилетку (не все же были и тогда проходимцами!). Одним словом, одни персонажи у меня «погорели», возникли новые — и приходится перерабатывать всю первую книгу. Был период, когда я испытал некий нравственный шок»¹.

Судя по этим размышлениям, в какой-то момент писатель полагал возможным ограничиться «сменой объекта»: сделать основой конфликта вместо электрометаллургии какую-то другую, оправдавшую себя новаторскую идею. Однако все больше становилось очевидным, что дело не только в наполнении и задуманной художественной конструкции романа, но и в самой этой конструкции. Необычайно требовательный к себе художник чувствовал, что раскрытие темы современности требует каких-то иных, более глубоких решений, а каких — он еще не знал. И в письмах Фадеева вновь и вновь появлялись сетования, что «в злополучном романе... опять многое повертывается по-новому», что дела его «сильно запущены». «А самое главное состоит в том, что за последние два-три года жизнь внесла столько нового, мы живем в эпоху таких перемен, когда еще далеко не все «уложилось» в художественном сознании и приходится многое пересматривать и переделывать из уже написанного».

Того, что не успел сделать писатель, за него не может сделать никто другой. И все же некоторые творческие проблемы в определенных моменты как бы «висят в воздухе», требуют своего воплощения. Какие-то стороны той сложной задачи, которую ставил перед собой Фадеев, по-своему решали в то время другие советские писатели, в частности Галина Николаева. Их книги так-

¹ А. Фадеев. Собрание сочинений. В пяти томах. 1961, т. 5, стр. 529.

же несут на себе отпечаток напряженных творческих поисков, переосмысления недавних «типовых» сюжетных конструкций, перехода от одного этапа литературного развития к другому.

Одну из линий своего романа А. Фадеев предполагал посвятить «вхождению» нового руководителя в дела и заботы доверенного ему отстающего завода, постепенному превращению этих «чужих» на первых порах забот в свои, глубоко личные. «Линия Бессонова в романе,— писал Фадеев,— это тема освоения нового предприятия. И это — тема патриотизма в отношении к заводу. Показать, что пока патриотизма нет, дело не идет, показать, как рождается патриотизм и как дело сразу идет вперед. Нетрудно увидеть, что это и тема Бахирева в романе Г. Николаевой «Битва в пути», история превращения «немилого» тракторного завода в поглотившую его целиком надежду, заботу, боль.

Если говорить о сюжетной основе романа Г. Николаевой, то можно назвать не один случай использования подобной коллизии в послевоенных произведениях на темы современности. В принципе ничем не отличается от производственной линии «Битвы в пути», например, сюжет упоминавшегося романа А. Былинова «Металлисты». Здесь рассказывается о том, как директор завода Бабченко во время командировки заинтересовался свердловским инженером Луковским, «перетащил» его к себе на завод главным технологом. Луковский через некоторое время вручил Бабченко свой проект — план коренного изменения технологического процесса. Вопреки сопротивлению Бабченко, этот план был осуществлен при участии партийной организации и всего коллектива завода.

Чем объяснить, что книга А. Былинова оказалась малозамеченным, «проходным» произведением, а роман Г. Николаевой стал определенной вехой в истории литературы, вызвал подражания, размышления, споры? Проще всего сослаться на уровень таланта. Однако все сказанное выше позволяет утверждать, что дело не только в таланте. «Типовой» производственный сюжет обрел у Г. Николаевой жизнь, заиграл новыми красками, потому что временное и, в общем-то, случайное недоразумение с планом Луковского теперь было осмыслено как закономерный конфликт, борьба вокруг техни-

ческих новшеств предстала как решение важнейших проблем общественного развития, психологические коллизии стали рассматриваться как коллизии социальные.

Итак, обычная история. Директор завода подобрал себе на должность главного инженера человека с «глубинки», рассчитывая, что он будет знать свое место и в то же время окажется надежным помощником.

«Идей у меня и своих достаточно. У меня дефицит не на идеи, а на исполнителей,— объяснял одному из московских знакомых свой выбор Вальган.— А этот из тех, кто если впряжется, то потянет... И поперек батька в пекло не ползет».

Вальган видит в Бахиреве «корягу», «тягачка», требует от своего главного инженера, чтобы тот поскорее впрягался в тряскую колесницу заводских мелочей.

«— Протолкни коленвал и доложи мне через час...

— Семен Петрович,— услышал он монотонный, бубнящий голос «главного». — Я не толкач и не диспетчер. Это не моя функция...

— Вот как! А для чего же существуешь ты и в чем твоя функция?

— Функция главного инженера завода — видеть перспективы производства и вести его к этим перспективам.

Коряга не желала ложиться в указанном ей направлении. У коряги, оказывается, существовали собственные планы и устремления».

Нелюдимый «хохлатый бегемот» начал свою жизнь на новом предприятии с дотошного изучения технологического процесса. День за днем он бродил по заводу, прощупывал его пульс, стараясь охватить весь путь рождающейся машины от чудовищной «земледелки» до сверкающего металлом и стеклом сборочного цеха. И сам трактор, и процесс его создания оценивались взглядом опытного инженера, четверть века выпускающего танки, и в то же время — наивным, неискушенным глазом свежего человека, способным в самом примелькавшемся увидеть вопросы и проблемы.

«За кажущейся плавностью конвейера раскрывалась для Бахирева лихорадочная и с перебоями пульсация завода». «Впечатления были отрывисты, противоречивы и тревожны. Из смеси все яснее выступало все то же ощущение болезненности заводской

жизни... Дело незнакомое, люди незнакомые, обстановка неясная. Ненормальная обстановка». «Последствия войны, эвакуации? — спрашивал он себя и отвечал себе:— Я был на Сталинградском тракторном, когда люди жили в землянках, работали в непокрытых цехах, где снег поросил станки, и все же не испытал этого двойственного ощущения... Почему же здесь? Если не война, то что же?...» Он опять не находил ответа».

Скоро первый ответ был найден. Продукция завода — трактор. Техническое и эстетическое чутье инженера подсказывало Бахиреву, что с конвейера завода днем и ночью сползало не просто несовершенное, но в чем-то даже порочное сооружение. Тяжелая, тихоходная, часто выходящая из строя машина всего-навсего заменяла лошадь в упряжке с миллионами прицепщиков вместо того, чтобы ошетиниться навесными орудиями, показать все свои возможности.

Становится понятным Бахиреву и другое: является вчерашним днем, не отвечает современным законам производства принятый в тракторостроении технологический процесс. «Он уже ясно видел недостатки завода — слабость заводской металлургии, отсталость технологии, изношенность станочного парка, текучесть кадров».

Распутывая концы и начала всех этих проблем, стараясь постигнуть сущность встреченных им на заводе «непривычных противоречий», Бахирев не может не думать о них как о явлениях широкого, общего порядка. Кустарная «земледелка» на современном заводе заставляет его задуматься об изъянах планирования, от «летающих противовесов» в тракторах мысль его переходит к сложностям общественного развития. «Развивающиеся силы инерции не приняты в расчет...— Рославлев чувствовал, что Бахирев придает этим словам второй смысл». «...Производительные силы страны находятся накануне колоссального взлета! Им тесно, они бьются в старых формах организации, и мы с вами вот бьемся вместе с ними!» Так же широко и с такой же заботой о решении общегосударственных проблем мыслит встреченный Бахиревым секретарь сельского райкома Курганов. «Извращаем закон «каждому по труду»,— говорит он.— В основе оплаты не основной показатель, не прибавочный продукт, не рост производительности труда, а десятки

побочных показателей... Каждый ищет по-своему, а, по существу, цель одна — строить систему оплаты в соответствии с производительностью, с его общественной полезностью. Полнее воплотить основной закон социализма!» О чем Курганов написал диссертацию? «Да вот об этом самом. О противоречиях социалистического общества, а прежде всего, и самое главное,— о способах и силах их сознательного преодоления».

Герой, осознающий масштабы и сущность стоящих перед ним препятствий, естественно, приходит к ясным выводам и о том, в каком направлении необходимо двигаться. Для Бахирева эти выводы приобретают четкость лозунга. «Передать производство ряда наименований специализированным заводам! За счет освобожденных площадей и мощностей увеличить массовость основной продукции! Массовость! Специализация! Кооперация! Вот основные задачи!» «Планирование. Понимаю всю сложность планирования на такую огромную страницу, как наша. Но ведь надо. Надо! Без этого не двинешь во весь мах». «Жизнь рабочих, справедливая оплата их труда, непосредственная и максимальная заинтересованность их в непрерывном прогрессе — вот на чем сосредоточить мысли и волю!»

Эти размышления Курганова и Бахирева, звучащие очень современно и сегодня, в конце пятидесятых годов были поистине новаторскими для романа о современности. Они свидетельствовали о все более последовательном выходе литературы за пределы замкнутого круга представлений, вышедших «отставание» сознания из особенностей того же сознания, об умении писателей прислушиваться к голосу производителей, к насущным требованиям производства. Но публицистическое выражение найденных ответов, как правило, оказывалось на первых порах значительно глубже, чем художественные решения. Писатель спешил разведать обнаруженное им направление, показать достижение сформулированных им целей, обгоняя жизнь, нарушая естественную логику характеров. Так поступает в своем романе и Г. Николаева.

Бахирев, как мы видели, приближался к пониманию того, что выход из множества обнаруженных им противоречий лежит на пути каких-то кардинальных общегосударственных решений. «Десятки раз твердил он себе несложную формулу своей новой

судьбы: «Я не могу работать на таком заводе. Значит, я должен либо уйти с него, либо переделать его». Но как переделать завод? «Как я начну? Что я смогу? И зачем занесло меня сюда?..»

Заданность романа «Битва в пути», расхождение между публицистикой и художественной тканью начинаются там, где Г. Николаева ставит перед собой задачу «вернуть махину» не в перспективе, а тут же, немедленно, на данном заводе, в пределах сюжета своего произведения. Решить «несложную формулу судьбы» в пользу главного героя, как и в «Искателях» Д. Гранина, оказывается возможным лишь за счет каких-то допущений, упрощений, условностей, за счет произвольного авторского вмешательства в естественное течение событий. И в первую очередь за счет искусственной трансформации образа директора завода.

Вальган первой половины романа — фигура глубоко жизненная, сама противоречивость которой помогает создавать своеобразную цельность характера. «Лауреат, Герой Труда, орденосец. В военные годы имя его гремело на Урале, где обосновался тогда эвакуированный завод». Самая приметная его черта — неукротимая, «бьющая через край энергия». Вальган слыл блестящим организатором, сумевшим в тяжелейших условиях перейти на новую марку трактора без остановки производства. Он требователен, настойчив, резок, но в случае надобности может быстро погасить раздражение, сменить тон, обойти назревающий конфликт. Лучше многих он способен «вывернуться» в трудной для производства ситуации, пустив в ход все свои связи. В этих ситуациях знаменитые заводские модельщики и инструментальщики были для директора своего рода «обменным фондом».

Вальган прекрасно понимает несовершенство своего предприятия. «Думаете, мы все не видим, что такое наш завод? В нем одном отпечатки трех эпох!» Он искренне восхищен планом, составленным главным инженером. «Читал, как роман! Все это вопрос времени, конечно». Вальган «знал, что переход на новую марку трактора и одновременно увеличение программы дорого обошлись заводу. Производство находилось на предельном напряжении... Загрохочет не только первомайский рапорт, могут грохнуть и авторитет завода и лауреатство. Пе-

рестройка сейчас несвоевременна. Если не запланировать фонды на нее заранее и не подготовиться к ней загодя, то залезешь в такой прорыв, что в год не выкарабкаешься».

За исключением, может быть, заботы о лауреатстве, продиктованной личными мотивами, все это вполне резонно. И разумеется, реальный Вальган смог бы сказать еще очень многое о тех неизбежных, в данный момент непреодолимых трудностях, с которыми было связано осуществление бахиревского «плана-максимум» — переделки завода на началах предельной специализации и комплексной автоматизации. Здесь любых заблаговременно запланированных фондов было бы уже явно недостаточно: речь шла о материальных основах деятельности всей промышленности.

Значит ли это, что Вальган (как и секретарь обкома Бликин) без оснований наделен автором отрицательными чертами и противоречиями? Нет, разумеется. Г. Николаева зорко подметила связь их характеров с условиями, в которых они действуют. В Бликине писательница видит «приспособляемость мышления, доведенную до автоматизма», способность «при каждом повороте истории во имя личных интересов... доводить до крайности, до своей прямой противоположности каждое благое начинание», превращать «благо во зло, преимущество в изъян». Но она понимает, что «Бликин мог бы стать незаурядным работником, если бы его качества развивались в ином направлении». Бахирева, наблюдавшего за деятельностью Вальгана, «ставила в тупик противоречивая смесь рьяности к работе и жадности к собственным благам, любви к заводу и самолюбования», он приходил к мысли, что «этот сложный, противоречивый человек, для которого превыше всего свой блеск и свое процветание, может многое». По мнению Бахирева и автора, это и есть те силы инерции, которые дают о себе знать на протяжении ряда десятилетий после революции и которые именуются обычно пережитками капитализма в сознании. «Но как взять в расчет и обезвредить силы людской инерции? Поставить Вальганов и Бликиных под повседневный контроль коллектива? Сманеврировать рублем так, чтобы их личная выгода встала в прямую зависимость от самого главного для народа — от роста производительности труда? Может

быть, при таком расчете инертные силы старого в сознании людей будут обезврежены?»

Однако все эти размышления романиста опять-таки носят пока лишь публицистический характер, не оказывают какого-либо влияния на ход событий в романе. Мало-помалу осознанные Бахиревым объективные причины «болезненности заводской жизни» начинают отходить на второй план, а главной помехой на пути намеченной «перестройки завода», по традиции романов минувших лет, все заметнее выступает лично Семен Петрович Вальган. Беда Вальгана, заключающаяся, скажем, в нерациональном использовании способностей главного конструктора или в создании «обменного фонда» для разного рода взаимных услуг, начинает представлять в романе исключительно как вина директора. Самопроизвольное развитие характера, отражающего противоречивость формирующих его условий, прерывается. По примечательному названию одной из глав — «Вальган меняет лицо», — образ двоится, его реальное содержание и субъективная авторская оценка заметно расходятся между собой. Для облегчения задачи Бахирева писательница пошла на несколько искусственный сюжетный прием: отправила Вальгана в командировку, уложила его там в больницу с приступом аппендицита. Финал романа вообще читается как заметка «По следам наших выступлений». Вальган по воле автора исключен из партии, отправлен рядовым инженером в Курцовск, где ему дали комнатуху на Грязищевой улице. Покровитель Вальгана секретарь обкома Бликин с работы снят. Бахирев назначен директором. «Два долгожданных последних министерских приказа лежат на столе». Один — о передаче производства дизайлей одноименному заводу, другой — о строительстве новых цехов. Бахирев за одну ночь составляет новый проект — перевода всего производства на поток. «Знаю пока только одно: мой бывший план-максимум теперь только-только тянет на минимум...»

Книга Г. Николаевой, как мы видели, содержит в себе и старое и новое. Она обращена к глубинным социально-экономическим истокам производственных конфликтов и в то же время продолжает оставаться на почве иллюзии, будто проблемы технического прогресса могут быть решены всего лишь путем замены Вальгана Бахиревым, а Бли-

кина Грининым. Понимание автором действительной природы противоречий, отражающихся в характерах отрицательных героев, не стало еще органическим качеством художественного сознания, не воплотилось до конца в образной плоти романа. Это поистине «битва в пути», произведение, несущее в себе приметы особого, переломного этапа в литературном развитии.

Рассмотрение художественной прозы недавних лет с точки зрения постепенного переосмысления в ней общественной природы конфликтов и характеров вызывает необходимость обратиться и к роману В. Дудинцева «Не хлебом единым», не так давно переизданному издательством «Художественная литература» (1968). Полтора десятилетия, прошедшие с момента его появления в 1956 году, — достаточный срок для того, чтобы спокойно, без предвзятости перечитать это произведение, вызвавшее в свое время и преувеличенные восторги, и чрезмерно суровую критику. Впрочем, сегодня нетрудно понять, в чем состояли причины как той, так и другой крайности. Книга В. Дудинцева — продолжение традиций послевоенного производственного романа и по характеру центрального конфликта, и по фигуре ведущего положительного героя. С этим связаны известные слабости романа, особенно очевидные в обрисовке образа Лопаткина. Однако по сути дела В. Дудинцев нарушал все привычные каноны этого романа, при этом в столь резкой и крайней форме, что это не могло не получить оттенка известной сенсационности.

О чем же говорится в этом романе?

Учитель физики музгинской школы Дмитрий Алексеевич Лопаткин сдал в брызг сибирского комбината «заявку на машину для центробежной отливки чугунных канализационных труб. Материалы были направлены в министерство, началась переписка», которая продолжается вот уже три года. Директор комбината Леонид Иванович Дроздов легкомысленно пообещал изобретателю «протолкнуть» его проект. Но полгода назад «из министерства прислали эскизы и описание другой центробежной машины, предложенной группой ученых и конструкторов во главе с известным профессором Авдиевым. Эту машину приказали срочно построить. Она уже начала свою жизнь и окончательно закрыла дорогу машине Лопаткина».

Что же, это вполне понятный результат

соперничества между одиночкой-изобретателем, к тому же самоучкой, и целым научным коллективом, да еще монополистом в данной области. То, что проект Лопаткина по идее более прогрессивен, в данном случае значения не имеет.

«Опыт подсказывал Дроздову, что не надо, даже невольно, становиться на пути авторитетных людей, которые без помех трудятся над делом, имеющим перспективу. Более того, было бы даже грубо поддерживать в этом деле искусственный нейтралитет в то время, когда приказы министра толкают тебя в ту же группу заинтересованных лиц, обяывая в кратчайший срок дать машину Авдиева в металле». Вот почему разговор с Лопаткиным после очередной его жалобы был для Дроздова не очень легким.

«Я не обижаюсь. Вы поступаете правильно. Только у вас одно слабое место: у вас нет главного основания жаловаться. Я не обязан поддерживать вашу машину. Наш комбинат предназначен не для выпуска труб... Вам следовало обратиться в соответствующее ведомство, а не к нам».

«— А вторая ваша ошибка состоит в том,— Дроздов устало закрыл глаза,— в том, что вы являетесь одиночкой. Коробейники у нас вывелись. Наши новые машины — плод коллективной мысли. Вряд ли вам что-либо удастся, на вас никто работать не станет...— Он грустно улыбнулся.

— Да, да, я понимаю...— Изобретатель тоже улыбнулся, но улыбка его была мягче...— Вы меня простите, пожалуйста...— Он поднялся и развел руками.— Собственно, я ведь нечаянно попал в эту историю... Хотя я и одиночка, но я ведь не для себя... Благодарю вас. До свидания.— Он слегка поклонился и пошел к выходу прямыми, четкими шагами».

Леонид Иванович Дроздов, от которого несолоно хлебавши удалился изобретатель,— фигура примечательная. Это совсем не тот «отрицательный герой», который тормозил новое в силу врожденных консервативных качеств или временных заблуждений, и даже не Виктор Потапенко из «Искателей», хотя между ними есть определенные родственные связи. Дроздов крепко стоит на земле, идет своей дорогой, и уже невозможно бороться с ним тайными авторскими подножками.

В молодости Дроздов плотничал, ставил по деревням избы. С фотографии, висящей

на стенке у него дома, «смотрел молодой крестьянин в фуражке, в черном пиджаке и в новых сапогах. Он сидел, раздвинув колени, отставив локоть, прямой и неприступный». А в годы войны под его руководством на безвестной сибирской станции Музга в тяжелейших условиях был построен гигантский промышленный комбинат.

Волевой, энергичный, поглощенный делом Дроздов во многом действует «не теоретически», нарушая идеальные правила руководства, отношений с подчиненными. Его жена Надя «со страхом и восхищением приняла от него новый, дерзко упрощенный взгляд на жизнь». «Милая, вот в чем дело: все, что ты говоришь,— это девятнадцатый век. Изящная словесность... Дорогая супруга, надо кормить и одевать людей. Поэтому мы, работяги, смотрим на мир так: земля — это хлеб. Снежок — это урожай. Человек, который стоит передо мной,— это хороший или плохой строитель коммунизма, работник. Я имею право так думать о нем, потому что и о себе я иначе не могу думать. Я живу только как работник — дома, на службе, я везде только работник».

Когда Надя сказала ему, что он лучше на самом деле, чем хочет себя показать, Дроздов, остановившись перед трюмо, попытался дополнить свой портрет «описанием внутренней сущности».

«— Вот он я... Я вижу в этом человеке очень много недостатков. Пережитков прошлого. Это человек переходного периода. Есть в нем остаточек того, что раньше называлось «честолюбие». И я не понимаю, как можно жить без него!.. И еще много во мне есть слабостей — потому что жизнь люблю!.. В коммунизм мне, конечно, нет хода. Я весь оброс. На мне чешуя, ракушки. Но как строитель коммунизма я приемлем, я — на высоте. Таково место этого человека в жизни...»

— Или ты хочешь, чтобы я по-христиански? — спросил он и вдруг улыбнулся Наде, как ребенку.— А? Может, хочешь, чтобы я свою работу заваливал, получал выговора? Не-ет. Пусть это делает какой-нибудь рыцарь... Дон Карлос.

— Нет, зачем же...— Его рассуждения опять сбили Надю с толку.— Ты можешь работать просто. У тебя есть план и долг...

— Просто работать нельзя.— Леонид Иванович закрыл глаза. Он уверенно отвечал на все вопросы Нади.— Просто так никто

не работает. Всегда примешивается личный момент, не поддающийся никакому фиксации».

Дроздов получает повышение, становится начальником технического управления министерства. Здесь, в Москве, «внутренняя сущность» Дроздова, разумеется, не могла не проявиться несколько по-новому. Больше, чем прежде, стал проявляться в нем «миметизм», который Надя с ее абсолютным нравственным слухом чувствовала в Дроздове всегда, но не могла раньше осознать.

Нет, Дроздов не стал к концу романа другим. Он тот же «человек переходного периода», строитель, обремененный, увя, чешуей и ракушками. Его характер лишь в большей мере предстал перед читателем другой своей стороной. Он уязвим только перед нравственным судом жены, которая своим уходом нанесла ему единственную чувствительную рану. В сфере же служебной «он ничего не боялся. Ни один удар, даже специально направленный в Дроздова, еще не попадал в него. Он всегда умел стать так, чтобы его не задело».

А как разворачивается в романе основная сюжетная линия?

Помнится, в полном согласии с Дроздовым критика делала главный упор на то, что Лопаткин является изобретателем-одиночкой. Но тут уж ничего не поделаешь. Есть такая категория граждан, увлеченных конструированием машин для отливки прозаических канализационных труб, вечных двигателей, множества всяких полезных, а порой и бесполезных вещей. И эти граждане создают своим существованием немалую государственную проблему, сущность которой в полной мере стала очевидной только теперь, в пору экономической реформы.

Проблема индивидуального изобретательства — частичка общей проблемы экономического стимулирования научно-технического прогресса. Именно так ставится вопрос в одном из выступлений «Правды». Речь идет о том, что никак нельзя рассчитывать на успешное «внедрение» изобретений с помощью доброй воли отдельных лиц, благих пожеланий, приказов и прочих внеэкономических мер, так же как и за счет «пробивных» способностей самих рационализаторов и изобретателей. А можно и нужно «сделать так, чтобы хозяйственные руководители не прятались от «назойливых» изобретателей, а искали их, старались первыми и как

можно скорее использовать новшества»¹. Для этого надо привести в действие вполне конкретные материальные и организационные рычаги, связанные с основными принципами идущей перестройки.

Один из авторов этой статьи, сотрудник журнала «Изобретатель и рационализатор» И. Эльшанский, решил последовать примеру своих коллег-журналистов, которые садились на время за руль такси или брали в руки поднос официанта. В порядке журналистского эксперимента он стал изобретателем. Как ни странно, получилось: И. Эльшанскому удалось нанести «чувствительный удар» по столетней монополии стеклянного ареометра, с помощью которого измеряется плотность и концентрация жидкостей. Вручную были сделаны опытные образцы нового прибора, им давали «добро» в гаражах, на автобазах, на автозаводах, где осуществлялся контроль за состоянием аккумуляторов. Однако «за достаточно большой срок ни один из институтов, которые давали положительные заключения, ни одно из министерств, которым они подведомственны, не пошевелили даже пальцем, чтобы реализовать предложение. Те, кто нуждается в приборе, выпускать его не могут, а тем, кто может его производить, он не нужен». «В условиях планового социалистического хозяйства,— делает вывод автор,— основная масса наиболее крупных изобретений создается в институтах, конструкторских бюро и на предприятиях. Реализация их чаще всего не встречает серьезных затруднений. А вот судьба неожиданных, «внеплановых» изобретений не может не вызывать беспокойства... Жизнь подсказывает: просто необходимо, чтобы кто-то занимался реализацией или отклонением признанных уже изобретений, решал бы вопросы их экспериментальной проверки, определял экономическую эффективность и вел бы юридические и финансовые дела изобретателей. Тогда каждое изобретение приобрело бы заинтересованного и доброжелательного хозяина»².

Такие организации, куда бы мог в случае надобности постучаться автор «внепланового» изобретения, только-только начали появляться в последнее время. И разумеется, их

¹ Л. Теплов, И. Эльшанский. Выгодно ли изобретать? «Правда», 19 мая 1967 года.

² И. Эльшанский. И стал я изобретателем... «Комсомольская правда», 18 марта 1969 года.

не было тогда, когда учителю физики Дмитрию Алексеевичу Лопаткину пришла в голову злосчастная мысль сесть за чертежную доску. Превратности судьбы одиночки-изобретателя ему довелось испытать полной мерой.

На восьмилетнем пути к цели Лопаткин встречал всякого рода препятствия. Мало-помалу, однако, из всех этих препятствий выделяется одно. Имя ему — монополия.

«Существует целая группа людей, чья жизнь связана с этим самым делом, с трубами, связана намертво. Они устроили себе нечто вроде эдакого скифского городища, обнесли его стеной, разделили обязанности и живут по Мальтусу, ограничивая рождаемость. Городища этого не видно, а оно существует! Как град Китеж, во-о-от как!»

Почему же не берут на себя разрешение спора те, кто, казалось бы, находится вне монополии? Лопаткину как-то страстно захотелось хоть на час превратиться в одного из них, посмотреть, что они думают. «Неужели видят, что я прав? Но тогда это — преступление!.. А если они не видят — значит, дураки? Как же они сидят там, этот Шутиков, этот Дроздов?»

Нет, все не так просто. Наличие града Китежа дает о себе знать далеко за его условными стенами. Когда Дроздов в конце концов задумался об истине в деле Лопаткина, он сам задал себе вопрос, не мог ли он стать на сторону Лопаткина с самого начала, еще в сорок шестом. «Нет, нет, нет! — сказал он тут же. — Тогда это лежало за пределами здравого смысла. Нельзя было. Проиграли бы вместе». Дроздов понимает и трудность положения заместителя министра Шутикова. При всей его заинтересованности в создании хорошей машины для выпуска труб, Лопаткин для него «лошадка, на которую нельзя ставить». Создавать ему отдельное конструкторское бюро — хлопотно. Передать в институт — нельзя: не уживется с Авдиевым. Только угрожат средства». Сам Шутиков по служебному долгу отвечает Лопаткину: «Центральный институт — авторитетная организация. И мы не можем ей вот так, запросто, не верить. Если они коллективно говорят, что машина не годится, то это вывод, самый близкий к истине».

Разрешение острой коллизии, раскрываемой в книге В. Дудинцева, не обходится без случайностей. Оказалось, что трубы, выпускаемые на машине Авдиева, не соответствовали стандартам. И именно этот чув-

ствительный перерасход чугуна, а не волонтера вокруг изобретения, заставил министерство издать «приказ 222», посвященный внедрению центробежного литья. Лопаткин достиг своей непосредственной цели. Но и его противники, в отличие от «Искателей» и многих других романов, отнюдь не предстают перед читателями в финале книги «голенькими». Шутиков стал членом коллегии в другом министерстве, Дроздов назначается на его место, Авдиев отделался безымянным критическим замечанием в адрес НИИЦентролита.

Роман подошел к концу, но спор продолжается. «И хоть машина Дмитрия Алексеевича была уже построена и вручена, он вдруг опять увидел перед собой уходящую вдаль дорогу, которой, наверно, не было конца. Она ждала его, стлалась перед ним, манила своими таинственными изгибами, своей суровой ответственностью».

5

В развитии мировой художественной культуры был момент перехода от представлений и мотивировок, лежавших в основе искусства Возрождения, к эстетическим принципам реализма XIX века. Надо было художественно осознать и открыть ту истину, что человек обусловлен. Надо было примириться с тем, что целенаправленные усилия индивида встречают на своем пути множество обстоятельств и условий, вносящих свои поправки в конечные результаты. Надо было принять первое требование действительности — считаться с ней как с объективной реальностью. Вся эта «формула перехода» охватывает развитие литературы на протяжении пяти столетий, а переломный «момент», о котором идет речь, представляет собой длительную историческую полосу.

На мой взгляд, некоторое подобие этой ситуации сложилось в нашей литературе в пятидесятые годы. Волонтеристские представления о ходе общественного развития, которые давали о себе знать в произведениях послевоенных лет на темы современности, оказались поколебленными. Прежний герой погружался в новую среду, по инерции прилагая к ней мерки вчерашних представлений. Характер и обстоятельства какое-то время «не вязались» друг с другом, вступали в искусственно разрешаемое противоречие.

Легко понять, почему принц Датский

вновь произнес свое «быть или не быть?» на эстраде, в кино, триумфально прошел по сценам театров. Гамлетизм — одна из характернейших черт так называемой «молодой прозы», оказавшейся во второй половине пятидесятых годов в центре критических споров. «Каково мое место в мире?», «Что я могу?» — эти вопросы так или иначе звучали за всеми метаниями, бравадой, сомнениями молодого героя.

Не обошлось дело в литературе и без неизменного спутника Гамлета — Дон Кихота, осознаваемого, правда, не с трагикомической, а с его высокой, героической стороны.

В очерке В. Овечкина «Трудная весна» первый секретарь сельского райкома Мартынов пришел в обком партии с необычным, странным предложением: заменить его на этом посту другим работником.

«Какая же причина? Требуется переменить обстановку? Набедокурил чего-то? По женской части?» — недоумевает секретарь обкома Масленников, человек борзовского склада.

Мартынов отвергает все эти предположения. С его точки зрения, все очень просто: он убежден, что директор МТС Долгушин лучше него справится с этой работой. Но Мартынова не совсем понимает и благожелательно относящийся к нему первый секретарь обкома Крылов.

«— Тогда я не пойму, что за всем этим кроется...

— А ничего не кроется, Алексей Петрович.

— Что за романтика в партийной работе? Рыцарство какое-то! — Крылов нагнулся к Мартынову, заглянул ему в глаза. — Ты вообще, товарищ Мартынов, не из породы донкихотов?»

Диагноз Алексея Петровича Крылова точен. Конечно же, Мартынов, готовый поступиться всем ради интересов дела, именно из этой неугомной породы. И не только Мартынов. Лобанов из «Искателей», Лопаткин из «Не хлебом единым», Бахирев из «Битвы в пути» — точно такие же бессребреники, одержимые высокими идеями. Подобно Дон Кихоту, они идут с открытым забралом в бой, не ведая сомнений, не желая соразмерять свои возможности с масштабами встающих перед ними препятствий.

Вспомним оценки, которые заслужил некогда рыцарь из Ламанчи, ставивший перед собой цель «искоренять всякого рода неправду». Герой этой повести, заметил Байрон, «прав и всегда стоит за правое

дело; бороться против злых — его единственная цель; вести неравную борьбу — его награда; его добродетели — вот причина его безумия». «Дон Кихот — благородный и умный человек, который весь, со всем жаром энергической души, предался любимой идее... — писал о герое Сервантеса Белинский. — Каждый человек есть немножко Дон Кихот; но более всего бывают Дон Кихотами люди с пламенным воображением, любящую душою, благородным сердцем, даже с сильною волею и с умом, но без расудка и такта действительности».

Разве не обладают в известной мере подобными чертами характера уже знакомые нам герои?

Главная особенность Мартынова, Лобанова, Лопаткина, Бахирева — неистовая, все преодолевающая целеустремленность. Бахирев говорил: «Я живу идеей технического первенства страны» — и в этом не было ни крупинки фальши. «Для него это не слова. Для него это реальность, это и задача и пафос всей его жизни», — думал о Бахиреве парторг Чубасов. Галицкий так оценивал сущность Лопаткина: «Я говорю, что вы верящий человек. Вы верите и боретесь». У Андрея Лобанова «всегда вызывали интерес люди, одержимые какой-либо творческой идеей», и сам он оказывается одним из таких одержимых.

Со стороны поступки героев выглядят ужасно непрактичными. У окружающих то и дело появляется желание дать им уроки житейской мудрости. Лобанова, как мы видели, сотрудники лаборатории относят к «симпатично-безнадежной» категории ниспровергателей и романтиков, пытающихся в одиночку перевернуть мир. Главный инженер Энергосистемы стремится «отрезать этого фантаста, выбить у него из головы мальчишеский идеализм». «Дурак не дурак, но, может, маньяк?» — думает о Бахиреве один из специалистов тракторного завода. Лопаткина предостерегает против донкихотства Вадим Невраев. «Дмитрий Алексеевич, — сказал он вполголоса. — Не обнажайте меча против мельницы». Но меч обнажен. Симпатии авторов явно на стороне идеалистов и фантазеров, а не на стороне невраевского здравого смысла.

Избрав себе цель, эти герои обнаруживают, как сказано о Бахиреве, «несгибаемую силу преодоления», идут к ней напролом сквозь любые препятствия. «Ты старые формы организации таранишь», — говорит

Бахиреву Рославлев, избирая самый подходящий глагол. Ибо «в характере Бахирева было, раз ступив на дорогу, во что бы то ни стало идти до конца,— идти до конца во всем, даже в ошибках. Как конь, закусив удила, несется грудью на изгородь, видя и зная, что изранится в кровь, но уже не может остановиться, так и Бахирев не может остановиться». Недаром на уральском танковом заводе его прозвали «торпедой». Нацелившись, он «обрушивался со всей мощью и всей стремительностью, не оглядываясь, не отвлекаясь, не боясь риска и не щадя себя». Таков же характер Лобанова. «Он видел перед собой цель и не желал считаться ни с чем».

Герой подобного типа органически не может идти на уступки, избирать для себя половинчатые решения, обходные пути. «Никаких компромиссов, слышите вы! Никаких!» — восклицает Лобанов, когда появилась возможность спасти прибор Рейнгольда ценой «соавторства» Потапенко. «Он не был способен лавировать» — говорится о Бахиреве. «Никаких компромиссов» — жизненное правило и Мартынова и Лопаткина, которые не умеют приспосабливаться к обстоятельствам, «ладить» с нужными людьми, хотя бы на шаг отступить в сторону от избранного ими направления.

Лобанов отказался от защиты диссертации, когда понял, что возможно создание более совершенного прибора. Его неосмотрительность «создавала ему врагов там, где, казалось, этого можно было свободно избежать»: к вящему изумлению помощника управляющего Энергосистемой, он отказался послать к нему домой радиотехника. Были прекращены все выгодные для лаборатории работы, помогавшие производственному отделу находить общий язык с электростанциями. «Хватит блатмейстерства!» — решает и Бахирев, отменяя все заказы «на сторону». Работая на танковом заводе, он отказался от Сталинской премии («Не надо так много премий»), а теперь выступает против присуждения премии за трактор, не имеющий «мирового первенства по основным параметрам». Застав у директора секретаря обкома, он вновь и вновь прерывает их благодушный разговор, совершенно некстати своим «занудливым голосом» режет правду-матку о слабостях предприятия. Кто и что подумает обо всем этом, какое мнение о них будет создано, нашим героям безразлично. Лобанова, например, «это мало

беспокоило» — он был неколебимо убежден, что «логика жизни заставит всех рано или поздно признать его правоту».

Герои этого типа абсолютно равнодушны к материальным благам, готовы идти во имя дела на любые жертвы. Лобанов переходит из института на производство, теряя семьсот рублей в месяц по старому исчислению, но «если бы его послали туда даже рядовым инженером, он согласился бы не раздумывая». Мартынов отвергает предложение перейти на работу в обком. Бахирев, снятый с должности главного инженера, остается на заводе рядовым специалистом. «Труд и бой, холод и голод — все было знакомо ему, и сквозь все мог он шагать, не замечая, когда жило в нем устоявшееся с юности согласие с самим собою». Лопаткин признается: «Для того, чтобы просто жить, нужен хлеб. Но как бы я ни был голоден, я всегда бы променял свой хлеб на искру веры». «Лиши его всего, сделай нищим — он все равно светит людям», — думает о нем Надя. И еще абсолютно необходимо для каждого из этих героев постоянное самозабвенное увлечение делом. «Ничто не в силах отвлечь его от работы. Земля может гореть у него под ногами, и камни могут валиться ему на голову, а он будет неизменно топтать своей тяжеловесной поступью в одном и том же направлении — на завод» («Битва в пути»).

Прекрасен образ человека, не ведающего сомнений, никогда и ничем не поступающегося на пути к цели. Вновь и вновь литература будет утверждать величие героя, живущего в полном согласии с самим собой, готового без оглядки вступить в бой с любыми препятствиями. И все-таки остается фактом, что «линия Бахирева» в литературе шестидесятых годов не получила — или почти не получила — прямого продолжения.

Помнится, В. Канторович выступил в печати с идеей провести своего рода «перепись» литературных героев. В самом деле, было бы очень любопытно сопоставить, например, «анкетные данные» героев журнальной прозы конца сороковых, пятидесятых и шестидесятых годов. Можно предположить, что это сопоставление показало бы огромный рост многообразия литературы, движение ее вширь и вглубь, освоение художниками новых пластов жизни, новых характеров. Существуют, однако, перемены, неподдающиеся подобному «анкетному» ис-

следованию. К ним относятся изменения самого типа отношений героя и среды, характера и обстоятельств.

Советская художественная классика добилась замечательных завоеваний в разработке эпического типа этих взаимоотношений. Мы видели, в чем состоят его отличительные особенности. Герой имеет дело с «буйно взвихренной действительностью», где все находится в процессе изменения и становления. Он как бы прорывает оболочку своего ближайшего окружения, прямо обращается к коренным вопросам мироздания. Он оказывается перед исторической альтернативой, приближенной вплотную к порогу его дома, требующей выбора сейчас же, немедленно, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Он берет на себя полную меру ответственности за ход мировых событий, за результаты своих действий, отвергая любые «алиби» и «смягчающие обстоятельства». Он является выразителем и носителем высочайшего гуманистического пафоса, во имя которого герой подчас один на один вступает в бой с непреодолимыми, казалось бы, препятствиями и трудностями. Его самостоятельность в выборе пути, в достижении определенных социально-исторических целей носит предельно конкретный, живой, непосредственный характер.

Пройдя в послевоенные годы (во многих книгах на темы современности) через полосу мнимозэпического, абстрактного отображения действительности, наша художественная проза вступила в период интенсивных творческих поисков. Книги пятидесятих годов, как показано выше, несут на себе отпечаток сложных идейно-художественных процессов, затрагивающих как взаимодействие положительного и отрицательного героев, так и каждого из них в отдельности.

Взятые не сами по себе, а вместе с формирующими их условиями, многие вчерашние отрицательные герои не воспринимались уже как безоговорочно отрицательные. Речь идет о преодолении абстрактного, внесоциального понимания этой «отрицательности», об отражении в характерах людей реальных противоречий действительности.

Изменения в художественном сознании не могли не затронуть и другой эстетический полюс — эпического героя. Во имя художественной правды писателям приходилось, как мы видели, какое-то время несколько приспособлять обстоятельства к характерам «из породы донкихотов»: отво-

дить от них лишние удары судьбы, обходить экономику, устранять или трансформировать их противников. Но этот выход из затруднения не мог быть длительным. «Такт действительности», о котором говорил Белинский, заставлял художников воспроизводить сферу деятельности героя все более конкретно, в ее реальной жизненной сложности. Герой вынужден был соразмерять свои усилия с объективными обстоятельствами, идти на какие-то компромиссы, а это сразу делало положительный образ в эстетическом отношении несколько иным.

В самом деле, каков тот высший идеал, который литература шестидесятых годов вызвала из современной ей действительности?

Вспоминаются попытки ряда писателей отбросить все мелкое и суетное в характере и поведении героя, дать его крупно и ярко, в романтическом ореоле. Так возникли Леонид Багрянов в романе М. Бубеннова «Орлиная степь», Иван Книга в романе С. Бабаевского «Сыновний бунт», героиня повести И. Лаврова «Очарованная». Что же, и этот путь создания героя не заказан литературе. И все-таки мне, читателю, не доставало здесь той художественной правды характеров, когда герой становится предельно достоверным и близким, а его эпический масштаб достигается без бросающихся в глаза красотостей и условностей.

Неоднократно был испытан литературой другой путь, также ведущий к цельному герою: изображение молодого человека, только-только выходящего на трудовую и общественную арену. Степан Верхованцев из «Стрежня» В. Липатова, Коля Бабушкин из «Молодо-зелено» А. Рекемчука, Тося Кислицына из «Девчат» Б. Бедного вошли в наше читательское сознание действительно как привлекательные герои. Их отличают трудолюбие, честность, доверие к людям, а главное — тот нравственный максимализм, который свойствен молодости и без которого не может быть положительного героя в подлинном смысле этого понятия. Но слишком беден еще социальный опыт и Степана, и Коли, и Тоси. Их цельность отвечает пока лишь «зеленому» возрасту и данному, еще ограниченному, кругу деятельности. Перед нами не эпический герой, а лишь возможность такого героя, дальние подступы к героическому характеру.

Заметные успехи были достигнуты в минувшие годы в создании образа рядового

труженика, человека из самой гущи народной, испытавшего в своей жизни и всяческие невзгоды, и горькие несправедливости, но ни на шаг не отступившего от веры в правоту нашего дела, не желающего мириться с любыми неправдами.

Егор Дымшаков из романа Е. Мальцева «Войди в каждый дом» знает эту неправду не понаслышке: она каждый день является перед ним в лице председателя колхоза Лузгина. Знает он и о том, что не в Лузгине только дело, что на пути к подлинно счастливой жизни в его селе есть немало и других препятствий. Но все эти объективные обстоятельства никак не заставляют его сидеть сложа руки, дожидаться в сторонке лучших времен. Он лезет в драку с Лузгиным и его защитниками, не думая о последствиях для себя лично. «Кто ты,— спрашивает он,— чурка с глазами или человек? Зачем на земле живешь? Для того, чтобы пищу переводить, или для чего другого? Ходить по ней хочешь или ползать на карачках? Если ходить — так ходи, как человеку положено, в глаза всем открыто гляди, а если что не так, не по правде,— не терпи, в набат бей...»

Со словами Дымшакова из русского села полностью согласился бы такой же колючий, неуживчивый, непереносимый для всяких демагогов и чинуш казахский пастух Коспан («Буран» Т. Ахтанова). Или киргизский колхозник Танабай — подобный по характеру, но еще более яркий художественно герой повести Ч. Айтматова «Прощай, Гульсары!». Танабай не может ни разобраться до конца в мучающих его вопросах, ни тем более справиться с тем, что отодвинуло его самого со стремнины жизни, от чего «сдвинулось, переиначилось» что-то в характере его старого друга Чоро, научившегося выбирать слова и обходить острые углы. Но для Танабая нет вопроса, как вести себя в этих условиях. Надо трудиться, делать все, что в твоих силах, для родного колхоза. Надо биться с неправдой, которая никак не может быть вечной.

Думая о героях, вошедших в наше сознание, наш духовный мир в шестидесятые годы, вспоминаешь многих: строителей канала Ермасова и Карабаша из романа Ю. Трифонова «Утоление жажды», физика Сергея Крылова из романа Д. Гранина «Иду на грозу»... Эти и другие герои выступают как преобразователи, занимающие в острых конфликтах боевую, наступательную позицию.

Тем не менее, на мой взгляд, личность и среда, характер и обстоятельства предстают в произведениях на темы современности в новом подвижном равновесии, в новом единстве, отличающемся от того, которое определяло своеобразие советской художественной классики. Герой современной прозы тесно связан с окружающей средой, отражает ее особенности. Его деятельность протекает в границах условий, данных ему извне, его вклад в общее дело — равнодействующая субъективных условий и объективных обстоятельств. Оставаясь положительным героем, «героем с идеалом» по своему жизненному пафосу, по направленности своей деятельности, тот же Танабай Бекасов из повести Ч. Айтматова не является все же эпическим характером, эстетически равнозначным Чапаеву, Кожуху или Корчагину. Это положительный герой другого, нашего времени, выражающий представления писателя о должном в конкретных условиях современной действительности.

Наша литература вновь и вновь обращается к величайшему эпическому образу XX века — образу В. И. Ленина. Неисчерпаемым источником художественного эпоса продолжает служить эпоха, в пламени которой были созданы богатства советской литературной классики. Вопрос заключается в том, как именно найти эпический ключ к художественному отображению современности.

«В ожидании эпоса» — назвал свою работу один из критиков (М. Заверин). И думается, что это не беспочвенное критическое мечтание. Общественные, экономические преобразования, осуществляемые в настоящее время, делают для искусства более отчетливыми, конкретными, зримыми перспективы общественного прогресса, особенности неантагонистических противоречий современного советского общества. Это и позволяет говорить о возможности усиления в литературе эпического начала. От углубленного аналитического освоения современной действительности литература не может не перейти к поиску более монументальных синтетических форм ее отображения, пристальное исследование сложившихся общественных отношений преимущественно в их «статике» не может не быть дополнено все более успешными попытками художественного выражения «динамики» общественного развития. Речь идет, вероятнее всего, не о ка-

ких-то резких изменениях, а о постепенных типологических сдвигах, о некотором смещении акцентов, но сдвигах такого рода, которые достаточны для завоевания писателями новых творческих высот, для накопления литературой нового идейно-художественного качества.

В советской художественной классике нашли выражение новый, революционно-преобразующий тип отношений человека и мира, единство общего и личного в движении к труднейшим историческим целям, формирование новой, социалистической нравственности, не нуждающейся в опоре на религиозные начала. Глубокие качественные изменения затронули буквально все стороны художественного творчества: приобрели новые особенности эстетический идеал, гуманизм и демократизм искусства, расширились его познавательно-аналитические и синтетические возможности, глубокие сдвиги произошли в отношениях художника и народа, искусства и действительности. Воздействие советского искусства эпохи борьбы за социализм на развитие мировой художественной культуры — отпечаток, отражение, следствие, идейно-эстетический аналог того гигантского и необратимого влияния, которое социалистическая революция оказала на ход мировых событий вообще. Мировое значение современного советского искусства — искусства последней трети XX века — точно так же в конечном счете зависит от того, насколько успешно будут решаться нашим обществом сложнейшие, общечеловеческие по своей сущности задачи коммунистического строительства.

Советскому обществу предстает сделать новый шаг вперед для устранения социально-экономических и культурно-бытовых различий между городом и деревней, для преодоления различий между людьми физического и умственного труда. Открываются новые перспективы для более последовательного осуществления как первой, так и второй части формулы социализма: «От каждого по способности, каждому по труду». Появляется все больше возможностей для перестройки на новых началах наиболее стой-

кого хранителя всякого рода «пережитков» — быта. Только социализм берется использовать на благо человека и общества то, что в условиях капитализма сплошь и рядом обращается во зло, — растущее свободное время, высокий жизненный уровень. Только социализм может и должен дать образец разумного вмешательства в сложнейшие процессы биосферы, разрешить острую проблему научного регулирования отношений человека и природы.

В качестве центральной задачи в ходе подготовки к XXIV съезду КПСС выдвигается повышение эффективности общественного производства. Но это и путь к активизации созидательных творческих усилий всех тружеников, путь к генеральной нашей общественной цели: формированию «богатого и всестороннего, глубокого во всех его чувствах и восприятиях человека»¹, обеспечению «свободного всестороннего развития всех членов общества»².

Свое место в общем строю ищет и находит, как и в начальную эпоху социалистического строительства, советская литература — литература, революционность которой состоит в осмыслении, художественном обобщении гигантского опыта минувших десятилетий, в постановке и решении проблем, имеющих первостепенное значение для всего человечества. Литература, умеющая трезво оценивать достигнутое, прямо смотреть в лицо всем тревогам нашего времени — и вести человека вперед, вооружать его идейно, нравственно, эмоционально для упрямой, все преодолевающей борьбы за коммунистические идеалы. Литература, поднимающаяся к новому, еще более сложному «сопряжению» великого и малого в широкую эпическую картину человеческой жизни на просторе нашего века, на крутом и трудном историческом перевале.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. Госполитиздат. М. 1956, стр. 594.

² В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 6, стр. 232.

ЖИЖИЖИОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

М. Роцин. Служит живому.— **Сергей Герасимов.** Образы современной Италии.— **Л. Черная.** Клаус Манн и его роман «Мефистофель».

ПОЛИТИКА И НАУКА

В. Шубкин. Школа Франции: традиции и современность.— **В. Корецкий.** Новое исследование о «Хованщине».— **Л. Корнеев.** Сухожилия на пятках.

Литература и искусство

СЛУЖИТ ЖИВОМУ

Валентин Распутин. Последний срок. Повесть. «Наш современник». №№ 7, 8, 1970.

Современные литераторы, пишущие о деревне, так или иначе касающиеся деревенской темы в своем творчестве, словно бы соревнуясь друг с другом, почти непременно избирают своими героями деревенского старика или старуху. Галерея таких стариков, написанных, как правило, проникновенно, пронзительно (вспомним хотя бы беловского Ивана Африкановича или стариков Лихоносова), выглядит в нашей литературе куда как внушительно... Да и так подумать: через старика колхозника, прожившего на земле долгую жизнь, на которую пали столь бурные, трудные, исключительные по событиям годы, можно и осмыслить и выразить эти прошедшие годы. Но, думаю, не только социальный результат занимает в этих случаях писателя. Вникая в душу человека, что стоит на пороге жизни и смерти, человека — труженика и мудреца, человека, глубоко соединенного с природой, писатель и сам задумывается о важном и уже заражается идеей не просто показать через старика или старуху, «как жили», а хочет сказать и «как жить». Сказать, в чем смысл и суть жизни.

В довольно большой по объему повести иркутянина Валентина Распутина, уже zapomнившегося читателям по повести «Деньги для Марии», ничего, собственно, другого не происходит, кроме того, что «старуха Анна лежит на узкой железной кровати возле русской печки и дожидается смерти, время для которой вроде пришло», и к концу повести умирает. «Ничего не происходит» в том смысле, в каком «ничего не происходит» в «Смерти Ивана Ильича» Толстого или «Архиерея» Чехова.

К смертному одру матери собираются оставшиеся в живых ее дети, две дочери и два сына, а еще одна дочь, Татьяна, которую особенно любила и особенно ждала старуха, так и не появляется в родительском доме, чтобы проститься с матерью и похоронить ее. Конечно же, как нетрудно догадаться, дети выросли разными, достаточно чужими друг другу, и писатель занят раскрытием этих разных характеров — и грубого и простецкого Михаила, у которого и живет мать, и легкомысленного, странного Ильи, и глупой Варвары, и черствой, холодной Люси; узнаем мы и о не приехавшей

Татьяне, «Таньчоре», которая как будто должна быть лучше других, ласковее и ближе к матери, поскольку самая младшая в семье (но вот не приехала!), и о тех сыновьях, что давно погибли на войне, и о старике, который тоже умер в войну.

Каждый из этих персонажей занимает в потоке повести немалое место и запоминается читателю в живом действии. Такова, например, сцена, когда Михаил и Илья пьют в бане, поняв, что смерть от матери вроде бы отошла, а чем им пока заняться, они не знают. Или эпизод, когда Люся идет по лесу, по знакомым с детства местам, до физического изнеможения измучась ненужными ей теперь и забытыми воспоминаниями (это, пожалуй, лучшие страницы повести). Или то, как старуха учит Варвару «отвить», отпеть ее, потому что «тепери ни ребенка ко сну укачать, ни человека в могилу проводить — ничё не умеют». Выразительно написана пятилетняя внучка Нинка, по-деревенски самостоятельная и смышленная, и сосед Степан, пьющий и философствующий в бане с мужиками, и особенно хорошо — соседка и «подружка» старухи Мирониха. Живой, точный, полный любви и иронии друг к другу диалог двух старух следовало бы, не будь он столь велик, процитировать целиком, чтобы сразу дать читателю представление вообще о языке повести, весьма своеобразном, упругом и протяжном, полном строгой поэзии, чисто русском, но без чрезмерной архаики и стилизации, как того можно было бы ожидать в рассказе о восьмидесятилетней бабке, — впрочем, у нас еще будет повод продемонстрировать читателю образец языка повести.

А теперь вернемся к детям старухи.

Повторим, что им отведено в повести довольно много места. Писатель с добросовестностью мастера хочет рассказать нам как можно полнее о каждом человеке, который находится в поле его зрения. Повесть кончается тем, что дети уезжают, не дождавшись смерти матери, не поняв того, что она жива ими, не прочувствовав до конца, сердцем, всей значительности жизни их матери, ее неустанного труда и ее единоборства со смертью, — и Илья, и Люся, и Варвара пусть по-разному, но, в сущности, выполняют о ф и ц и а л ь н ы й долг по отношению к родительнице. И мы понимаем, что вроде бы грубый, неласковый, «серый» Михаил, которого сестры и брат даже осуждают из-за плохого, с их точки зрения, ух-

да за мать, много ближе ей и душевнее, и сострадание его и забота о матери искреннее, чем, скажем, показные хлопоты Люси или бессмысленные слезы Варвары: он горюет, как умеет. Словом, Михаил на поверку оказывается лучше других...

Если бы мысль повести состояла только в этом: как, дескать, нехорошо, что бывает такое отчуждение и холодное исполнение долга детьми по отношению к родителям, — то нас, вероятно, мало бы заинтересовала такая вещь. И мы бы, очевидно, резонно припомнили знаменитый рассказ Андрея Платонова о том, как сыновья приехали хоронить мать в деревню, а сами от избытка жизни и радости встречи друг с другом затеяли ночью борьбу и смех, — в этом коротком рассказе куда как много сказано на сходную тему!

Мне кажется, что дети, которых Валентин Распутин старался выписать столь тщательно, не составляют удачи повести. В той или иной степени это фигуры знакомые. Те длиноты и некоторая вязкость повествования, которая появляется к концу, вызваны определенным смещением центра тяжести: детей уже нельзя оставить, приходится еще «тянуть» каждого, хотя все уже ясно, а между тем художественным центром было и остается другое — не выяснение отношений матери и детей, каждого с каждым, и не осуждение детей за некоторую душевную огрубелость (и сама мать, и даже автор прощают их, понимая неизбежность отчуждения взрослых детей).

Победа жизни в образе старухи Анны, ее победа в единоборстве с надвигающейся неминуемой смертью — вот в чем суть повести, и на этом сосредоточено наше внимание. Право же, немного жаль, что назидательность волей-неволей проступила в повествовании под конец, автор недостаточно точно «сбалансировал» не только эффект концовки (дети уезжают, и в ту же ночь старуха умирает), но и эффект собственного художественного открытия, ту глубину исследования чувств и состояния старухи, за которыми мы напряженно следим на протяжении всей вещи. Именно в образе старухи сосредоточено все живое и неповторимое в повести. И хотя я говорил вначале, что достаточно велика уже у нас в литературе галерея деревенских стариков, но портрет этой старухи займет в ней свое место по праву и ее не спутаешь с другими.

Интересно, что не столь уж много расска-

зывает нам автор обо всей жизни своей Анны, хотя уж куда как соблазнительно использовать испытанный прием и, пока старуха лежит, «прокрутить», как делал еще Гончаров в «Обломове», перед нами ее жизнь. Нет, эта прошедшая жизнь чаще всего выступает в памяти старухи отдельными картинками, примерно так: «Только что прошел дождь, короткий, буйный, окатный, из нечаянно подвернувшейся по-летнему единственной тучи, а уже опять солнце, поляны дымятся, с деревьев и кустов капает набрякшими, тяжелыми каплями, там и сям по траве, как жучки, катятся росинки, в реке еще плавают пузыри, ходит пена — все чисто и азартно блестит, пахнет остро, свежо, звенит от птиц и стекающей воды. Земля, опьяненная дождем, раскрылась, распахнулась догола, дышит утомленно, с наслаждением, небо над ней снова глубокое, ясное, голубое.

Она не старуха, — нет, она еще в девках, и все вокруг нее молодо, ярко, красиво. Она бредет вдоль берега по теплой, парной после дождя реке, загребая ногами воду и оставляя за собой волну, на которой качаются и лопаются пузырьки. Песок на берегу темный и ноздреватый, берег низкий, прямо напротив него остров, где-то там на мысу шумит вода. Протока длинная, сильная и пустая, в ней хорошо видно течение, его широкую прямую струю.

Она все бредет и бредет, не спрашивая себя, куда, зачем, для какого удовольствия, потом все-таки выходит на берег, ставит свои упругие босые ноги в песок, выдавливая следы, и долго, с удивлением смотрит на них, уверяя себя, что не знает, откуда они взялись. Длинная юбка на ней вымокла и липнет к телу, тогда она весело задирает ее, подтыкает низ за пояс и снова лезет в воду, тихонько смеясь и жалея, что никто ее сейчас не видит. И до того хорошо, счастливо ей жить в эту минуточку на свете, смотреть своими глазами на его красоту, находиться среди бурного и радостного, согласного во всем действия вечной жизни, что у нее кружится голова и сладко, взволнованно ноет в груди». (Вот, кстати, и обещанный пример прозы Распутина; не правда ли, в ней есть и сила, и точность, и поэзия?)

Итак, писатель не рассказывает нам биографию героини, хотя ее исполненную труда и забот жизнь нам нетрудно вообразить самим. Идя за своей старухой, предсмерт-

ный счет которой с жизнью не мелочен и не суетен, он сосредоточивает все внимание на том, что происходит с нею сейчас, потому что, решивши умереть, ожидая смерти, говоря с нею («Старуха верила, что у каждого человека своя собственная смерть, созданная по его образу и подобию, точь-в-точь похожая на него. Они как двойняшки, сколько ему лет, столько и ей, они пришли в мир в один день и в один день сойдут обратно..»), старуха жив ет. И живет, может быть, активнее, сознательнее, полнее и напряженнее, чем когда-либо.

И хотя автор вновь и вновь настаивает, что вся жизнь Анны была посвящена детям, а они вот недостаточно внимательны к ней, но мы уже как бы не слышим этой ноты — и это потому, что сама старуха, при ее характере, не способна на такую обиду и претензию, да и занята сейчас другим. Дело в том, что дети приехали чуть ли не на похороны, а старуха от их присутствия оживает, в нее входят их лица, дела, отношения, она оценивает каждого и каждого видит и знает, как это дано лишь матери. Старуха находит в себе силы сесть, начать разговаривать, встать, плакать, радоваться и обижаться, попить кашки, приласкать внучку, волноваться вместе с Миронихой о ее убежавшей в луга корове. Но ведь и прежде Михаил и его семья, письма детей, Мирониха, двор, солнце, лес были частью жизни старухи и тем топливом, которое поддерживало в ней огонь существования. И значит, свой последний срок старуха оттого и проживает полно и сильно, что жила точно так же всегда: была живой, твердой, ясной, сильной. Чувства старухи обострены, ум в напряжении, при немощи тела она испытывает могучие жизненные перегрузки, — жизнь, как всегда, сложна, и старуха, как всегда, участница и свидетельница этой сложности. А сил нет, больше нет — вот и все.

Никакого «жалостного», слезливого ореола автор вокруг Анны не создает, он выдерживает тон простой и строгий, да и сама старуха не позволила бы над собою такого авторского насилия: вековое, простое, если угодно, народное отношение к смерти написано Распутиным выразительно и точно. Смерть приходит к старухе не как религиозное приобщение к иному миру и не как катастрофа, а как естественный конец жизни — вот, вероятно, почему не испытывает старуха ни страха, ни сожаления, ни горя, а сознает простоту и как бы нормальность

происходящего. И она «не жаловалась на свою жизнь, нет. Как можно жаловаться на то, что было твоим собственным, больше ничьим, и что выпало только тебе, больше никому... Своя жизнь — своя краса. Случались и у нее светлые, дорогие радости, каких ни у кого не бывало, и случались дорогие печали, которые чем дальше, тем становились дороже, роднее и без которых она давно бы уж растеряла себя в суете...».

Когда мы говорили о «единоборстве» Анны, то имели в виду не борьбу старухи за жизнь, а жизнь, олицетворенную в ней: силы жизни, хлопоты жизни, занятость жизнью оказываются сильнее смерти, ибо это участие в жизни и поднимает полумертвую старуху, дает ей силы говорить, волноваться, плакать.

Старуха и ждет, и даже зовет смерть, а та все не идет. Ночные беседы старухи со смертью наивны и будничны, ее видения яркие и картинны. Но все-таки дневное, житейское окружающее действует на старуху сильнее всего — недаром так наполнены живым ее почти озорные беседы с Миронихой, в которой мы как бы узнаем нашу старуху, какой она еще была совсем недавно.

Старуха умирает, но мы понимаем, что победа смерти условна: в данном поединке Смерть выставила лишь Закон, неизбежность, неотвратимость, а Жизнь — им в противовес — выставила старуху Анну, хилую и высохшую, но непобедимую, потому что вопреки «божьим» правилам душа Анны не «отлетает» ни в рай, ни в ад и не может отлететь: она целиком ушла в жизнь, в работу, растворилась в детях, внуках, своей избе, в реке, в лесе, в радостях и мучениях жизни. Старуха умирает, вроде бы обиженная детьми, но у нас остается ощущение, что это частность, что не в этом дело, что подобных обид старуха пережила за свою жизнь, наверное, бог знает сколько, и будь она в силе, перемогла бы и эту обиду. Старуха умирает, ее нет больше, но мы не испытываем утраты — напротив, мы знаем, что она теперь останется, запомнится, будет жить и ее образ послужит живому, а не мертвому. Жизненность и жизнестойкость старухи оптимистичны — мы, конечно же, вспомним ее живой благодаря писателю, который отыскал старуху в жизни и так рассказал нам о ней.

М. РОЩИН.

★

ОБРАЗЫ СОВРЕМЕННОЙ ИТАЛИИ

Современное искусство. Италия. Кино. Театр. Живопись. Скульптура. Архитектура. «Искусство». М. 1970. 226 стр.

Институт истории искусства работает над серией книг, посвященных современному искусству Запада. Недавно вышла в свет книга об итальянском искусстве — интересная и содержательная. Само расположение статей не традиционно для подобных изданий: первым поставлен раздел о кино, затем — о театре, живописи, скульптуре и архитектуре. Таким образом, наиболее молодое и, казалось бы, наименее «авторитетное» искусство заняло в книге главенствующее место. И это, разумеется, далеко не случайно. Тут воздается дань искусству, в котором нашел наиболее значительное выражение итальянский национальный гений в последнюю четверть века.

Об Италии и об итальянском искусстве написано множество книг, некоторые из них представляют непреходящую ценность и ныне (достаточно вспомнить знаменитую книгу П. Муратова «Образы Италии»). Если говорить о непосредственном знакомстве, то

первая встреча с Италией оставляет впечатление ошеломляющее, врезываясь в память навсегда. Миллионы туристов, которых привлекает эта удивительная страна, не способны вытоптать и обесценить всю разумную и щедрую красоту, веками создававшуюся в итальянском зодчестве, в живописи, скульптуре, в музыке, театре и вот, наконец, в кинематографе, в этом преуспевающем детище XX века.

Природа, распределяя свои богатства, отнеслась к Италии со щедростью необыкновенной. На этом сравнительно маленьком пространстве узкого полуострова, врезавшегося в теплые воды Средиземноморья, сосредоточилось столько созидательной силы, такая буйная энергия жизни, что кажется — все здесь поднялось само собою: изящная соразмерность городов и деревень, естественно вписавшихся в желтовато-голубой пейзаж, и строгое величелие храмов, и птичья свобода песни, сопровождающей вас

на каждом шагу как продолжение итальянского характера, словно бы бездумного, легкомысленного, самопроизвольного в каждом своем проявлении. Ощущение единства, целесообразности всего облика Италии, всей ее очаровательной пластики вызывает особое чувство неделимой связи с природой, величия естественной красоты, рожденной здесь будто самой землей. И только потом приходит мысль, что все это создано упорнейшим трудом людей...

Это несколько идеальное рассуждение неотвязно сопутствует вам еще и потому, что влияние итальянской художественной культуры на весь мир сделало и вас с малых лет страстным почитателем Италии как признанной родины красоты, и вы всю жизнь готовились к встрече с ней с трепетом и боязнью разочарования. По-видимому, каждому суждено пройти через это опасливое предчувствие, и поэтому вдвойне обостряется сила непосредственного впечатления, когда все, что ты предугадывал, открывается тебе со всей живостью собственного восприятия, где каждая подмеченная подробность приобретает значение первооткрытия.

В этом смысле вклад неореалистического кинематографа в постижение послевоенной возрожденной Италии народами современного мира невозможно переоценить.

Рожденное духом Сопротивления, брожением народно-революционных сил после поражения Италии во второй мировой войне, неореалистическое киноискусство, поднявшееся на этой благодатной духовной основе, смогло показать современному обществу всю мощь национального гения Италии и повлияло на развитие мирового кинематографа с той императивной силой, которая всегда сопутствует победительному примеру.

Вспомним, с каким благодарным интересом и сочувствием принимались в нашей стране фильмы первого послевоенного десятилетия, отмеченного расцветом итальянского кинематографа, когда зритель, прочитав в подзаголовке на плакате «итальянский фильм», шел с уверенностью, что он получит наслаждение искусством, увидит жизнь далекого народа необыкновенно объемной, приближенной, как бы шагнувшей к нему через географическое пространство, прямо из дома в дом.

В большой и серьезной статье Б. Зингермана «Итальянское кино и итальянское об-

щество», которой открывается книга, дается глубокий идеологический анализ не только самого неореализма в итальянском кинематографе, но и всех предшествовавших ему обстоятельств и явлений, которые определили его зарождение и расцвет, так же как и тех, что подготовили его кризис и увядание.

Это драматический урок в общей картине современного культурного развития, урок тем более значительный, что он характеризует не только собственно художественную практику буржуазной современности, но и ту сложную социально-политическую среду, в которой развивается западное искусство последних десятилетий.

В своей статье Б. Зингерман сумел убедительно, с тонким эстетическим чувством и с трезвым историзмом проследить за тем, как происходило быстрое превращение, а затем падение неореализма, сменившегося новыми художественными явлениями: одни из них по-своему развивали дело, начатое неореалистами, другие — противопоставили себя его идеалам и принципам. Повторяю, урок необыкновенно наглядный, исполненный драматизма.

Возникает вопрос: могло ли быть иначе? Могло, разумеется, но только опять-таки на основе тех реальных предпосылок, которые лежат в природе каждого общественного процесса и к которым полностью принадлежит развитие художественной теории и практики. Попытки обосновать взлеты и падения в развитии искусства той или иной страны обстоятельствами более или менее случайными, временными, внешними, как явствует из статьи Б. Зингермана, не выдерживают критики. Жизнь настойчиво показывает нам, что развитие искусства было, есть и будет неотделимо от общественно-исторических процессов и политической борьбы. И драматическое превращение итальянского кинематографа — тому необыкновенно прямое свидетельство. Даже некоторые крупные, достаточно известные ныне мастера порою бывают вынуждены сдать позиции (с большей или меньшей очевидностью для самих себя), уступая в главном — в масштабе нравственной цели, с которой они начинали каждую прежнюю работу, с которой взращивали каждый свой замысел.

Ни одна кинематография буржуазного мира не располагала и не располагает таким обширным списком талантливых, блестящих режиссеров, какой ныне может

предъявить итальянская кинематография. По возрасту и по богатству дарования нельзя посчитать исчерпанными возможности Росселлини, Де Сика, Де Сантиса, Висконти, Джерми, Антониони и, разумеется, прежде всего Федерико Феллини. Значение его творчества выходит далеко за пределы киноискусства; быть может, именно поэтому, думаю, ему становится творить все труднее и труднее в условиях современного западного мира. Труднее — в нравственном отношении. Названные мною итальянские мастера — очень разные люди, и, зная каждого из них более или менее близко, можно удивляться скорее не тому, как далеко развели их судьба за последние годы, а иному: какой же могучей была сила, которая в первые послевоенные годы соединила старших из этих мастеров под знаменами неореализма.

Все эти художники продолжают трудиться, и в книге достаточно отчетливо говорится и о сложнейших исканиях Феллини, и о новых фильмах Росселлини, Висконти, Антониони, и о мастерах, выступивших несколько позднее, таких, как Пазолини, Дино Ризи, Нанни Лой, Витторио Де Сета. Но как же увеличилось расстояние между ними! Теперь это отдельные художественные миры, хотя все они, конечно же, многим обязаны неореализму.

Наряду с именами, которые я назвал, следует произнести также имена сравнительно молодых мастеров — Элио Петри, Джилле Понтекорво, Белокьо. Список можно бы и продолжить, — и все это талантливые, умелые, влюбленные в свое искусство художники. Так что я менее всего склонен сейчас оплакивать былую славу итальянского кинематографа и горестно смотреть в его будущее. Для этого нет оснований. Итальянский кинематограф и ныне, даже в своих наиболее полярных тенденциях, представляет, вероятно, наибольший интерес для квалифицированного кинозрителя, для киноведа-марксиста. Можно с надеждой ждать нового подъема итальянского кинематографа — у него более чем достаточно художественных сил, созревших для творчества, соразмерного масштабам социальных сдвигов, происходящих в самой реальности. Можно верить в новый прилив сил искусства подлинно социального и неотделимого от жизни народной. Но необходимо сделать и одну оговорку.

Каждому художнику свойственна боязнь

повторения и самоповторения. Это чувство естественное, именно оно толкает на поиски, открытия. Однако иной раз это чувство становится доминирующим, главным, и тогда оно говорит о неуверенности художника в своей миссии, в святой потребности высказаться полностью и до конца по существу того вопроса, который волнует художника.

Такая миссия лежала в основе неореализма — направления, при всех своих издержках устремленного к народным интересам, к социальным параметрам народного бытия, а также в фильмах Феллини, Висконти и Росселлини, созданных на переломе пятидесятых и шестидесятых годов. В последнее время эта здоровая почва в силу ряда социально-исторических причин порою ускользает из-под ног некоторых художников итальянского кино и поиски нового часто идут не вглубь, а по поверхности или в сторону от цели.

Упомянутая статья Б. Зингермана, дополненная работой А. Богемской «Борьба прогрессивного кино за существование», дает точную картину всех превращений, какие претерпевал итальянский кинематограф за четверть века под давлением самой социальной действительности, самого хода истории.

По профессиональной склонности (и следуя за расстановкой статей в книге) я говорил о кинематографе прежде остальных искусств, которых касаются материалы сборника. Вторым по расположению статей стоит театр, который представлен содержательной и живой статьей Г. Бояджиева «Профили итальянской сцены».

Говоря о современной театральной жизни Италии, автор останавливается главным образом на примерах миланского «Пикколо-театро» и неаполитанского театра Эдуардо де Филиппо. Естественно, внимание Г. Бояджиева здесь привлекают главным образом две крупнейшие фигуры современного итальянского театра — Витторио Гассман и сам Эдуардо де Филиппо.

На фоне современного театра с множеством блистательных актерских имен фигура Гассмана представляет собой явление выдающееся. Тут сказывается и то, что этот популярный художник, расходуя свои силы с беззаветной щедростью, выступает в равной мере и в театре и в кинематографе. Рядом с ним Г. Бояджиев справедливо называет Анну Маньяни, актрису редкого трагического дарования, чье имя также неразрыв-

но связано с первыми шедеврами кинематографического неореализма, в частности с знаменитым фильмом Росселлини «Рим—открытый город». Москвичи видели Анну Маньяни на сцене в «Волчице» Д. Верги и могли оценить ее галант непосредственного общения со зрителем.

Естественно также, что наибольшее внимание автор уделяет одному из самых крупных деятелей современного театра — Эдуардо де Филиппо. Зная этого своеобразного художника и прекрасного человека, можно подивиться, с какой точностью и приметливостью Г. Бояджиев восстанавливает на страницах своей статьи его образ.

Эдуардо де Филиппо принадлежит к людям, которым судьба судила стать выразителями эпохи. Это не просто любезная фраза — это правда. Демократичность его театра не ограничивается только направлением драматургии де Филиппо. Она выражается и тем обстоятельством (о чем правильно напоминает нам Г. Бояджиев), что для Эдуардо де Филиппо театр — это не только место, где он может поставить написанные им пьесы, это дом его жизни. Такую неотделимость от своего театра я знаю, пожалуй, еще только у Сергея Образцова.

И это не только потому, что Эдуардо де Филиппо сам играет почти в каждом спектакле, но потому, что все, что вы увидите, войдя в холл театра, гуляя вместе с публикой по променуарам, это как бы проекция всей жизни художника. На стендах, среди иных реликвий, вы увидите афиши многих советских театров, ставящих пьесы де Филиппо, — они присланы из Волгограда, Тамбова, Свердловска, Иркутска и, уж конечно, из Москвы и Ленинграда. Постепенно складывается впечатление, что театр этот — достояние всего мира. Словно бы рухнули языковые барьеры, и итальянское, вернее, чисто неаполитанское искусство стало всеобщим. Становится понятно, откуда приходит удивительная свобода, с которой живут артисты на этой небольшой сцене. Она рождается именно сознанием всеобщности и живого демократизма их искусства — того истинного демократизма, который отличал в свое время и лучшие неореалистические фильмы.

Многократно указывая на близость театра Эдуардо де Филиппо кинематографическому неореализму, Г. Бояджиев подводит нас к правильному выводу, что неореалистическое направление, имеющее, как известно,

в основе своей литературное течение веризма, отражает дух послевоенной Италии во всем ее искусстве, хотя, разумеется, последующие сближения итальянского театра и итальянского кино шли и по другим линиям — не только в связи с развитием веристско-неореалистической традиции.

Невозможно забыть впечатление от зрительного зала в одном из маленьких римских кинотеатров, где мне впервые привелось увидеть превосходный фильм «Ночи Кабирии» Феллини. Это был дневной сеанс, и зал был переполнен подростками, хотя, казалось бы, картина менее всего адресована к детям до шестнадцати лет. Но на окраине Рима, где жизнь открывается отнюдь не в сервированном виде, где подростки чаще всего предоставлены самим себе, это впечатление от зала не было сколько-нибудь парадоксальным или уродливым. Мало того, четырнадцати-пятнадцатилетние няньки держали на коленях своих маленьких сестреночек или братишек, перегибаясь через их головы к экрану и реагируя на все скорбные и уморительные похождения Кабирии — Мазини. И каждый новый поворот в ее судьбе зрители встречали самой непосредственной реакцией — то смехом, то аплодисментами, то стоном сочувствия.

Впечатление было тем более необычным, что Джульетта Мазина сидела рядом и также живо реагировала на все, что ей пришлось пережить в этой поистине незабываемой роли.

Я вспомнил этот зал с его страстной отзывчивостью, когда присутствовал на спектакле в театре Эдуардо де Филиппо, потому что и там и тут, и на экране, и на сцене, и в зале была сама жизнь народная, где смех перемешан со слезами, а горестные раздумья — с неизбывной надеждой на лучшие времена.

Тут сам собой выстраивался критерий искусства во всем своем величественном простодушии, где жизнь — неистощимый источник, а цель — счастье человеческое.

Сближенность кинематографа и театра в статье Г. Бояджиева отлично иллюстрируется также работами Дзефирелли, превосходного режиссера, прежде всего театрального, а затем и кинематографического. Взволнованно и подробно Г. Бояджиев разбирает его интереснейший спектакль «Ромео и Джульетта», ставший затем фильмом.

Таким образом, картина театральной жизни Италии открывается для читателя

лучшими своими сторонами. По справедливой логике: каждое национальное искусство заслуживает, чтобы его оценивали по вершинам, а не по провалам.

Куда более трудная миссия выпала на долю авторов статей о живописи и скульптуре — В. Туровой («О некоторых тенденциях в современной итальянской живописи и графике») и В. Горяинова («Современная итальянская скульптура»). Здесь я подхожу к весьма полемическому вопросу художественной современности не только в связи с разбираемой книгой, но и за пределами ее.

Пожалуй, нигде не написано и не сказано столько противоречивого, сколько в литературе о современном изобразительном искусстве. Разумеется, виною тому не праздные домыслы критиков, а прежде всего движение самого художественного потока, то, как он сформировался и куда направился за последнее десятилетие.

Едва ли имеет смысл в этой небольшой статье касаться битвы художественных направлений в современной живописи, графике и скульптуре. Повторяю — тут написаны тома и тома, правда, все еще очень мало приблизившие нас к разрешению спора.

Борьба абстрактного и фигуративного искусства часто ведется в пределах одного фланга, который в целом противостоит флангу прямого реализма, где в свою очередь можно найти множество разнообразных противостоящих течений от откровенного академизма, неоклассицизма до неореализма и натурализма. Чего-чего, а уж в современных пространственных искусствах недостатка в «измах» нет. И порой, читая отчеты об очередных обзорных выставках и вернисажах, диву даешься изобретательности критиков и рецензентов, которым предстоит различить все тонкости оттенков в направлениях, декларациях и взаимных обвинениях.

Мне привелось в последние годы не раз побывать на венецианских биенале, где представляется изобразительное искусство большинства стран мира. И я вместе с озадаченными зрителями переходил из зала в зал, испытывая нарастающее утомление от всего этого множества в высшей степени схожих и как бы наступающих друг на друга уражей с более или менее откровенной жадной эпатации, ошеломления зрителя.

Все эти «вещи в себе», требующие утомительной расшифровки, которая чаще всего

не приводит ни к каким результатам, как бы заведомо исключают какую бы то ни было сопричастность зрителя к авторскому замыслу.

Таким образом, ставится под сомнение главный признак искусства, которое, по нашей логике, остается прежде всего одним из важнейших средств постижения мира и общения между людьми.

Однажды мне пришлось высказать одно простое соображение, которое не без любопытства было выслушано моим оппонентом, поборником абстрактивизма. Мысль была примерно такая: абстрактивистам чистого толка менее всего следует нападать на поборников реалистических направлений. Напротив, абстрактивистам следовало бы поставить за здравие реалистов большую свечу, так как даже механическое столкновение вследствие появления на одной стене произведений того и другого направления дает хоть какой-то повод для впечатления от самого истощенного и выхолощенного абстракционистского полотна — по закону контраста.

Курьезность впечатления от тех биенале, на которых я был, как раз в том, что полное отсутствие реалистических произведений на стенах всех этих больших и сплошь завешанных залов создавало в итоге ощущение некой гигантской обойной лавки. Если даже в отдельности иные произведения по колористической смелости, по распределению пятен и линий могут представлять некоторый интерес для глаза на протяжении пяти или десяти секунд, то когда все это предстает в неиссякаемом множестве, в необузданной щедрости, образуется неизбежная инфляция, порождающая чувство глухой тоски, близкой к отчаянию.

Невозможно забыть, как гид объяснял одному из тысяч американцев, толкущихся на площадях Венеции и уж обязательно на биенале, что большое белое полотно (в прямом и буквальном значении этого слова), заключенное в раму, — не то что обыкновенная простыня, о нет! А если взглядеться, то там, мол, есть некий слой краски — правда, во всех случаях белой, но нанесенной в различных направлениях. У американца не было очков, и гид любезно предложил ему свои. Американец всмотрелся, увидел искомые мазки и сказал не без уважения: «О, да!»

Я прекрасно понимаю, что далеко не все согласятся с моим отношением к подобного

рода живописи. Здесь ведь тоже есть множество разнообразных обязательных условий и обстоятельств, которые надо знать, что требует времени, которого у всех нас так мало. Поэтому я заранее готов принять все упреки на свой счет, и тем не менее это не заставит меня устыдиться своей, так сказать, ретроградной позиции. Для меня дело заключается в том, что искусство — и живопись, и графика, и скульптура (причем в каждом отдельном случае существуют свои измерения, свои масштабы, свои оттенки) — должно обладать одним общим и неопровержимым свойством: должно заинтересовывать, вовлекать, наконец, поглощать зрителя, слушателя, читателя, а отнюдь не только ошеломлять его на более или менее короткий промежуток времени, чтобы вслед за этим нацело исчезнуть из памяти, где, как известно, каждое непосредственное впечатление оседает для последующей длительной переработки в интересах нравственного обогащения личности.

Мне пришлось сделать это довольно пространное отступление именно вследствие того, что в высшей степени квалифицированные, насыщенные фактами статьи В. Туровой и В. Горяинова вызывают уважение прежде всего потому, что при сохранении достаточно ясных, принципиальных и отнюдь не уступчивых позиций они со спокойным вниманием перечисляют и описывают разнообразные явления в современном итальянском изобразительном искусстве, стараясь найти при этом то или иное объяснение для всей причудливости происходящих там процессов. Естественно, внимание авторов сосредоточивается на произведениях крупнейших мастеров — Ренато Гуттузо, Треккани, Миньекко и Фаббри (две соседствующие в книге иллюстрации живо показывают движение Фаббри от скульптуры «Мать» 1952 года к работе 1960 года, озаглавленной «Лунный персонаж», которая демонстрирует как бы полное истощение души под неумолимым прессом моды).

Я позволил себе рассуждения по поводу поисков и новаций в сфере, в которой я менее всего являюсь профессионалом, именно потому, что здесь я чувствую себя свободным от цеховой учтивости, чувствую себя просто зрителем, склонным искать в живописи и скульптуре наслаждение.

Но, как это ни покажется странным, наибольший интерес вызвал у меня, пожалуй,

последний раздел книги, посвященный архитектуре.

Зодчество, которое, при всех достижениях современной строительной техники, все же остается искусством, на мой взгляд, представляет сейчас для всех жителей земли особую актуальность, особый интерес.

Старинная мысль о том, что любой вид искусства может быть по воле зрителя устранен из поля зрения, не распространяется на архитектуру, так же как и на монументальную скульптуру или настенную живопись. Особенность эта представляет для будущего людей самое существенное значение.

Города, в которых мы живем, могут стать уродами или красавцами по воле архитекторов и скульпторов. Каждый, кто побывал в Мексике, с восторгом вспоминает паразитические фрески Диего Ривейры, Ороско, Сикейроса, чьи творения щедро украшают стены зданий и интерьеры мексиканской столицы — да и не только столицы. При созерцании этой красоты рождается мысль, что народ, выдвинувший таких влюбленных в него, преданных ему мастеров, — великий народ.

Это же впечатление непрестанно сопутствует вам и в Италии. И переезжая из города в город, переходя от площади к площади, от храма к храму, вы неизбежно повторяете: «Какой народ, какой народ!..»

Послевоенные годы, как известно, дали итальянским городам много новых архитектурных сооружений. Как во всех современных столицах, в Риме целые районы построены заново, и трудностей, которые стоят сейчас на путях современной архитектуры, там столько же, очевидно, сколько и в Париже, и в Лондоне, и у нас в Москве.

Строительство жилых кварталов требует стандартизации, использования блоков, типовых проектов. И все же нужно здесь отдать честь итальянцам — они с необыкновенной бережностью, с невероятной изобретательностью подходят к решению многочисленных проблем массового строительства, где экономика диктует свои законы и искусство терпит неизбежные убытки.

Античные руины, щедро раскиданные по всей стране и наиболее величественно представленные на площадях и улицах Рима, молчаливо диктуют современным зодчим меру взыскательности. И они стремятся соблюдать эту меру, по возможности не уступать ни в чем. Стремление связать свободу

поиска с требованиями века прежде всего отмечает работы великого архитектора П. Нерви.

Итальянской архитектуре предстояло в послевоенные годы одолеть инерцию бутафорского монументализма, рожденного временем Муссолини. Прослеживая этот процесс, А. Инонников пишет: «Ранний реализм итальянской архитектуры подчас суров, лапидарен. Есть общее в беспощадности рассказов Моравиа, жестокой правде фильмов Росселлини или Де Сика и в аскетичной обнаженности построек Ина-Каза (Институт национальной архитектуры жилища.— С. Г.) первых послевоенных лет».

Это очень смелое обобщение характеризует как бы все направление статьи, стремящейся определить место архитектуры не только в самостоятельном значении ее как пространственного искусства, но как могучей нравственной опоры в борьбе за социальный прогресс.

И тем горше звучит один из заключительных абзацев статьи, где автор пишет: «Конец пятидесятих годов был рубежом, разделившим западноевропейскую культуру послевоенных лет. Резкость поворота делала правомерным вопрос, поднятый французским журналом «Современная архитектура» — эволюция или революция в архитектуре? Разочарование в возможности решить социальные проблемы капиталистического общества средствами зодчества привело к тому, что архитекторы отвернулись от этих проблем, замкнувшись в кругу чисто эстетических интересов. Рационализм становится неуместным в этом «безумном, безумном, безумном» мире — его сменили иррационалистические увлечения».

Как видим, статьи, составившие сборник, посвященный итальянскому искусству, открывают перед нами картину, которая каждого художника и каждого заинтересованного в искусстве человека заставляет о многом и многом задуматься.

Италия и поныне остается одним из лидеров эстетического поиска — такова уж ее природа, таков ее народ. И мы с интересом и уважением ждем каждого нового слова от наших итальянских друзей.

Тем горше бывает, однако, видеть, как под натиском коммерческого интереса или в погоне за сенсацией это замечательное искусство, поднявшееся из самой жизни народной, изменяет себе, своим традициям, своему духу,

Тут можно вспомнить возглас господина Уи из известной пьесы Брехта; «Если ты рабочий — ты работай!» Перефразируя эту мысль, наступление на прогрессивный кинематограф ведется с тех же позиций: «Если ты художник — ты развлекай!.. Если ты зритель — ты развлекайся!»

Известен библейский миф о жене Лота, которая, покидая Содом, не послушалась предостерегающего гласа и обернулась на город растлительных соблазнов, за что и была в наказание обращена в соляной столб. Как никогда, нынче миф этот уместно вспомнить, обращаясь к художественной практике современности.

Итальянское искусство времен его недавнего расцвета меньше всего можно было бы упрекнуть в ханжестве, в боязни острых или рискованных тем, ситуаций, персонажей. Напротив, для этого искусства не было запретных сфер. Оно касалось порой весьма щепетильных вопросов, но решало их с позиций безупречной нравственной высоты. И в этой здоровой нравственности искусства итальянских мастеров ощущалась его живая прстонародная основа. Ныне коллизия заметно меняется.

Уже трудно сказать, кто первый на Западе начал, кто подал сигнал к вторжению порнографии на экран, а затем на сцену. Во всяком случае не в Италии это началось, и пока «первенство» держат, по-видимому, скандинавские страны. Итальянское искусство долго держалось в стороне от этой уничижительной моды. Однако эпидемия распада нравственности распространяется со скоростями, доступными только современным средствам информации. Судя по некоторым работам, выходящим на экраны Италии, есть, увы, основания опасаться сдвига в ту плоскость, где сложные интимные проблемы не решаются и даже не ставятся, но только размазываются и смакуются самым уничижительным — и для авторов этих фильмов, и для зрителей — способом.

Весь пафос книги, о которой идет речь, направлен на защиту подлинно высоких эстетических ценностей, созданных современным искусством Италии и прогрессивными ее мастерами, от воздействия антигуманистических, антинародных концепций, порождаемых современной действительностью буржуазного мира. Умение авторов книги ориентироваться в сюжетах, подчас абсолютно неожиданных, и в формах, на

первый взгляд странных, непредвиденных, резких,— безбоязненно и точно обнажая скрытый за ними социальный смысл, способность видеть, а иногда даже и предвидеть эволюцию этих художественных форм с марксистских позиций,— делает их труд интересным и для мастеров нашего искусства, и для самого широкого круга заинтересованных читателей и зрителей. Можно и должно пожалеть о том, что в книге нет раздела, посвященного итальянской музыке. Еще более досадно, что авторы ее почти нигде не указывают на взаимосвязи между

итальянским искусством и итальянской литературой, хотя, конечно же, творчество Альберто Моравиа, Карло Леви, Васко Праolini оказало большое влияние на развитие кино, театра и даже живописи.

Тем не менее главное желание, которое порождает эта книга,— увидеть подобные ей исследования современного искусства Англии, Франции, Соединенных Штатов, Японии и других стран Запада и Востока.

Сергей ГЕРАСИМОВ,
народный артист СССР,

★

КЛАУС МАНН И ЕГО РОМАН «МЕФИСТОФЕЛЬ»

К л а у с М а н н. Мефистофель. Перевод с немецкого К. Богатырева.
«Молодая гвардия». М. 1970. 304 стр.

Роман «Мефистофель» Клаус Манн написал тридцать четыре года назад, что называется по следам живых событий. В 1933 году власть в Германии захватили фашисты, а уже в 1936 году Клаус Манн рассказал, как гитлеровцы правят Германией и к чему готовятся. Взволнованное историческое море Европы отнюдь не улеглось в свои берега, оно еще только начинало бурлить... И естественно, что художник, описывавший это «море», выступал не как летописец, не как историк. В литературоведческие труды роман «Мефистофель» вошел как роман-памфлет. Тем не менее этот роман-памфлет читаешь сейчас, три с лишним десятилетия спустя после его появления, с ослабевающим вниманием и удивляешься не только тому, как много сумел увидеть и предвидеть автор, но и глубоким психологическим характеристикам писателя, его умению проникнуть в душу своих современников, создать образы добрых и злых «гениев» эпохи...

Однако прежде чем перейти к роману «Мефистофель», надо сказать несколько слов об его авторе, тем более что «Мефистофель» — первое произведение К. Манна, переведенное на русский язык.

Клаус Манн — старший сын Томаса Манна, племянник Генриха Манна. Сестра Клауса — Эрика Манн — была популярной актрисой, журналисткой. Брат — Голо Манн — известный на Западе историк. К. Манн, выросший в семье Волшебника — так многочисленное семейство Маннов называло То-

маса Манна,— был дружен и уж во всяком случае хорошо знаком почти со всеми крупными деятелями, учеными, писателями, художниками своего времени. Он много путешествовал, выступал на многих подмостках — на митингах, в театрах, в кабаре,— много печатался, приобрел большую известность... и при всем том был трагической фигурой. Литературоведы склонны объяснять это «отцовским комплексом». К. Манну-де всегда казалось, что он находится «в тени» своего гениального отца.

В автобиографической книге «Поворотный пункт» писатель действительно не раз вспоминает о недоброжелательных отзывах критиков, которые старались представить его малоталантливым отпрыском своего великого отца. Даже шутовское посвящение Томаса Манна Клаусу на книге «Волшебная гора»: «Уважаемому коллеге от его подающего надежды отца» — послужило мишенью для множества злых острот. И все же, думается, причины трагического мироощущения К. Манна и его гибели (в 1949 году он покончил жизнь самоубийством) лежат глубже. Клаус Манн в отличие от своего отца не был ни гармонической личностью, ни мудрецом. Человек с уязвимой психикой, чрезвычайно ранимый, находившийся в разладе с самим собой, он испытывал страх перед буржуазным миром, перед его лицемерием, несправедливостью, подлостью.

Но у Клауса Манна, так же как у многих западных интеллигентов его поколения, был свой «звездный час». И как это ни странно

на первый взгляд, звездный час К. Манна, вернее, его звездные годы совпали со страшными годами фашизма и войны. В это время бесправный эмигрант К. Манн точно знал, где его враги и кто его друзья, знал, за что и против кого бороться. Все его разбросанные силы и таланты собираются воедино. Он полон энергии, творческих замыслов.

Вот краткая хроника этих лет в жизни К. Манна. 1933 год — эмиграция, скитания: Амстердам, Париж, Цюрих, Прага. Основание журнала «Собрание» (1933—1935 годы). 1934-й — роман «Бегство на север». 1935-й — участие в антифашистском конгрессе в Париже. Страстная речь против гитлеризма. Поездка в Москву. Доклады, речи с призывом дать отпор Гитлеру. Роман «Патетическая симфония» о Чайковском. 1936-й — «Мефистофель». 1937-й — книга «Зарешеченное окно». 1938-й — поездка в осажденный Мадрид. 1939-й — роман «Вулкан» о жизни эмигрантов в Западной Европе и США. 1942-й — основание в Нью-Йорке журнала «Решение». Почти тогда же К. Манн пишет первый вариант уже упоминавшейся автобиографической книги «Поворотный пункт», чрезвычайно важного произведения не только в творчестве К. Манна, но и во всей немецкой антифашистской литературе. Войну Клаус Манн заканчивает солдатом. Вместе с войсками антигитлеровской коалиции вступает он на землю своей родины.

Начиная с 1933 года К. Манн день за днем предостерегает: «Все вы в опасности. Гитлер опасен. Гитлер — это война». И без устали повторяет, что после того, как «Гитлер пришел к власти в Германии, каждый реалистически мыслящий антифашист должен знать, что существует только одна возможность предотвратить войну: сотрудничество с Россией. Если демократический Запад и социалистический Восток найдут общий язык, тогда агрессор... лишится всех своих шансов». Но, по словам самого К. Манна, западные политики не прислушивались к словам наиболее дальновидных немецких антифашистов.

Итак, роман «Мефистофель» Клаус Манн написал в самые насыщенные, бурные и творчески продуктивные годы своей жизни. Современного читателя прежде всего поражает, как точно расставлены в этой книге политические акценты. Уже в 1936 году писатель дал правильную характеристику на-

цистского общества, показал, что это общество построено на лжи и обмане, сумел разглядеть его тайных хозяев — германских империалистов и военщину (в романе это написано черным по белому!), наконец, доказал, что, болтая о мире, оно неудержимо стремится к тотальной войне.

Роман «Мефистофель» носит подзаголовок «История одной карьеры». В центре его — актер Хендрик Хефген. Писатель знакомит нас со своим героем в те годы, когда Хефген только вступает на путь успеха. Герой в начале книги — это всего лишь провинциальный актер, средней руки комедиант, одержимый «жаждой славы, большой подлинной славы, столичной славы». Став любимцем публики в Гамбурге, Хефген «жертвует» своим прочным положением, высоким окладом и статутом «всеобщего баловня», чтобы начать все сначала в театре знаменитого режиссера, Профессора, как он именуется в романе. Очень скоро оказывается, что Хендрик рассчитывал правильно. И в Берлине он, хоть и не без некоторых срывов, завоевывает признание зрителей, театральных деятелей и дельцов. Правда, мы сразу видим, что методы Хефгена отнюдь не безупречны — он действует и лестью, и хитростью, и шантажом. Видим также, что людей, встречающихся на его пути, актер Хефген рассматривает лишь как орудие для своих целей. При всей внешней экзальтированности, этот человек чрезвычайно холоден, начисто лишен привязанностей, чувства долга по отношению к другим. В жизни он такой же комедиант, как и на сцене. Невеста, а погом жена Хефгена Барбара, ее отец — знаменитый ученый Брукнер, директор Гамбургского театра Кроге, женщины, влюбленные в Хендрика, большая актриса Дора Мартин, Профессор — все эти люди в конечном счете интересуют Хефгена лишь постольку, поскольку они могут помочь его карьере... Но все это лишь отдельные, хотя и немаловажные черты в образе будущей знаменитости. Доминанта характера Хефгена — феноменальная способность к изменениям, к мимикрии, умение перекрашиваться в «цвета времени».

На первом этапе своей карьеры Хефген поражает окружающих левизной. Он куда беспощадней расправляется на словах с «насквозь прогнившим буржуазным строем», нежели молодой актер коммунист Ульрихс. Однако в левизне Хефгена есть одна особенность — с наибольшей охотой он изобли-

чает. Изобличает не только националистов, милитаристов и антисемитов, но и либеральную интеллигенцию. «Всех их надо перевешать!» — восклицает он с пафосом. «Ваш либерализм, — поучает Хефген свою жену Барбару, дочь великого гуманиста Брукнера, — научит нас мириться с националистической диктатурой. И только мы, воинствующие революционеры, их враги не на жизнь, а на смерть...»

Правда, если присмотреться внимательно, сверхреволюционность Хефгена весьма своеобразна. Болтая о необходимости создавать новое искусство, призывая открыть новый революционный театр для рабочих, Хефген придумывает тысячи уверток, чтобы не очень скомпрометировать себя в глазах власти имущих. «Хефгену всегда что-то мешает... если под угрозой его карьера», — говорит один из персонажей книги. Этот комедиянт ни разу не переступает черту между левой фразой, между показным фрондерством и истинно революционным делом. На всякий случай он всегда «перестраховывается». Ничего «непоправимого», с точки зрения нормального буржуазного общества, где существует свобода слова и не существует концлагерей, Хефген, в сущности, не совершает. Зато мнимая левизна помогает Хефгену в Веймарской республике, где революционностью «грешили» и многие влиятельные лица...

Таков Хефген в начале своего пути. И невольно думаешь, родился этот ловкий малый лет на тридцать — сорок раньше, быть бы ему знаменитым актером и респектабельным бюргером, не совершившим никаких сверхъестественных подлостей. Благо он человек не только в высшей степени «пробивной», но еще и талантливый.

Но вот на родине Хефгена «подонки прорвались к власти». В стране устанавливается та самая «националистическая диктатура», о которой говорил Хефген. Как же поступает этот воинствующий революционер, проклинавший либерализм и терпимость? Первая реакция Хефгена на известие о том, что к власти пришли нацисты, глубоко закономерна, эта реакция — страх. Хефген понял, что он просчитался — поставил не на ту лошадку, — и испугался, что новые господа если и не расправятся с ним, то уж во всяком случае не примут его в свою шайку. Но, как оказалось, известному актеру было нетрудно договориться с гитлеровцами.

Чем же объясняется этот феномен? Очень простым обстоятельством: «нацисты, а потом и сам Хефген обнаружили «внутреннее родство» друг с другом. Доминанта Хефгена — его абсолютное лицемерие и лживость — была и доминантой фашистского строя. В жизни Хефгена существовал только один доподлинный принцип: цель оправдывает средства. Но этот же лозунг стал краеугольным камнем политики нацистов. «Успех — это утонченное неопровержимое оправдание любого бесстыдства» — так в глубине души всегда считал актер Хефген. Но это же считали и все большие и малые фюреры фашистского режима в Германии. Вот Хефген выступает на большом сборище «высшего света» коричневой империи. Все, «казалось, следили за тем, чтобы с его губ сходила только ложь, одна ложь, ничего, кроме лжи: таков был тайный сговор, свяжавший всех в этом зале, да и во всей стране». В государстве «рабов, попутчиков, обманщиков, обманутых и дураков» Хендрик Хефген быстро находит свое место. Он, разумеется, среди обманщиков. Бывший сверхреволюционер становится всемогущим театральным деятелем, интендантом государственных театров. Бывший зять Брукнера — фаворитом «жирного мясника» Геринга, бывший партнер Доры Мартин — партнером бездарной актрисы Лотты Линденталь, любовницы все того же «жирного мясника».

Но, быть может, актер, лицедей Хефген сумел поладить с нацистами именно в силу своего актерского дарования, в силу своего умения перевоплощаться?

На этот вопрос К. Манн отвечает в своей книге отрицательно. В романе «Мефистофель» есть один на первый взгляд второстепенный персонаж, который тем не менее несет важные функции. Этот персонаж — критик Ириг. Ириг — своего рода аналог Хефгена. В Веймарской республике Ириг, отнюдь не обладавший артистизмом и умением перевоплощаться, «самый бдительный и нетерпимый жрец» псевдореволюционеров. Своих противников «он подвергал анафеме, проклинал и уничтожал, называя их эстетствующими наемниками капитализма. Красный папа от литературы не был склонен видеть нюансы и проводить тонкие различия. Его мнение было таково: кто не за меня, тот против меня, кто пишет не по рецептам, которые я составил, тот кровавый пес, враг пролетариата, фашист». Правда, и в пове-

дении «красного папы» в начале тридцатых годов можно найти некоторую любопытную особенность: свои громы и молнии на инакомыслящих он мечет со страниц крупных буржуазных газет. Подобно Хефгену, и Ириг от слов ни разу не переходит к делу, оставаясь всего лишь «салонным революционером». Но как бы то ни было, репутация Ирига, казалось бы, исключала возможность его сговора с нацистами. Тем не менее путь Ирига повторяет путь Хефгена. Оправившись от первого страха, он с той же нетерпимостью, с тем же пылом начинает служить нацистам, с каким ранее служил некоей абстрактной идее сверхлевизны! В то время как «проклятые» им либералы, «преданные анафеме» драматурги, «уничтоженные» писатели томятся в концлагерях или влатчат дни в изгнании, Ириг вместе с Хефгеном делает блестящую карьеру в нацистской империи.

На примере Хефгена и Ирига К. Манн показывает, как неразрывно связаны в наш бурный век проблемы личной порядочности, проблемы морально-этического облика человека с политикой. Ведь именно нравственная неполноценность, моральное убожество приводит некоторых персонажей «Мефистофеля» к политическому предательству, к преступному союзу с немецким фашизмом.

Вскоре после написания романа «Мефистофель» друг К. Манна писатель Герман Кестен следующим образом охарактеризовал основную идею книги: «Клаус Манн создал тип соучастника, одного из миллионов маленьких соучастников, которые не совершают больших преступлений, но едят хлеб убийц, которые не были виноваты, но становятся виновны, не умерщвляют сами, но хранят мертвое молчание... лизут сапоги власть имущих, даже если эти сапоги ходят по трупам». Эти соучастники уже «познали вкус крови и потому стали опорой власти». Приводя эту характеристику, К. Манн восклицает: «Лучше я бы и сам не сформулировал!»

Думается, однако, что и эта характеристика неполна. Конечно, образ Хефгена — центральный в романе. И все же идейное содержание «Мефистофеля» шире. В книге поставлена проблема, которую можно было бы кратко назвать «интеллигенция и фашизм».

Очень дотошно прослеживает писатель поведение всех своих героев — а не только Хефгена — «до» и «после», то есть в годы,

предшествовавшие фашизму, и в первые годы после захвата гитлеровцами власти.

Хендрику Хефгену противопоставлен в книге целый ряд образов честных интеллигентов — и Барбара, и Брукнер, и Профессор, и Крое, и Дора Мартин. Однако, при всей явной симпатии автора к этим людям, писатель в соответствии с исторической правдой показывает и их (хоть и невольную) вину перед обществом и перед самим собой. Накануне роковых событий в истории Германии им не хватало гражданственности, политической зоркости, умения отличить главное от второстепенного. Абстрактные споры, литературные несогласия, глубоко личные конфликты — вот что занимало духовную элиту Германии вплоть до самого 1933 года. Организованности реакции противостояла их неорганизованность, круговой поруке — разобщенность, активности — пассивность. В ответ на провокации фашистских молодчиков либерально настроенные интеллигенты в романе либо пожимают плечами, либо пытаются найти им весьма шаткие оправдания. Когда Брукнер, самый умный и значительный из них, произносит свою речь-предостережение, — уже поздно.

Только приход нацистов к власти вывел немецкую интеллигенцию из состояния спячки. В ее среде произошел глубокий раскол — часть ее не приняла систему террора и преступлений, другая часть пошла на службу к гитлеровцам. Все честные персонажи романа «Мефистофель» не колеблясь избирают путь борьбы с фашизмом: и Барбара, и Брукнер, и друг Барбары Себастьян, и Профессор, и Крое. Эти люди в большинстве своем проходят тот же путь, который прошел сам Клаус Манн, путь постепенного политического прозрения. Но не все герои книги, эмигрировавшие из Германии, находят свое место в строю. Писатель Мардер, «запутавшийся в собственном Я», впадает в безысходный пессимизм, опускает руки. Его молодая жена Николетта фон Нибур променяла горький хлеб изгнания на роскошную жизнь в нацистской империи. Бросив Мардера, она сочетается браком с Хефгеном...

Ну, а сам Хефген? К. Манн показывает, что и с этим Мефистофелем Веймарской республики происходит во времена фашизма существенная метаморфоза. И его характер трансформируется. В какой-то степени этот обманщик превращается в обманутого. Правда, самому Хефгену кажется, что он перехитрил нацистов, завоевал их и

использовал для собственных целей. Но он обольщается. В действительности нацисты перехитрили и использовали Хефгена. Для них он становится крупным пропагандистским козырем — на примере Хефгена нацисты пытаются доказать, что творческая интеллигенция, мол, пользуется в фашистской Германии почетом и даже свободой. Однако до духовных амбиций Хефгена, до его актерского честолюбия гитлеровцам нет дела. Фашистская система устроена так, что за каждую привилегию, за каждый «серебрик», за каждый клочок успеха и власти надо платить. И Хефген платит коричневым хозяевам Германии все более жестокими компромиссами не только с собственной совестью, но и с искусством. Искусство и фашизм — несовместимы, говорит в своей книге Клаус Манн. И убедительно показывает это на истории «одной карьеры» — карьеры Хефгена, на истории писателя Пельца, драматурга Цезаря фон Мука. Все они дутые фигуры, все они обречены на творческое бесплодие, на прозябание в антидуховной темнице — в третьей империи.

Впрочем, и здесь Хефген остается верен себе: и при нацистах он пытается перестраховаться, выклянчить у своих покровителей кое-какие поблажки искусству и своим коллегам. Но неинтеллигентные фюреры нацистов куда опытнее многоопытного комедианта. На незначительные уступки они готовы идти, и то только тогда, когда это совпадает с их интересами. Но когда речь заходит о чем-то серьезном, «жирный мясник» выставляет своего протеже Хефгена за дверь. Мефистофель со всей его хитростью воленс-ноленс превращается в мелкого беса, в «шута, веселящего власть, в клоуна, развлекающего убийц».

Вначале мы уже упоминали, что в романе «Мефистофель» есть антипод Хефгена. Это тоже интеллигент, молодой актер коммунист Отто Ульрихс. Пройдя через фашистский концлагерь, Отто Ульрихс продолжает бороться «за создание народного фронта против диктатуры». В то время, как Хеф-

ген, считавшийся другом Ульрихса, пожинает плоды предательства на балах, даваемых Герингом, Ульрихс, схваченный во второй раз нацистами, погибает в застенке. Симптоматично, что заключительная сцена романа — это разговор между Хефгеном и товарищем Ульрихса, антифашистом-подпольщиком. Подпольщик проникает в роскошный особняк Хефгена и говорит ему: «Расскажи своим могущественным друзьям, что Отто за час до смерти передал мне следующие слова: «Я гораздо больше, чем когда-нибудь прежде, убежден в нашей победе». Это было, когда на его теле не оставалось живого места от побоев и когда он с трудом мог говорить, потому что рот его был полон крови». И при этих словах Хефген, этот баловень судьбы и нацистов, впервые чувствует ужас не перед силой, а перед собственной совестью, о существовании которой он даже не подозревал. На сей раз он не притворяется, не играет. Он и впрямь боится. Боится возмездия, суда истории.

В 1936 году К. Манн еще не мог знать того, что тысячи честных интеллигентов, не эмигрировавших из Германии, все же сумели выстоять, отвергли приманки нацизма и втайне вели с ним борьбу. Далеко не все среди них были способны на такой героизм, как Отто Ульрихс. Но и люди менее отважные внесли свой вклад в борьбу с фашизмом. И уж, разумеется, Клаус Манн не мог знать тогда, что многие столпы не только фашистской культуры, но и политики, быстро перекарасившись в демократов, вновь вылезут на авансцену в Западной Германии. Другие писатели, другие люди рассказали нам об этом...

Заслуга К. Манна и его романа «Мефистофель» в том, что он воззвал к высокому долгу интеллигентов на Западе, измерил достойной мерой и их жизнь и их творчество. Думается, что именно поэтому «Мефистофель» и сейчас звучит для нас так, как будто он написан только вчера.

Л. ЧЕРНАЯ.

Политика и наука**ШКОЛА ФРАНЦИИ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ**

Б. Л. Вульфсон. Школа современной Франции. «Педагогика». М. 1970. 319 стр.

Еще недавно книга о французской школе, видимо, привлекла бы внимание лишь относительно узкого круга специалистов. Сегодня эта тема прежде всего невольно вызывает в памяти события драматической весны 1968 года во Франции: забастовка 10 миллионов грядущихся, закрывшиеся школы и университеты, баррикадные бои, горящие машины в Латинском квартале Парижа, юноши и девушки — вчерашние школьники — с булыжниками в руках, а затем избитые в кровь блюстителями порядка и втиснутые в полицейские автомашины. Среди социальных и политических требований, выдвигавшихся рабочими, трудовой интеллигенцией и учащейся молодежью, видное место занимали вопросы глубокого прогрессивного обновления системы народного образования. Проблемы эти вовсе не сняты с повестки дня общественной жизни и не локализируются национальными французскими рамками. Анализ состояния школы Франции и борьбы вокруг путей и перспектив ее развития позволяет нам лучше понять современный западный мир, «молчаливое поколение» которого внезапно заговорило миллионами голосов учащейся молодежи, лучше понять некоторые важные проблемы социальной и культурной жизни капиталистического общества. Система образования Франции наглядно предстала перед нами как чуткий барометр, отражающий общественные контрасты и конфликты, и как механизм, закрепляющий социальную стратификацию и социальное неравенство. Уже поэтому рецензируемая книга одним своим названием, безусловно, привлечет интерес широкого читателя.

Научно-техническая революция и ее глубокие социальные последствия поставили перед Францией новые сложные проблемы. Оказавшись в тисках между традициями и современностью, страна мучительно пытается определить свою роль в этом быстро и неравномерно меняющемся мире. И в этих поисках важное место занимают вопросы образования.

Французская система просвещения, как справедливо отмечает во введении Вульфсон, «объективно играет роль своеобразной

лаборатории, опытного поля, где наглядно проявляются и проходят проверку жизнью новые тенденции развития народного образования в капиталистическом мире. В интенсивно проводящихся во Франции школьных реформах находят так или иначе отражение важнейшие педагогические проблемы, имеющие поистине международное значение: структура общеобразовательной школы и ее «стыки» со специальными учебными заведениями, соответствие содержания образования требованиям научно-технического прогресса, дифференциация обучения, поиски оптимальных путей выявления и развития способностей учащихся, вопросы нравственного и гражданского воспитания молодежи, новые принципы подготовки и деятельности учителей. В развитии школы отражаются свет и тени современной французской общественной жизни, ее контрасты и противоречия, соотношение между старым и новым, между кризисными явлениями и прогрессивными тенденциями. И, пожалуй, ни в одной из крупных капиталистических стран борьба, ведущаяся вокруг школы, не достигает такого накала, как во Франции.

Научный анализ состояния и тенденций развития школы во Франции (как, впрочем, и в других капиталистических странах) сопряжен с большими трудностями методологического характера. Материал огромен и противоречив. Любой исследователь, естественно, стремится пропустить его сквозь призму созданной им концепции. Но последняя может оказаться прокрустовым ложем, куда втискиваются наиболее «удобные» факты, явления и одновременно отсекается то, что противоречит авторской схеме. Ведь материала, с помощью которого можно обосновать так или иначе самые противоположные точки зрения на состояние школы, хоть отбавляй. Некоторые факты и высказывания свидетельствуют об успехах образования, другие, напротив, о его тяжелом кризисе и даже упадке. Видимо, при оценке работ о зарубежной школе можно пользоваться социологическими терминами, то есть говорить о том, насколько репрезентативен привлеченный автором материал,

как отражает он общее и особенное, закономерное и случайное в развитии школы и школьной политики.

Французская система образования и ее важнейшее звено — общеобразовательная школа — является объектом острой критики со всех сторон. С нею выступают не только прогрессивные педагоги и общественные деятели; не скупятся на мрачные краски и государственные руководители и педагоги официального направления. В рецензируемой книге приводится большое число соответствующих высказываний. Вот, например, заявление Ж. Помпиду в бытность его премьер-министром: «Многие полагают, что наша система образования является лучшей в мире. В действительности же она — и особенно система среднего образования — обнаружила неспособность к эволюции и базируется в значительной степени на основах, заложенных иезуитами в XVII в. и лишь несколько измененных в конце прошлого века». А вот мнение видного буржуазного педагога Ж. Мажо: «Французская система образования меняет свой облик. Это все знают, и это всех тревожит, — пишет он. — Родители в замешательстве: они не узнают прежней структуры школы, не узнают лицеев и университетов, в которых когда-то учились. Постоянные изменения и неясные перспективы смущают и волнуют учащихся: они плохо понимают значение своей учебы и не видят, куда она их приведет. Преподаватели в условиях ломки старых традиций недоумевают по поводу реформ, модифицирующих типы учебных заведений, программы, методы обучения; одни с досадой и злобой, другие с сожалением спрашивают себя, чему и как они должны учить».

Такие высказывания, конечно, представляют известный интерес. Нашего читателя может удивить диапазон и эффективная острота самокритики буржуазных педагогов и политиков, а исследователя подстергает соблазн сделать подобные критические оценки основной системой ориентации и именно в этом «ключе» подбирать и интерпретировать материал. Рецензируемая книга привлекает тем, что ее автор не поддался на такой «облегченный» вариант исследования. Принципиальный критический анализ школьной политики буржуазного государства ведется здесь на широком фоне социально-экономических изменений, общественной борьбы, историко-культурных и пе-

дагогических традиций. Б. Л. Вульфсон стремится диалектически вскрыть соотношение положительных и теневых сторон школьной системы, ознакомить читателя с наиболее актуальными проблемами и способами их решений, с деятельностью прогрессивных педагогов — короче, создать многоцветную картину состояния и тенденций развития школы современной Франции. И в значительной мере ему это удалось.

В книге показывается, как в результате социально-экономических изменений, научно-технической революции и необычайного для Франции «демографического взрыва» происходят серьезные количественные сдвиги в развитии просвещения. За пятнадцать лет (1950—1965) общая численность учащихся увеличилась с 6,7 миллиона до 11,1 миллиона, контингенты средних школ — с 540 тысяч до 1350 тысяч. Быстро растет высшее образование: в 1945 году насчитывалось 135 тысяч студентов, в 1965 году — 400 тысяч. На примере Франции видно, что правящие круги капиталистических стран, учитывая объективные требования общественного развития и под огромным давлением демократических сил, вынуждены идти на расширение общего и профессионального образования молодежи. Социальное значение этого процесса трудно переоценить. Однако общий образовательный уровень населения страны остается еще весьма низким. В 1966 году, через восемьдесят с лишним лет после введения закона об обязательном обучении, 25,8 процента самодеятельного населения Франции не имели свидетельств об успешном окончании обязательной начальной школы, 49 — имели только такие свидетельства, полную среднюю школу окончили 4,2, а высшие школы — 1,6 процента взрослого населения.

Автор правильно объясняет это прежде всего наличием тупиковых направлений учебы и искусственных труднопреодолимых барьеров между школами разных типов, при помощи которых буржуазия по-прежнему стремится осуществлять социальную сегрегацию в области просвещения, сохранить свою монополию на полноценное образование, открывающее доступ к ключевым постам экономической и политической жизни. «Государственно-монополистический капитализм, — пишет Вульфсон, — не заинтересован в широком и дальновидном решении проблем развития просвещения. Он пытается установить границы распростра-

нения образования лишь в соответствии с нынешними потребностями капиталистической экономики, с узко понимаемыми конъюнктурными нуждами производства. Это соответственно определяет и прагматический, грубо утилитарный подход к проблемам просвещения со стороны некоторых влиятельных социологов и деятелей просвещения. Народное образование рассматривается ими как своеобразное ответвление экономики, основная и чуть ли не единственная цель которого готовить рабочую силу. Отсюда вытекает недооценка самостоятельной социально-культурной значимости общего образования. Не случайно школьные власти стремятся... ограничить численность учащихся полных общеобразовательных средних школ, ориентировать большинство детей 14—15 лет на обучение, имеющее чисто прикладной характер».

Прогрессивные силы страны, возглавляемые Французской коммунистической партией, противопоставляют технократическим установкам буржуазных властей демократическую альтернативу, стремятся к тому, чтобы все молодое поколение страны получило широкую общекультурную подготовку, подчеркивают, что при определении содержания школьного образования следует думать прежде всего о всестороннем и гармоничном развитии личности. Отмечая, что полная и последовательная демократизация школы возможна лишь в условиях социалистического строя, коммунисты выдвигают вместе с тем программу безотлагательных прогрессивных преобразований системы просвещения. В книге подробно анализируется проект реформы просвещения, выработанный под руководством видных ученых-коммунистов П. Ланжевена и А. Валлона и предлагавший максимум демократических преобразований школы, возможных в условиях буржуазного государства. Значение проекта Ланжевена—Валлона далеко вышло за рамки Франции; многие его черты воспроизводятся в программах по школьному вопросу коммунистических партий ряда стран Западной Европы.

Вульфсон показывает, как борьба за школу между демократическими и реакционными силами органически вписывается в общий контекст бурной социально-политической жизни Франции после второй мировой войны. Многочисленные проекты школьных реформ весьма точно отражали коле-

бания стрелки политического барометра. Усиление левых тенденций в правительстве и парламенте вызывали к жизни более или менее демократические планы перестройки школы, а консолидация сил реакции сопровождалась выдвижением консервативных проектов, имевших целью сохранить классово-иерархический характер системы образования.

В решении собственно педагогических проблем, в изменениях структуры школы, содержания образования, методов учебно-воспитательной работы социально-политическая борьба приобретает форму конфликта между традициями и современностью. Для Франции характерна особая острота этого конфликта. Ведь французская школьная система до последнего времени являлась одной из наиболее традиционных в мире. Поэтому здесь исключительно наглядно выявилось несоответствие школы новым требованиям жизни. С целью его преодоления в последнее десятилетие неоднократно декларировались различные школьные реформы. Буржуазные политики, ученые склонны называть эти реформы «революцией». Термин «революция образования» стал одним из самых употребительных во французском социологическом и педагогическом лексиконе. Вульфсон подробно анализирует школьные реформы, конкретно определяя степень расхождения между декларациями и реальными результатами.

Отмечая глубокие кризисные явления, присущие французской школе, автор вместе с тем не обходит стороной ее положительный опыт. Приведенный им большой фактический материал показывает, что начальная школа добивается несомненных успехов в формировании навыков и умений практического характера, а средняя школа дает учащимся широкий круг общеобразовательных знаний, особенно по предметам гуманитарного цикла; в последние годы ведется большая работа по модернизации содержания естественно-математических дисциплин; некоторые позитивные аспекты имеет дифференциация обучения в старших классах лицея.

Внимание читателя привлекут сведения о том, как организуется профессиональная и учебная ориентация французских школьников. В каждом департаменте функционирует центр ориентации, основная функция которого — помощь в трудоустройстве вы-

пускникам начальной школы, уходящим на производство. Каждый из выпускников обязан получить в таком центре официальное удостоверение, в котором приводятся профессии, вредные для здоровья данного лица, одновременно указываются наиболее подходящие для него виды работы. Это заключение дается на основании беседы, медицинского осмотра, а в ряде случаев — и тестовых испытаний. Значительная работа ведется также по ориентации детей на разные направления учебы. Шестые—девятые классы общеобразовательных школ составляют теперь так называемый «цикл наблюдения и ориентации». В каждом из этих классов создан совет по наблюдению, куда входят преподаватели и представители родителей учащихся; иногда совет привлекает для консультации врача и психолога. Совет собирает сведения об успеваемости ребенка, о его интересах, о поведении в школе и вне ее. В масштабах школы действует под руководством директора совет по ориентации; опираясь на материалы советов по наблюдению, он рекомендует учащемуся тот или иной путь продолжения учебы.

Это, пожалуй, первая в капиталистическом мире (в данном случае я не останавливаюсь на специфике использования этих методов в буржуазном обществе) попытка создать в национальном масштабе единую систему ориентации, основанную на использовании разнообразных средств и методов изучения личности учащихся, определения степени их интеллектуального развития, склонностей и интересов. И различные аспекты этого опыта заслуживают тщательного изучения.

В книге правильно отмечается, что распределение французских учащихся на разные направления учебы и сейчас в значительной мере сохраняет характер социальной селекции. В связи с этим приводится интересный материал, свидетельствующий о том, что хотя во Франции тесты на определение коэффициента умственной одаренности не имеют в отличие от школ США и Англии сколько-нибудь широкого применения, тем не менее механизм социального отбора, который определяется такими факторами, как происхождение, богатство, связи в высшем обществе, «срабатывает» не менее эффективно, чем в англосаксонских странах, обеспечивая формирование буржуазной правящей элиты. К сожале-

нию, автор не делает достаточно четко вывод, напрашивающийся из этого материала: дело не в тестах, против которых в нашей литературе о зарубежной школе нередко направляется весь огонь критики, а в существующей в данной стране системе социальных отношений. Поэтому наличие или отсутствие тестовых испытаний в принципе не меняет и не может изменить сущности отбора. Тесты сами по себе отнюдь не представляют какого-то буржуазного инструмента, они просто инструмент и могут быть эффективно использованы в педагогической практике, если относиться к ним без фетишизма.

Через всю книгу красной нитью проходит анализ того, с каким трудом нововведения вписываются в старые рамки школьной системы, какую поразительную живучесть проявляют некоторые ее вековые традиции. Это и чрезмерная централизация управления народным образованием, и иерархическая система разнотипных школ, совмещающая образовательные различия с социальными. Это и узкоутилитарный характер обучения в начальной школе, и абстрактно-схоластический «интеллектуализм» среднего образования, и другие специфические черты французской системы просвещения, уходящие своими корнями в далекое прошлое, но находящие определенную питательную почву и по сей день.

«Централизация учебной части во Франции,— писал К. Д. Ушинский,— доведена до крайности, и не только одно училище служит вернейшим повторением другого, но все они действуют разом, по команде, как хорошо дисциплинированная рота... Каждый чиновник министерства, взглянув на часы, может сказать с уверенностью, что в этот час во всех гимназиях Франции переводится или разбирается с одними и теми же комментариями (которые также ежегодно определяются министерством) одна и та же страница Цицерона, или пишется десятками тысяч рук сочинение на одну и ту же тему». Эта особенность французской школьной системы, так точно подмеченная выдающимся русским педагогом более ста лет назад, обнаружила стойкую историческую преемственность, она остается характерной и для современной Франции. На ее примере хорошо видно, как бюрократия буржуазного государства стремится жестко и мелочно регламентировать все сферы общественной жизни, недооценивая

или игнорируя бесконечное разнообразие ее форм, стремится строить тот или иной социальный институт в соответствии с искусственно созданными и часто оторванными от жизни линейными схемами. И это делает особенно понятным то, что в такой «тонкой» сфере, как образование, централизация и регламентация не должны быть чрезмерными, а следует оставлять поле для поиска, эксперимента, для творческого развития теории и практики.

Наибольшее внимание в книге уделяется вопросам развития французской средней школы-лицея. И это понятно, поскольку именно данное звено системы народного образования является объектом особенно частых изменений и наиболее ожесточенных споров.

До недавнего времени лицей представлял собой классический образец буржуазной элитарной школы. В последние полтора-два десятилетия число лицейстов значительно возросло, а состав их постепенно теряет свою социальную замкнутость. Но когда школа утрачивает свой элитарный характер, перед ней неизбежно встают новые сложные проблемы педагогического и социального характера. Эти проблемы подробно рассматриваются в книге Вульфсона. Мы познакомим читателя лишь с одной из них, острота которой хорошо понятна не только французам: каковы пути и перспективы, открывающиеся перед выпускниками школы? Применительно к Франции она может быть сформулирована более кратко и определенно «школа и вуз», поскольку там до сих пор традиционно считается, что обучение в лицее — это лишь предварительная подготовка к занятиям в высшей школе. Диплом бакалавра, являющийся свидетельством об окончании лицея, дает право без экзаменов поступить в университет, являющийся основным типом высшего учебного заведения во Франции; число мест на первых курсах факультетов не лимитируется. Такой порядок, сложившийся еще в прошлом веке, создает ныне серьезные затруднения: университеты, так сказать, физически не справляются с приемом все больших контингентов выпускников лицея, да и социально-экономическое развитие страны гребует работников разных уровней

квалификации, а не только специалистов с университетским образованием.

Это противоречие частично разрешается тем, что экзамены на бакалавра очень трудны и выдерживают их далеко не все выпускники лицея: ежегодно около 40 процентов из них терпит неудачу. Что же делать этим молодым людям, проучившимся в общеобразовательной школе двенадцать лет и оставшимся без диплома об ее окончании? Для них закрыты пути и в университет, и ко многим другим видам деятельности, требующим диплома бакалавра. А к практической работе иного типа школа их не подготовила ни по характеру сообщаемых знаний, ни по созданной за много лет учения психологической настроенности. Надо сказать, что школьные власти Франции осознают остроту ситуации. В 1967 году министр просвещения заявил в парламенте: «Когда на выпускных экзаменах терпит неудачу один лицейст, это семейная драма; но когда то же происходит со 100 тысячами лицейстов, это становится национальным бедствием». В то же время университетская профессура бьет тревогу по поводу того, что значительная часть поступающих на факультеты (до 30 процентов) не подготовлена к успешной учебе в высшей школе. Обучение же в университетах носит фактически конкурсный характер, и каждая экзаменационная сессия, особенно на младших курсах, даст большой отсев по неуспеваемости. Такая жесткая селекция обостряет конфликт между ожиданиями, надеждами молодого человека и той социальной реальностью, с которой он сталкивается за порогом школы. И в этом — одна из причин широкого движения протеста учащейся молодежи во Франции.

Издательство «Педагогика» сделало доброе дело, познакомив читателя с проблемами современной французской школы. И очень важно, что оно выпустило книгу, содержащую не только интересную информацию, но и серьезный анализ ряда социологических и педагогических проблем образования. Эта книга еще раз показывает, что критическое изучение зарубежной школы должно составить важное направление научных исследований.

В. ШУБКИН.

НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ О «ХОВАНЩИНЕ»

В. И. Буганов. *Московские восстания конца XVII века.* «Наука». М. 1969. 438 стр.

Петровская реформа, знаменовавшая приступ к «европеизации» России, рождалась в крови и муках. «Начало славных дней Петра мрачили мятежи и казни» (Пушкин). В стране отсталой, крепостнической попытки внедрять новшества сверху, начавшиеся еще до Петра, на первых порах привели к резкому ухудшению положения народных масс, к их дальнейшему закреплению. А в ответ — стихийные народные возмущения, открывшиеся восстаниями 1682 и 1698 годов.

Знаменитая «Хованщина», поставленная в центре книги В. Буганова, издавна привлекала внимание не только историков, но и писателей, художников, композиторов. Наброски Пушкина к неоконченной «Истории Петра», бессмертная опера Мусоргского, потрясающее «Утро стрелецкой казни» Сурикова, яркое описание расправы стрельцов над боярами в Кремле в романе А. Толстого — навсегда запечатали в народной памяти эти бурные события. Две силы — правящая, государственная и народной оппозиции, каждая уверенная в своей правоте, — столкнулись тогда в трагическом противоборстве. И слушая оперу Мусоргского и всматриваясь в картину Сурикова, проникаешься не только сознанием исторической значимости деяний Петра, но и испытываешь глубокое чувство сострадания к русским людям, любыми средствами вплоть до самосожжения борющимся против невиданно тяжелого крепостнического гнета, надвинувшегося на них вместе с реформой.

Реформа Петра возникла не на пустом месте. Она подготовлялась всем ходом исторического развития России второй половины XVII века, выражала насущные потребности страны. Однако о единении народа с самодержавной властью говорить не приходится.

В дореволюционной исторической литературе, особенно среди историков «государственной школы», виднейшим представителем которой был С. М. Соловьев, надолго утвердилось представление о стрелецких восстаниях 1682 и 1698 годов как бессмысленных, кровавых и реакционных бунтах, а о стрельцах как простым орудии Софьи и Милославских. Историки этого направления подчеркивали ненужность борьбы стрельцов, кровожадность восставших. Эта официаль-

ная точка зрения нашла свое выражение в книге Н. Устрялова «История царствования Петра Великого». В рецензии на нее Н. Добролюбов (рецензия эта прошла через руки Н. Чернышевского) подошел к стрелецким восстаниям по-новому. Он сумел, насколько это было возможно в подцензурной печати, показать истоки недовольства стрельцов и независимость их выступления от дворцовой интриги. Сравнивая события 1682 и 1689 годов, когда стрельцы не поддержали регентшу Софью против повзрослевшего Петра, Добролюбов писал: «...сличение этих двух годов — 1682 и 1689 — ясно показывает, что первый бунт стрелецкой был только направлен Софиею, а не произведен ею. Да и вообще не может один — или даже несколько человек — произвести в массах волнение, к которому они не приготовлены, которое не бродит уже в умах их вследствие фактов прошедшей жизни».

О стрелецких восстаниях как народных движениях писал историк-демократ А. Шапов, преувеличивая, однако, при этом роль раскола. Подытоживая свои наблюдения о взаимоотношении стрелецких выступлений с раскольническим движением, он патетически восклицал: «Как живуч был в стрельцах, до последней капли крови, дух восстания, как в кусках обезглавленных тел стрелецких на Кремлевской площади, — по словам очевидца Корба, — долго трепеталась жизнь в ужасающей агонии, так живуч был жизнью раскола стрелецкий дух демократического антагонизма. Он пережил самих стрельцов».

Кардинальный пересмотр подхода к проблеме начался в советской историографии сразу же после 1917 года и продолжался еще в начале тридцатых годов. В работах Н. Покровского, А. Штрауха и других историков, несмотря на ошибочные суждения о «торговом капитале», восстания стрельцов рассматривались как массовые, самостоятельные народные движения, отмечался и присущий стрельцам «мистический царизм», вскрывался социальный смысл движения раскольников. Однако в сороковых—пятидесятых годах произошел по существу, за немногими исключениями (работы Л. В. Черепнина, В. П. Глаголева, А. П. Станевич), возврат к старой точке зрения. Объясняя причины этого рецидива, В. Буганов замечает: «Возвращение в ряде научных работ

последних десятилетий к характеристике стрелецких движений как «реакционных бунтов» в известной степени вызвано сложившейся в эти годы определенной оценкой таких исторических деятелей, как Иван Грозный и Петр I, согласно которой некоторые выступления против политики этих правителей рассматривались как реакционные, консервативные. Нельзя, конечно, забывать и о других факторах — живучести традиций дворянско-буржуазной историографии в изучении этих движений, недостаточной подчас источниковедческой базе».

Книга В. Буганова написана в русле историографической традиции, впервые наметившейся в революционно-демократических кругах, а затем продолженной и развитой на основе марксистско-ленинской теории в советской исторической литературе. Не соглашаясь с теми историками, кто склонен расценивать стрелецкие восстания как «реакционные бунты», он видит в них разновидность городских восстаний, антифеодальных в своей сущности, хотя и довольно сложных как по составу, так и по программным требованиям. Уделив основное место в исследовании московскому восстанию 1682 года, автор не ограничивается описанием наиболее драматических событий, а стремится воссоздать (и довольно удачно) картину движения в целом с февраля по декабрь 1682 года, а также проследить отклики на восстание в стране. Подробно анализируя чрезвычайно сложные перипетии борьбы, в которую оказались втянутыми и придворные группировки, В. Буганов указывает как на сильные, так и слабые стороны движения — его двойственность, противоречивость, наличие различных течений в среде стрельцов, их сословный эгоизм и политическую несознательность.

Свои выводы автор строит на большом печатном и архивном материале. Он использовал неопубликованные разрядные записи, многочисленные акты и другие источники, обнаруженные в различных рукописных собраниях, а также новые повести о восстании 1682 года, из которых две впервые изучены им самим. Эти повести вводят нас в ту демократическую литературную среду, где формировался гневный, краткий и выразительный язык протопопа Аввакума.

Я не буду подробно останавливаться на описании «Хованщины». События, связанные с нею, всем хорошо известны. Я остановлюсь лишь на некоторых моментах, в той

или иной степени освещенных в книге В. Буганова.

Общеизвестно, что стрельцы долгое время находились в привилегированном положении, являлись военной опорой самодержавной власти. Их ратные подвиги на полях сражения отмечались в летописях, сказаниях и других документах со времен Ивана Грозного. Использовались они царской властью и для борьбы с народными движениями. Особой верностью отличались московские стрельцы. Именно они были движущей силой в 1603 году Борисом Годуновым против отважного Хлопка, который во главе восставших крестьян и холопов шел на Москву. Они же обороняли столицу от сермяжной рати И. Болотникова осенью 1606 года, когда их провинциальные собратья то присоединялись к восставшим, то предавали их. Пришедших в 1662 году, во время так называемого «медного бунта», к царю Алексею Михайловичу в Коломенское посадских людей с примкнувшими к ним отдельными стрельцами громили и московские стрельцы, в целом сохранившие верность правительству. Они же вместе с дворянским ополчением подавляли восстание Степана Разина и приводили в покорность астраханских стрельцов, перешедших на сторону мятежного атамана.

Однако на исходе XVII столетия черед испытать тяжесть самодержавного гнета дошел и до московских стрельцов. Формирование полков иноземного строя отрицательно сказалось на их положении. Стрельцам систематически недоплачивали денежное и хлебное жалованье. Чтобы прокормиться, они вынуждены были заниматься ремеслом и мелкою торговлею, сближаясь тем самым с посадским людом. Знаменитая «московская волокита» в судах, произвол и злоупотребления начальства, покупка из скудных личных средств полкового инвентаря — лафетов к пушкам, знамен, барабанов и т. п. — ухудшали их участь. Строгая регламентация жизни в стрелецких слободах, запрещение отлучаться отсюда без разрешения начальства, боязнь перевода на «новый строй» вызвали тревогу и беспокойство. Стрелецкие полковники, привыкшие к бесконтрольности и развращенные привилегиями, под разными предлогами вымогали у подчиненных взятки, несправедливо наказывали, заставляли выполнять на себя различные барщинные работы — пахать пашню в своих деревнях, заготавливать строительные материа-

лы. По приказу полковника С. Грибоедова сто стрельцов из его полка весь великий пост в селе Мячкове ломали камень белый и бутовый, а затем Москвой-рекой на пашу «гнали» его, испытывая мучения «яко невольники на каторгах» (турецких галерах.— В. К.).

Когда насилия и беззакония на земле достигли апогея, на небе возникли грозные знамения. В народе толковали, в частности, о «звезде хвостатой», повернутой хвостом на Московское государство. «Мудрые люди», делая экскурсии во времена тридцатилетней войны в Германии, предсказывали на этом основании «всякое нестроение» и «кровное пролитие многое и междуусобная збыться в Московском государстве: от брани и войны великие...». «Тако же и стрельцов и от солдатов учинилося смятение великое»¹, — записал задним числом русский современник, очевидец восстания.

В апреле 1682 года знамения кончились, начались события. Поначалу они носили мирный характер. Стрельцы подали челобитную на Грибоедова, а затем еще две. Но правительство осталось безучастным к их нуждам.

Смерть 27 апреля царя Федора Алексеевича резко обострила ситуацию. В стране, где закон о престолонаследии отсутствовал, смерть государя приводила зачастую к вспышке борьбы за власть в придворных кругах. Образовывались придворные партии, претендовавшие на первенство. Эта борьба в «верхах» разрешалась относительно безболезненно, пока «низы» были спокойны. Но если они находились в движении, как это было в 1682 году, то кризис приобретал для «верхов» опасный оборот, грозил неожиданными, бурными переменами. Неударом Петр I впоследствии принял закон о престолонаследии, впрочем, так и не укоренившийся в русской государственной практике XVIII столетия. Сам умирающий император смог лишь неверным почерком написать два слова: «Отдайте все...», как перо выпало из его рук. Попытка высказать свою волю на словах также окончилась безрезультатно. В восшествии на престол Екатерины I, жены Петра, впервые решающую роль сыграла дворянская гвардия, без поддержки которой ни один император или

императрица в XVIII веке не могли удержаться на престоле. Дворцовые перевороты, по словам В. И. Ленина, «были до смешного легки, пока речь шла о том, чтобы от одной кучки дворян или феодалов отнять власть и отдать другой»¹.

Не то было в конце XVII — «бунташного» — века, когда вопрос о престолонаследии приходилось решать в обстановке нарастающего движения в стрелецких и солдатских полках. Придворные круги, вступившие в борьбу за власть, недооценили опасность «снизу». Они не понимали, что стрельцы не ограничатся расправой с военным начальством и нанесут удар по правящей верхушке. Более того, партия Софьи и Милославских не прочь была использовать движение стрельцов в своекорыстных целях, чтобы устранить своих противников — Нарышкиных, провозгласивших царем юного Петра, минуя старшего, болезненного Ивана — сына Алексея Михайловича от брака с М. И. Милославской.

А между тем восстание встало в порядок дня. И стрельцы и солдаты, люди военные, знавшие цену жизни, готовились к нему серьезно. На дневных и ночных собраниях они обсуждали свои планы; выработали строгую дисциплину, конспирацию, приняли «заповедь» — непримиримо стоять друг за друга, а предателей карать смертью. Из их среды были выбраны полковые представители — так называемые «выборные», призванные отстаивать интересы «служилых» и руководить движением; выделены агитаторы — «смутьяны», «смутники», которые должны были склонять на сторону стрельцов московских жителей. Органами подготовки восстания стали «мятежные советы» — «круги», наподобие тех казачьих «кругов», какие были у разинцев. Активная роль в движении 1682 года принадлежала астраханским стрельцам, в прошлом участникам восстания Разина, переведенным затем в столицу.

Характерной чертой народных движений периода феодализма является стихийность. Ленин в своей работе «Что делать?», вскрывая на примере начальных шагов рабочего движения диалектику стихийного и сознательного, подчеркивал, что «...«стихийный элемент» представляет из себя, в сущности, не что иное, как зачаточную форму созна-

¹ М. Н. Тихомиров. Записки приказных людей конца XVII в. 1956, т. XII, стр. 448.

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 37, стр. 443.

тельности». Эти «проблески сознательности» В. И. Ленин видел в том, что бастующими рабочими «...выставляются определенные требования, рассчитывается наперед, какой момент удобнее, обсуждаются известные случаи и примеры в других местах и т. д.»¹. В известной мере эти положения В. И. Ленина приложимы как к крестьянским войнам XVII—XVIII веков, так и к движению 1682 года.

Стрельцы и солдаты вышли из повиновения. Они потребовали выдачи полковников на правеж в «начотных деньгах», удержанных в прошлом из стрелецкого жалованья. Рядовые стрельцы начали расправляться с низшими воинскими начальниками — десятниками, пятидесятниками и сотными, называя их презрительно «ушниками» — доносчиками. Их сбрасывали «всенародно» со сторожевых башен — «каланчей» — под восторженные крики собравшихся: «Любо! Любо! Любо!» Участились нападения на кареты бояр, бежавших из столицы в страхе за свои жизни и имущество. Шесть стрелецких полков отказались идти в Казань для усмирения восставших татар и башкир.

Боярское правительство в эти критические дни растерялось. Оно то спешило удовлетворить требования стрельцов, выдавая им «головой» полковников, теряя свои prerogatives, то проявляло чрезмерный оптимизм, преуменьшая опасность. Все надежды возлагались на сильного человека — А. С. Матвеева, спешно возвращенного из ссылки, в свое время уготованной ему И. М. Милославским. Изголодавшийся по власти А. С. Матвеев уже готовил расправу, но стрельцы опередили его.

15 мая стрелецкие и солдатские полки в полном вооружении, с развернутыми знаменами со всех сторон вступили в Кремль. День, выбранный для начала восстания, также свидетельствует о его подготовке заранее. Почти сто лет тому назад — 15 мая 1591 года — агентами Бориса Годунова был убит в Угличе царевич Дмитрий, объявленный затем в 1606 году русской церковью святым. Выступая в день поминовения царевича Дмитрия, стрельцы и солдаты как бы демонстрировали свою решимость не допустить повторения подобного в отношении Ивана, которого Нарышкины якобы готовились извести. Восставшие учинили распра-

ву над наиболее ненавистными правительственными деятелями, список которых, по свидетельству Розенбуша, датчанина, проживавшего тогда в Москве, у них уже имелся.

С военной точки зрения восстание было проведено безупречно. Кремль был занят с ходу, без единого выстрела. Там даже не успели закрыть ворота. Восставшие одержали победу. Столица Русского государства оказалась в их руках. О том, какое впечатление это произвело на современников, красноречиво повествует в своих «Записках» А. А. Матвеев, сын убитого во время восстания А. С. Матвеева. Он сравнивает восстание 15 мая 1682 года с «бунтовой мортирой», из которой «на кровы царского дома» шумно обрушилась «зело ужасная бомба». Стрельцы, выступив против правительства, «такое всей великороссийской империи (надо: «царству». — В. К.) нечаянно великий страх, трепет и ужас нанесли». Но перед победителями сразу же встал вопрос: что же делать дальше? По А. А. Матвееву, стрельцы и солдаты «сделали себя так самовольными, властными, как бы некоторую особую в то время составляли свою республику или Речь Посполитую»¹. Ему вторит Сильвестр Медведев, сторонник Софьи: «И тшахуся безумныи и глупии государством управляти»². А. А. Матвеев не прав, когда усматривает в «полковых кругах» стрельцов и солдат шляхетские сеймики. Он сам ниже говорит о том, что стрельцы действовали «самосудно, кругами собравшись как бы на Дону...». В этих словах проглядывает ненависть дворянина к принципам управления, выработанным донскими казаками в своем, по выражению С. Д. Сказкина, «мужицком государстве».

Но управлять так Россией, которой вот-вот предстояло из царства превратиться в империю, было нельзя. Восставшие разгромили Стрелецкий и Холопий приказы, но вскоре они были вновь восстановлены с той лишь разницей, что Стрелецкий приказ теперь назывался Приказом надворной пехоты. Созданные стрельцами и солдатами органы восстания — «мятежные советы», «круги» — не стали органами управления. Дело

¹ «Записки русских людей». СПб. 1841, стр. 3—10, 18—19.

² С. Медведев. Созерцание краткое лет 7190, 7191 и 7192, в них же содеялся во гражданстве. «Чтение ОИДР». 1894, кн. 4, стр. 57—58.

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 6, стр. 29—30.

в том, что восставшие и не ставили перед собой непосредственной задачей захват и осуществление верховной власти. Победив, они не нашли ничего лучшего, как передать власть в руки «хорошей царевны» Софьи и «хорошего боярина» И. А. Хованского.

В книге дан яркий исторический портрет Софьи, женщины властной, умной и дальновидной, хорошо разбиравшейся в политической игре, умеющей не только наступать, но и отступать, лавировать, наращивать силы, чтобы в решающий момент оказаться сильнее своего противника. И. А. Хованский охарактеризован как беспринципный авантюрист, не лишенный ни личной храбрости, ни известной широты натуры, но человек в целом пустой, склонный к демагогическим жестам и фразе, вполне оправдывавший свое прозвище Таратуй — пустозвон, пустомя.

Плоды победы стрельцов и солдат были закреплены в жалованной грамоте от 6 июня, которой предшествовала подача челобитной от имени всех московских служилых людей по прибору и московских посадских людей. Вопрос об участии посадского населения Москвы в движении стрельцов является одним из наиболее сложных. Отмечая сочувствие простых москвичей действиям стрельцов, автор правильно указывает на то, что «вместе с тем данные источников не дают возможности сделать вывод об активных выступлениях социальных низов столицы в это время. Конечно, ведущей, движущей силой восстания явились стрельцы и солдаты, хорошо вооруженные и обученные». Соответственно с этим на первый план выдвинулись интересы «служилых», которые требовали увеличить себе жалованье, упорядочить несение службы, прекратить злоупотребления начальства. Стремясь улучшить свое положение, стрельцы проявляли сословный эгоизм, ибо деньги для раздачи им должны были собираться прежде всего с крестьян и с посадских людей. Выдвигая ряд общих требований о соблюдении законности и пресечении «московской волокиты» в судах, отвечавших интересам и посадских людей (о правде, справедливости как главном государственном достоянии писал впоследствии в своей книге «О скудости и богатстве» Посошков), стрельцы возлагали на них дополнительные тяготы по сбору налогов и «стрелецкого хлеба».

Стрельцы хотели лишь избежать надвигавшегося на них крепостничества. Тем са-

мым они ставили ему предел, ограничивали сферу его применения, но вопрос об уничтожении крепостного права или хотя бы смягчения его для других категорий населения ими даже не ставился.

Отношения с демократическими слоями московского населения были осложнены непоследовательностью и политической недальновидностью стрельцов во время движения раскольников. Буганов берет раскольническое движение в столице в момент его наивысшего проявления. Однако оно имело свою предысторию. Как показал В. И. Малышев, еще в январе 1681 года, более чем за год до начала брожения в стрелецких и солдатских полках, московские раскольники под влиянием «грамоток» протопопа Аввакума, разбрасывавшихся на Ивановской площади в Кремле, ворвались в Архангельский и Успенский соборы, усыпальницы царей и патриархов, и начали марать гробы адептов новой веры¹. Обнаруженные в Центральном государственном архиве древних актов В. С. Румянцевой «распросные речи» сына Аввакума Афанасия (они публикуются в журнале «Советские архивы») подтвердили содержащееся в позднейшем «изъявлении» синода утверждение, что именно этот призыв к активным действиям и послужил причиной казни неистового протопопа. Новые наблюдения и находки рисуют Аввакума как непримиримого бунтаря, до конца сохранившего боевой дух и мужество.

Продолжателем аввакумовской традиции в раскольническом движении летом 1682 года выступает отец Сергей, в миру нижегородский посадский человек Семен Иванович Крашенинников². Исследовательскую работу в этом направлении следовало бы продолжить. Важно отметить, что в волнениях на Ивановской площади в Кремле в 1681 году участвовали, как установил еще С. М. Соловьев³, московские ремесленники, те «простые мужики», которые, по отзыву С. Медведева, в 1682 году собирались на Красной площади и агитировали за старую

¹ См. В. И. Малышев. Новые материалы о протопопе Аввакуме. «ГОДРЛ», т. XXI, М.—Л. 1965, стр. 334—345.

² См. П. С. Смирнов. Внутренние вопросы в расколе в XVII веке. СПб. 1898, стр. XXIX—XXXII, прим. 42.

³ См. С. М. Соловьев. История России с древнейших времен, книга VII. М. 1962, стр. 243.

веру¹. Расколоучители требовали «при» (диспута) с патриархом и церковными властями среди народа на Лобном месте, но их удалось уговорить на диспут в Грановитой палате. Когда вожди раскольников 5 июля вышли к Кремлю, их окружало «множество народа» и слышались удивленные возгласы: «Не толсто-де брюхо-то у них, и не как нынешние нового завета учителя». Стрельцы сначала поддержали раскольников, но затем предали их. Предводитель раскольников Никита Пустосвят был казнен 11 июля, а другие его соратники разосланы по городам в тюрьмы. Такая позиция стрельцов по отношению к холопам и раскольникам приводила их к самоизоляции.

Важным фактором, ослаблявшим движение, являлась социальная рознь среди самих стрельцов. Она выявилась уже в ходе подготовки восстания (одни стрельцы отказывались присягать Петру, другие — присягали; семь стрельцов предупреждали А. С. Матвеева о готовившемся восстании), в дальнейшем же она усилилась и приняла форму деления на «умеренных» и «радикалов». С удовлетворением челобитья и выдачей жалованной грамоты от 6 июня большинство стрельцов успокоилось. В дальнейшем главными двигателями движения стали стрельцы, связанные с раскольниками, а после разгрома последних — так называемые «новые стрельцы», записавшиеся в стрелецкие полки из холопов, крестьян, провинциальных стрельцов. Характерно, что посадские люди в стрельцы даже тогда, когда они одержали победу, не вступали. Между тем во время восстания Болотникова посадские люди стремились записаться в служилые люди по прибору, чтобы избыть тягло, и правительство Михаила Федоровича не без труда возвращало их в прежнее состояние. Так сильно ухудшилось с тех пор положение стрельцов, пушкарей, затинщиков и других категорий «служилых».

Челобитье, поданное 16 августа четырьмя тысячами стрельцов, выходцев из дворцовых крестьян, с требованием увеличить жалованье вызвало кризис. Софья уже во время «при» с раскольниками 5 июля угрожала покинуть столицу, но не исполнила своего намерения из-за встречной угрозы стрельцов постричь ее в монахини. Теперь, освоившись и укрепив свои позиции, она

решилась на этот шаг. Царский двор переехал из Москвы сначала в Коломенское, а затем в Воздвиженское, куда стало стягиваться дворянское ополчение. В своих действиях Софья до некоторой степени следовала примеру Ивана Грозного, который, столкнувшись с неповиновением ему со стороны боярства и высшего духовенства, а по свидетельству Г. Штадена, даже с «мятежом», уехал с двором из Москвы в Александрову слободу, собрал там дворянское войско и учредил опричнину. Почувствовав силу, Софья вызвала в Воздвиженское И. А. Хованского и казнила его там. Вместе с ним были вероломно казнены тридцать семь стрелецких «выборных», и в числе их А. Юдин и Б. Одинцов, руководители стрельцов. Движение было обезглавлено. Через некоторое время стрельцы капитулировали.

Историческое значение восстания 1682 года состоит в том, что впервые в истории России массовая военная сила, призванная поддерживать правительство, выступила против правительства, одержала верх над ним и на некоторое время поставила его под свой контроль. Вместе с тем выявились и характерные черты слабости, присущие и другим народным движениям на Руси периода феодализма, — стремление удовлетворить свои ближайшие нужды, наивный «монархизм», доверчивость к «хорошим» правителям. Ведь появлялись же «воровские помещики» из крестьян и холопов во время первой крестьянской войны, называли разинцы отдельных московских бояр «добрыми», поскольку они «кормили и понли» их, когда они в составе казачьих станиц приезжали в Москву, а Пугачев раздавал своим приверженцам графские титулы. Выступление против власти и надежда получить требуемое из ее же рук, расправа с боярами и боязнь последующей кары, решительные действия и стремление облечь их в легальные «царистские» формы, призывы к единству и отсутствие его на деле — эта роковая двойственность пронизывает все движение 1682 года от начала и до конца.

В исторической литературе много писалось о кровавых расправах и зверствах стрельцов. Однако приведенные в книге Буганова факты показывают, что стрельцы, расправившись довольно жестоко примерно с двумя десятками «изменников», от которых годами терпели издевательства и унижения, утолив жажду мести, затем прекра-

¹ См. С. Медведев. Созерцание краткое, стр. 76—77.

тили казни, пощадили других бояр, назначенных к «убиению», а за убитого по ошибке Ф. П. Салтыкова (его приняли за ненавистного И. К. Нарышкина) просили прощение у его отца. Эти действия стрельцов в 1682 году не идут ни в какое сравнение с теми ужасами и массовыми казнями, которыми сопровождалось подавление разинского восстания, когда под топор палача и на виселицы были посланы десятки тысяч повстанцев, или с розыском и страшною стрелецкою казнью, последовавшими за разгромом стрелецкого восстания в 1698 году. По приказу Петра тогда из четырех тысяч восставших стрельцов было казнено свыше двух тысяч, а остальные после мучительных пыток заключены в тюрьмы. Повторно пытаемым задавались вопросы о причастности Софьи к восстанию, составленные Петром. Эти вымученные показания насторожили уже Добролюбова. Он предлагал сделать материалы этого сыска «предметом юридического исследования», чтобы выяснить вопрос: должен ли историк отдавать предпочтение первоначальному записательству стрельцов или последующим их показаниям о Софье как вдохновительнице восстания, данным под повторными, наиболее изощренными пытками? При этом Добролюбов обращал внимание на известный факт, что «признания, сделанные под пытками, нельзя считать слишком надежными».

Сам царь рубил головы стрельцам, заставляя делать то же и своих приближенных.

★

СУХОЖИЛИЯ НА ПЯТКАХ

Лотта Гернбек. На неисследованном Мадагаскаре. Сокращенный перевод с немецкого Ю. Котлярского. «Мысль». М. 1969. 112 стр.

Нет сомнения, что сочинение Лотты Гернбек, несмотря на стотысячный тираж, на прилавках книжных магазинов не залежится. Интригующее название. Красная обложка с фигурой обнаженного «дикаря». Издательская рубрика «Путешествия. Приключения. Фантастика». Многообещающее начало «Послесловия»: «Мадагаскар часто называют загадочным островом. Надо сказать, что это название вполне обоснованно». И наконец, своеобразное «свидетельство о качестве», сообщающее, что «книга подготовлена к изданию при участии Института этнографии Академии наук СССР». Все это призвано убедить и любознательного читателя, и специалиста, что вниманию реко-

Но не все стрельцы были сломлены обрушившимися на них пытками и ожиданием страшной казни. На обеде у Гордона Петр возмущался дерзостью одного стрельца, который, готовясь лечь на плаху, сказал стоявшему рядом царю: «Посторонись, государь! Я должен здесь лечь».

Жаль, что в книге не произведен подробный разбор богатой историографии вопроса. Ссылка на статью автора, опубликованную в журнале «История СССР» (№ 2, 1966) и на его докторскую диссертацию для широких кругов читателей не восполняет пробела. Такой разбор можно было бы сделать за счет большей сжатости изложения в ряде мест. Книга только бы выиграла, если бы автор обстоятельнее охарактеризовал эпоху, в которую происходили стрелецкие восстания, когда усиливался крепостной гнет, складывался русский абсолютизм, но и начинался, по словам В. И. Ленина, «новый период русской истории» и в недрах крепостнического общества зарождались буржуазные элементы.

В книге В. Буганова на большом фактическом материале, во многом впервые введенном в научный оборот, выяснена социальная природа стрелецких восстаний конца XVII века, завершивших «бунташный» век и предвосхитивших еще более грандиозные народные возмущения нового XVIII века.

В. КОРЕЦКИЙ.

мендуется нечто заслуживающее внимания.

Появлению книги австрийского этнографа Лотты Гернбек в Австрии и ФРГ предшествовала громкая шумиха. Многие газеты и журналы всюду расписывали подробности «отважной исследовательницы, прошедшей немало трудных дорог, не раз рискувавшей жизнью, чтобы проникнуть в труднодоступные районы Мадагаскара», которая «оказывалась не только первым представителем науки, но и вообще первым человеком из Европы, первым «белым», посетившим многие местности острова».

Действительно, книга «На неисследованном Мадагаскаре» полна описаний всякого рода опасностей, выпавших на долю «от-

важной исследовательницы» (хотя в тех районах Мадагаскара, где была Гернбек, опасностей не больше, чем в окрестностях Вены), ее похождения среди «туземцев» с луками, копьями и стрелами, крокодилов, колдунов, знахарей и даже «жрецов». Словом, сочинение изобилует всеми атрибутами западного приключенческого романа «про дикарей».

Главное научное «открытие», составляющее цель путешествий Гернбек,— это внезапное обнаружение полуполюгендарных первооткрывателей Мадагаскара—вазимба,— не выдерживает никакой критики. Проблема вазимба является одной из сложнейших из многих сложных проблем истории Большого острова. Ее исследованию были посвящены многие экспедиции европейских и малагасийских ученых; литература по данному вопросу насчитывает десятки наименований научных трудов историков, лингвистов, этнографов. До всего этого Гернбек дела нет. Приехав на Мадагаскар, она основывается на сведениях людей, к науке, весьма развитой на Мадагаскаре, никакого отношения не имеющих, и довольно легко и просто обнаруживает загадочных вазимба. Путешественнице и невдомек, что она оказалась попросту жертвой недоразумения. Жители определенного района острова нередко присваивают себе наименование «вазимба» с целью престижного воздействия на соседей, ибо у простых крестьян-малагасийцев вазимба ассоциируются с могущественными мифическими существами-лесовиками. Современные малагасийские писатели, Арсен Рацифехера, например, отмечают этот факт в своих произведениях.

Впрочем, о степени научной подготовки Гернбек нетрудно судить хотя бы по тому, что она ничтоже сумняшея повторяет давно разоблаченные выдумки колонизаторов об имперской роли «рабовладельцев» мерна — наиболее многочисленной этнической группы малагасийцев.

Сомнительно и утверждение, будто «исследовательница смотрит на малагасийцев не как на «объект изучения», но воспринимает их с глубокой симпатией и уважением». Обезопасив себя многократными оговорками, Гернбек усердно отмечает отрицательные, уродливые черты малагасийской действительности; у читателя невольно воз-

никает представление, что малагасийцы нечистоплотны, ленивы, злы, неумны, часто даже негостеприимны; горожане же избалованны и ленивы. Только у знакомого колониста-немца на вилле (которую тот, конечно, «построил своими руками всего лишь с одним помощником-малагасийцем») находит Гернбек подлинный уголок рая.

Не случайно выход книги Гернбек в Европе вызвал ряд критических откликов в малагасийской национальной прессе и, в частности, в известной прогрессивной газете «Имунгу вауау».

Что еще сказать о книге «На неисследованном Мадагаскаре»? Неискушенному читателю она даст, конечно, превратное представление о Мадагаскаре и его жителях. А читатель искушенный убедится, что даже издательство «Мысль» может, к сожалению, выпустить иногда сочинение не только без квалифицированного научного редактирования, но и без достаточного редактирования литературного.

Иначе как можно объяснить такое: «Большую часть стада крупного рогатого скота на юге и западе Мадагаскара составляют быки»; «пролом черепа... предоставляют лечить природе», разбойники «перерезают им на пятках сухожилия».

Автор «Послесловия» Д. Дридзо справедливо замечает, что «географической и этнографической литературы о Мадагаскаре, особенно популярной, у нас пока издано очень мало». Действительно, подобных книг можно насчитать не более десятка (однако вовсе не «только одну книгу — путевые заметки польского путешественника А. Фидлера», как утверждается в послесловии). А между тем у нас в Советском Союзе немало специалистов по истории, экономике Мадагаскара, есть и знатоки малагасийского языка. Пять исследователей защитили по темам, связанным с Мадагаскаром, кандидатские диссертации. Советские ученые своими работами известны на Мадагаскаре и в научных кругах, и широкой малагасийской общественности.

Зачем же понадобилось издавать переводную книгу, дающую искаженное представление о стране?

Л. КОРНЕЕВ,

член-корреспондент

Малагасийской академии.

О СОЗДАНИИ ЛЕНИНСКОГО СЛОВАРЯ

В связи с обсуждением на страницах журнала¹ вопроса о создании фундаментального Ленинского словаря считаю необходимым рассказать о той работе, которая была начата полтора года назад в лаборатории семиотики Горьковского научно-исследовательского института прикладной математики и кибернетики (НИИ ПМК).

В нашей лаборатории созданы программы для отечественной электронной вычислительной машины БЭСМ-ЗМ для получения частотного словника, словоуказателя и словарного каталога. Первый эксперимент был проведен по тексту восемнадцатого тома Полного собрания сочинений В. И. Ленина («Материализм и эмпириокритицизм»). За тридцать часов машина составила необходимый словарь, в котором были учтены все использованные В. И. Лениным в этой работе слова, подсчитана их употребительность и даны все предложения с указанием страниц, на которых встретилось данное слово. Естественно, что полученный на машине словарь по объему в несколько раз превзошел первоначальный текст.

В дальнейшем работы по созданию Ленинского словаря были продолжены. При участии философов и лингвистов Горьковского университета на том же материале подготовлен экспериментальный словарь-каталог философских терминов. Подобные словари в дальнейшем необходимо создавать, видимо, и по другим разделам общественных наук (политика, экономика и т. д.).

Техника составления специализированного философского словаря оказалась уже иной. Предварительно философы и лингвисты произвели разметку текста и выделили философские термины и терминологические сочетания, которые использовал Ленин, а также соответствующие контексты, которые поясняли смысл и значение каждого терми-

на. Объем таких контекстов различен — от одной фразы до нескольких предложений. Философские термины, которые Ленин брал у других авторов, сопровождалось соответствующими ссылками. После этой подготовительной работы вся сложная разметка также была заперфорирована и введена в память машины. В дальнейшем ЭВМ решила задачу с учетом дополнительной информации и выдала черновой вариант специализированного словаря-каталога, который затем тщательно редактировался и проверялся специалистами.

В настоящее время подготовлен к печати первый выпуск словаря (буквы от А до З) и близки к завершению оставшиеся два выпуска.

Готовить Ленинский словарь, да еще с помощью машины, — дело сложное. Уже позади дискуссии о том, что может сделать машина, что собой представляет философский термин и терминологическое сочетание, как относиться к словам-околотерминам, каким критерием руководствоваться при выборе минимально необходимых контекстов, иллюстрирующих употребление терминов. Эти и другие вопросы приходилось коллективно решать, подготавливая словарь. Постепенно вырабатывалось взаимопонимание между математиками, лингвистами и философами. Попутно шла взаимная учеба. В результате сложился дружный коллектив. Работа над Ленинским словарем захватила всех. Интересно, что предварительный материал этого словаря использовался с большим успехом в практике преподавания философских курсов в Горьковском университете.

У составителей словаря большие планы. Хотелось бы подробнее узнать, как за выполнение задачи взялись коллеги из Германской Демократической Республики, которые начали создавать подобный словарь языка К. Маркса и Ф. Энгельса. Впереди

¹ «Новый мир», № 9, 1969; № 1, 1970.

составление полного философского словаря-каталога Ленина. Уже сейчас следует продумать, как будут подготавливаться словари по другим разделам общественных наук.

Ленинский словарь — это своеобразная поисковая система. В настоящее время разрабатываются автоматизированные информационно-поисковые системы для целого ряда отраслей. В таких же системах нуждаются и общественные науки, для которых совсем недавно создан свой информационный институт. Опыт разработки Ленинского словаря-каталога, заданная в нем система ключевых слов — философских терминов — все это может быть использовано при создании информационного языка, с помощью которого можно будет записывать основное в содержании философских работ, создавая их поисковый образ.

И теперь нельзя не сказать о людях, ко-

торые создавали Ленинский словарь. Для них машина выступала лишь в качестве высокопроизводительного помощника. Они задавали машине программы работы, размечали текст и тщательно редактировали материалы, полученные из машины. Это старший научный сотрудник В. В. Бородин, который разработал программы для ЭВМ, профессор Горьковского университета Б. Н. Головин, ответственный редактор словаря, доцент философ В. И. Фомин, кандидат философских наук С. П. Макарычев, кандидат филологических наук В. А. Гречко, многие научные сотрудники, а также лаборанты, которые проводили всю значительную черновую и проверочную работу, без которой не был бы подготовлен словарь.

В. АГРАЕВ,

*зав. лабораторией НИИ ПМК,
руководитель-организатор работ
по Ленинскому словарю,*

Горький.



КОРОТКО О КНИГАХ



ЛИДИЯ МЕДВЕДНИКОВА. Шуга. Рассказы. «Московский рабочий». 1970. 160 стр.

В предисловии к первому сборнику рассказов Лидии Медведниковой «Шуга» Анатолий Приставкин, который познакомился с ней много лет назад на строительстве Братской ГЭС, где она работала геологом (домик геологов стоял на месте нынешнего моря), — пишет, что у Л. Медведниковой «все начиналось с дальних геологических троп в белой тундре, на Севере и в тайге».

Что ж, хронологически, вероятно, так и было. Первый выход в большую жизнь, сибирские просторы, гигантские масштабы стройки... Они ошеломляют. Не о них ли, естественно оттеснивших в воображении начинающего автора скромную приокскую деревушку, откуда она родом, и писать! И она писала рассказы, очерки, зарисовки, корреспонденции. Их печатали журналы, ее лирические песни исполнялись по московскому радио...

Но когда читаешь лишь сейчас вышедший первый сборник рассказов Л. Медведниковой, понимаешь, что все-таки «начиналась» она не «с дальних геологических троп в белой тундре», а именно в этой скромной приокской деревушке. Речь идет, разумеется, не о хронологическом начале, а о корнях, о происхождении литературного дарования. Деревенские рассказы Л. Медведниковой безусловно сильнее ее рассказов о Сибири, не трудно объяснить их более позднимписанием, когда мастерство молодой писательницы окрепло. Но это лишь частичное объяснение. (Кстати, и автор предисловия пишет, что ему всего милее ее деревенские рассказы.) Дело в том, что лучшее, что есть в сибирских рассказах Л. Медведниковой, может быть, даже неосознанно для самого автора, питается ее первоначальными деревенскими впечатлениями. Это сказывается в мягком акварельном письме, каким описывается бескрайняя студеная тундра, и таежную глушь она видит как бы сквозь приокские светлые леса. В самой же сквозной основе этих рассказов, как правило, лежит какое-либо происшествие, пойманное бойким корреспондентским карандашом, — летчик, который, сам того не подозревая, рисковал жизнью, вывозя груз весом много выше положенного (новелла «Я у мамы единственный»), или девушкака-

хирург, малодушно отказавшаяся переправиться на тот берег Ангары к больной, потому что по реке шла шуга (рассказ «Шуга»). Подобные «случаи из жизни», будучи сами по себе достаточно примечательными, скорее пересказываются писательницей, нежели художественно исследуются, и потому выглядят они информационными, хроникальными — не более того.

Но вот Л. Медведникова возвращается в деревню — и тут ее письмо обретает уверенность, наполненность и цельность. Рассказы цикла «Доктор Бельшев и другие» не столько интригуют, сколько ненавязчиво погружают читателя в атмосферу ежедневной деревенской жизни, где содержательна, хотя и буднична каждая мелочь. Старуха, благословляющая постояльца-доктора на его ежедневный обход («Доктор Бельшев»); другая старуха, бойкая, любящая выпить, знающая в лесу каждый куст и целебное значение каждой травы («Колдунья»); одинокая вдова Анна, уже сорок лет скрывающая свою любовь к объездчику Чупину, а на поверхности жизни — так себе, немудрящая женщина, которая отличается лишь тем, что носит постоянно очки и содержит «удалую тройку» коз — все с одним именем Зорька («Объездчик»). Характеры и судьбы обрисовываются писательницей деликатно и в то же время очень отчетливо. В лучшем рассказе сборника «Ручьи» тонко написаны чувства безропотного, но поэтичного Митяни, образ его сливается с весной. Ежегодно, скрывая и стесняясь, ходит он в лес слушать ручьи. «Митяня прислушался. Там, внизу, будто кто пил воду крупными глотками, время от времени переводя дух. «Большой ручей», — подумал Митяня, но спускаться к нему не стал, а медленно побрел вдоль склона, стараясь не шуметь ногами и то и дело останавливаясь и прислушиваясь. И вдруг будто дужка от ведра звякнула, еще раз, еще! Митяня пошел на этот звук и оказался возле согнутой пополам березы...»

К раскрытию серьезных характеров, к значительности содержания писательница стремится сейчас без поспешных рычков. Постепенно, изнутри начинает она подходить к исследованию тех крупных свершений, свидетелем которых оказалась в свои годы.

С. Григорьева.

П. ВИНОГРАДСКАЯ. Женни Маркс. Документальная повесть. «Мысль». М. 1969. 400 стр.

Книга П. Виноградской о Женни Маркс — женщине удивительной судьбы, одной из первых коммунисток, жене и друге Карла Маркса — была издана впервые в 1931 году. Впоследствии книга была переработана и переиздана и полюбилась читателю. Она переведена на ряд иностранных языков. Рецензируемое издание — пятое. По существу это заново написанная книга. Она дополнена новыми материалами, обогащающими наши знания и представления о жизни не только Женни Маркс, но и Маркса, Энгельса, всех членов семьи Маркса, людей, окружавших их, ставших первыми марксистами.

Женни Маркс, нашедшая в себе силы поврать с аристократической средой (она была дочерью барона фон Вестфалена), навсегда связала свою жизнь с жизнью Маркса и разделила, по словам Энгельса, «участь, труды и борьбу своего мужа... с величайшей сознательностью и с пламенной страстью». Верная соратница Маркса, его помощница и советчик, его ученица, она была и одним из первых читателей и критиков его работ, неустанным переписчиком его рукописей — как известно, у Маркса был своеобразный и неразборчивый почерк. На склоне лет Женни призналась, что те часы, которые она провела за разбором и переписыванием рукописей Маркса, были счастливейшими в ее жизни. Дочь Маркса и Женни — Элеонора, ставшая активным деятелем английского и международного рабочего движения, писала: «Не будет преувеличением, если я скажу, что без Женни фон Вестфален Карл Маркс никогда бы не мог стать тем, чем он был». Женни была моральной опорой Маркса на протяжении их сорокалетней, полной трудностей и невзгод и в то же время счастливой и яркой жизни. После смерти Женни (Маркс пережил ее всего на пятнадцать месяцев) он писал Энгельсу: «...было бы ложью не признать, что мои мысли большей частью поглощены воспоминаниями о моей жене, которая неотделима от всего того, что было самого светлого в моей жизни».

Мы видим Женни — заботливую мать, прекрасную воспитательницу своих детей; приветливую, радушную хозяйку дома, в котором постоянно бывали представители революционного и общественного движения разных стран мира. В главе «Женни-литератор» (эта глава новая, подготовленная для пятого издания) Женни выступает как блестящий, тонкий литератор и публицист.

Книга написана на большом документальном материале. Многие впервые введены в научный оборот П. С. Виноградской. Биографии Маркса, Энгельса, Женни, события жизни которых так тесно переплелись, что разделить их невозможно, показаны автором на широком историческом фоне. Революционные события тридцатых—

сороковых годов XIX века, в обстановке которых складывались общественные идеалы молодежи, формировали их характеры; события революции 1848—1849 годов, подъем рабочего и национально-освободительного движения пятидесятых—шестидесятых годов, борьба Маркса и Энгельса за солидарность и интернационализм рабочих разных стран, деятельность I Интернационала, история Парижской коммуны... Эти и другие важнейшие события истории XIX века показаны автором во всей их значимости, с большим мастерством историка и писателя, умеющего доступно и просто сказать о самом сложном.

Книга показывает, как неразрывно связана жизнь Маркса, Энгельса, Женни с судьбами международного рабочего движения. В годы I Интернационала и Парижской коммуны Женни вела огромную ответственную переписку, зачастую не только как «секретарь» Маркса. В письмах ее — глубокие, самостоятельные оценки политических событий. Она переписывалась с такими выдающимися представителями революционного движения, как Зорге, Либкнехт, Беккер, Вольф, Франкель... Материалы этого периода в данном издании значительно пополнены и выделены в специальную главу «Годы Интернационала».

Особый интерес в связи со столетием со дня рождения Ф. Энгельса имеет глава «Энгельс — друг семьи», где с большой теплотой и исторической достоверностью рассказано об Энгельсе, об общем деле, которому посвятили себя Маркс и Энгельс, о дружбе их, которая, по словам В. И. Ленина, превосходит все самые трогательные сказания древних о человеческой дружбе, а также об огромной привязанности и чувстве товарищества, которые связывали Энгельса с Женни и дочерьми Маркса. Показан Энгельс — революционер, великий теоретик, человек величайшей силы воли, отважный и стойкий и в то же время добрый, жизнерадостный, скромный, во всем своем личном обаянии. Рассказано о постоянной материальной поддержке, которую оказывал Энгельс семье Маркса и без которой Маркс не смог бы создать того, что он создал, в том числе «Капитала». «Только тебе обязан я тем, что это стало возможным!» — писал Маркс Энгельсу, окончив работу над первым томом «Капитала». Без помощи Энгельса в условиях тяжелой нужды в эмиграции Маркс с семьей не смог бы прожить. Тепло и проникновенно рассказано о том, как Женни и Энгельса объединяла забота о Марксе.

Интересны также приложения к книге: письма Женни Маркс и речь Энгельса на могиле Женни. Эту речь Энгельс закончил словами: «Если существовала когда-либо женщина, которая видела свое счастье в том, чтобы делать счастливыми других, — то это была она».

О. Воробьева.



И. С. ТУРГЕНЕВ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННОКОВ. В двух томах. «Художественная литература». М. 1969, т. I, 582 стр.; т. II, 592 стр.

Двухтомник воспоминаний о Тургеневе, вышедший в известной серии литературных мемуаров, подводит итог многолетним изысканиям библиографов, литературоведов, историков. Еще в 1915 году С. Петрашкевич (участница известного тургеневского кружка Н. Пиксанова) напечатала библиографию воспоминаний о Тургеневе, насчитывавшую 132 названия.

В последние годы сделано особенно много в выявлении, публикации и комментировании мемуаров о Тургеневе. Достаточно назвать два тургеневских тома «Литературного наследства», несколько выпусков «Тургеневских сборников», которые явились своеобразными спутниками к академическому собранию сочинений и писем писателя. Для сравнения стоит упомянуть, что напечатанная недавно (в т. 76 «Литературного наследства») библиография воспоминаний о Тургеневе уже почти в три раза превышает библиографию Петрашкевич. А между тем и новейшая библиография не учитывает многие иностранные источники.

Из всего этого богатства материалов черпали составители рецензируемого двухтомника С. Петров и В. Фридлянд, отбирая наиболее интересные и достоверные воспоминания.

Для понимания Тургенева мемуаристика имеет особенно большое значение, что объясняется и чисто субъективными свойствами личности писателя, и его местом в русской литературной и общественной жизни. С его широкими интересами, острым умом, в высшей степени отзывчивым характером Тургенев не раз оказывался в центре столкновения самых различных людей и интересов. Об этом хорошо писал такой точный и обстоятельный мемуарист, как П. Анненков: «После 1850 года гостиня его (Тургенева) сделалась сборным местом для людей из всех классов общества. Тут встречались герои светских салонов, привлеченные его репутацией возникающего модного писателя, корифеи литературы, готовившие себя в вожак общественно-общественного мнения, знаменитые артисты и актрисы, состоявшие под неотразимым эффектом его красивой фигуры и высокого понимания искусства, наконец ученые, приходившие послушать умные разговоры светских людей... Между всеми его гостями не редкость была найти людей без имени, никому не известных и отличавшихся своей сдержанностью. Тургенев дорожил ими столько же по крайней мере, сколько и теми, которые носили громкие имена в литературе и обществе». Само собой разумеется, что многие из этих столь разных собеседников и оппонентов Тургенева со своих позиций отразили личность писателя, и пересечение их точек зрения помогает нам сегодня увидеть эту личность отчетливее и выпуклее. Я уже не говорю о чисто литературных сведениях: воспомина-

ния дают нам очень много для понимания творческих замыслов Тургенева (например, истории создания «Отцов и детей» или сюжетов последних неосуществленных его произведений), манеры его письма, техники работы и т. д.

Огромный материал двухтомника разбит на ряд разделов, последовательно отражающих жизненный и творческий путь писателя: «В семье», «Молодость Тургенева. Круг «Современника», «И. С. Тургенев в шестидесятые годы» и т. д. В особый раздел выделены воспоминания иностранных писателей, артистов, общественных деятелей; материалы этого раздела помогают представить широкую картину культурных связей России с западноевропейскими странами, — связей, для укрепления которых Тургенев, как известно, сделал очень много.

Словом, рецензируемый сборник — хорошее пополнение литературы о Тургеневе. Хочется отметить большой и содержательный комментарий, составленный В. Г. Фридлянд.

Ю. Манн.



АЛЬФРЕД РЕНЬИ. Диалоги о математике. «Мир». М. 1969. 96 стр.

Формат этой небольшой книжки позволяет отнести ее к разряду карманных. Представьте себе, что вы купили ее по дороге с работы и тут же, в трамвае или метро, приступили к чтению, решив отложить знакомство с предисловием редактора и послесловием автора и обратиться непосредственно к основному тексту. Он открывается диалогом о сущности математики; главным его действующим лицом является Сократ. И сразу же благодаря прекрасному переводу вы погружаетесь в атмосферу бесед Сократа, знакомых по Платону или другим не раз издававшимся у нас книгам философов древности. У того, кто их читал, возможно, даже возникнет чувство досады: как это он пропустил или не удержал в памяти такие интересные и актуальные суждения Сократа? Собеседник Сократа, «молодой древний грек», пришел к нему посоветоваться о выборе специальности. Сократ замечает ему: «Каждый должен решить самостоятельно, чем он хочет заниматься. Я могу лишь помочь, подобно акушерке, при рождении твоего решения». И вот мы следим за тем, как, используя наводящие вопросы — метод, который повсеместно называют сократическим, — великий философ, укравшись со своим собеседником в тени платана, подводит его к пониманию того, «что является объектом изучения математики? Какие вещи изучают математики?». Ответ на эти вопросы и занимает двадцать страниц первого диалога, сверкающего блестящими парадоксами и глубокими наблюдениями.

Вы листаете страничку и обращаетесь ко второму диалогу, центральной фигурой которого является Архимед; речь в нем пойдет о применениях математики, а ведется

он в 212 году до н. э. в Сиракузах в драматический момент, когда этот город был осажден римлянами (на следующий день Архимед, по преданию, был убит римским солдатом).

Наконец, третий диалог отделен от предыдущих почти двумя тысячелетиями. Место действия — Рим (уже не древний!), а герой диалога — Галилео Галилей, вызванный в Вечный город инквизицией. Его собеседники: известный всем итальянский физик Эванджелеста Торричелли и синьора Никколини, в доме которой живет престарелый ученый. Этот «диалог о языке книги природы», то есть о математике, также драматизован обсуждением плана побега Галилея из Рима в Нидерланды: драма идей Коперника и Галилея в их столкновении с догматами церкви дополняется личной драмой ученого.

Беседа Галилея с синьорой Никколини заканчивается описанием виденного им сна. Воспарив в небеса, Галилей направил изобретенный им телескоп на Землю и увидел воочию то, что так отчетливо представлялось его умственному взору: как она «величественно вращается вокруг Солнца и одновременно вокруг своей оси. Я был счастлив,— восклицает Галилей,— как никогда в жизни». Его собеседница выражает надежду, что наступающей ночью (а за окном комнаты, где происходит беседа, уже сгустились римские сумерки) старый ученый увидит сон о том времени, когда его учение станет достоянием школьников. «Я часто об этом мечтаю по ночам,— отвечает Галилей,— когда не сплю, и надеюсь, что такое время скоро наступит. Прогресс науки не может быть остановлен. Но иногда я сомневаюсь, действительно ли тот век будет таким счастливым, как я представляю. Не будут ли и тогда существовать свои предрассудки и догмы? Не будут ли и тогда жить глупые, завистливые, злобные, интригающие люди? Не попытаются ли такие

люди запятнать доброе имя честных людей клеветой? Не сохранятся ли еще паразиты на цветущем, зеленом дереве науки?» — «Конечно, такие ничтожества, вероятно, тоже будут,— отвечает Галилею просвещенная римлянка.— Но всегда будут и люди, для которых правда важнее, чем все остальное, и эти люди, оглядываясь на наш век, увидят, что Галилео Галилей стоял выше своих современников на две головы; они с гордостью объявят себя учениками и последователями его дела».

На этом книжка заканчивается, и вы обращаетесь к краткому послесловию автора (еще и раньше у вас закрадывалась мысль: если это диалоги Сократа, Архимеда, Галилея, то почему у книги есть еще один автор?): «Автор-оптимист не пишет предисловия к своей книге, так как уверен, что книга скажет сама за себя». Оптимизм Реньи вполне оправдан. Но прочтете его послесловие, как и предисловие редактора, все же надо. И в них вы найдете подтверждение той догадки, которая зародилась у вас уже во время чтения второго диалога. Содержание диалогов является искусной стилизацией. В духе идей Сократа, Архимеда, Галилея, идей, в круг которых венгерский математик Альфред Реньи прекрасно вошел в дополнительных качествах историка и литератора, рассказывает он о математике. Иногда Реньи вкрапливает в изложение документально дошедшие до нас суждения мыслителей прошлого — своих героев (выделяя соответствующие фразы курсивом) и никогда не вступает в противоречие с духом этих суждений.

Не удивительно, что «Диалоги» Реньи получили такое широкое распространение и опубликованы на многих языках мира. Нужно всячески приветствовать появление его книги на русском языке и горячо рекомендовать прочесть ее тем, кому она не подалась.

В. Френкель.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗАТ

И. Зюнонин. Узнаю человека. 224 стр. Цена 33 к.

П. Казанский. Произведение В. И. Ленина «Великий почин (О героизме рабочих в тылу. По поводу «коммунистических субботников»)». 62 стр. Цена 9 к.

«МЫСЛЬ»

И. Нехамнин. Тайна черной пасти. 112 стр. Цена 32 к.

Политическая экономия современного монополистического капитализма. В 2-х томах. Том II. 416 стр. Цена 1 р. 85 к.

Современные проблемы теории познания диалектического материализма. Том II. Истина познания, логика. 430 стр. Цена 1 р. 74 к.

Г. Чуфрин. Сингапур. 112 стр. Цена 18 к.

«ЭКОНОМИКА»

А. Глухов, В. Проскурянов. Производительность труда в условиях хозяйственной реформы. 85 стр. Цена 20 к.

И. Дубровский. Организация управления научными исследованиями. 167 стр. Цена 44 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Л. Бридана. Мой свет. Стихи. Перевод с латышского С. Кузнецовой. 120 стр. Цена 35 к.

День поэзии 1970. 247 стр. Цена 1 р. 68 к.

А. Киреева. Так ли живу? Очерк о творчестве М. Лукомина. 160 стр. Цена 31 к.

Г. Корнилова. Большие дома. Рассказы. 192 стр. Цена 32 к.

Н. Крымова и А. Погодин. Халдор Лакснесс. Жизнь и творчество. 216 стр. Цена 42 к.

С. Куняев. Ночное пространство. Стихи. 95 стр. Цена 32 к.

Л. Мириджанян. Тоска по морю. Стихи. Перевод с армянского Ю. Рашенцева. 120 стр. Цена 31 к.

Ю. Мориц. Лоза. Книга стихов 1962—1969 гг. 160 стр. Цена 40 к.

Я. Ниедре. Каждому свое счастье. Роман. Перевод с латышского Д. Глезера. 327 стр. Цена 68 к.

М. Чарный. Ушедшие годы. Воспоминания и очерки. 415 стр. Цена 70 к.

В. Шнловский. Тетива. О несходстве сходного. 375 стр. Цена 86 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Х. Валера. Иллюзии доктора Фаустино. Роман. Перевод с испанского. 319 стр. Цена 69 к.

Испанская классическая эпиграмма. Перевод с испанского. Предисловие Е. Этгинда. 309 стр. Цена 1 р. 50 к.

В. Кириллов. Стихотворения и поэмы. Предисловие А. Суркова. 319 стр. Цена 94 к.

В. Кирпотин. Вершины. Пушкин. Лермонтов. Некрасов. 375 стр. Цена 1 р. 10 к.

Крылья. Рассказы. Перевод с вьетнамского. Предисловие В. Полевого. 255 стр. Цена 68 к.

Л. Славин. Избранное. Вступительная статья А. Вулуса. 768 стр. Цена 1 р. 57 к.

Л. Стоянов. Избранная проза. Перевод с болгарского. 494 стр. Цена 1 р.

Театр французского классицизма. Пьер Корнель. Жан Расин. Перевод с французского («Библиотека всемирной литературы»). 607 стр. Цена 1 р. 49 к.

Л. Франк. Шайка разбойников.— Оксенфуртский мужской квартет.— Из трех миллионов трое. Романы. Перевод с немецкого. 495 стр. Цена 1 р. 55 к.

К. Чапек. Обыкновенная жизнь. Роман.— Жизнь и творчество композитора Фолтына. Повесть. Перевод с чешского. 239 стр. Цена 70 к.

С. Щипачев. Избранные произведения. В 2-х томах. Вступительная статья Ф. Левина. Том I. Стихотворения. Поэмы. Проза. 447 стр. Цена 1 р. 49 к.

Ярость благородная. Антифашистская поэзия Европы. 1933—1945. Вступительная статья М. Важана. 486 стр. Цена 2 р. 55 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Ч. Айтматов. Повести и рассказы. Перевод с киргизского. 568 стр. Цена 1 р. 35 к.

Библиотека современной фантастики. К. Саймак. Почти как люди. Роман.— Рассказы. Перевод с английского. 319 стр. Цена 1 р. 10 к.

Бригантина. Сборник рассказов о путешествиях, поисках, открытиях. 367 стр. Цена 1 р. 22 к.

Зарубежный детектив. К. Блахий. Ночное следствие. Перевод с польского.— Э. Накадзоно. Свинец в пламени. Перевод с японского.— С. Хейр. Чисто английское убийство. Перевод с английского. Составитель Л. Беспалова. 399 стр. Цена 1 р. 55 к.

А. Луначарский. За право на счастье. Дневники. Письма. Повести. 127 стр. Цена 23 к.

О. Смирнов. Зеленая осень. Повести. 366 стр. Цена 73 к.

А. Старостин. Немножко Арктики. Рассказы. 224 стр. Цена 33 к.

М. Чудакова. Эффенди Капиев («Жизнь замечательных людей»). 240 стр. Цена 64 к.

«ИСКУССТВО»

К. Горанов. Художественный образ и его историческая жизнь. Предисловие В. Асмуса. 519 стр. Цена 2 р. 16 к.

Е. Дораш. Живое дерево искусства. Издание 2-е, дополненное. Предисловие И. Золотусского. 368 стр. Цена 1 р. 25 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

А. Кешоков. Вершины не спят. Роман в 2-х книгах. Авторизованный перевод с кабардинского С. Бондарина. Книга 1. Чудес-

ное мгновение. 448 стр. Цена 1 р. 8 к. Книга
2. Зеленый послышлец. 348 стр. Цена 89 к.
Л. Попов. Песня Виллюя. Стихи. Перевод
с якутского. 160 стр. Цена 43 к.
И. Соколов. Наука радости. Стихи. 111 стр.
Цена 37 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Б. Галанов. Книжка про книжки. 96 стр.
Цена 33 к.
И. Данилов. Лесные яблоки. Повесть и
рассказы. 94 стр. Цена 23 к.
А. Дементьев. Август из Ревеля. Рассказы
о М. И. Калининe. 112 стр. Цена 28 к.
П. Капица. Морской десант. Повести и рассказы.
208 стр. Цена 49 к.
Д. Кугультинов. Сар-Герел. Сказки. 142
стр. Цена 45 к.
Е. Мариинский. На троне подвига. Рассказы.
48 стр. Цена 7 к.
Я. Плотниен. Черные и белые. Повесть. 110
стр. Цена 25 к.
В. Порудоминский. А рассказать тебе
сказку... Повесть о жизни и трудах сказочника
А. Н. Афанасьева. 159 стр. Цена 38 к.
Л. Разгон. Живой голос науки. Литературные
портреты. 271 стр. Цена 85 к.

«ПРОГРЕСС»

М. Варненска. Четвертая зона. Перевод с
польского. 367 стр. Цена 1 р. 1 к.
Ф. Швантнер. Жизнь без конца. Роман. Со-
кращенный перевод со словацкого. 568 стр.
Цена 1 р. 77 к.

«МИР»

Внутреннее строение звезд. Под редакцией
Д. Аллера и Д. Мак-Лафлина. Перевод с ан-
глийского. 366 стр. Цена 2 р. 26 к.
Г. Джеффрис и Б. Свирлс. Методы матема-
тической физики. Вып. III. Перевод с ан-
глийского. 344 стр. Цена 2 р.
Кибернетический сборник. Новая серия.
Вып. VII. 219 стр. Цена 1 р. 24 к.
Современное программирование. Мульти-
программирование и разделение времени.
Сборник статей Перевод с английского. 343
стр. Цена 1 р. 67 к.

«НАУКА»

А. Галактионов и П. Никандров. Русская
философия XI—XIX веков. 651 стр. Цена 2 р.
92 к.

Б. Галицкий. В боях за Восточную Прус-
сию. Записки командующего 11-й гвардей-
ской армией. 499 стр. Цена 2 р. 30 к.
С. Игнатушенко. Япония и США: партне-
ры и конкуренты. 307 стр. Цена 1 р. 27 к.
И. Куликова. Сюрреализм в искусстве. 175
стр. Цена 77 к.
М. Меньшикова. США: капиталистическое
накопление и индустриализация сельского
хозяйства. 184 стр. Цена 55 к.
Моделирование социальных процессов.
Социология и математика. Сборник статей.
228 стр. Цена 1 р. 1 к.
А. Мугрузин. Аграрные отношения в Ки-
тае в 20—40-х годах XX в. 236 стр. Цена 1 р.
2 к.
Ю. Павлов. Региональная политика капи-
талистических государств. 389 стр. Цена 1 р.
40 к.
Планирование в развивающихся странах
Африки. Сборник статей. 200 стр. Цена 69 к.
Н. Шмелев. Проблемы экономического ро-
ста развивающихся стран. 253 стр. Цена
99 к.
Экономика развивающихся стран Азии в
цифрах. 1960—1965 гг. Статистический сбор-
ник. 486 стр. Цена 2 р. 41 к.

«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

Ф. Достоевский. Бедные люди. Униженные
и оскорбленные. Романы. 480 стр. Цена 1 р.
4 к.
А. Тихонравов. Встреча с прошлым. Доку-
ментальный очерк. 152 стр. Цена 28 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

А. Гордин. Пушкин в Псковском крае. Ле-
нинград. Лениздат. 326 стр. Цена 1 р. 43 к.
Горжусь тобой, Азербайджан. Рассказы
азербайджанских писателей. Баку. «Азер-
нешр». 307 стр. Цена 64 к.
Д. Гусаров. Цена человеку. Роман. Петро-
заводск. «Карелия». 383 стр. Цена 84 к.
И. Кашежева. Белый тур. Стихи. Нальчик.
«Эльбрус». 104 стр. Цена 32 к.
Моя страна — мой дом. Международная
выставка детских рисунков (Москва). Аль-
бом. Ленинград. «Аврора». 112 стр. Цена 3 р.
12 к.
А. Салакаури. Золотая рыбка. Роман. Пе-
ревод с грузинского. Тбилиси. «Мерани».
166 стр. Цена 22 к.

Главный редактор **В. А. Косолапов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Д. Г. Большов (первый зам. главного редактора),
Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Р. Г. Гамзатов, А. А. Куле-**
шов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин,
О. П. Смирнов (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77.
Почтовый адрес: Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 1/IX 1970 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 27/X 1970 г.
A 09661. Формат бумаги 70×108^{1/16}. 27,6 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)
Зак. 3033. Тираж 166 000.

Набрано и сматрицировано в типографии «Известий Советов депутатов трудящихся
СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва. Пушкинская пл., 5.

Отпечатано в ордена Ленина типографии «Красный пролетарий».
Москва, Краснопролетарская, 16.
Заказ № 3931.

Цена 70 коп.

70636